ISSN 0130-6545

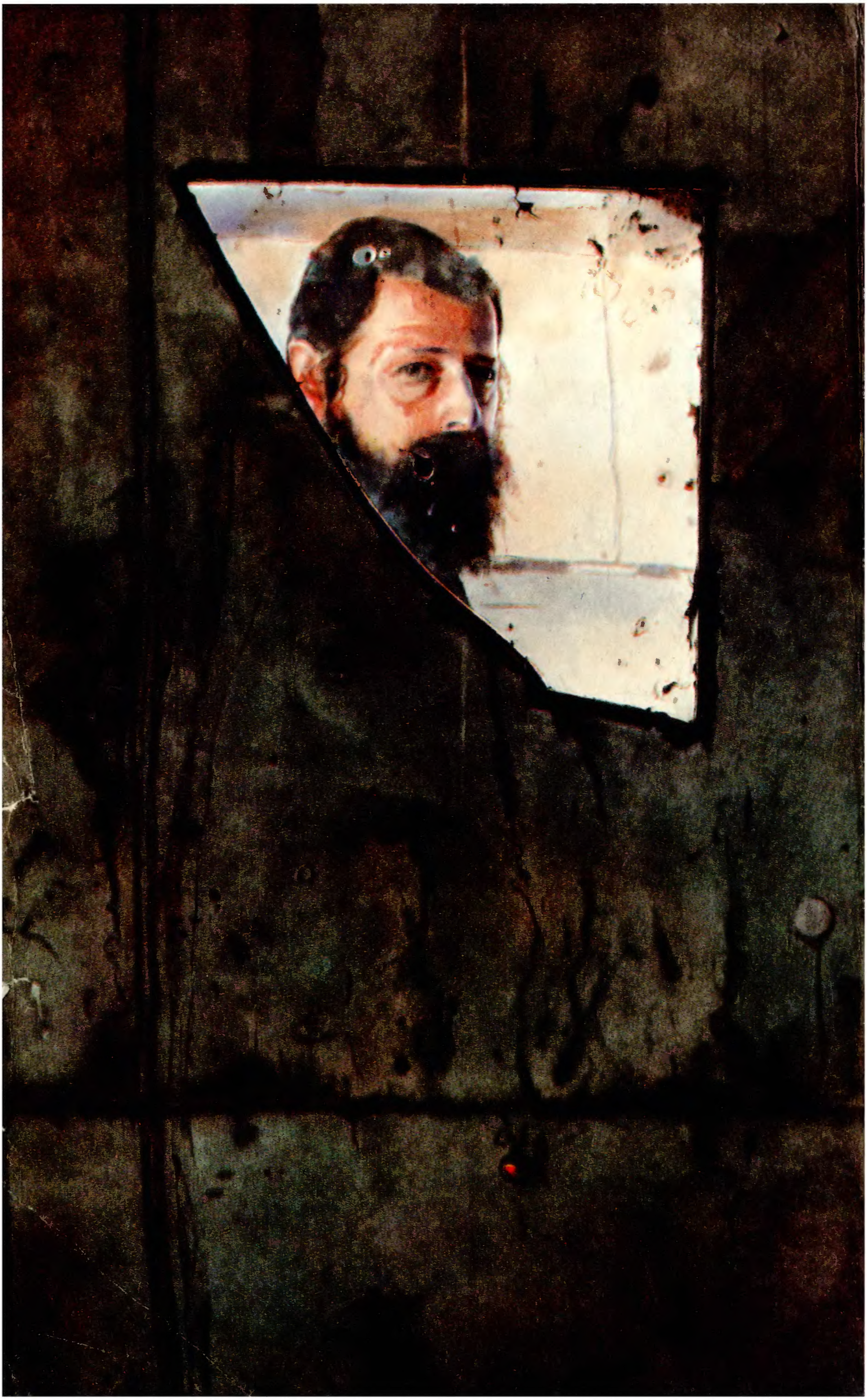
2.1996

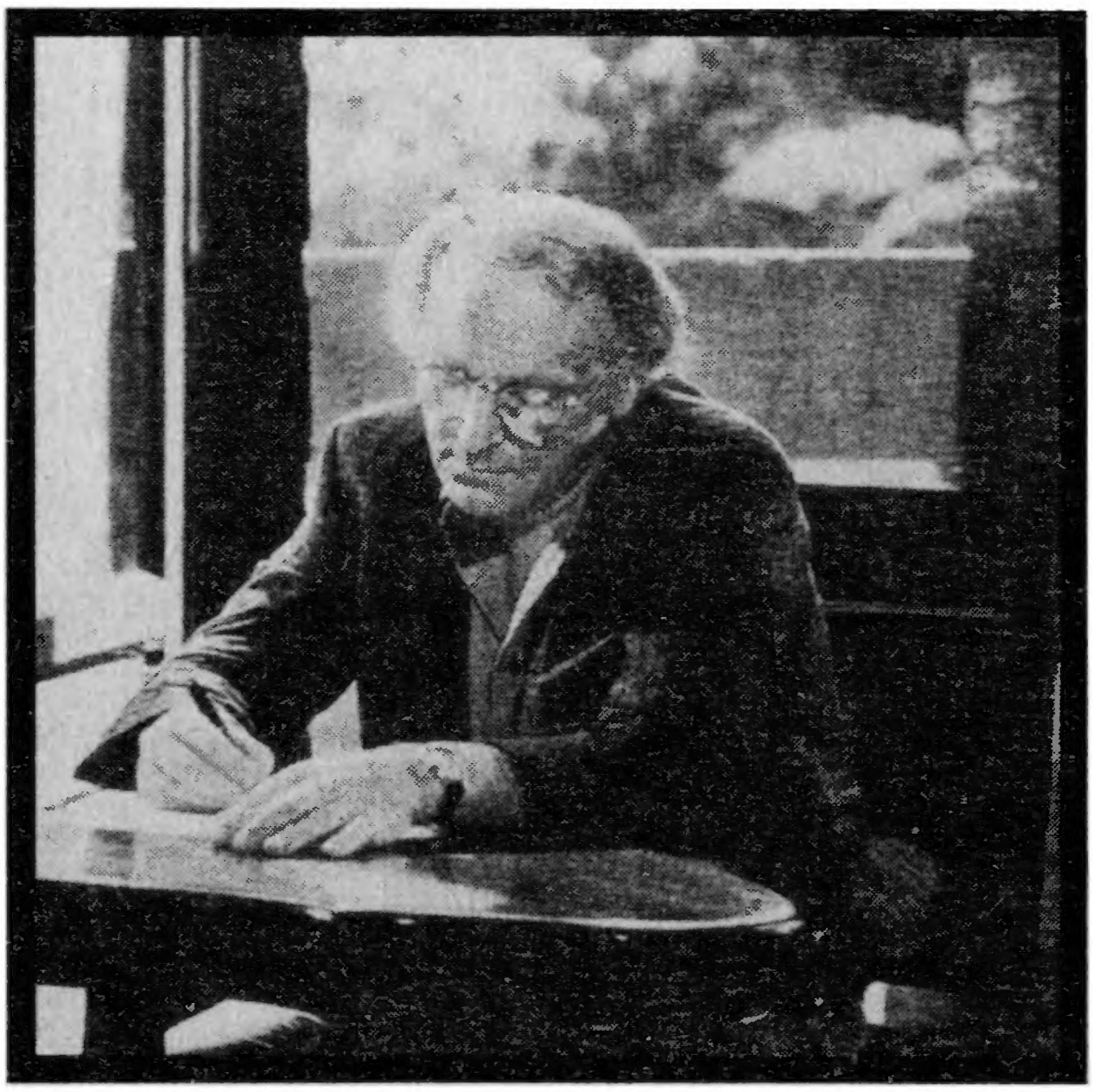
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ТОМ СТОППАРД
Аркадия

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ
Стихи





Мировая культура понесла тяжелую утрату. Умер Иосиф Бродский, великий русский поэт, гражданин мира, человек, олицетворяющий для соотечественников мужество, личное достоинство и независимость. Мы благодарны судьбе за то, что Иосиф Александрович был автором, читателем, другом журнала.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 28 200 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Редакция выражает благодарность за содействие в подготовке «Литературного гида» Израильскому институту перевода ивритской литературы и посольству Государства Израиль в Российской Федерации

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 февраль 1996

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ — Из новой книги стихов «Призывы гражданина мира» (*Перевод с английского А.Сергеева*) 5
ТОМ СТОППАРД — Аркадия (*Пьеса в двух действиях. Перевод с английского Ольги Варшавер*). ЭНН БАРТОН — На прогулку еще раз (*Перевод с английского Г.Шульги*) 12
ГУСТАВ ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ — Рассказы (*Перевод с польского и вступление Сергея Макарцева*) 79
АЛЬДОНА ГУСТАС — Символы любви (*Стихи. Перевод с немецкого и вступление Е.Колесова*) 96
ГАБРИЕЛЕ РОМАНЬОЛИ — Рассказы (*Перевод с итальянского Е.Солоновича*) . 100

Литературный гид
ИЗРАИЛЬ: НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО ЯЗЫКА

ШАЛОМ ШПИГЕЛЬ — Иврит возрожденный (*Глава из книги. Перевод с английского, вступление и примечания Л.Степанова*) 108
ЙОРАМ КАНЮК — Комендант Кляйн (*Глава из романа «Адам — сын собаки». Перевод Лизы Чудновской и Федора Макарова*) 117
ЯАКОВ ШАБТАЙ — Протокол воспоминания (*Отрывок из романа. Перевод Федора Макарова*) 130
ИЕХОШУА КЕНАЗ — Меж ночью и рассветом (*Повесть. Перевод Федора Макарова*) 136
МЕИР ВИЗЕЛЬТИР, ЙОНА ВОЛАХ, АРЬЕ СИВАН, ДАЛИЯ РАВИКОВИЧ — Стихи (*Переводы Савелия Гринберга, Лиоры Кнастер, Владимира Глузмана*) 181
БИНЬЯМИН ТАММУЗ — Состязание в плаванье (*Рассказ. Перевод Лиоры Кнастер и Федора Макарова*) 188
АМАЛИЯ КАХАНА-КАРМОН — Фата (*Рассказ. Перевод Алекса Левинзона*) 197
ШАМАЙ ГОЛАН — Холм (*Рассказ. Перевод Давида Маркиша и Шамая Голана*) 210
РУТ АЛЬМОГ — Бойкое местечко (*Рассказ. Перевод Лиоры Кнастер*) 216
ЭТГАР КЕРЕТ — Разбить Свина (*Рассказ. Перевод Александры Петровой*) 224
САВЬОН ЛИБРЕХТ — Яблоки пустыни (*Рассказ. Перевод Лизы Чудновской*) 226
АВРААМ Б.ИЕХОШУА — Нескончаемое безмолвие поэта (*Рассказ. Перевод Алекса Левинзона*) 232
АНАТ ФАЙНБЕРГ — Между литературой национальной и литературой общечеловеческой. Взгляд на современную ивритскую литературу (*Перевод Федора Макарова*) 256
АМОС ОЗ — Мир, компромисс, любовь. Речь на церемонии вручения Премии мира, присуждаемой Объединением немецких издателей и книготорговцев. Франкфурт, 4.10.1992 (*Перевод Дмитрия Голованова и Лиоры Кнастер*) 262

К нашим иллюстрациям
ВИКТОРИЯ МОЧАЛОВА — Энергия вопрошания 269

Критика и публицистика

Конец века, конец тысячелетия
Д.ЗАТОНСКИЙ — Постмодернизм: гипотезы возникновения 273

У книжной витрины 284

Авторы этого номера 287

© «Иностранная литература», 1996

В мартовском номере «ИЛ»

Стихи **Энн Стивенсон**, одной из самых «английских» поэтесс Альбиона, и **Нины Кассиан**, румынской поэтессы, известной и далеко за пределами своей страны.

Роман **Дидье ван Ковелера** «ПУТЬ В ОДИН КОНЕЦ» (Гонкуровская премия 1994 года). Главный герой романа — юный француз, в младенчестве попавший к цыганам. Его арабское имя становится причиной высылки в Марокко, где главный герой и сопровождающий его чиновник МИД попадают в водоворот невероятных событий, одновременно забавных и трагических.

Роман **Уильяма Голдинга** «ПИРАМИДА» — на сей раз не роман-притча, а воспоминания юности, галерея эксцентрических характеров, сочетающая юмор, гротеск, лиризм.

В рубрике «NB»: **Томас Пинчон** — автор, ставший культовой фигурой американской литературы последних десятилетий.

Цветные иллюстрации номера:

На 1-й стр.обложки — МОТТИ МИЗРАХИ. «Гонщик мира» (1987).
На 2-й стр.обложки — ИСРАЭЛЬ ХЕРШБЕРГ. «Внутри и снаружи» (1990).
На 3-й стр.обложки — МИХАИЛ ГРОБМАН. «Утренняя молитва»(1975).

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 10.01.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 27,10. Заказ №1375

Тираж 28 200 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ

Из новой книги стихов «ПРИЗЫВЫ ГРАЖДАНИНА МИРА»

Перевод с английского А.СЕРГЕЕВА

Пекинская импровизация[1]

Я пишу стихи потому, что слово «вдохновение» происходит от «вдох», «дыхание», — я желаю дышать свободно.
Я пишу стихи потому, что Уолт Уитмен разрешил человечеству говорить откровенно.
Я пишу стихи потому, что Уолт Уитмен открыл поэтическую строку для беспрепятственного дыхания.
Я пишу стихи потому, что Эзра Паунд видел башню из слоновой кости, поставил не на ту лошадь и разрешил поэтам писать на простом разговорном.
Я пишу стихи потому, что Паунд посоветовал поэтам Запада рассмотреть картинки китайских слов.
Я пишу стихи потому, что У.К.Уильямс в Резерфорде написал ньюджерсийское «Я дам те в глаз» и спросил: как это соотносится с пятистопным ямбом? .
Я пишу стихи потому, что мой отец был поэтом, моя мать из России говорила по-коммунистически и умерла в сумасшедшем доме.
Я пишу стихи потому, что мой юный друг Гери Снайдер уселся за круглый стол и рассматривал свои мысли как участников совещания в оруэлловском «1984».
Я пишу стихи потому, что меня мучит мысль: я родился, чтоб умереть, камни в почках, гипертония, все страдают.
Я пишу стихи потому, что страдаю, не зная, что думают остальные люди.
Я пишу стихи потому, что поэзия может раскрыть мои мысли, исцелить паранойю — мою и других.
Я пишу стихи потому, что мои мысли проникают до сексуальной сути медитации Буддадхармы.
Я пишу стихи потому, что нуждаюсь в точной картине собственного сознания.
Я пишу стихи потому, что дал Четыре Обета Бодхисаттвы: освобождать бессчетных разумных существ во Вселенной; побеждать свои собственные бесконечные жадность, злобу, невежество; переживать бескрайнее множество злоключений; пробудясь, признавать бесконечность путей ума.

---

[1] Выступление на конференции Китайского союза писателей и Американской академии искусства и литературы на тему «Источники вдохновения», Пекин, 21 октября 1984. Слегка обработанная расшифровка магнитофонной записи. (*Прим. автора.*)

© Allen Ginsberg, 1994

Я пишу стихи потому, что сегодня утром проснулся от страха: что я могу сказать китайцам?
Я пишу стихи потому, что русские поэты Маяковский и Есенин покончили с собой и говорить обязан кто-то еще.
Я пишу стихи потому, что отец читал вслух англичанина Шелли и американца Вейчела Линдсея и показал широту дыхания вдохновенных строк.
Я пишу стихи потому, что писать о сексе в Соединенных Штатах было запрещено.
Я пишу стихи потому, что миллионеры Востока и Запада разъезжают в «роллс-ройсах», а беднякам не на что залатать зубы.
Я пишу стихи потому, что мои гены и хромосомы устремлены к юношам, а не к девушкам.
Я пишу стихи потому, что не чувствую догматической ответственности одного дня перед другим.
Я пишу стихи потому, что хочу быть один и хочу говорить с людьми.
Я пишу стихи потому, что спорю и с Уитменом, и с молодежью грядущего и болтаю со старыми тетками и дядьями, и поныне живущими в Ньюарке (Нью-Джерси).
Я пишу стихи потому, что в 1939-м я слышал по радио негритянские блюзы Ледбелли и Ма Рейни.
Я пишу стихи потому, что меня вдохновляют состарившиеся молодые, задорные песни «Битлов».
Я пишу стихи потому, что Жуань Цзи не знал, бабочка он или человек, Лао Цзы сказал, что вода стекает с холма, а Конфуций учил уважать старших, и я хочу уважать Уитмена.
Я пишу стихи потому, что прожорливый скот от Монголии до Дикого Запада уничтожает траву и эрозия порождает пустыни.
Я пишу стихи в ботинках из шкуры животных.
Я пишу стихи по принципу «первая мысль — лучшая мысль».
Я пишу стихи потому, что идеи видны лишь в их проявлениях: «Не в словах, но в предметах».
Я пишу стихи потому, что тибетский лама, мой гуру, говорит: «Вещи — символы самих себя».
Я пишу стихи потому, что газеты кричат о черной дыре в центре нашей галактики и мы вольны заметить ее.
Я пишу стихи потому, что первая мировая война, вторая мировая война, атомная бомба, если угодно — третья мировая война — мне не нужны.
Я пишу стихи потому, что не предназначенную к печати мою первую поэму «Вой» преследовала полиция.
Я пишу стихи потому, что моя вторая поэма «Каддиш» почтила паринирвану моей матери в психиатрической клинике.
Я пишу стихи потому, что Гитлер убил шесть миллионов евреев, а я — еврей.
Я пишу стихи потому, что Москва признает: Сталин отправил в Сибирь 20 миллионов евреев и интеллектуалов и 15 миллионов не возвратились в «Бродячую собаку», Санкт-Петербург.
Я пишу стихи потому, что пою, когда мне одиноко.
Я пишу стихи потому, что Уолт Уитмен сказал: «Я противоречу себе? Прекрасно, значит, я противоречу себе — я большой, во мне мириады».
Я пишу стихи потому, что ум мой противоречит себе — вот он в Нью-Йорке, через минуту — в Динарских Альпах.
Я пишу стихи потому, что в моей голове 10 000 мыслей.
Я пишу стихи потому, что нет ни «потому», ни «почему».
Я пишу стихи потому, что они лучший способ высказать все на свете за 6 минут жизни.

О поведении мира, ищущего красоту, несмотря на правительство

И это единственный путь стать как индусы, как носороги,
как кристаллики кварца, как крестьяне до химических удобрений,
жить, как, видимо, жили Адам и Ева, дрожащими пальцами
прикасаясь друг к другу, покуда Змей Революционного Секса
не обвился вкруг Древа Познания? Что́ бы сострил Роке Дальтон[1]
о зубах, стучащих, как пулеметы, на занятиях тактикой
со своими компаньерос? Надо убить всех янки большой бомбой.
Да, но не вздумайте сами, лучше со своей маменькой
потрудитесь над единственно верной линией — или спросите Рембо, раз уж ему
отрезали ногу,
или Ленина после второго удара, когда через миссис Крупскую он послал
письмо грубияну грузину, — как раз перед последним
ударом, когда чекисты равнодушно заглядывали в дверь
и заверяли, что его дело в надежных руках и тревожиться нечего, —
и какая муть ударила ему в голову?
Что́ в голодном поезде думал Хлебников, подставляя живот солнцу?
И что Маяковский перед самоубийством, о каком сражении
с бюрократами из Министерства коллективизации Украины?
Какой сочинял лозунг для архитекторов-футуристов, какой гимн для
бесчисленных партбилетчиков будущего
о поведении мира, ищущего красоту, несмотря на правительство?

27 января 1986

Вы не знаете

В России тиран-таракан сожрал 20 миллионов душ
а вы не знаете, вы не знаете
В Чехословакии полиция обезножила целое поколение
а вы не знаете, вы не знаете
В Польше при государстве-ГУЛАГе полицейские провокации
приобрели масштабы католического людоедства
а вы не знаете, вы не знаете
В Венгрии танки проехались по словам поэто-политиков
а вы не знаете, вы не знаете
В Югославии партизаны Великой отечественной войны
выстояли против Великой отечественной армии СССР
а вы не знаете
Тито вы знаете, но вы не знаете
вы говорите, что не знаете отчего беженцы из Восточной Европы оплакивают
растущий никарагуанский ГУЛАГ
потому что не знаете, как интеллектуалы Москвы Вильнюса Минска
Ленинграда Тбилиси
говорили: «Вторгайтесь немедленно» и проклинали вашу Революцию
Нет, вы не знаете, что не «Нью-Йорк ревью оф букс», а богема Кракова
Праги Будапешта Белграда Вост. Берлина
говорила нам: а вы не знаете, вы не знаете
Белла Ахмадулина при свечах: «Американский поэт не поймет трагедию
России»
И вы генерал Борхе отец Карденаль вице-президент Родригес, вы говорите
что вы не знаете
некогда знать — слишком заняты драчкой с янки — хуже чем память о
Сталине
это вы знаете, это вы знаете.

---

[1] Роке Дальтон Гарсиа (1935—1975) — сальвадорский поэт и революционер. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

Вы не знаете, но узнаете
да вы узнаете, Ленин сказал:
История в первый раз трагедия, при повторении — фарс
или это сказал Троцкий? Маркс?
«Не успели» шепчут на Эльбе, зубы интеллигентов стучат на Дунае
и Висле
Комиссары-строители прокляли и утопили в Волге колокола деревенских
церквей и теперь вода испаряется не дойдя до моря
лесорубов в тайге тошнит от брошюр, на которые переводят леса
черепа и кости кулаков пошли на посев невиданного урожая 1980 1990 2000
лысенковская окружающая среда насыпала суперфосфата в Кашу
Вы не знаете что толстозадый интеллектуал Кастро сидит на троне уже
четверть века
отгрызает головы гомосексуалистам, лезет в письменный стол Маноло
читать мои любовные письма
заставляет Уберто Падилью глотать ваши речи Вы не знаете этот вздор
французских элитных журналов — вы проглядываете их
как вице-президент Никарагуа
между войнами с янки и банкетами с ветчиной и ромом после вечерних
ТВ-новостей
Вы не знаете
толстую книгу жизни вдовы Мандельштама
не знаете, как у Евгении Гинзбург седовласые арестантки
испражняются друг на друга в трюме
корабля в ледяном море к северу от Владивостока,
который увозит миллион старых большевиков друзей Ленина
к замерзшим лужам и голодным берегам Колымы
где скелеты стучат друг о друга чтобы согреться — этого вы не знаете.

И они не знают Аксёнов Шкворецкий Ромен Роллан Эренбург Федоренко
Марков Евтушенко —
не знают в полночь шагов Эскадронов Смерти по мостовой,
отрезанных ушей, отрубленных в Сальвадоре голов, не знают
про миллион гватемальских индейцев в Показательных деревнях —
не знают, как в угоду техасским неоконсерваторам палачи Д'Обюиссона
вспороли 40 000 животов
не знают, как в 1916-м в Китае янки меняли опиум на серебро и чай
поставляли бананы в Европу и взимали экспортные налоги в Манагуа и
Шанхае —
не знают о холокосте в Сальвадоре 25 лет назад — 30 000 расстрелянных
наркоманов в Леворозовом треугольнике
и вы не знаете, как Воображение скачет лягушкой в Коммунистических
монастырских прудах —
вы не знаете, что признаетесь в чем угодно, если вас, как червя, засадить в
спичечный коробок с солью
не знаете одиночек, не знаете, как лесбиянка капо приказывает кино-
звезде раздеться —
и ее нежная розовая — и ее крепкий округлый — всё лживым псам
Идеологии — Бзд-Трах-Трах-Трах —
Динамитом их, вы не знаете, что в маменькином сортире морская пехота
Нет вы не знаете, и мы не знаем, только тупые американские барды
знают, как нетерпеливые аэростаты
взмывают с миллионами номеров «Ридерс дайджест»
и фотокопиями дайджеста переведенной Моравской Библии
в кармане моей рубашки, и глаза мои при приближении врага
закрываются
словно я сплю и даже храплю — я ничего не знаю

25 января 1986
2.00-2.12 ночи
Манагуа

Возвращение Майского короля[1]

К серебряному юбилею я здорово полысел, а все я — Майский король,
И хотя я Майский король, Федеральный совет по делам информации запретил
выпускать в эфир мои призывы и вопли с 6 утра
до полуночи.
Майским королем лечу я по́ небу за своей бумажной короной,
Я Майский король с гипертонией, диабетом, подагрой, парезом, камнями
в почках и спокойными очками,
И более не ношу дурацкой короны неразумия и немудрости, не боюсь —
не надеюсь на капиталистический галстук в полоску и коммунистичес
кие бумажные брюки,
Не шутка лет через сто погубить планету,
А я, Майский король с алмазом величиной во Вселенную, опустошенный ум,
И я, Майский король без любви, весною пьянеющий от убогонькой медитации,
Я, Майский король, почетный профессор английской литературы Бруклинского
колледжа в отставке, пою:
Всё прошло давным-давно, и к небесам взлетел мой старый разум, О!

25 апреля 1990

Идише копф[2]

Я еврей потому, что люблю мамин суп с клецками из мацы.
Я еврей потому, что мои отцы, матери, дядья и бабки говорили на идиш
в Витебске, Львове и Каменец-Подольске.
Еврей потому, что в 13, читая Достоевского, я за ресторанным столиком
в Нижнем Ист-Сайде написал стихи, образцовый парижский
интеллектуал.
Еврей потому, что от яростных сионистов кровь во мне закипает, прогрессивное
возмущение.
Еврей потому, что буддист, мой гнев — прозрачный горячий воздух, я пожимаю
плечами.
Еврей потому, что не терплю нетерпимых монотеистов — иудеев, католиков,
мусульман —
Блейк сказал: «6000 лет сна» как изначальный Адонаи поймал нас в ловушку —
О какие мишугене[3] абсолюты —
Я старый еврей, уплатил налоги, со скидкой езжу в автобусе и сабвее, хожу
по дешевке в кино —
И не могу представить, как молодые люди ухитряются жить,
Как это им удается, когда они вышли в свет с мятой десяткой и
водородной бомбой?

Октябрь 1991

В мае 1988

I

Выхожу на кухню, и возвращается мысль о смерти,
день за днем просыпаюсь, пью лимонный сок с горячей водой,
чищу зубы, сморкаюсь, цежу в унитаз желтую струйку,
если глянуть за занавески, на той стороне улицы
католический храм Марии-Всех-Скорбящих;
сколько еще лет в черном пластиковом мешке выносить мусор?
когда я сварю свое последнее яйцо всмятку?

---

[1] Пражские студенты 1 мая 1968 года избрали Аллена Гинзберга Майским королем.
[2] Еврейский ум (*идиш*).
[3] Сумасшедшие (*идиш*).

сколько дней глядеть на подушку для медитаций и вздыхать?
проходить мимо полок античной лирики и военно-промышленных тайн?
Сколько еще глядеть на весенние серые тучи над деревянной совой
на крыше священника, голуби с фонаря спархивают на ограду,
в кастрюльке овсянка, сидеть со столовой ложкой на стуле, есть кашу
в заоконных мыслях о том,
как айланты, водоросли Атлантиды, оденутся яркой зеленью
и утратят ее в снегопад и протянут голые ветви зиме?
Щелкать на пленку белье на веревке и трубы на дальних крышах?
Сколько лет лежать одному в постели, поглаживая себя,
или в полночь в кровати сидеть и читать «Нью-Йорк таймс»,
отвечать на звонки мачехи или Джо в Вашингтоне, ждать, что в дверь
постучит мой прекрасный Питер, трезвый, стесняясь, спросит об ужине, редко
заглядывает, а жизнь уходит — тебе есть чем платить за квартиру?
Замороченные секретари приносят охапками почту —
встаю, запихиваю рубашку в брюки, поворачиваю ключ, спускаюсь,
вхожу в Нью-Йорк, в польский ресторан Кристины на углу
12-й Восточной улицы и 1-й авеню,
еду в такси в музей или к доктору Брауну, флюорография, кашель курильщика
или грипп,
ТВ-новости из Палестины, на магнитофоне жалуется Ледбелли:
«Черная девушка», «Джим Кроу», «Айрин» — и
воскресные пуэрториканцы идут по бетонным ступенькам в церковь.

II

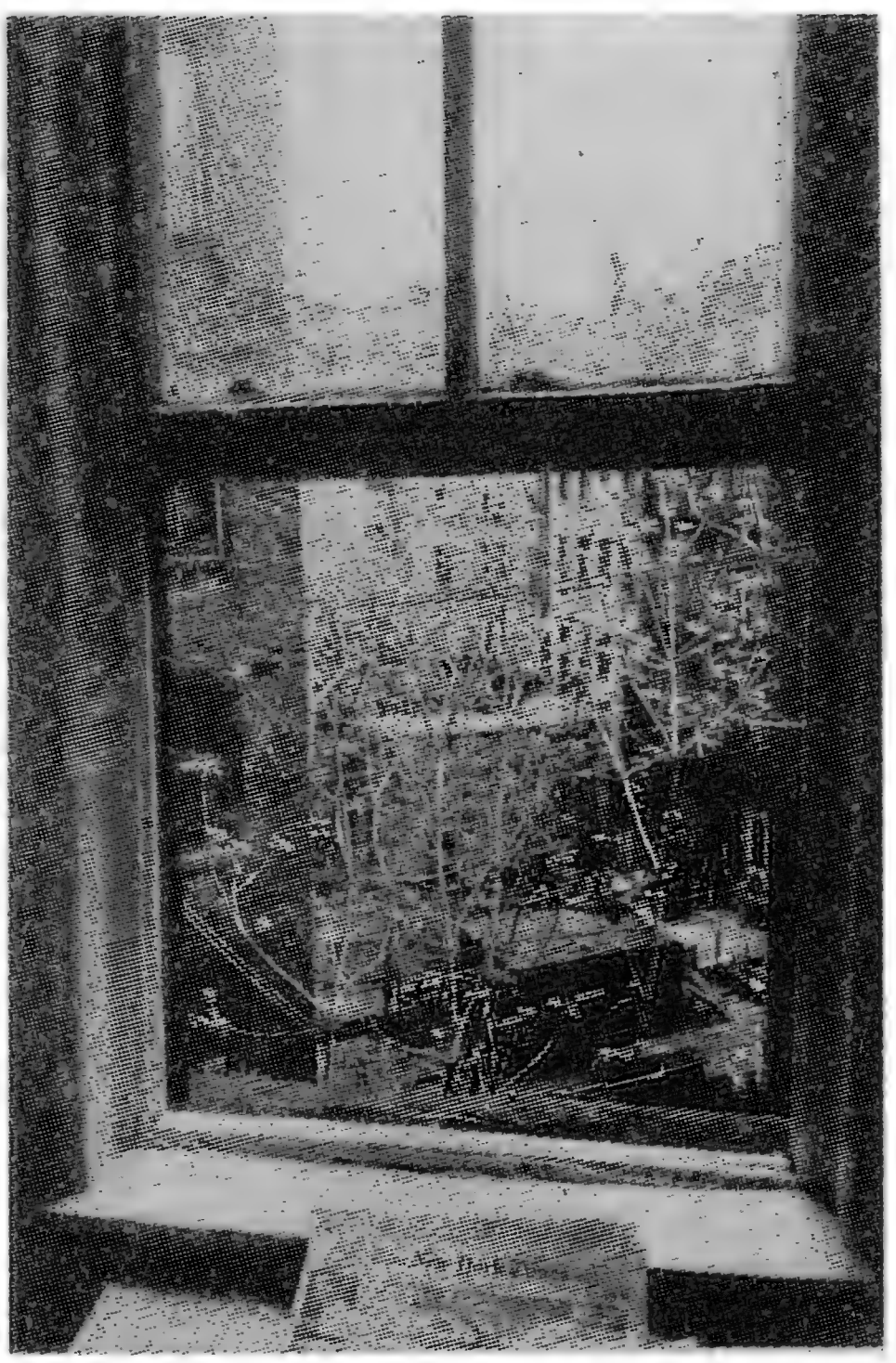
Носки в прачечной, ночной наскок на кухонный холодильник,
сушеные помидоры, мягкий швейцарский сыр с ветчиной, ананасный сок,
бланк льготной квартплаты ($ 260 в месяц), надраенные полы, белые стены,
блейковский «Тигр» на полке в спальне, шуршанье машин по асфальту внизу,
тишина, одинокий дом, у кровати на столике Шарль Фурье, выключаю свет —
в комоде пижама для сна, за головой 80 томов — просмотреть:
«Стихи на идиш» Ирвинга Хоу, Аттила Йожеф, «Темные культы»
Сашибусана Дас Гупты, Селин, «О народной речи» —
какие богатства на старости лет? Какие уютные долгие сны? Чтение
в Персеполе и Лхасе!
Чего еще ждать от жизни? Только времени, зрелого времени, в покое,
без войн, времени поразмышлять о рушащихся годах, хотя тело, зубы,
мозги и локоть болят,
трещит щиколотка, ноет крестец, пересыхает в носу и жжет язык,
сколько лет еще говорить, щелкать камерой, петь перед публикой,
импровизировать в классах, на улице, в церкви, по радио — вдали от Конгресса?
Сколько лет еще просыпаться в 9 утра, страшась, что не язва желудка, а рак?
Надо ли было брать с биографа Берроуза за снимки 40-летней
давности? Достаточно Майлс компетентен, чтобы издать
«Историю битнической литературы»? Подняться ли для медитаций
или валяться весь день, изживая грипп? Полчаса назад звонил телефон —
что на автоответчике? Вернуть ли аванс Харперу?
Кто поставил сроки фотоальбому? Разве я в два ночи не редактировал
собственные стихи?
Стихи, написанные спонтанно?!? Слетать на Гренландию, в Дублин?
ПЕН-клуб 17-го обсуждает израильскую цензуру арабской прессы?
Позвонить К.О., сионистской трепачке, — переводит меня на идиш?
Написать концлагерному моралисту Эли Визелю, что его
«Арабы должны швырять не камни, а доводы» — точная ли цитата
в «Нью-Йорк таймс»?
Подняться, сесть по-турецки и сгорбиться над дневником
под рев угнанных машин с фальшивыми номерами
или согреть косточки под одеялом? Сколько лет еще спать и бодрствовать?
Сколько утр еще быть или не быть?
Сколько грядущих майских утр с воробьиным чириканьем над шестым этажом,

и во дворах распускаются почки, у кирпичных стен желтый жасмин и ржавые
матрасные пружины?

III

Сколько еще воскресных дней лежать недвижно, закрыв глаза,
и помнить о Смерти,
7 утра, Весеннее Солнце в окне, крики нью-йоркского пьяницы на углу
напоминают о Питере, Наоми, племяннике Аллене, я спятил, всегда был такой —
на 61-м году проснулся в Н.-Й. и понял, что у дурака ни детей,
ни матери, как у стольких ушедших из Патерсона на простор,
от Лос-Анджелеса до Амазонки,
что отчаявшиеся люди и киты кричат с вершины Эмпайр стейт билдинг
и их слышно на дне Ледовитого океана?..

1—3 мая 1988



ТОМ СТОППАРД

Аркадия

Пьеса в двух действиях

Перевод с английского ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(в порядке появления на сцене)

ТОМАСИНА КАВЕРЛИ, тринадцать, позже шестнадцать лет.
СЕПТИМУС ХОДЖ, ее домашний учитель, двадцать два года, позже двадцать пять лет.
ДЖЕЛАБИ, дворецкий, среднего возраста.
ЭЗРА ЧЕЙТЕР, поэт, тридцать один год.
РИЧАРД НОУКС, специалист по ландшафтной архитектуре, среднего возраста.
ЛЕДИ КРУМ, около тридцати пяти лет.
КАПИТАН БРАЙС, офицер Королевского флота, около тридцати пяти лет.
ХАННА ДЖАРВИС, писательница, под сорок.
ХЛОЯ КАВЕРЛИ, восемнадцать лет.
БЕРНАРД СОЛОУЭЙ, профессор, под сорок.
ВАЛЕНТАЙН КАВЕРЛИ, между двадцатью пятью и тридцатью.
ГАС КАВЕРЛИ, пятнадцать лет.
ОГАСТЕС КАВЕРЛИ, пятнадцать лет.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Апрель 1809 года. Огромный загородный дом в графстве Дербишир. В современных путеводителях наверняка отметили бы его историческую и художественную ценность.

Комната, выходящая в парк. На заднем плане высокие, красивые окна-двери без занавесок. Показывать пейзаж за окнами нет необходимости. Мы постепенно узнаём, что дом стоит в парке, типичном для Англии тех времен. Можно дать намек: свет, небо, ощущение пространства.

Середину комнаты занимает огромный стол, вокруг — стулья с прямыми жесткими спинками. Комната тем не менее выглядит пустоватой. Картину дополняет одна лишь конторка — не то для черчения, не то для чтения. Ныне вся эта мебель представляла бы явный интерес для коллекционеров, но здесь, на голом дощатом полу, она выглядит не музейной экспозицией, а обыкновенной обстановкой учебной комнаты начала прошлого века. Если и чувствуется некое изящество, то скорее архитектурное, а впечатляет только необъятность помещения. В боковых стенах — по двери. Они закрыты. Открыта лишь одна стеклянная дверь, ведущая в парк, где царит светлое, но не солнечное утро.

На сцене двое. Каждый занят своим делом — среди книг, бумаг, гусиных перьев и чернильниц. Ученица — Томасина Каверли, тринадцати лет. Учитель — Септимус Ходж, двадцати двух лет. Перед ними — по книге. У нее — тонкий учебник элементарной математики. У него — толстый, новехонький, большого формата том с застежками: кичливое подарочное издание. Разнообразные бумаги Септимуса хранятся в твердой папке, которая завязывается ленточками, дабы ничего не потерялось.

У Септимуса есть черепашка, настолько сонно-медлительная, что служит пресс-папье.

На столе, кроме того, лежат стопки книг и старинный теодолит.

© Tom Stoppard, 1993

Томасина. Септимус, что такое карнальное объятие?

Септимус. Карнальное объятие есть обхватывание руками мясной туши.

Томасина. И все?

Септимус. Нет... конкретнее — бараньей лопатки, оленьей ноги, дичи... *caro, carnis*... женской плоти...

Томасина. Это грех?

Септимус. Необязательно, миледи. Но в случае, когда карнальное объятие греховно, — это плотский грех, QED[1]. Мы, если помните, встречали слово caro в «Галльской войне». «Бритты жили на молоке и мясе» — «*lacte et carne vivunt*». Жаль, вы не поняли корня «caro». Семя пало на каменистую почву.

Томасина. Как семя Онана, да, Септимус?

Септимус. Верно. Он обучал латыни жену своего брата, но в итоге она ничуть не поумнела. Миледи, мне казалось, вы ищете доказательство последней теоремы Ферма?[2]

Томасина. Это чересчур сложно. Лучше покажи, как ее доказывать.

Септимус. Потому я вас и попросил, что доказательства никто не знает. Теорема занимает умы последние полтора столетия, и я рассчитывал занять ею ваш ум хотя бы ненадолго — пока я прочитаю сочинение господина Чейтера. Он возносит хвалу любви. Причем стихи его столь нелепы и несообразны, что я предпочел бы не отвлекаться.

Томасина. Наш господин Чейтер? Он написал стихи?

Септимус. Да. И даже полагает себя пиитом. Но, боюсь, в вашей алгебре куда больше карнального, чем в сочинении «Ложе Эроса».

Томасина. Карнальное было не в алгебре. Я слышала, как Джелаби рассказывал кухарке, что госпожу Чейтер застали в бельведере в карнальном объятии.

Септимус (*помолчав*). Неужели? А с кем? Джелаби не обмолвился — с кем?

Томасина озадаченно хмурится: она не поняла вопроса.

Томасина. Что значит «с кем»?

Септимус. Ах, ну да... Не с кем, а с чем!.. Тьфу, чушь какая-то. Кто же, интересно, принес на хвосте эту новость?

Томасина. Господин Ноукс.

Септимус. Ноукс?!

Томасина. Да, папин архитектор. Он как раз обмеривал сад. Глянул в подзорную трубу на бельведер и видит: госпожа Чейтер в карнальном объятии.

Септимус. И господин Ноукс донес дворецкому?

Томасина. Нет. Господин Ноукс донес господину Чейтеру. А Джелаби узнал от кучера, потому что господин Ноукс разговаривал с господином Чейтером возле конюшни.

Септимус. ... где господин Чейтер, несомненно, помогал выгребать навоз.

Томасина. Септимус! Ты о чем?!

Септимус. Таким образом, пока об этом знают творец парковых красот господин Ноукс, а также кучер, дворецкий, кухарка и, разумеется, сам пиит, муж госпожи Чейтер.

Томасина. Еще Артур, он тогда чистил серебро. И мальчишка-сапожник. А теперь и ты.

Септимус. Понятно. Так что он еще говорил?

Томасина. Кто? Ноукс?

Септимус. Не Ноукс. Джелаби. Вы же слышали рассказ Джелаби.

Томасина. А кухарка на него сразу зашикала и не дала ничего рассказать. Она-то помнила, что я рядом, — сама разрешила мне перед уроком доесть вчерашний

---

[1] Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать (*лат.*).(*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Пьер Ферма(1601—1665) — французский математик, один из создателей аналитической геометрии и теории чисел.

пирог с крольчатиной. А Джелаби меня просто не заметил. Знаешь, Септимус, по-моему, ты что-то недоговариваешь. Все-таки бельведер — это бельведер, а не кладовка с мясными тушами.

Септимус. Я и не утверждал, что определение исчерпывающее.

Томасина. Так, может, карнальное объятие означает поцелуй?

Септимус. Означает.

Томасина. И кто-то обхватывал руками саму госпожу Чейтер?

Септимус. Весьма вероятно. Возвращаясь к последней теореме Ферма...

Томасина. Так я и думала! Надеюсь, тебе стыдно?

Септимус. Мне? Помилуйте, миледи! За что?

Томасина. Кто растолкует мне незнакомые слова? Кто, если не ты?

Септимус. Ах вот... Ну да, разумеется, мне очень стыдно. Карнальное объятие — это процесс совокупления, когда мужской половой орган проникает в женский половой орган с целью продолжения рода и получения плотского наслаждения. В противоположность этому последняя теорема Ферма утверждает, что когда x, y и z являются целыми числами, то сумма возведенных в энную степень x и y никогда не равняется возведенному в энную степень z, если n больше двух.

Пауза.

Томасина. Брррр!!!

Септимус. Брр не брр, но такова теорема.

Томасина. Отвратительно и совершенно непонятно. Когда я вырасту и начну заниматься этим сама, буду вспоминать тебя каждый раз.

Септимус. Весьма признателен, миледи, весьма признателен. А госпожа Чейтер спускалась утром к завтраку?

Томасина. Нет. Расскажи еще о совокуплении.

Септимус. Вот о совокуплении добавить нечего.

Томасина. Это то же, что любовь?

Септимус. Гораздо лучше.

Одна из боковых дверей ведет в музыкальную комнату. Но сейчас открывается не она, а та, что напротив, и входит дворецкий Джелаби.

Джелаби, у меня урок.

Джелаби. Простите, господин Ходж, но господин Чейтер просил передать вам письмо незамедлительно.

Септимус. Ладно, давайте. (*Забирает письмо.*) Спасибо. (*Затем, чтобы дворецкий поскорее вышел, повторяет.*) Спасибо, Джелаби.

Джелаби (*настойчиво*). Господин Чейтер велел мне прийти с ответом.

Септимус. С ответом? (*Вскрывает письмо. Конверта как такового нет, но послание сложено, обернуто в чистую бумагу и запечатано. Септимус небрежно отбрасывает обертку и пробегает глазами письмо.*) Что ж, мой ответ таков: по обыкновению и долгу службы — на коей я нахожусь у его сиятельства — до без четверти двенадцать я занят обучением дочери его сиятельства. Как только я закончу — и если господин Чейтер к тому времени не раздумает — буду всецело к его услугам в... (*заглядывает в письмо*) оружейной комнате.

Джелаби. Спасибо, сэр, я так и передам.

Септимус складывает письмо и помещает его между страниц «Ложа Эроса».

Томасина. Джелаби, что сегодня на обед?

Джелаби. Вареный окорок с капустой, миледи, и рисовый пудинг.

Томасина. У-у, какая дрянь.

Джелаби выходит.

Септимус. Что ж, с господином Ноуксом все ясно. Он мнит себя джентльменом,

философом-эстетом, кудесником, которому подвластны горы и озера, а под сенью дерев ведет себя как самый настоящий ползучий гад.

Томасина. Септимус, представь, ты кладешь в рисовый пудинг ложку варенья и размешиваешь. Получаются такие розовые спирали, как след от метеора в атласе по астрономии. Но если помешать в обратном направлении, снова в варенье они не превратятся. Пудингу совершенно все равно, в какую сторону ты крутишь, он розовеет и розовеет — как ни в чем не бывало. Правда, странно?

Септимус. Ничуть.

Томасина. А по-моему, странно. **РАЗ**мешать не значит **РАЗ**делить. Наоборот, все смешивается.

Септимус. Так же и время — вспять его не повернуть. А коли так — надо двигаться вперед и вперед, смешивать и смешиваться, превращая старый хаос в новый, снова и снова, и так без конца. Чтобы пудинг стал абсолютно, неоспоримо и безвозвратно розовым. Вот и весь сказ. Это называют свободой воли или самоопределением. (*Он поднимает черепашку и переносит ее на несколько дюймов, точно она — его пресс-папье — посмела отползти по своим делам с бумаг, которые призвана удерживать.*) А ну-ка, сидеть!

Томасина. Септимус, как ты думаешь, Бог — ньютонианец?

Септимус. Итонианец? Выпускник Итона? Боюсь, что так. Впрочем, справьтесь у вашего братца. Пускай подаст запрос в палату лордов.

Томасина. Нет же, Септимус, ты не расслышал! Ньютонианец! Как по-твоему, я первая до этого додумалась?

Септимус. Нет.

Томасина. Но я же еще ничего не объяснила!

Септимус. «Если все — от самой далекой планеты до мельчайшего атома в нашем мозгу — поступает согласно ньютонову закону движения, в чем состоит свобода воли?» Так?

Томасина. Нет, не так.

Септимус. «В чем состоит промысел Божий?»

Томасина. Опять не так.

Септимус. «Что есть грех?»

Томасина (*презрительно*). Да нет же!

Септимус. Ну хорошо, слушаю.

Томасина. Если остановить каждый атом, определить его положение и направление его движения и постигнуть все события, которые не произошли благодаря этой остановке, то можно — очень-очень хорошо зная алгебру — вывести формулу будущего. Конечно, сделать это по-настоящему ни у кого ума не хватит, но формула такая наверняка существует.

Септимус (*помолчав*). Верно. (*Еще пауза.*) Верно, и, насколько я понимаю, вы действительно додумались до этого первая. (*Помолчав, с усилием.*) На полях своей «Арифметики» Ферма написал, что он нашел превосходное доказательство теоремы, но поля слишком узки, и оно не помещается. Записку нашли уже после его смерти, и с этого дня...

Томасина. А-а! Тогда все понятно!

Септимус. Не чересчур ли вы самонадеянны?

Дверь внезапно и несколько резко открывается. Входит Ч е й т е р.

Господин Чейтер! Вам, должно быть, неточно передали мой ответ. Я буду свободен без четверти двенадцать — если это вас устроит.

Чейтер. Не устроит! Мое дело безотлагательно, сэр!

Септимус. В таком случае вы, вероятно, заручились поддержкой его сиятельства лорда Крума, и он также считает, что ваше дело важнее образования его дочери?

Чейтер. Не заручился. Но, если угодно, я договорюсь.

Септимус (*помолчав*). Миледи, прошу вас удалиться в музыкальную комнату. Вместе с Ферма. Найдете доказательство теоремы — получите лишнюю ложку варенья.

Томасина. Увы, Септимус, ее не докажешь. Он оставил записку на полях, чтобы свести вас всех с ума. Пошутил.

Томасина выходит.

Септимус. Итак, сэр, в чем состоит столь безотлагательное дело?

Чейтер. Полагаю, вы и сами знаете. Вы оскорбили мою жену.

Септимус. Оскорбил? Полноте! Это не в моей натуре, не в моих правилах, и, наконец, я восхищен госпожой Чейтер и это решительно не позволяет мне ее оскорблять.

Чейтер. Наслышан о вашем восхищении, сэр! Вы оскорбили мою жену в бельведере вчера вечером!

Септимус. Ошибаетесь. В бельведере происходило нечто иное. Я совершал с вашей женой акт любви, а отнюдь не оскорблял ее. Она сама попросила об этой встрече, у меня и записка сохранилась, поищу, если угодно. Может, какой-то подлец осмелился заявить, что я не удовлетворил просьбу дамы и не пришел на свидание? Клянусь, сэр, — это гнусный поклеп!

Чейтер. А вы — гнусный развратник! Готовы погубить репутацию женщины из-за собственной низости и трусости! Но со мной это не пройдет! Я вызываю вас, сэр!

Септимус. Чейтер! Чейтер, Чейтер! Мой милый, любезный друг!

Чейтер. Не смейте называть меня другом! Я требую сатисфакции! Удовлетворения!

Септимус. Сперва госпожа Чейтер требует удовлетворения, теперь — вы... Не могу же я, в самом деле, удовлетворять семейство Чейтеров с утра до ночи! Что до репутации вашей жены — она незыблема. Ее ничем не погубить!

Чейтер. Негодяй!

Септимус. Поверьте, это чистая правда. Госпожа Чейтер полна живости и очарования, голос ее мелодичен, шаг легок, она — олицетворение всех прелестей, которые общество столь высоко ценит в существах ее пола, — и все же главная и самая известная ее прелесть состоит в постоянной готовности. Готовности столь жаркой и влажной, что даже в январе в этих тайниках можно выращивать тропические орхидеи.

Чейтер. Идите к черту, Ходж! Я не намерен это слушать! Вы будете драться или нет?

Септимус (*твердо и бесповоротно*). Нет! В этом мире существуют всего два-три первоклассных поэта, и я не хочу убивать одного из них из-за откровенных поз, которые некто подсмотрел в бельведере. А репутацию этой женщины не защитить даже отряду вооруженных до зубов мушкетеров, приставленных стеречь ее денно и нощно.

Чейтер. Ха! Я — первоклассный?! Вы всерьез? Кто же остальные? Ваше мнение?.. А, черт! Нет, не надо, Ходж! Не заговаривайте мне зубы, льстец! Так вы и в самом деле так считаете?

Септимус. Считаю. То же я ответил бы Мильтону[1] — будь он жив. Кроме отзыва о жене, разумеется...

Чейтер. Ну а среди живых? Господин Саути?

Септимус. В Саути я бы всадил пулю не раздумывая.

Чейтер (*печально кивая*). Да-да, он уже не тот... Меня восхищал «Талаба», но «Мэдок»!..[2] (*хихикает*) Господи спаси! Впрочем, мы отвлеклись, а дело безотлага-

---

[1] Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт и общественный деятель.

[2] «Талаба-разрушитель», «Мэдок» — поэмы Роберта Саути (1774 — 1843).

тельно. Итак, вы воспользовались прелестями госпожи Чейтер. Это плохо. Но еще хуже, что все вокруг — от конюха до посудомойки...

Септимус. Какого черта? Или вы не слышали, что я сказал?

Чейтер. Слышал, сэр. И слова ваши — не скрою — мне приятны. Видит Бог, истинный талант не ценят по достоинству, если носитель его не отирается среди писак и литературных поденщиков, не входит в свиту Джеффри[1], не обивает пороги «Эдинбургского...»

Септимус. Дорогой Чейтер — увы! — они судят о поэте по месту, отведенному ему за столом лорда Холланда![2]

Чейтер. Вы правы! Как вы правы! И как бы я хотел узнать имя того мерзавца! Представляете, он высмеял мою драму в стихах «Индианка» на страницах «Забав Пиккадилли».

Септимус. Высмеял «Индианку»? Я храню ее под подушкой и достаю, когда меня мучает бессонница! Это лучший лекарь!

Чейтер (*довольно*). Вот видите! А какой-то прохвост обозвал ее «Индейкой» и написал, что не скормил бы ее даже своему псу! Что ее не спасут ни гарнир, ни подлива, ни ореховая начинка. Госпожа Чейтер прочитала и залилась слезами, сэр. И не подпускала меня к себе целых две недели! О! Это напомнило мне о цели моего визита...

Септимус. Новая поэма несомненно увековечит ваше имя!

Чейтер. Вопрос не в этом!

Септимус. Здесь и вопроса нет! Что стоят происки жалкой литературной клики в сравнении с мнением всей читающей публики? «Ложу Эроса» обеспечен триумф.

Чейтер. Такова ваша оценка?

Септимус. Таково мое намерение.

Чейтер. Намерение? Как — намерение? Какое намерение? Ничего не понимаю...

Септимус. Видите ли, мне прислали один из пробных оттисков. Прислали на рецензию, но я намерен опубликовать не рецензию, а нечто большее. Пора наконец установить ваше первенство в английской литературе.

Чейтер. Да? Ну что ж... Конечно... Это очень... А вы уже написали?

Септимус (*с едким сарказмом*). Еще нет.

Чейтер. А-а... И сколько времени потребуется?..

Септимус. Для столь значительной статьи необходимо: во-первых, внимательно перечитать вашу книгу, обе книги, несколько раз, вкупе с произведениями других современных авторов — дабы всем воздать по заслугам. Я работаю с текстами, делаю выписки, прихожу к определенным выводам, а затем, когда все готово и душа моя и мысли пребывают в спокойствии и согласии...

Чейтер (*проницательно*). А госпожа Чейтер знала об этом перед тем, как она... как вы...

Септимус. Весьма вероятно.

Чейтер (*торжествующе*). Ни за чем не постоит! Все для меня сделает! Теперь-то вы поняли эту любящую натуру?! Вот это женщина! Вот это жена!

Септимус. Потому я и не хочу делать ее вдовой.

Чейтер. Капитан Брайс говорил в точности то же самое!

Септимус. Капитан Брайс?

Чейтер. Господин Ходж! С нетерпением жду рецензии! Позвольте надписать ваш экземпляр! Так, чем бы?.. А, вот перо леди Томасины...

Септимус. Так вы познакомились с лордом и леди Крум, потому что стрелялись с

---

[1] Фрэнсис Джеффри (1773—1850) — английский литератор, основатель (с 1802 года), издатель и редактор журнала «Эдинбургское обозрение».

[2] Генри Ричард Холланд (1773—1840) — английский политический деятель, виг, принимавший в своем доме многих видных деятелей искусства. Лорд и леди Холланд любили открывать новые литературные таланты.

братом ее сиятельства?

Чейтер. Нет! Все оказалось наветом, сэр, уткой! Но благодаря этой счастливой ошибке мне покровительствует теперь брат графини, капитан флота Его Величества. Не уверен, кстати, что сам господин Вальтер Скотт может похвастаться столь высокими связями. Зато я — почетный гость в поместье Сидли-парк.

Септимус. Что ж, сэр, вы получили прекрасную сатисфакцию.

Чейтер окунает перо в чернильницу и принимается подписывать книгу. Появляется Н о у к с. В руках у него рулоны чертежей. Чейтер пишет, не поднимая головы. Ноукс замечает двоих у стола. Он в замешательстве.

Ноукс. Ой! Простите...

Септимус. А! Господин Ноукс! Любитель мерзостей земных! Мой отважный соглядатай! Где же ваша подзорная труба?

Ноукс. Прошу покорно... я думал, ее сиятельство... простите...

В полнейшем смятении он пятится к двери, где его настигает голос Чейтера. Чейтер выразительно и громко читает дарственную надпись.

Чейтер. «Моему щедрому другу Септимусу Ходжу, который всегда готов отдать все лучшее, — от автора, Эзры Чейтера. Сидли-парк, Дербишир, 10 апреля 1809 года». (*Передает книгу Септимусу.*) Вот, сэр, сможете показывать внукам!

Септимус. О, я не заслуживаю столь лестных слов! Верно, Ноукс?

Их беседу прерывает появление за стеклянными дверями, ведущими в сад, л е д и К р у м и к а п и т а н а Э д в а р д а Б р а й с а, офицера Королевского флота. Говорить леди Крум начинает еще снаружи.

Леди Крум. Ах, нет! Только не бельведер! (*Она входит в сопровождении Брайса. В руках у него альбом в кожаном переплете.*) Господин Ноукс! Что я слышу?

Брайс. И не только бельведер! И до лодочного павильона добрался, и до китайского мостика, и до кустов акации, и...

Чейтер. Клянусь Богом, сэр! Это невозможно!

Брайс. Спроси господина Ноукса.

Септимус. Господин Ноукс, это чудовищно!

Леди Крум. Рада услышать возражения именно от вас, господин Ходж.

Томасина (*приоткрыв дверь из музыкальной комнаты*). Теперь мне можно вернуться?

Септимус (*пытаясь прикрыть дверь*). Еще не пора...

Леди Крум. Пусть останется. Дурной пример отвратит лучше, чем сто назиданий.

Брайс кладет альбом на конторку и открывает его. Это работы Ноукса, который, судя по всему, является ревностным почитателем «Красных книг» Хамфри Рептона[1]. Слева располагаются акварели, изображающие пейзаж «до», а справа — «после». Страницы искусно вырезаны, так что новая часть пейзажа при перелистывании накладывается на старую — хотя сам Рептон делал ровно наоборот.

Брайс. Что вы устроили из Сидли-парка? Место отдыха благородного джентльмена или притон корсиканских бандитов?

Септимус. Не стоит преувеличивать, сэр.

Брайс. Но это насилие! Самое настоящее насилие!

Ноукс (*запальчиво*). Таков современный стиль.

Чейтер (*он, так же как и Септимус, пребывает в заблуждении*). Да, таков стиль, хотя об этом можно только пожалеть.

Томасина подходит к конторке и внимательно рассматривает акварели.

Леди Крум. Господин Чейтер, вы всегда всем потакаете. Я взываю к вам, господин Ходж!

---

[1] Хамфри Рептон (1752—1818) — английский архитектор садов и парков. В «Красных книгах» (четыре тома) воспроизводятся его тексты с иллюстрациями и планами крупных ландшафтных проектов.

Септимус. Мадам! Я сожалею о бельведере, я искренне сожалею о бельведере и — до определенной степени — о лодочном павильоне. Но китайский мостик! Какая нелепость! Что до кустов акации — исключено! Меня возмущает само предположение! Господин Чейтер, неужели вы поверите этому не в меру озабоченному садоводу, которому под каждым кустом мерещится карнальное объятие?

Томасина. Септимус! Речь не о карнальном объятии, правда, маменька?

Леди Крум. Ну разумеется, нет! А ты-то что смыслишь в карнальных объятиях?

Томасина. Все! Спасибо Септимусу! На мой взгляд, господин Ноукс предлагает превосходный проект сада. Настоящий Сальватор!

Леди Крум. Что она мелет?

Ноукс (*не разобравшись, чем возмущена леди Крум*). Сальватор Роза[1], ваше сиятельство. Художник. И в самом деле, характернейший пример живописного стиля.

Брайс. Ходж, изволь объясниться!

Септимус. Ее устами глаголет не опыт, а невинность.

Брайс. Ничего себе невинность! Девочка моя, моя разрушенная невинность, он тебя погубил?

Пауза.

Септимус. Отвечайте дядюшке.

Томасина (*Септимусу*). Чем разрушенная невинность отличается от разрушенного замка?

Септимус. Подобные вопросы лучше адресовать господину Ноуксу.

Ноукс (*выспренне*). Разрушенный замок живописен.

Септимус. В том-то вся и разница. (*Обращается к Брайсу.*) Я преподаю девочке классических авторов, и кто, если не я, разъяснит ей значения употребляемых ими слов?

Брайс. Ты — ее наставник, и главная твоя цель — подольше продлить ее неведение.

Леди Крум. Не жонглируй парадоксами, Эдвард, не то падешь жертвой собственного остроумия. Томасина, пойди к себе в спальню.

Томасина (*направляясь к двери*). Хорошо, маменька. Я не хотела подводить тебя, Септимус, прости. Похоже, кое-что девочкам понимать разрешается — к примеру, всю алгебру до последней формулы, — а кое-что запрещается. Не дают, например, разобраться, что значит обхватывание руками мясной туши. Только когда девочка вырастет и обзаведется собственной тушей...

Леди Крум. Минуточку!

Брайс. О чем она?

Леди Крум. О мясе.

Брайс. О каком мясе?

Леди Крум. Томасина, пожалуй, останься. Похоже, в живописном стиле ты разбираешься лучше нас всех. Господин Ходж, невежество должно походить на пустой сосуд, готовый наполниться из колодца истины, а не на полный похабщины сундук. Господин Ноукс, теперь мы наконец слушаем вас.

Ноукс. Благодарю, ваше сиятельство...

Леди Крум. Вы изобразили чудесное превращение. Я ни за что не узнала бы собственный сад, не нарисуй вы его «до» вашего вторжения и «после». Только взгляните! Слева знакомая всем пасторальная утонченность английского сада, а справа вздыбился мрачный таинственный лес, громоздятся утесы, темнеют развалины — там, где и построек-то никогда не было; среди скал бурлят потоки — где прежде не было ни ручейка, ни камешка, только крикетные лунки. Моя гиацинтовая долина стала приютом для духов и гоблинов; попе-

[1] Сальватор Роза (1615—1673) — итальянский художник и гравер, представитель неаполитанской школы, известен в основном буйно-романтическими пейзажами.

рек китайского мостика — который считают более китайским, чем мостик в лондонском Кью-гарден, да и в самом Пекине, — валяется оплетенный вереском упавший обелиск...

Ноукс (*дрожащим, блеющим голоском*). У лорда Литтла точно такой же...

Леди Крум. Прикажете и мне терпеть подобные невзгоды? Лорда Литтла я этим не спасу. Господи, а это что? Что за сарай вы ставите вместо бельведера?

Ноукс. Эрмитаж, мадам. Иными словами, скит, приют отшельника.

Леди Крум. Я в полном недоумении.

Брайс. Но он неправильной формы.

Ноукс. Совершенно справедливо, сэр. Асимметрия — основополагающий принцип живописного стиля...

Леди Крум. Но Сидли-парк живописен и без ваших ухищрений. Склоны холмов зелены и покаты. Деревья стоят купами и прелестно смотрятся с любой стороны. Ручей берет свое начало в чаше холмов, в безмятежном зеркальном озере, и струится голубой лентой среди полей, где там и сям мирно пасутся барашки. Короче, все устроено со вкусом, природа естественна и прелестна, какой и задумал ее Создатель. И я, вторя художнику, восклицаю: «Et in Arcadia ego!» Здесь я в Аркадии, Томасина.

Томасина. Да, маменька. Допустим.

Леди Крум. Чем она недовольна? Моим вкусом или моим переводом?

Томасина. И то и другое поправимо, маменька. А вот с географией у вас полный провал.

Леди Крум. С девочкой что-то стряслось. Буквально за ночь! Во всяком случае, вчера я за ней никаких странностей не замечала. Сколько тебе стукнуло сегодня?

Томасина. Тринадцать лет и десять месяцев, маменька.

Леди Крум. Тринадцать лет и десять месяцев... Гм... Рановато. Дерзить ей не подобает еще по крайней мере полгода. А иметь свое мнение и вкус в таком возрасте вообще не пристало. Господин Ходж, вы — безусловный виновник происшедшего. Вернемся к вашим затеям, господин Ноукс...

Ноукс. Благодарю, ваше сия...

Леди Крум. Вы, по-моему, слишком увлеклись романами госпожи Радклиф[1]. И сад ваш списан с «Замка Отранто» или «Тайн Удольфо»...

Чейтер. Миледи, «Замок Отранто» написал Хорас Уолпол[2].

Ноукс (*восхищенно*). Уолпол? Здешний садовник?

Леди Крум. Господин Чейтер, покуда вы наш гость — дорогой гость, — автором «Замка в Отранто» будет тот, на кого укажу я. Иначе какой смысл принимать гостей? (*Слышатся отдаленные выстрелы.*) Что ж, палят уже на склоне холма... Я сама поговорю с лордом Крумом насчет сада... Обсудим... (*Выглядывает в окно.*) О! Ваш друг подстрелил голубя, господин Ходж. (*Громко.*) Браво, сэр!

Септимус. Думаю, это добыча вашего супруга или сына, миледи. Мой однокашник никогда не был охотником.

Брайс (*выглядывает в окно*). Верно! Его убил Огастес! Браво, мальчик!

Леди Крум (*уже снаружи*). Пойдемте же! Где мои адъютанты?

Брайс, Ноукс и Чейтер послушно идут следом. Чейтер задерживается лишь на мгновение — пожать Септимусу руку.

Чейтер. Мой дорогой, дорогой господин Ходж!

Чейтер выходит. Выстрелы слышны снова, гораздо ближе.

---

[1] Анна Радклиф (1764—1823) — наиболее яркая представительница готического романтизма в английской прозе. Самый известный роман — «Тайны Удольфо» (1794).

[2] Хорас Уолпол (1717—1797) — английский писатель, коллекционер и знаток искусства, родоначальник готического романа. «Замок Отранто» написан в 1765 году.

Томасина. Пах! Пах! Пах! Я расту под звуки ружейной пальбы, точно ребенок в осажденном городе. Круглый год — голуби и грачи, с августа — тетерева на дальних холмах, потом фазаны, куропатки, бекасы, вальдшнепы, кулики. Пах! Пах! Пах! А после — отстрел нагульного скота. Папеньке не нужен биограф, вся его жизнь — в охотничьих книгах.

Септимус. Календарь убоя. Смерть повсюду, даже «здесь, в Аркадии...»

Томасина. Подумаешь, смерть... (*Окунает перо в чернила и идет к конторке.*) Подрисую-ка я отшельника. Что за эрмитаж без отшельника? Септимус, ты влюблен в мою мать?

Септимус. Вам не следует быть умнее старших. Это невежливо.

Томасина. А я умнее?

Септимус. Да. Гораздо.

Томасина. Прости, Септимус. Я не нарочно. (*Прекращает рисовать и достает из кармана конвертик.*) В музыкальную комнату заходила госпожа Чейтер. Принесла для тебя записку — чрезвычайной секретности, важности и срочности. Я должна передать ее секретно, срочно и... Слушай, а от карнального объятия не трогаются умом?

Септимус (*забирая письмо*). Непременно. Спасибо. Все, познаний на сегодня предостаточно.

Томасина. Вот та-а-ак... Он у меня похож на Иоанна Крестителя в пустыне.

Септимус. Весьма живописно.

Издали слышится голос леди Крум. Она зовет Томасину. Та срывается с места и убегает в сад — веселая беззаботная девочка.

Септимус вскрывает письмо госпожи Чейтер. Смяв конверт, отбрасывает его в сторону. Читает, складывает и сует листок между страниц «Ложа Эроса».

Сцена вторая

Из затемнения возникает та же комната, в такое же утро, но в наши дни. Это становится мгновенно и безусловно ясно благодаря внешнему виду Ханны Джарвис. Иных свидетельств нет.

Следует сказать об этом еще несколько слов. Действие пьесы происходит попеременно то в начале XIX века, то в наше время, причем в одной и той же комнате. Вид комнаты — вопреки ожиданиям — нисколько не меняется. Она вполне соответствует обеим эпохам. Что касается реквизита — книг, бумаг, цветов и т.д., — нет необходимости заменять предметы быта, присущие началу прошлого века, современными — пускай соседствуют на одном столе. Однако вещи, используемые и в прошлом, и в настоящем, должны иметься в двух экземплярах, поскольку по ходу пьесы им необходимо постареть. Парк — как мы узнаем из диалога — претерпел существенные изменения. А вот то, что доступно зрительскому глазу, остается неизменным и не противоречит ни одной из эпох.

Согласно этому принципу, чернильницы, перья и прочие вещи, игравшие в первой сцене, могут все время оставаться на столе. Равно как книги и бумаги, связанные с исследованиями Ханны во второй сцене, могут находиться на столе с самого начала. Это относится к любым предметам. По ходу действия все они скапливаются на столе, и, если какая-то вещь выглядит анахронизмом для какой-то из эпох (допустим, кофейная кружка), ее просто не замечают.

К концу спектакля на столе окажется целая куча разнообразных предметов.

Ханна разглядывает альбом с акварелями Ноукса. Кроме того, она то и дело обращается к небольшим, одинаковым с виду тетрадкам с дневниковыми записями (вскоре выяснится, что это «садовые книги» леди Крум). Через некоторое время она подходит с альбомом к окну — сравнить вид с акварелями Ноукса. Потом кладет альбом обратно на конторку.

Одета она вполне строго. Обувь пригодна для сырого, грязного сада. Туда она и отправляется, прихватив со стола теодолит. Комната на время пустеет.

Затем одна из дверей распахивается. Входят Хлоя и Бернард. Она — дочь хозяев, одета по-домашнему. Бернард — гость, он в костюме и при галстуке. Вообще он любит одеваться пестро, но сегодня несколько умерил яркость красок, лишь крикливый носовой платок, торчащий из нагрудного кармана, намекает на его пристрастия. В руках у него объемистый кожаный портфель.

Хлоя. Но она была здесь! Только что.

Бернард. Все ясно! Дверь в сад...

Хлоя. Ну конечно! Погодите, я сейчас.

Хлоя выходит через стеклянную дверь и скрывается из виду. Бернард ждет. Открывается другая дверь, и заглядывает В а л е н т а й н.

Валентайн. Вот гады.

Валентайн исчезает, захлопнув дверь. Возвращается Х л о я с резиновыми ботами, садится и, разговаривая с Бернардом, снимает туфли и надевает боты.

Хлоя. Подождите лучше здесь, чего по грязи таскаться. Она почти все время проводит в саду, сами понимаете.

Бернард. Да? Почему?

Хлоя. Она же пишет историю сада, вы не знали?

Бернард. Я знал, что она работает с архивами Крумов, но...

Хлоя. Точнее, это не история сада, а... Ладно, пусть Ханна сама объяснит. Но канава, в которой вы чуть не застряли, — ее рук дело. Ладно, я пошла... Тьфу, даже не скажешь — располагайтесь поудобнее! Какие уж тут удобства, голые стены от комнаты остались. Все вынесли, подчистую. «В сортир — прямо». Прямо в сортир.

Бернард. Что, обстановку комнаты?

Хлоя. Нет, сама комната — кратчайший путь в сортир.

Бернард. А-а, понятно. Вы сказали «Ханна»?

Хлоя. Да, Ханна. Так я оставлю вас на минуту? Я быстренько. (*Она уже надела боты. Распрямляется. Видит, что он не слушает.*) Мистер Солоуэй?

Бернард (*очнувшись*). Да-да, спасибо. Значит, мисс Джарвис — писательница Ханна Джарвис?

Хлоя. Конечно. Вы читали ее книгу?

Бернард. Еще бы!

Хлоя. Она наверняка в эрмитаже, просто отсюда не видно, шатер мешает.

Бернард. Вы принимаете гостей в саду?

Хлоя. Ежегодно даем бал для всей округи. Все наряжаются, танцуют и напиваются вдрызг. Но предки теперь не разрешают гудеть в доме. Однажды нам пришлось перед самым закрытием гнать на аукцион Кристи — покупать чайничек эпохи Реставрации. С тех пор все, что можно разбить, украсть или заблевать, убирается заранее. Тактично. А на самом деле — совершенно бестактно.

Она уже у двери в сад.

Бернард. Гм... послушайте... скажите ей, что... Не говорите пока моей фамилии.

Хлоя. Не говорить? Хорошо...

Бернард (*улыбаясь*). Пусть будет сюрприз. Не возражаете?

Хлоя. Нет... Но она спросит, кто вы... Может, дать вам другую фамилию?

Бернард. Отлично! Прекрасная мысль.

Хлоя. Так, Солоуэй... Возьмем какую-нибудь другую птицу... На соловья вы все равно не похожи.

Выходит. Бернард оглядывает стол с книгами. Кладет портфель. Слышатся далекие выстрелы. Их звук заставляет Бернарда подойти к окну. Он выглядывает. Открывается одна из внутренних дверей — та, через которую он вошел, — и появляется Г а с. Бернард поворачивается, видит подростка.

Бернард. Добрый день.

Гас молчит. Он вообще всегда молчит. Возможно, он не умеет говорить. Еще он моментально смущается и замыкается — особенно сейчас, столкнувшись с незнакомцем. Гас исчезает. Мгновение спустя дверь снова открывается, и через комнату проходит В а л е н т а й н. Он не то чтобы игнорирует Бернарда, но притворяется, будто не видит его.

Валентайн. Гады, сволочи, гады, сволочи, гады... (*Он произносит это столько раз, сколько ему требуется, чтобы пересечь комнату и выйти в противоположную дверь. Он плотно закрывает ее за собой. Слышно, как он зовет: «Хлоя! Хлоя!»*

Бернарду становится все неуютнее. Дверь открывается снова, возвращается Валентайн. Он смотрит на Бернарда в упор.)

Бернард. Она в саду, ищет мисс Джарвис.

Валентайн. А где всё?

Бернард. Убрали, вынесли... Из-за... э...

Валентайн. Ведь танцы на улице, в шатре?

Бернард. Насколько я понял, через эту комнату лежит путь в ближайший туалет.

Валентайн. Но мне нужен большой стульчак!

Бернард. А туалетом вы не можете воспользоваться?

Валентайн. Там лежат охотничьи книги!

Бернард. В туалете или в стульчаке?

Валентайн. А вы тут чего ждете? Вами кто-нибудь занимается?

Бернард. Да-да, спасибо. Меня зовут Бернард Солоу... Гм... Я приехал повидать мисс Джарвис. Я писал лорду Круму, но ответа, к сожалению, не получил, поэтому рискнул...

Валентайн. Вы его напечатали?

Бернард. Простите? Не понял...

Валентайн. Ваше письмо было отпечатано на машинке?

Бернард. Да.

Валентайн. Отец на такие письма не отвечает. (*Замечает на столе, под бумагами, черепашку.*) Молния! Наконец-то! Где же ты пряталась, глупышка? (*Берет черепашку в руки.*)

Бернард. Поэтому я позвонил вчера вечером и поговорил... Похоже, что с вами...

Валентайн. Со мной? Ах, да! Ну конечно! Простите! Вы готовите передачу... не помню о чем, и хотели спросить у Ханны... не помню что.

Бернард. Верно. Вот так и получилось... Надеюсь, мисс Джарвис отнесется ко мне благосклонно.

Валентайн. Сомневаюсь.

Бернард. Вы что-нибудь обо мне знаете?

Валентайн. Я знаю Ханну.

Бернард. Давно она здесь?

Валентайн. Во всяком случае, участок застолблен. Моя мать прочитала ее книгу. А вы читали?

Бернард. Нет. Да. Ее книгу? Ну конечно!

Валентайн. Она чрезвычайно собой горда.

Бернард. Еще бы. Если б я написал бестселлер...

Валентайн. Да я про мать. Она гордится, что осилила книгу. Обыкновенно она читает только книги по садоводству.

Бернард. Она, должно быть, счастлива, что Ханна Джарвис пишет книгу о ее саде?

Валентайн. Ну, на самом деле книга об отшельниках...

На пороге снова появляется Гас. И снова поворачивается, чтобы уйти.

Постой, Гас, не бойся. Что ты хочешь?

Но Гас исчезает.

Ладно. Устрою-ка я Молнии маленькую пробежку.

Бернард. Вообще-то мы знакомы. Мы с вами встречались в Сассексе, пару лет назад, на семинаре...

Валентайн. Правда? Я там был?

Бернард. Да. Помните, один мой коллега нашел рассказ — якобы Лоуренса — и проанализировал его на компьютере? Помните такой доклад?

Валентайн. Смутно. Я порой сижу с закрытыми глазами. И это — вообразите! — часто означает, что я сплю.

Бернард. Ну, мой коллега сравнил структуру предложений и прочая и прочая и

установил, что существует высокая, девяностопроцентная, вероятность, что рассказ и в самом деле написан автором «Любовника леди Чаттерли». А потом, к моему безграничному восторгу, один из ваших высоколобых коллег-математиков продемонстрировал, что с тем же успехом Лоуренс мог написать «Уильяма»[1] или заметку в местной газете...

Валентайн (*помолчав*). «Уильяма»? Да, пожалуй, я там был. (*Выглядывает в окно.*) А, вот и Ханна. Покидаю вас, покидаю, беседуйте наедине. Кстати, это ваша красная «мазда» у входа?

Бернард. Да

Валентайн. Хотите добрый совет? Уберите-ка ее с глаз долой, хоть на конюшню, до прихода отца. Он не потерпит в доме владельца японской машины. А вы не педик?

Бернард. Вроде нет.

Валентайн. И тем не менее...

Валентайн выходит, закрывает дверь. Бернард смотрит ему вслед. За его спиной, у стеклянной двери, ведущей в сад, появляется Х а н н а.

Ханна. Мистер Павлини?

Бернард озирается — сперва рассеянно, затем недоуменно: он ищет несуществующего Павлини. Потом, очнувшись, соображает, что Павлини, по всей вероятности, он сам, Солоуэй, и есть, и рассыпается в неумеренно восторженных приветствиях.

Бернард. О! Здравствуйте! Здравствуйте! Мисс Джарвис? Ну разумеется, мисс Джарвис! Очень, очень рад. Я, признаться, опешил, просто онемел поначалу: вы такая красивая, намного, намного красивее, чем на фотографии!

Ханна. На какой фотографии?

Она снимает туфли — в грязи и глине.

Бернард. На задней странице обложки. Простите, что вам пришлось вернуться из-за меня в дом, но леди Хлоя великодушно и настойчиво...

Ханна. Ничего. Иначе вы бы испачкали обувь.

Бернард. Да-да, очень предусмотрительно! И как мило, что вы готовы уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени!

Он явно перебарщивает. Она смотрит на него долго, пристально.

Ханна. Вы журналист?

Бернард (*негодующе*). Ни в коем случае!

Ханна (*разглядывая свои туфли*). Все-таки нельзя рыться в канаве без сапог. Теперь будут целый день хлюпать. Какие страхолюдины!

Бернард (*внезапно*). Плюх — хлюп.

Ханна. Что-что?

Бернард. Это моя теория. Из плюха, то есть общения с водой, всегда получается хлюп: или ботинки хлюпают, или нос... А страхолюдинами, кстати, в некоторых странах называют пугала, которые ставят на поля нагонять страху на птиц и коров, а вовсе не на людей.

Бернард производит на Ханну все более и более неприятное впечатление, но сам об этом не подозревает и продолжает безмятежно болтать. Ханна смотрит на него пристально.

Ханна. Мистер Павлини, вы ведь по делу? Чем могу служить?

Бернард. Ну, во-первых, меня зовут Бернард. Давайте уж по имени, запросто.

Ханна. Хорошо, спасибо.

Подходит к стеклянной двери и принимается стучать облепленными грязью туфлями друг об дружку, соскребать и стряхивать с них комья глины.

---

[1] Серия книг английского писателя Ричмела Кромптона (1890—1969) о приключениях одиннадцатилетнего мальчика.

Бернард. Ваша книга! Это настоящее откровение! Каролина Лэм[1] предстает в ней совершенно иной! Я взглянул на нее вашими глазами и точно узнал заново! Стыдно признаться, я никогда не включаю в лекции ее прозу, а ведь вы правы: она совершенно удивительна. Вообще начало девятнадцатого века — мой период. Я люблю его самой нежной любовью.

Ханна. Вы преподаете?

Бернард. Да. И пишу. Как вы, как все мы, хотя мои книги не раскупаются так успешно, как ваша «Каро»[2].

Ханна. Я не преподаю.

Бернард. Нет? Что ж, за это вас можно только уважать! Возвратить потомкам забытого писателя — завидный удел. Мечта английского профессора...

Ханна. А как же лекции? Студенты?

Бернард. Подумаешь! Щенков надо бросать в воду, пускай барахтаются... Так что примите мои самые искренние поздравления. Полагаю, теперь кто-нибудь наверняка издаст oeuvre[3] Каролины Лэм.

Ханна. Да, возможно.

Бернард. Великолепно! Браво! Даже просто как документ, проливающий пусть слабый, пусть отраженный свет на характер лорда Байрона, ваша книга неизбежно будет...

Ханна. Бернард, так, кажется?

Бернард. Да.

Ханна. Я надеваю туфли.

Бернард. Почему? Вы уходите?

Ханна. Нет. Просто хочу пнуть вас в задницу. И побольнее.

Бернард. Вас понял. Перехожу к делу. Эзра Чейтер.

Ханна. Эзра Чейтер.

Бернард. Родился в Твикенгеме, графство Мидлсекс, в 1778 году. Автор двух поэм. «Индианка» — опубликована в 1808 — и «Ложе Эроса» — опубликовано в 1809 году. После 1809 года никаких сведений. Исчез с горизонта.

Ханна. Понятно. Что дальше?

Бернард (*лезет в портфель*). Чейтер связан с поместьем Сидли-парк. (*Достает из портфеля «Ложе Эроса». Читает написанную от руки дарственную надпись.*) «Моему щедрому другу Септимусу Ходжу, который всегда готов отдать все лучшее, — от автора, Эзры Чейтера. Сидли-парк, Дербишир, 10 апреля 1809 года». (*Передает ей книгу.*) Смиренный раб в вашей власти!

Ханна. «Ложе Эроса». Хорошая вещь?

Бернард. Весьма любопытная.

Ханна. И вы думаете выжать из этого Чейтера книгу?

Бернард. Нет-нет, от силы статью для «Вестника новейших исследований по английской литературе». О Чейтере очень мало известно. Почти ничего. В «Словаре национальных биографий», разумеется, ни слова: ко времени его подготовки он был уже совершенно забыт.

Ханна. А родственные связи?

Бернард. По нулям. И в базе данных Британской библиотеки нашелся только один Чейтер.

Ханна. Современник?

Бернард. Да. Но, в отличие от нашего Эзры, не поэт, а ботаник. Описал какую-то разновидность далий на острове Мартиника и умер там же от укуса обезьяны.

---

[1] Леди Каролина Лэм (1785—1828) — английская писательница, жена Уильяма Лэма, виконта Мельбурна, ставшего позднее премьер-министром (1835—1841). Ее недолгий, но бурный роман с Дж.Г.Байроном начался весной 1812 года и в ноябре окончился разрывом — по инициативе Байрона. Свою версию этой любовной связи она дала в романе «Гленарвон» (1816).

[2] Домашнее имя Каролины Лэм. Так называл ее и Байрон.

[3] Собрание сочинений (*франц.*).

Ханна. А Эзра Чейтер есть в каталоге?

Бернард. Только в периодике. Упомянут дважды, поскольку на каждую его книгу давали пространную рецензию в «Забавах Пиккадилли». Был в те времена такой листок, выходил трижды в неделю в большом формате. Но сведений, кроме имени автора, никаких нет.

Ханна. А это вы где откопали? (*Кивает на книгу.*)

Бернард. В частной коллекции. На следующей неделе мне предстоит читать в Лондоне лекцию, и я хотел бы рассказать о Чейтере, он представляется мне весьма любопытным. Поэтому всевозможные детали — о нем или об этом Септимусе Ходже, любые нити, любые имена... Буду чрезвычайно признателен.

Пауза.

Ханна. Гм... Что-то новенькое. Лебезящий академик.

Бернард. Ну что вы...

Ханна. Так и есть, не отнекивайтесь. Прежде академики меня только по плечу похлопывали: пиши-пиши, мол, девочка, почитаем.

Бернард. Невероятно!

Ханна. Очень вероятно. Байроноведы — вся шайка — и вовсе ширинки порасстегивали и облили мою книгу — от избытка снисходительности. Да, кстати, где вы препо... То есть где барахтаются ваши студенты?

Бернард. Э... В Сассексе.

Ханна. В Сассексе... (*На миг задумывается.*) Солоуэй. Да, точно, Солоуэй. Вылил свою струю — мощную, на тысячу слов — в «Обсервере». Кыш, мол, с чужих угодий, тут мы пасемся. И под зад шлепнул напоследок — чтоб побыстрей выкатывалась. Солоуэй из Сассекса. Вы должны его знать.

Бернард. Повторяю, я — всецело в вашей власти.

Ханна. Еще бы... Ну, и где волшебное слово?

Бернард. Пожалуйста!

Ханна. Ладно. Садитесь.

Бернард. Спасибо.

Он садится. Она остается стоять. Возможно, она из курящих. Если так, то сейчас — самое время. Хорошо бы она вставила сигарету в коротенький мундштук. Или курила бы длинные коричневые «женские» сигаретки.

Ханна. Как вы узнали, что я здесь?

Бернард. Я не знал. Я говорил по телефону с хозяйским сыном, но он не упомянул вашего имени. А потом и вовсе забыл о моем приезде и никого не предупредил.

Ханна. Это Валентайн. Преподает в Оксфорде. То есть числится.

Бернард. Я встречал его раньше. Из этих... «Многоуважаемый шкаф![1] Приветствую твое существование...»

Ханна. Мой жених.

Она выдерживает его долгий пристальный взгляд.

Бернард (*после паузы*). Что ж, рискну. Ты лжешь.

Ханна (*после паузы*). Не слабо, Бернард.

Бернард. Боже...

Ханна. Он называет меня невестой.

Бернард. Почему?

Ханна. В шутку.

---

[1] В оригинале «Brideshead Regurgitated» — исковерканное название знаменитого романа Ивлина Во «Brideshead Revisited» (1945), которой для многих англичан ассоциируется с ностальгией по великому прошлому английской земельной аристократии. Аналогичные ассоциации вызывает у российского читателя «Вишневый сад» А.П.Чехова. Брайдсхед — название поместья. Дословно у Стоппарда получилось не «вновь посещенный», а «выблеванный» Брайдсхед.

Бернард. Ты ему отказала?
Ханна. Не говори ерунды. Разве я гожусь в графини?
Бернард. Нет, конечно. Это он для красного словца. «Моя черепаха Молния, моя невеста Ханна...»
Ханна. Да. Верно. В тебе что-то есть, Бернард. Не скажу «приятное», но... Занятное.
Бернард. А что он делает, твой Валентайн?
Ханна. В аспирантуре учится. Биолог.
Бернард. Он же математик!
Ханна. Его объект — тетерки и куропатки.
Бернард. Стреляет?
Ханна. Считает. На компьютере.
Бернард. А кто этот мальчик? Который молчит.
Ханна. Гас.
Бернард. Он болен?
Ханна. Не спрашивала.
Бернард. Отца я пока не видел, но тоже, судя по всему, экземплярчик.
Ханна. Да уж...
Бернард. А мамаша помешана на садоводстве. Слушай, что тут происходит?
Ханна. То есть?
Бернард. Я когда подъезжал, чуть ей голову не снес. Рылась в какой-то канаве.
Ханна. Археологические раскопки. Когда-то здесь был регулярный итальянский парк, года до 1740-го. Леди Крум интересуется историей имения. Я прислала ей свою книгу, там — если помнишь, если ты ее вообще читал, в чем я лично сомневаюсь, — есть довольно подробное описание сада Каролины в Брокет-холле. Теперь я помогаю Гермионе в раскопках.
Бернард (*потрясенно повторяет*). Гермионе...
Ханна. Есть точные чертежи, есть садовые книги, только никто этим раньше не занимался.
Бернард. Начинаю тобой восхищаться.
Ханна. А прежние восторги, значит, по боку? Вранье?
Бернард. Конечно. И с фотографией полное соответствие. Насчет книги — еще вопрос.

Она задумчиво разглядывает его. Он ждет, уверенный в победе.

Ханна. Септимус Ходж был домашним учителем.
Бернард (*тихо*). Вот умница.
Ханна. Он обучал дочь лорда Крума. Сын учился в Итоне. Септимус жил в доме: в расходной книге против его имени значатся вино и свечи. Не гость, но и не слуга. Среди документов сохранилось его письмо, саморекомендация. Потом отыщу. Насколько мне помнится, он изучал в Кембридже математику и естественную философию. Некоторым образом ученый.
Бернард. Очень впечатляюще. Спасибо. Ну а Чейтер?
Ханна. О нем ничего нет.
Бернард. Ни документа? Ни строчки?
Ханна. Ничегошеньки.
Бернард. А в библиотеке?
Ханна. Каталог составлен в восьмидесятых годах прошлого века. Я проглядела почти все.
Бернард. Каталог или книги?
Ханна. Каталог.
Бернард. Плохо. Смотреть надо книги.
Ханна. Извини.
Бернард. А в письмах? Его никто не упоминает?

Ханна. Увы. Твой любимый период я изучала внимательно. Потому что это и мой период.

Бернард. Правда? Я ведь, собственно, даже не знаю, чем ты сейчас зани...

Ханна. Отшельником Сидли-парка.

Бернард. Хм... Кто такой?

Ханна. Моя веха. Его жизнью я измеряю нервный срыв, который претерпело романтическое мироощущение. Поэтому меня интересует ландшафт и литература примерно с 1750 по 1834 год.

Бернард. Что случилось в 1834 году?

Ханна. Умер мой отшельник.

Бернард. Логично.

Ханна. Что значит «логично»?

Бернард. Ничего.

Ханна. Но ты же имел что-то в виду?

Бернард. Да нет... Впрочем... Колридж[1] тоже умер в 1834 году.

Ханна. Верно, умер. И весьма кстати. (*Уже мягче.*) Спасибо, Бернард. (*Подходит к конторке и открывает альбом с акварелями Ноукса.*) Посмотри, вот он.

Бернард заглядывает в альбом.

Бернард. Гм...

Ханна. Единственное изображение отшельника Сидли-парка.

Бернард. Весьма библейский образ.

Ханна. Разумеется, фигура подрисована позднее. Ноукс писал акварели, когда эрмитаж был только в проекте.

Бернард. Ноукс? Художник?

Ханна. Архитектор. Точнее, специалист по ландшафтной архитектуре. Он делал для своих клиентов такие альбомы, вроде рекламного проспекта. (*Демонстрирует.*) Видишь? Пейзаж «до» и «после». Вот так выглядел парк до... ну, скажем, 1810 года. Все мягко, покато, безмятежно, извилисто: водная гладь, купы дерев, лодочный павильон в классическом стиле.

Бернард. Прелестно. Настоящая Англия.

Ханна. Не говори ерунды, Бернард. Английский пейзаж изобрели садовники в подражание иноземным художникам, а те, в свою очередь, возрождали классических авторов. Английский пейзаж завезли в Англию в чемодане: сувенир из заморского путешествия. Суди сам: Дар Браун[2] подражал Клоду[3] , а тот воплощал на холсте Вергилиевы тексты. Короче, аркадская идиллия! Ну а здесь, благодаря вмешательству Ричарда Ноукса, природа становится дикой, бурной, неукротимой — в стиле Сальватора Розы. Готический роман в пейзаже. Только вампиров не хватает... Да, между прочим, моего отшельника упоминает в письме твой прославленный однофамилец.

Бернард. Который?

Ханна. Томас Лав Павлини[4].

Бернард. Павлини? Ах да, Павлини...

Ханна. Я обнаружила это в статье об отшельниках и анахоретах. Опубликована в «Корнхиллском журнале» в шестидесятых годах. (*Роется в кипах книг на столе, находит журнал.*) В 1862 году. Павлини называет его... (*Цитирует по па-*

---

[1] Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834) — английский поэт и критик.

[2] Ланселот Браун (1716—1783) — английский мастер ландшафтной архитектуры. Больше известен под прозвищем Кейпабилити Браун. (*Capability* — дословно: способность, одаренность, дар).

[3] Клод Лоррен (1600—1682) — французский живописец и график. Известен торжественными по композиции и мечтательно-элегическими по настроению «идеальными» пейзажами.

[4] В оригинале игра слов: фамилию Бернарда — Nightingale (дословно — Соловей) — Хлоя переиначивает на Peacock (Павлин). Таким образом в этом месте упоминается реальное историческое лицо, Томас Лав Пикок (1785—1866), английский сатирический поэт и писатель, автор «Аббатства кошмаров», «Усадьбы Грилла» и т.д.

мяти.) «Не деревенский дурачок, не пугало для дам и девиц, но истинный ум среди лишенных ума, пророк среди безумцев».

Бернард. Фигура речи.

Ханна (*занята поисками*). Да-да... Что ты сказал?

Бернард. Ничего.

Ханна (*находит нужное место в тексте*). Вот. «Мы видели письмо, написанное автором «Аббатства кошмаров» около тридцати лет назад, где говорится об его поездке в Сидли-парк, поместье лорда Крума...»

Бернард. Письмо к Теккерею?

Ханна (*застигнута врасплох*). Не знаю. Какая разница?

Бернард. Никакой. Прости. (*Все его вопросы и недоговоренности рассчитаны на то, чтобы вселить в нее новые — напрасные — надежды. Но Ханна не заглатывает наживку.*) Только ведь Теккерей редактировал «Корнхилл» до 1863 года, до самой — как ты понимаешь — смерти. Отец его служил в Ост-индской компании, где Павлини занимал пост ревизора, поэтому вполне возможно, что... если статья написана Теккереем... письмо тоже адресовано... Ладно, прости. Продолжай... Впрочем, Ост-индская библиотека в Блэкфрайерсе[1] располагает почти всеми письмами Павлини, поэтому будет очень легко... Прости. Можно взглянуть? (*Она молча передает ему «Корнхилл».*) Ну разумеется. Вырвано из середины. Ни имени адресата, ни подписи автора. Может, и стоит... Ладно, продолжай, я слушаю... (*Он листает статью и вдруг начинает хихикать.*) Ну еще бы! Типичный Теккерей. Никаких сомнений. (*Захлопывает журнал.*) Невыносимо... (*Отдает ей журнал.*) Так о чем ты говорила?

Ханна. Ты всегда такой?

Бернард. Какой?

Ханна. Суть в том, что Крумы истинной цены своему отшельнику не знали. Торчит себе и торчит под носом. Целых двадцать лет. Крумы, как я выяснила, нигде о нем не упоминают. И, к сожалению, письмо Павлини — по-прежнему единственный источник. Когда я это прочитала... (*Кивает на журнал.*) Наверно, у тебя тоже такое бывает... вроде озарения... И ты точно знаешь, о чем будет твоя следующая книга. Отшельник Сидли-парка для меня...

Бернард. Веха.

Ханна. Явление свыше.

Бернард. Точно. Явление свыше.

Ханна. Его словно поместили в пейзаж. Как фарфоровую статуэтку. Гномика. Так он и прожил всю жизнь — элементом декора. Одной из красот сада.

Бернард. Он чем-нибудь занимался?

Ханна. Даже очень. После его смерти из эрмитажа выгребли множество бумаг. Весь домик был завален бумагами — сотни, тысячи листов. Павлини пишет: все ждали гениальных откровений. Выяснилось, разумеется, что он был чокнутый. Все до последней странички было испещрено каббалистическими закорючками с доказательством скорого конца света. Само совершенство, правда? Идеальный символ.

Бернард. Правда. Только чего?

Ханна. Всего романтического мифа, Бернард! Блефа, в который выродилась эпоха Просвещения. Век Интеллекта, век Разума — сурового, безжалостного, непреклонного — взял и вывернулся наизнанку. Умалишенного подозревают в гениальности! И обрамление достойное: дешевые готические ужасы и фальшивый трепет сердец. Все это великолепно отражено в истории сада. Сохранилась гравюра. Сидли-парк в 1730 году. Прослезиться можно от умиления. Райский сад в эпоху всеобщего Разума. К 1760 году от него не остается и сле-

[1] Блэкфрайерс — район в центре Лондона, где раньше располагался доминиканский монастырь: дословно Blackfriars — «доминиканцы».

да. Все, решительно все — фигурно подстриженные кусты, пруды, террасы, фонтаны, липовую аллею, — всю высокую и чистую красоту Дар Браун сравнивает с землей. Накануне трава зеленела у крыльца — теперь она видна разве что на горизонте; лучшая во всем Дербишире живая изгородь из самшита выкорчевана и на ее месте прорыты канавки. Видите ли, изгородь мешала этим болванам притворяться, что Боженька их только что сотворил вместе с природой! А потом является Ричард Ноукс и переиначивает Божий сад сообразно новому понятию о Боге. Когда он закончил, пейзаж выглядел примерно так (*показывает на альбом с акварелями*). Путь от разума к чувству. То есть полнейший упадок, закат и деградация.

Бернард (*оценивающе*). Здорово сказано. (*Ханна смотрит на него в ожидании подвоха, но он дает серьезную профессиональную оценку.*) Выдержит любую критику.

Ханна. Спасибо.

Бернард. Только канавки мне по душе. А ты, похоже, любишь живые изгороди.

Ханна. Я не люблю сентиментальности.

Бернард. Понятно. И это искренне? По-моему, к геометрии сада ты относишься вполне сентиментально. Но про отшельника выстроено славно. Гений в пейзаже.

Ханна (*довольная*). Книга так и называется.

Бернард. Естественно.

Ханна (*уже не столь довольная*). Почему «естественно»?

Бернард. Естественно, потому что кем он, собственно, был, пока не стал символом? Кем был гений вне пейзажа?

Ханна. Не знаю.

Бернард. Вот видишь!

Ханна. То есть пока не знаю.

Бернард. И не узнаешь. Что они сделали с его бумагами? Павлини что-нибудь пишет?

Ханна. Устроили большой костер.

Бернард. Вот-вот!..

Ханна. Я еще не просмотрела «садовые книги» леди Крум.

Бернард. Расходные записи или дневники?

Ханна. Там всего понемножку. Пробелов тоже хватает, но период более или менее вырисовывается.

Бернард. В самом деле? А на Байрона ты нигде не натыкалась? Это я так, из праздного любопытства...

Ханна. В библиотеке есть первое издание «Чайльд-Гарольда» и, по-моему, «Английские барды»[1].

Бернард. С дарственной надписью?

Ханна. Нет.

Бернард. А в письмах он не всплывает?

Ханна. С какой стати? В его письмах Крумы тоже не плавают.

Бернард (*безразлично*). И то правда. Но Ньюстед отсюда не так уж далеко. Слушай, ты не против, если я немножко покопаюсь? Разумеется, только в бумагах, которые ты уже отработала.

Ханна что-то заподозрила.

Ханна. Так кто тебя интересует, Байрон или Чейтер?

В боковую дверь входит Хлоя. Она без обуви, в одних чулках. Несет целую охапку одинаковых с виду гроссбухов в кожаных переплетах. Она зашла за своими туфлями.

Хлоя. Простите... Я на минутку... В буфетной есть чай... Только из кружек, ничего?

---

[1] «Английские барды и шотландские обозреватели» — сатирическая поэма Байрона (1809).

Бернард. Благодарю вас.

Хлоя. Ханна вам покажет.

Бернард. Позвольте, я помогу...

Хлоя. Нет-нет, я справлюсь... (*Бернард открывает для нее другую боковую дверь.*) Вот, решила спрятать охотничьи книги, а то Валентайн хватится, а их нет. Спасибо.

Бернард закрывает дверь.

Бернард. Какая милая девочка.

Ханна. Гм...

Бернард. Что, в самом деле?

Ханна. Что — «в самом деле»?

Дверь снова приоткрывается, показывается голова Х л о и.

Хлоя. Забыла сказать... Мистер Солоуэй, не волнуйтесь, если отец разворчится насчет вашей машины. У него бзик... (*Вспоминает, что обещала держать фамилию Бернарда в тайне.*) Э... Ну как?.. Сюрприз удался? Вы еще не сказали?! Ой, простите!!! Хотите чаю?.. Извините, если подвела... (*Исчезает в полнейшем замешательстве. Дверь закрывается. Пауза.*)

Ханна. Ты — полное говно.

Направляется к двери.

Бернард. Дело в том, что Байрон связан с этим местом напрямую!

Ханна останавливается и поворачивается к Бернарду.

Ханна. А мне-то что?

Бернард. Не верю, будто тебе наплевать. Вот увидишь, у байроноведов дружки в ширинках застрянут!

Ханна (*выдержав паузу*). Почему это?

Бернард. Потому что мы будем сотрудничать.

Ханна. На какую тему?

Бернард. Сядь, объясню.

Ханна. Я лучше постою.

Бернард. Этот экземпляр «Ложа Эроса» принадлежал лорду Байрону.

Ханна. Он принадлежал Септимусу Ходжу.

Бернард. Да, вначале. Но когда в 1816 году Байрон покидал Англию навсегда и его библиотека распродавалась за долги, с аукциона в числе других пошла и эта книга. В Британской библиотеке есть каталог той распродажи. «Ложе» шло под номером 74-А, купил его книготорговец и издатель Джон Солоуэй. Адрес магазина — Опера-корт на Пэлл-Мэлл. Восприемником дела стала фирма «Солоуэй и Мэтлок». Нынешний Солоуэй — мой двоюродный брат. (*Умолкает. После некоторых колебаний Ханна присаживается к столу.*) Вот послушай, как развивался сюжет. В 1939 году книги перевезли в Кент, в загородный дом семейства Солоуэй. В сорок пятом вернули в Лондон. А коробку с книгами начала XIX века позабыли, и она валялась в подвале, пока строители туннеля под Ла-Маншем не потребовали продать им дом со всеми угодьями, поскольку там пролегала трасса. Тогда и обнаружили «Ложе» — вместе с аукционной биркой 1816 года. Могу показать ксерокопию.(*Достает из портфеля листок и передает Ханне. Та внимательно рассматривает.*)

Ханна. Хорошо. Допустим. Книга принадлежала Байрону.

Бернард. В ней подчеркнуты некоторые строфы. (*Ханна берет книгу в руки, листает.*) И все они, и только они, — нет, нет, смотри на меня, а не в книгу! — все подчеркнутые строфы приводятся дословно, то есть цитируются в рецензии на «Ложе Эроса», которая вышла 30 апреля 1809 года в «Забавах Пиккадил-

ли». И в первых же строках рецензент напоминает читателям свой отзыв об «Индианке» — предыдущей книге того же автора.

Ханна. Рецензентом наверняка был Ходж. «Моему щедрому другу Септимусу Ходжу, который всегда готов отдать все лучшее, — от автора».

Бернард. В том-то и штука! Рецензент из «Пиккадилли» высмеял обе книги!

Ханна (*помолчав*). А по стилю-то тянет на Байрона?

Бернард (*доставая из портфеля еще две ксерокопии*). Рука Байрона! Еще более по-байроновски, чем рецензия на Вордсворта, которую Байрон уж точно написал, правда, годом раньше!

Ханна просматривает статьи.

Ханна. Ясно. Что ж, поздравляю. Очень возможно. Две доселе неизвестные рецензии молодого Байрона. Какая находка!

Бернард. Это еще не все. В книге, благодаря застежкам, сохранились три документа. (*Достает из портфеля пакет, вынимает три бумажки. Это подлинники. Он зачитывает их поочередно.*) «Сэр, нам необходимо уладить дело, не терпящее отлагательства. Жду вас в оружейной комнате. Э.Чейтер, эсквайр». «Муж послал в город за пистолетами. Отрицайте то, чего нельзя доказать, — во имя Любови. Я сегодня у себя, к столу не выйду». Без подписи. «Сидли-парк, 11 апреля 1809 года. Сэр, вы лжец и развратник! Вы оклеветали меня в прессе и покусились на мою честь! Извольте дать мне сатисфакцию — как мужчине и поэту. Э.Чейтер, эсквайр».

Пауза.

Ханна. Великолепно. Но неубедительно. Книга заведомо попадет к Байрону только через семь лет. Она не связывает его непосредственно с Чейтером или поместьем Сидли-парк. Или с Ходжем. Более того, в письмах Байрона нет ни намека на скандальчик. А он бы вряд ли стал держать язык за зубами.

Бернард. Скандальчик?

Ханна. Ну конечно. Он бы выставил Чейтера на посмешище.

Бернард. «Скандальчик»! «Посмешище!» (*Смолкает и выдерживает эффектную паузу.*) Он убил Чейтера.

Ханна (*громко и пренебрежительно фыркает*). Ты подумай!

Бернард. Чейтеру был тридцать один год. Автор двух книг. И вдруг, с апреля 1809 года, — как отрезало. После «Ложа» — ни строчки. А Байрон... Байрон как раз тогда, в марте, опубликовал сатиру «Английские барды и шотландские обозреватели». Он известен, он обрел имя. И вдруг — срывается в Лисабон на первом попавшемся корабле и проводит за границей два года. Ханна! Нас ждет слава! В крумовских бумагах наверняка найдется что-нибудь, какая-то зацепка...

Ханна. Ничего нет, я смотрела.

Бернард. Но ты искала не это. И не жди ясных как дважды два дневниковых записей. «Лорд Байрон был очень весел за завтраком...»

Ханна. И все же его присутствие вряд ли могло остаться никем и нигде не упомянутым. Я же таких свидетельств не встречала. Думаю, он тут никогда не был.

Бернард. Спорить не стану. Но позволь мне все же покопаться в документах.

Ханна. Нам будет слишком тесно.

Бернард. Милая девочка, я знаю толк в научных изысканиях, я умею...

Ханна. Я не милая и не девочка. Если наткнусь на след Байрона, Чейтера или Ходжа — дам знать. Солоуэю, в Сассекс.

Пауза. Она встает.

Бернард. Спасибо. И прости за эту нелепую шутку с фамилией.

Ханна. Ничего, переживем.

Бернард. Кстати, где учился Ходж?
Ханна. В Тринити.
Бернард. В Тринити-колледже?!
Ханна. Да. (*После некоторых колебаний.*) Да. Там же, где Байрон.
Бернард. А родился он когда?
Ханна. За пару лет до Байрона. В тот год ему было года двадцать два.
Бернард. Так они учились в Кембридже в одно время?!
Ханна (*устало*). Да, Бернард. И, без сомнения, выступали за одну команду, когда Харроу играл с Итоном в крикет.

Бернард подходит к ней вплотную.

Бернард (*спокойным, ровным голосом*). Ты хочешь сказать, Септимус Ходж учился с Байроном и в школе?
Ханна (*немного смущенно*). Да... возможно... так и было...
Бернард. Ну ты даешь! Телка ты телка...

Невыразимо счастливый, Бернард обнимает Ханну и громко чмокает ее в щеку. В этот момент входит Х л о я.

Хлоя. Ой... э... я решила сама принести вам чаю. (*В руках у нее подносик с двумя кружками.*)
Бернард. Мне надо заняться машиной.
Ханна. Хочешь спрятать ее от графа?
Бернард. Спрятать? Да я ее продам! Есть в поселке какая-нибудь гостиница? Кабак, куда пускают постояльцев? (*Поворачивается спиной к женщинам, так как намерен пройти через сад.*) Ну, ты ведь рада, что я здесь? (*Выходит.*)
Хлоя. Он сказал, что знает тебя...
Ханна. Ты что-то путаешь.
Хлоя. Вернее, не так. Он сказал, что хочет сделать тебе сюрприз. Это, конечно, не одно и то же... Зато сексуальная энергия в нем так и кипит.
Ханна. Что?
Хлоя. Смотри, какой шаг упругий! Верный признак. Хочешь, приглашу его на танцульки? Для тебя, а?
Ханна. Куда? Ни в коем случае!
Хлоя. Или сама пригласи, так даже лучше. Пусть приходит как твой партнер.
Ханна. Перестань. За чай спасибо.
Хлоя. Если он тебе не нужен, сама займусь. Он женат?
Ханна. Понятия не имею. Разве у тебя мало скаковых жеребцов?
Хлоя. Ханна, я же для тебя стараюсь.
Ханна. Поверь, это уже не так насущно.
Хлоя. Но тебе нужен партнер для танцев. А он классический вариант — фат и щеголь.
Ханна. Я не желаю расфуфыриваться для танцев, и партнер мне не нужен, а Солоуэй — и подавно. Я вообще не танцую.
Хлоя. Ну чего ты сразу в бутылку лезешь? Сама же с ним целовалась!
Ханна. Это он меня целовал. От избытка научного энтузиазма.
Хлоя. Ладно. Не упрекай меня потом, у тебя были все возможности. Зато мой гениальный братец вздохнет спокойно. Он ведь в тебя влюблен, знаешь?
Ханна (*сердито*). Это шутка!
Хлоя. Только не для него.
Ханна. Не глупи! Это и шуткой-то не назовешь. Мы просто дурачимся...

Из сада появляется Г а с — по обыкновению молчаливый, стеснительный.

Хлоя. Привет, Гас, что там у тебя?

В руке у него яблоко — только что сорванное, с парой зеленых листочков. Он протягивает яблоко Ханне.

Ханна (*удивленно*). Ой!.. Спасибо!

Хлоя (*выходя*). Ну, что я говорила? (*Закрывает за собой дверь.*)

Ханна. Спасибо. Господи... Спасибо...

Сцена третья

Комната для учебных занятий. Следующее утро. В комнате: Т о м а с и н а на своем месте за столом; С е п т и м у с с только что полученным письмом в руках; Д ж е л а б и — в ожидании ответа на доставленное им письмо.

Перед Септимусом раскрыто «Ложе Эроса»; рядом — исписанные листы. Папка с его бумагами тоже на столе. Плавт (черепашка) удерживает листы своим весом — чтобы не разлетелись. Кроме того, на столе появилось яблоко, по всем признакам — из предыдущей сцены.

Септимус (*не отрывая глаз от письма*). Почему вы остановились?

Томасина переводит с листа отрывок из латинского текста. Это дается ей с некоторым трудом.

Томасина. Solio insessa... in igne... восседавшая на троне... в огне... и еще на корабле... sedebat regina... сидела королева...

Септимус. Ответа не будет, Джелаби. Спасибо. (*Складывает письмо и засовывает его между страниц «Ложа Эроса»*).

Джелаби. Я так и передам, сэр.

Томасина. ... ветер, благоухавший сладко... purpureis velis... от, или посредством, или с помощью, или благодаря пурпурным парусам.

Септимус (*обращаясь к Джелаби*). Чуть позже я попрошу вас отправить кое-что по почте.

Джелаби. К вашим услугам, сэр.

Томасина. ...был подобен... чему-то... от, или посредством, или с помощью, или благодаря любовникам — о Септимус! — musica tibiarum imperabat... музыкой... звуками свирелей командовал...

Септимус. Лучше «правил».

Томасина. Серебряными веслами. Нет. Серебряные весла... волновали океан... точно... словно... будто... любовные касания.

Септимус. Очень хорошо.

Берет в руки яблоко. Отрывает листья и черенок, кладет на стол. Отрезает кусочек карманным ножом, жует, отрезает другой кусочек и предлагает Плавту.

Томасина. Regina reclinabat... королева... отклонилась... practer descriptionem... неописуемо... в золотом шатре... словно Венера или даже...

Септимус. Побольше поэзии! Побольше поэзии!

Томасина. Откуда взять поэзию, если ее нет в латыни?

Септимус. Н-да, беспощадный вы критик.

Томасина. Это королева Дидона?[1]

Септимус. Нет.

Томасина. А какой поэт это написал?

Септимус. Вы с ним хорошо знакомы.

Томасина. Я? Знакома?

Септимус. Не римлянин.

Томасина. Господин Чейтер?

Септимус. Перевод ваш действительно смахивает на вирши Чейтера.

Септимус берет перо и продолжает писать.

---

[1] Дидона — героиня «Энеиды» Вергилия. Не перенеся разлуки с Энеем, она покончила с собой, взойдя на костер и предсказав вражду Карфагена с Римом.

Томасина. А, знаю, это твой друг Байрон!

Септимус. Лорд Байрон, с вашего разрешения.

Томасина. Маменька в него влюблена.

Септимус (*поглощен своим занятием*). Да. Что? Ерунда.

Томасина. Не ерунда. Я видела их вместе в бельведере. (*Септимус замирает, не дописав слово. Поднимает наконец глаза на Томасину.*) Лорд Байрон читал ей из своей сатиры, а маменька смеялась, наклонив голову самым обольстительным образом.

Септимус. Она просто не поняла сатиру и смеялась из вежливости. Чтобы не обидеть гостя.

Томасина. Конечно, она сердита на папу за эту затею с парком... Но это не причина для *такой* вежливости. И из спальни спустилась сегодня чуть не спозаранку. Лорд Байрон был очень весел за завтраком. И о тебе отзывался с почтением.

Септимус. Да ну?

Томасина. Он считает, что ты большой острослов. Пересказал — почти наизусть — твою статью... забыла, в каком журнале... про книжку, которая называется «Индианка», а ты обозвал ее «Индейкой» и написал, что даже собака такой пищей побрезгует.

Септимус. Ах, вот оно что! Господин Чейтер, вероятно, тоже выходил к завтраку?

Томасина. Разумеется. Он не лежебока. Не то что некоторые.

Септимус. Ну, ему же не надо готовить для вас задания по латыни, исправлять математику... (*Вытаскивает из-под Плавта тетрадь с домашним заданием Томасины и кидает ей через стол.*)

Томасина. Исправлять? А что там неправильно? (*Заглядывает в тетрадь.*) Пять с минусом? Фи! За что минус?

Септимус. За то, что сделано больше, чем задано.

Томасина. Ты не оценил мое открытие?

Септимус. Вымысел, пускай и научный, — еще не открытие.

Томасина. А насмешка — еще не опровержение. (*Септимус складывает письмо, растапливает воск, запечатывает письмо, надписывает адрес.*) Ты на меня дуешься, оттого что маменька привечает твоего друга. Ну и пусть! Пусть хоть сбегут отсюда за тридевять земель! Им все равно не остановить прогресс науки. Я считаю, что сделала изумительное открытие. Сам посуди! Каждую неделю я, по твоему заданию, строю графики уравнений, точка за точкой: откладываем x, откладываем y, на пересечении получаем... И каждый раз получаем какую-нибудь простенькую геометрическую фигуру, словно мир состоит из одних только дуг и углов. Но, Септимус! Если есть кривая, похожая на колокол, должна быть и кривая, похожая на колокольчик! На одуванчик! На розу! Септимус, что говорит наука? Можно числами выразить природу?

Септимус. Можно.

Томасина. Почему тогда твои уравнения описывают только то, что человек делает своими руками?

Септимус. Не знаю.

Томасина. Если б Создатель следовал твоей логике, он сотворил бы... не живой сад, а разве что садовую беседку.

Септимус. Господни уравнения уводят в беспредельность, в иные миры. Нам не дано их постичь.

Томасина. Просто ты слаб! Духом и сердцем! Да, мы действительно сидим в центре лабиринта. Но мы должны найти выход. Начнем с чего-нибудь простенького. (*Берет со стола листок от яблока.*) Я изображу этот листок графически, выведу уравнение... И ты, наставник Томасины Каверли, прославишься в веках, а о лорде Байроне никто и не вспомнит.

Септимус заканчивает манипуляции с письмом. Кладет его в карман.

Септимус (*строго*). Вернемся к Клеопатре.

Томасина. Так это Клеопатра?! Ненавижу!

Септимус. Ненавидите? Почему?

Томасина. Она оболванила женщин! Из-за нее на уме у всех одна любовь. Новая любовь, далекая любовь, утраченная любовь... Второй такой провокаторши ни в литературе, ни в истории не сыскать! Не успевает римский генерал бросить якорь под ее окнами, как целая империя летит в тартарары. Империю попросту сдают в заклад — за ненадобностью. Будь на ее месте королева Елизавета, она бы сумела повернуть историю по-другому. Мы любовались бы сейчас пирамидами Рима и великим сфинксом Вероны...

Септимус. Боже упаси.

Томасина. Но не тут-то было! Эта египетская дурочка заключает врага в карнальное объятие, а он сжигает дотла великую Александрийскую библиотеку и даже штраф не платит за невозвращенные книги. Септимус! Как? Как пережить такую утрату?! Сгорели все греческие трагедии и комедии! Не меньше двухсот пьес Эсхила, Софокла, Еврипида; тысячи стихотворений; личная библиотека Аристотеля, которую привезли в Египет предки этой идиотки! Да как же нам утешиться в своей скорби?

Септимус. Очень просто. Чем подсчитывать убытки, прикинем лучше, что осталось в целости и сохранности. Семь пьес Эсхила, семь — Софокла, *девятнадцать* — Еврипида. Миледи! Об остальных и горевать не стоит, они нужны вам не больше пряжки, которая оторвалась от вашей туфельки в раннем детстве, не больше, чем этот учебник, который наверняка потеряется к вашей глубокой старости. Мы подбираем и, одновременно, роняем. Мы — путники, которые должны удерживать весь свой скарб в руках. Выроним — подберут те, кто идет следом. Наш путь долог, а жизнь коротка. Мы умираем в дороге. И на этой дороге скапливается весь скарб человечества. Ничто не пропадает бесследно. Все потерянные пьесы Софокла обнаружатся — до последнего слова. Или будут написаны заново, на другом языке. Люди снова откроют древние способы исцеления недугов. Настанет час и для математических открытий, тех, которые лишь померещились гениям — сверкнули и скрылись во тьме веков. Надеюсь, миледи, вы не считаете, что, сгори все наследие Архимеда в Александрийской библиотеке, мы бы сейчас не имели... да хоть штопора для бутылок? У меня, кстати, нет ни малейших сомнений, что усовершенствованная паровая машина, которая приводит в такой экстаз господина Ноукса, была впервые начерчена на папирусе. И пар, и медные сплавы были изобретены не в Глазго. Так на чем мы остановились? Позвольте... Попробую-ка я сделать для вас вольный перевод. Когда мы учились в Харроу, вольные переводы давались мне даже лучше, чем лорду Байрону. (*Забирает у нее листок, внимательно изучает текст, раздумывает над парой латинских фраз и — начинает.*) Итак: «Корабль, где восседала королева, подобен был... златому трону и сиял... на водах жарких, знойных, точно пламя...» — Так-так, что здесь? — «А... пурпур парусов под сладким ветром дышал и волновался, точно грудь...»

Томасина (*сообразив, что ее провели, приходит в бешенство*). Обманщик!

Септимус (*невозмутимо*). «И слаженно серебряные весла...»

Томасина. Обманщик!

Септимус. «...под звуки флейты били по воде, пеня ее, дразня и возбуждая».

Томасина (*вскочив*). Обманщик! Обманщик! Обманщик!

Септимус (*уже без всяких запинок, с невероятной легкостью*).

Сама же королева так прекрасна
была, что не сказать словами.
Под сенью томной возлежа...

Томасина. Чтоб ты сдох!

Томасина в слезах убегает в сад. В дверях она чуть не сталкивается с Б р а й с о м. Скрывается из виду. Брайс входит в комнату.

Брайс. Бог мой, старина, что ты ей такого сказал?

Септимус. Сказал? А что я ей сказал?

Брайс. Ходж!

Септимус выглядывает за дверь, слегка озабоченный поведением Томасины, и видит Ч е й т е р а. Тот ищет, за что бы спрятаться.

Септимус. Чейтер! Мой любезный друг! Не прячьтесь! Входите, сэр! Смелее!

Оробевший Чейтер позволяет втянуть себя в комнату. Брайс «держится с большим достоинством», то есть пыжится как индюк.

Чейтер. Капитан Брайс оказал мне честь... то есть... сэр... все, что вы имеете сказать мне, сэр... адресуйте капитану Брайсу.

Септимус. Занятно. (*Обращается к Брайсу.*) Ваша жена вчера не появлялась, сэр. Надеюсь, она не больна?

Брайс. Моя жена? У меня нет жены. Какого черта?! Что ты имеешь в виду?

Септимус начинает было отвечать, но затем озадаченно замолкает. Поворачивается к Чейтеру.

Септимус. Не понимаю вашего уговора, Чейтер. А к кому я должен адресоваться, когда хочу обратиться к капитану Брайсу?

Брайс. Берегись, Ходж! Не увиливай!

Септимус (*Чейтеру*). Кстати, Чейтер... (*Осекшись, поворачивается к Брайсу и продолжает.*) Кстати, Чейтер, у меня для вас потрясающая новость. Кто-то повадился писать письма от вашего имени. Совершенно дикие и невразумительные. Последнее я получил полчаса назад.

Брайс (*сердито*). Ходж! Позаботься о своей чести! Не способен обсуждать дело, не ерничая, — назови своего секунданта, и он будет представлять тебя сообразно достоинству дворянина. Уж, наверно, твой друг Байрон окажет тебе эту услугу.

Септимусу надоело дурачиться.

Септимус. Да, он окажет мне эту услугу. (*Настроение Септимуса изменилось, он поворачивается к Чейтеру.*) Сэр, сожалею, я нанес вам незаслуженную обиду. Вы — не подлец и не поэт. Вы — хороший, честный малый.

Чейтер (*радостно*). О! Вот это другой разговор! (*Внезапно его охватывает сомнение.*) Он что — извиняется?

Брайс. А как же ущерб, нанесенный его супружескому праву через отверстие между...

Чейтер. Фу-у!

Брайс. Через госпожу Чейтер. Ладно, мое дело — сторона.

Их прерывает появившаяся из сада л е д и К р у м.

Леди Крум. О! На ловца и зверь бежит! Господин Чейтер, ликуйте! Лорд Байрон просит вашу новую книгу. Он жаждет ее прочитать и намерен включить ваше имя во второе издание «Английских бардов и шотландских обозревателей».

Чейтер. Миледи, «Английские барды» — это пасквиль, напраслина, которую лорд Байрон возводит на тех, чья поэзия чище, выше и лучше его собственной. Значит, он намерен оскорбить и меня?

Леди Крум. Ну разумеется. Не так уж плохо быть оскорбленным в компании Роджерса[1], Мура[2] и Вордсворта[3]. Или вы предпочитаете остаться в тени? А-а! Вот она! «Ложе Эроса»! (*Она высмотрела на столе книгу, принадлежащую Септимусу.*)

---

[1] Сэмюэл Роджерс (1763—1855) — английский поэт.
[2] Томас Мур (1779—1852) — английский поэт, друг Байрона.
[3] Уильям Вордсворт (1770—1850) — английский поэт.

Септимус. Это моя книга, мадам.
Леди Крум. Тем лучше. На то и друзья, чтобы брать у них книги взаймы.

Между страниц «Ложа Эроса» к этому времени уже находятся три письма, не видные благодаря большому формату и застежкам.

Господин Ходж, ваш друг притворяется, будто хочет нас покинуть. Отговорите его! Я и слышать не желаю об отъезде лорда Байрона! Он, видите ли, спешит в Фалмут на мальтийский пакетбот. В мыслях его только Лисабон и Лесбос, в сумках — одни пистолеты, и я тщетно твержу, что затея его безумна. Вся Европа в огне наполеоновских войн; самые привлекательные развалины дворцов и крепостей закрыты для посетителей; дороги забиты войсками на марше; в гостиницах квартирует солдатня, а главное — мода на безбожное республиканство еще не прошла, еще не сменилась естественным образом на свою полную противоположность. Он утверждает: его цель — поэзия. Но из пистолетов не целятся в поэзию. Разве что — в поэтов. Господин Ходж! Приказываю вам забрать у него пистолеты. Он не должен подвергаться опасности. Он сам признался, что его хромота — следствие неудачного обращения с оружием в детстве[1]. Что это за шум?

Шум — это звуки музыки, доносящиеся из соседней комнаты. Играют громко и плохо. Начался этот «шум» вскоре после ухода Томасины.

Септимус. Это новое фортепиано, мадам. Мы взялись за музыку совсем недавно.
Леди Крум. Так ограничьте ваши усилия той частью инструмента, которая звучит «пиано». А когда чему-нибудь научитесь, можно приниматься и за «форте».

С книгой в руках леди Крум выплывает обратно в сад.

Брайс. Вот! Это ли не глас Божий?!
Чейтер (*с благоговейным трепетом*). Отобрать у лорда Байрона пистолеты!
Брайс. Сэр, вы слышали господина Чейтера? Что вы ему ответите?

Септимус, глядевший вслед леди Крум, поворачивается.

Септимус. Отвечу, что убью его. Он мне надоел.
Чейтер (*вздрогнув*). Что?
Брайс (*с воодушевлением*). О!
Септимус. Да-да, Чейтер, черт вас побери! Овидий остался бы законотворцем, а Вергилий — землепашцем, знай они, сколь беспредельно глупой и напыщенной будет любовь ваших придурковатых сатиров и тупоумных нимф. Я к вашим услугам. Считайте, что пол-унции металла уже у вас в башке. Сойдемся за лодочным павильоном на рассвете — скажем, в пять часов. Мои лучшие пожелания госпоже Чейтер. За ее благополучие можете не беспокоиться, она ни в чем не будет нуждаться, пока у капитана Брайса звенят в кармане монеты. Он сам ей пообещал.
Брайс. Вы лжете, сэр.
Септимус. Нет, сэр. Возможно, лжет госпожа Чейтер.
Брайс. Признайтесь, что вы лжете, иначе вам придется иметь дело со мной.
Септимус (*устало*). Что ж, сэр, в пять минут шестого вас устроит? Я как раз успею в Фалмут на мальтийский пакетбот. Вы оба будете мертвы, мой бедный однокашник займет место наставника леди Томасины и, полагаю, все, включая леди Крум, получат наконец полную сатисфакцию. (*Выходит и захлопывает за собой дверь.*)
Брайс. Рвет и мечет. Но это все пустое. Не волнуйся, Чейтер, я выпущу из него пары.

Брайс выходит в другую дверь. Чейтер не волнуется всего несколько секунд. Как только до него

[1] Байрон был хром от рождения.

доходит смысл происшедшего, он срывается с места.

Чейтер. Эй! Но я... (*Спешит следом за Брайсом.*)

Сцена четвертая

Ханна и Валентайн. Она читает вслух. Он слушает. Черепашка Молния лежит на столе. От Плавта она почти неотличима. Перед Валентайном — папка Септимуса, естественно несколько выцветшая. Она открыта. В папке может быть что угодно, например чистая писчая бумага, но непременным образом с ней связаны следующие три предмета: тонкий учебник элементарной математики; лист с графиком, математическими выкладками, стрелочками и т.д. и тетрадь Томасины, в которой она решала уравнения. Ее-то и листает Валентайн, слушая, как Ханна читает вслух из учебника.

Ханна. «Я, Томасина Каверли, открыла воистину удивительный метод, с помощью которого все природные формы раскроют свои математические секреты и обретут свое числовое выражение. Эти поля слишком узки, поэтому рекомендую читателю «Новейшую геометрию неправильных форм» Томасины Каверли».

Пауза. Она передает учебник Валентайну. Он пробегает глазами только что прочитанные строки. Из соседней комнаты доносятся звуки рояля — тихая, ненавязчивая импровизация.

Это имеет какой-нибудь смысл?

Валентайн. Не знаю. Есть ли в этой жизни вообще смысл, кроме математического?

Ханна. Я про математический и спрашиваю.

Валентайн (*снова берет тетрадь*). Это итерационный алгоритм.

Ханна. Что?

Валентайн. Ну... черт... как же объяснить? Итерация и есть итерация... (*Пытается говорить как можно проще.*) Итерация — это повторение. Слева — графики, справа — их числовые выражения. Но масштаб все время меняется. Каждый график — это малая, но сильно увеличенная часть предыдущего. Берешь ты, допустим, фотографию и увеличиваешь какую-то деталь. А потом — деталь этой детали. До бесконечности. У нее просто тетрадка кончилась.

Ханна. Это сложно?

Валентайн. Математическая подоплека очень проста. Тебя учили этому в школе. Уравнения с иксом и игреком. Значение x определяет значение y. На пересечении ставится точка. Потом ты берешь следующее значение x. Получаешь новый y, отмечаешь новую точку. И так — несколько раз. Потом соединяешь точки, то есть строишь график данного уравнения.

Ханна. Она это и делает?

Валентайн. Нет. Не совсем. Вернее, совсем не это. Она... Получив значение y, она каждый раз принимает его за новый x. И так далее. Вроде подкормки. Она как бы подкармливает уравнение его собственным решением и принимается решать заново. Это и есть итерация.

Ханна. Тебя это удивляет?

Валентайн. В какой-то мере. Сам я этой техникой пользуюсь, считаю тетеревов и куропаток. Но применяют ее не так давно. Лет двадцать, не больше.

Пауза.

Ханна. Почему же она это делает?

Валентайн. Понятия не имею. (*Пауза.*) Я думал, ты занимаешься своим отшельником.

Ханна. Занимаюсь. Пока занимаюсь. Но этот Бернард... Нелегкая принесла его, ей-Богу... Короче, выяснилось, что у домашнего учителя Томасины были край-

не интересные связи. Бернард шарит теперь по всем полкам и углам, точно собака-ищейка. Эта папка, кстати, валялась в буфете.

Валентайн. Тут повсюду полно старья. Гас обожает копаться в старых бумагах, картинах. Впрочем, выдающихся мастеров нет. Так, по мелочи.

Ханна. Учебник математики принадлежал ему, учителю. Там сбоку его имя.

Валентайн (*читает*). «Септимус Ходж».

Ханна. Как ты думаешь, почему все это сохранилось?

Валентайн. Непременно должна быть причина?

Ханна. А график? Он к чему относится?

Валентайн. Я-то откуда знаю?

Ханна. Почему ты сердишься?

Валентайн. Я не сержусь. (*Помолчав.*) Когда твоя Томасина решала задачки, математика была примерно такой, как последние две тысячи лет. Классической. И еще лет сто после Томасины. А потом математика ушла от реальности. Совсем как современное искусство. Естественные дисциплины, то есть вся прочая наука, оставались классическими, а математика превратилась в этакого Пикассо. Однако смеется тот, кто смеется последним. Сегодня природа берет реванш. Оказалось, что все ее причуды подчинены точнейшим математическим законам.

Ханна. И подкормка тоже?

Валентайн. В том числе.

Ханна. А вдруг Томасина сумела...

Валентайн (*резко*). Какого черта? Не могла она ничего суметь.

Ханна. Ладно, вижу, вижу, ты не сердишься. Но ты сказал, что она делает то же, что и ты. (*Пауза.*) Объясни, что ты все-таки делаешь.

Валентайн. То же, что Томасина, но с другого конца. Она начинала с уравнения и строила по нему график. А у меня есть график — конкретные данные, — и я пытаюсь найти уравнение, которое дало бы этот график в результате итерации.

Ханна. Зачем?

Валентайн. В биологии так описываются изменения в численности популяции. Допустим, живут в пруду золотые рыбки. В этом году их x. В следующем — y. Сколько-то родилось, сколько-то цапли склевали. Короче, природа оказывает на x некое воздействие и превращает его в y. И этот y является стартовым числом популяции в следующем году. Как у Томасины. Значение y становится новым значением x. Вопрос в том, что происходит с x. В чем состоит воздействие природы. Но в чем бы оно ни состояло, его можно записать математически. Это называется алгоритм.

Ханна. Но каждый год цифры будут разными.

Валентайн. Меняются мелочи, детали, и это естественно, поскольку природа не лаборатория и пруд не пробирка. Но детали не важны. Когда все они рассматриваются в совокупности, видно, что популяция подчинена математическому закону.

Ханна. Золотые рыбки?

Валентайн. Да. Нет. Не рыбки, а их количество. Речь не о поведении рыбок, а о поведении чисел. Закон срабатывает для любой самоорганизующейся системы: для эпидемии кори, для среднегодовых осадков, цен на хлопок и так далее. Это само по себе природный феномен. Довольно страшненький.

Ханна. А для дичи? Тоже срабатывает?

Валентайн. Пока не знаю. То есть срабатывает безусловно, но продемонстрировать это крайне трудно. С дичью больше фоновых шумов.

Ханна. Каких шумов?

Валентайн. Фоновых. То есть искажений. Внешних вмешательств. Конкретные

данные в полном беспорядке. С незапамятных времен и года примерно до 1930-го птицы обитали на тысячах акров заболоченных земель. Дичь никто не считал. Ее просто стреляли. Допустим, можно подсчитать отстрелянную. Дальше. Горят вересковые пустоши — пища становится доступней, поголовье увеличивается. А если вдруг расплодятся лисы — эффект обратный, они крадут птенцов. А главное — погода. Короче, с дичью много лишних шумов, основную мелодию уловить трудно. Представь: в соседней комнате играют на рояле, музыка смутно знакомая, но инструмент расстроен, часть струн полопалась, а пианисту медведь на ухо наступил и к тому же он вдрызг пьян. Выходит не музыка, а какофония. Ничего не разберешь!

Ханна. И что делать?

Валентайн. Догадываться. Пытаться понять, что это за мелодия, вышелушивать ее из лишних звуков. Пробуешь одно, другое, третье, начинает что-то вырисовываться, ты интуитивно восстанавливаешь утраченное, исправляешь искаженное, описываешь недостающее... И так потихоньку-полегоньку... (*Напевает на мотив «С днем рождения».*) Трам-пам-пам-пам, милый Валентайн! Полу-чил-ся алго-ритм! Все вытанцовывается.

Ханна (*коротко и сурово*). Ясно. А дальше что?

Валентайн. Научная публикация.

Ханна. Угу. Конечно. Прости. Очень здорово.

Валентайн. Только все это в теории. С дичью получается полная дичь!

Ханна. Почему же ты выбрал дичь?

Валентайн. Из-за охотничьих книг. Единственная ценность в моем наследстве. Все данные за две сотни лет на блюдечке с голубой каемочкой.

Ханна. Неужели они записывали все, что убили?

Валентайн. В том-то и суть. Я взял книги за последний век, с 1870 года, когда охота стала более продуктивной: с загонщиками и стрелка́ми в засаде.

Ханна. Ты хочешь сказать — есть и книги времен Томасины?

Валентайн. А как же! И еще более ранние. (*Затем, поняв и опередив ее мысль.*) Нет, это невозможно. Клянусь тебе! Я клянусь, слышишь? Не могла девчонка в дербиширской глуши, в начале девятнадцатого века...

Ханна. Но что же она тогда делала?

Валентайн. Играла. Баловалась с числами. Да ничего она на самом деле не делала!!!

Ханна. Так не бывает.

Валентайн. Это вроде детских каракулей. Мы придаем им смысл, о котором дети и не помышляли.

Ханна. Обезьяна за компьютером?

Валентайн. Да. Скорее, за роялем.

Ханна (*берет учебник и читает вслух*). «... метод, с помощью которого все природные формы раскроют свои математические секреты и обретут свое числовое выражение». А твоя подкормка позволяет воссоздать природные формы? Скажи только «да» или «нет».

Валентайн (*раздраженно*). Позволяет! *Мне* позволяет! Она воссоздает любую картину: турбулентности, роста, изменения, создания... Но она, черт возьми, не позволяет нарисовать слона!

Ханна. Прости. (*Поднимает со стола листик от яблока. Робко, боясь новой вспышки гнева, спрашивает.*) Значит, нельзя изобразить этот лист с помощью итерации?

Валентайн. Почему нельзя? Можно.

Ханна (*в ярости*). Что?! Объясни немедленно! Объясняй! А то убью!!!

Валентайн. Если знать алгоритм и итерировать его, скажем, десять тысяч раз, на экране появятся десять тысяч точек. Где появится следующая, каждый раз не-

известно. Но постепенно начнет проступать контур листа, потому что все точки будут внутри этого контура. Это уже не лист, а математический объект. Но в нем разом сходится все неизбежное и все непредсказуемое. По этому принципу создает себя сама природа: от снежинки до снежной бури... Знаешь, это так здорово. Аж сердце замирает. Словно стоишь у истоков мироздания... Одно время твердили, что физика зашла в тупик. Две теории — квантовая и относительности — поделили между собой все. Без остатка. Но оказалось, что эта якобы всеобъемлющая теория касается только очень большого и очень малого. Вселенной и элементарных частиц. А предметы нормальной величины, из которых и состоит наша жизнь, о которых пишут стихи: облака... нарциссы... водопады... кофе со сливками... — это же жутко интересно, что происходит в чашке с кофе, когда туда наливают сливки! — все это для нас по-прежнему тайна, покрытая мраком. Как небеса для древних греков. Нам легче предсказать взрыв на окраине Галактики или внутри атомного ядра, чем дождик, который выпадет или не выпадет на тетушкин сад через три недели. А она, бедняжка, уже позвала гостей и хочет принимать их под открытым небом... Обычная жизнь — не Вселенная и не атом. Ее проблемы совсем иного рода. Мы даже не в состоянии предсказать, когда из крана упадет следующая капля. Каждая предыдущая создает совершенно новые условия для последующей, малейшее отклонение — и весь прогноз насмарку. И с погодой такая же история. Она всегда будет непредсказуема. На компьютере это видно совершенно отчетливо. Будущее — это беспорядок. Хаос. С тех пор как человек поднялся с четвереток, дверь в будущее приоткрылась раз пять-шесть, не больше. И сейчас настало изумительное время: все, что мы почитали знанием, лопнуло, точно мыльный пузырь.

Пауза.

Ханна. Но в Сахаре погода более или менее предсказуема.

Валентайн. Масштаб иной, а график совершенно такой же. Шесть тысяч лет в Сахаре — то же, что в Манчестере шесть месяцев. Спорим?

Ханна. На сколько?

Валентайн. На все, что ты готова проиграть.

Ханна (*помолчав*). Нет.

Валентайн. Ну и правильно. Иначе в Египте не выращивали бы хлеб.

Воцаряется молчание. Снова слышны звуки рояля.

Ханна. Что он играет?

Валентайн. Не знаю. Сочиняет на ходу.

Ханна. Хлоя назвала его гением.

Валентайн. Она-то в шутку, а мать — на полном серьезе. В прошлом году она искала фундамент лодочного павильона времен Дара Брауна и рыла — по указке какого-то знатока — совершенно не в том месте. Не день-два, а несколько месяцев. А Гас сразу показал, где копать.

Ханна. Он когда-нибудь разговаривал?

Валентайн. Да. Пока пять лет не исполнилось. Ты раньше никогда о нем не спрашивала. Признак хорошего воспитания. Тут это ценится.

Ханна. Знаю. Меня вообще всегда ценили за безразличие.

Входит взволнованный, торжествующий Б е р н а р д. В руках у него книга.

Бернард. «Английские барды и шотландские обозреватели». С карандашной дарственной надписью. Слушай и целуй меня в копчик.

Предвестник Сна рецензий не читал,
Заснул в обнимку с «Эросом на ложе».

Неисправимый Чейтер тем хорош,
Что нам забвенье снов дарует тоже.

Видишь?! Надо не лениться и просматривать каждую страничку!

Ханна. А это его почерк?

Бернард. Ты опять за свое?

Ханна. Но это явно не его почерк!

Бернард. Господи, чего ей опять нужно?

Ханна. Доказательств.

Валентайн. Совершенно верно. И о ком вы вообще говорите?

Бернард. Доказательств? Каких тебе доказательств, сука? Нас с тобой там не было!!!

Валентайн (*незлобиво*). Придержите язык. Вы говорите с моей невестой.

Ханна. У которой, кстати, есть для тебя подарок. Угадай, что я нашла? (*Достает припрятанное письмо.*) Леди Крум пишет мужу из Лондона. Ее брат, капитан Брайс, женился на некой *миссис* Чейтер. Короче, на вдове.

Бернард смотрит на письмо.

Бернард. Я же говорил, что он умер! Какой год? 1810-й? Господи, десятый!!! Отлично, Ханна, отлично! Надеюсь, ты не потребуешь доказательств, что это та самая миссис Чейтер?

Ханна. Ну что ты. Наша Чейтерша собственной персоной. Тут, кстати, есть ее имя.

Бернард. Любовь? Это имя? Русское, что ли? Любовь... Так, так... «Отрицайте то, чего нельзя доказать, — во имя Любови». Я-то думал, «Любови» вместо «любви» — орфографическая ошибка.

Ханна. Чур, не лезь целоваться!

Валентайн. Она никому не позволяет ее целовать.

Бернард. Вот видишь! Они все записывали! Они любили марать бумагу! Это было занятие! Развлечение! Увлечение! И наверняка найдется что-нибудь еще! Наверняка!

Ханна. Какой научный пыл. Сначала Валентайн. Теперь ты. Очень трогательно.

Бернард. Итак. Друг учителя — друг-аристократ — оказывается под одной крышей с несчастным писакой, чью книгу он недавно разнес в пух и прах. Первое, что он делает, — соблазняет жену Чейтера. Но тайное становится явным. Они стреляются. Чейтер мертв, Байрон спасается бегством. Постскриптум. Угадайте какой? Вдова выходит замуж за брата ее сиятельства! И ты полагаешь, что о таком переплете не останется письменных свидетельств? Да целая куча! А то, что пропало, мы напишем заново!

Ханна. *Ты* напишешь, Бернард. Ты. Я тут ни при чем. Я тебе ничем не помогла...

Эта же мысль, очевидно, пришла в голову и самому Бернарду. Он улыбается — растерянно и глуповато.

Бернард. Да?.. Что ж... весьма... Ты так щедра... Но рассудила ты вполне... справедливо.

Ханна. Вполне предусмотрительно. Чейтер мог умереть где угодно и от чего угодно.

Бернард мгновенно преображается.

Бернард. Но он дрался на дуэли с Байроном.

Ханна. Дуэль пока под вопросом. Ты даже не знаешь, Байрону ли адресованы эти письма. Опомнись, Бернард! А был ли Байрон вообще в Сидли-парке?

Бернард. Ставлю тебе диагноз. Отсутствие научной дерзости.

Ханна. Да ну?

Бернард. Под научной дерзостью я разумею внутренний голос. Инстинкт. Интуицию. Когда знаешь не головой, а кишками и печенками. Когда рассуждения излишни. Просто возникает уверенность, которую не нужно оправдывать и подкреплять. Время на миг поворачивает вспять. Часы говорят не «тик-так»,

а «так-тик». Потом все встает на свои места, но тебе уже достаточно. Ты там побывал. Ты, черт побери, все знаешь. Ты — свидетель.

Валентайн. Вы говорите о *лорде* Байроне? О поэте?

Бернард. Нет, безмозглая амеба! Мы — о Байроне-бухгалтере!

Валентайн (*ничуть не обидевшись*). Если о поэте, то он тут точно бывал.

Тишина.

Ханна. Откуда ты знаешь?

Валентайн. Он упомянут в охотничьих книгах. Убил... по-моему, зайца. Однажды, еще в детстве, я болел свинкой и от нечего делать прочитал все книги подряд. Здесь бывали замечательные люди.

Ханна. Где эта книга?

Валентайн. Я ею не пользуюсь: слишком ранний период...

Ханна. 1809 год.

Валентайн. Обычно они лежат в стульчаке. Спроси у Хлои.

Ханна смотрит на Бернарда. Все это время он молчит, поскольку в прямом смысле слова онемел, впал в подобие транса и может только шевелить губами. Ханна подходит к нему и благопристойно целует в щечку. Поцелуй срабатывает. Очнувшись, Бернард стремглав убегает в сад. Слышно, как он кричит: «Хлоя! Хлоя!»

Валентайн. Мать одолжила ему свой велосипед. Этакая разновидность безопасного секса. Наверно, самая безопасная. Мать к твоему Бернарду неровно дышит. И он это чувствует, не дурак же. Подарил ей первое издание Хораса Уолпола. А она дала ему взаймы велосипед. (*Он собирает три предмета — учебник математики, тетрадь и график — и кладет в папку.*) Можно забрать на время?

Ханна. Конечно.

Звуки рояля смолкают. Из музыкальной комнаты робко показывается Г а с.

Валентайн (*Гасу*). Да-да, мы закончили. Уже иду. (*Ханне.*) Поколдую, пожалуй, с этим графиком.

Гас кивает и улыбается. Ханна тоже, но ее гложет какая-то мысль.

Ханна. Одного не понимаю. Почему раньше никто интера... итера... подкормкой не занимался? Это же не теория относительности, Эйнштейн для этого не нужен. Хватило бы обычного, заурядного ума.

Валентайн. Жизни бы не хватило. И карандашей. Электронный калькулятор для Томасины был — что для Галилея современный телескоп.

Ханна. Зачем калькулятор?

Валентайн (*помахав тетрадкой Томасины*). Даже представить трудно, сколько дней она на это угрохала. А до сути так и не добралась. Теперь же достаточно нажимать клавишу. Одну и ту же клавишу. Снова и снова. Итерация. На все про все — несколько минут. Сегодня пара месяцев моей работы — это целая жизнь Томасины наедине с карандашом и бумагой. Тысячи страниц. Десятки тысяч! И такая скукотища!

Ханна. Ты хочешь сказать... (*Она смолкает, потому что Гас теребит Валентайна за рукав.*)

Валентайн. Хорошо, Гас. Иду.

Ханна. Ты хочешь сказать, что проблема только в этом? В нехватке времени и бумаги? В скуке?

Валентайн. Пора вынести ширмы, чтоб гости могли переодеться.

Ханна (*вынужденно повышает голос*). Валентайн! Проблема только в этом?

Валентайн (*удивлен ее горячностью; спокойно*). Нет. Проблема в том, что без серьезной причины на это жизнь не кладут. И вообще...

Гас, расстроенный, выбегает из комнаты.

(*Извиняясь*). Он не выносит, когда кричат.

Ханна. Прости.

Валентайн направляется вслед за Гасом.

Что «вообще»?

Валентайн. Вообще — это делают только чокнутые. (*Выходит.*)

Ханна остается. Размышляет. Потом берет со стола «Корнхилл», пролистывает, закрывает и выходит их комнаты с журналом в руках.

Комната пуста. Освещение меняется. Раннее утро. Издали доносится пистолетный выстрел. И тут же — грай вспугнутых с деревьев ворон.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена пятая

Б е р н а р д ходит взад-вперед по комнате, в руке у него пачка исписанных листков. Он читает вслух. Слушатели: В а л е н т а й н , Х л о я и Г а с. Гас сидит чуть поодаль и, возможно, слушает не очень внимательно. Валентайн ест бутерброд и, вынимая из него листья салата, скармливает их своей черепашке.

Бернард. «Произошло ли это на самом деле? Могло ли произойти? Безусловно, могло. Всего лишь тремя годами ранее ирландский поэт Том Мур также вышел к барьеру, чтобы расквитаться с Джеффри за рецензию в «Эдинбургском обозрении». Такие дуэли редко приводили к фатальному исходу и чаще напоминали фарс, но потенциально дуэлянт-победитель обязан был отвечать перед законом как самый обыкновенный убийца. Что до убитого, то смерть третьеразрядного поэта Эзры Чейтера могла остаться в дербиширской глуши совершенно незамеченной. Он канул в безвестность, подобно его современнику и однофамильцу, третьеразрядному ботанику, погибшему в лесах Вест-Индии. В глазах истории они значат не больше укусившей ботаника обезьяны. Шестнадцатого апреля 1809 года, через несколько дней после возвращения из Сидли-парка, Байрон пишет своему поверенному Джону Хенсону: «Пускай последствия моего отъезда из Англии будут в десять раз губительнее, чем Вы предрекаете, — выбора у меня все равно нет. По ряду причин отъезд неизбежен и ехать надобно незамедлительно». Комментарий к этому письму в собрании писем лорда Байрона звучит так: «Причины, побудившие Байрона к внезапному отъезду, неизвестны и по сей день». Письмо отправлено из Ньюстедского аббатства, родового поместья в Ноттингемшире. Один день верхом — держа курс на северо-запад, — и вы в Сидли-парке, поместье Каверли, семейства гораздо более знатного, чем Байроны. Еще Карл II пожаловал им титул графов Крумских».

Быстро входит Х а н н а. В руке у нее листок.

Ханна. Бернард! Валентайн!..

Бернард. В чем дело?

Ханна кладет листок перед Валентайном.

Хлоя (*сердито*). Ханна!

Ханна. Что такое?

Хлоя. Какое хамство!

Ханна (*смешавшись*). Что? Что я сделала?

Валентайн. Бернард читает нам лекцию.

Ханна. Я знаю. (*Затем, сообразив.*) Ой, прости, я тебя прервала. Прости, Бернард.

Валентайн (*с листком в руках*). Что это?

Ханна (*Бернарду*). След привел в библиотеку Индийского департамента. (*Валентайну.*) Там есть подлинник письма Павлини. Прислали копию.

Хлоя. Ханна! Заткнись!

Ханна (*присаживаясь*). Да-да, простите.

Бернард. Я могу и про себя читать, если вам не...

Хлоя. Нет.

Ханна забирает письмо Павлини.

Ханна. Продолжай, Бернард. Я сильно опоздала? Пропустила что-нибудь важное?

Бернард смотрит на нее сердито. Продолжает лекцию.

Бернард. «В 1809 году ньюстедские Байроны были малочисленны: эксцентричная вдова и ее ничем не примечательное «хромое отродье». Титул лорда он получил в возрасте десяти лет, а до этого грубая и хвастливая мать квартировала то здесь, то там и перебиралась из дома в дом, толкая перед собой коляску с сыном-хромоножкой...» (*Ханна поднимает руку.*) Возражение отклоняется. «В апреле же 1809 года этот молодой человек — двадцати одного года и четырех месяцев от роду — не имел за душой ничего, кроме гениальности и долгов. Социального равенства между Байронами и Каверли не было и быть не могло. Единственным связующим звеном — доселе неизвестным — был некий Септимус Ходж, друг Байрона по Харроу и Кембриджу». (*Ханна снова поднимает руку.*) Возражение принимается. (*Делает пометку серебряным карандашиком.*) «Соученик Байрона по Харроу и Кембриджу, который проживал в поместье Каверли и обучал дочь лорда Крума, Томасину Каверли. Из писем Байрона мы знаем, где он был восьмого и двенадцатого апреля. Был он в Ньюстеде. Зато десятого он определенно был в Сидли-парке, что отмечено в сохранившейся до наших дней охотничьей книге: «10 апреля, 1809 года, утро. Ясно, сухо, временами облака, ветер юго-восточный. Я, Огастес, лорд Байрон. Четырнадцать голубей, один заяц (Лорд Б.)». Однако, как нам теперь известно, в Сидли-парке разыгралась в этот день истинная драма. Секс и литература поставили на карту отнюдь не голубиные, а человеческие жизни».

Валентайн. Голубям тоже несладко пришлось.

Бернард. Могу вовсе вычеркнуть голубей. Вам же хотел сделать приятное.

Хлоя. Бернард, да плюнь ты на него! Переходи к дуэли.

Бернард. Но Ханна даже не слушает!

Ханна. Слушаю, слушаю. Я часто работаю с включенным радио.

Бернард. Спасибо за комплимент.

Ханна. А конец скоро?

Хлоя. Ханна!

Ханна. А что? Все потрясающе интересно. Захватывающий сюжет. Я просто выясняла, долго ли до конца. Надо срочно спросить у Валентайна насчет этого (*кивает на письмо*). Прости, Бернард, продолжай. Я подожду.

Валентайн. Да, Бернард. Прости.

Хлоя. Ну же, Бернард!

Бернард. На чем я остановился?

Валентайн. На голубях.

Хлоя. На сексе.

Ханна. На литературе.

Бернард. А, на истинной драме. Верно. «Самым красноречивым тому свидетельством являются процитированные мною выше три письма. Суровое требование уладить дело личного свойства; вопль отчаяния — «муж послал за пистолетами» — и, наконец, письмо-перчатка, брошенная одиннадцатого апреля

обманутым мужем и оскорбленным поэтом Эзрой Чейтером. Конверты не сохранились. Определенно известно одно: у Байрона до 1816 года хранились все три письма. Хранились они в книге «Ложе Эроса», которую семью годами ранее Байрон позаимствовал в поместье Сидли-парк у Септимуса Ходжа».

Ханна. Позаимствовал?

Бернард. Вопросы попрошу в конце. А лучше — конструктивные замечания. Для этого, собственно, я и устраиваю пробную читку в провинции. Она предваряет мой доклад в Байроновском обществе. Ну а дальше — публикация, публикация, публикация... Кстати, Валентайн, хочешь прославиться? «Охотничья книга, найденная недавно таким-то»?

Валентайн. Она никогда не терялась.

Бернард. Ну «предоставленная в наше распоряжение»... Вообще расшаркиваться не в моих привычках, но научные статьи — они вроде бракоразводного процесса: желательно, чтоб прозвучало имя какого-нибудь аристократа. В этом есть особый шик. Я упомяну твое имя в рекламном тексте перед лекцией и в пресс-релизе. Годится?

Валентайн. Вы очень любезны.

Ханна. В пресс-релизе? А куда делся «Вестник новейших исследований по английской литературе»?

Бернард. Та публикация появится позже — более научная, достойная, со справочным аппаратом. Сухо, скромно, без малейшего злорадства. Эти сонные мухи под потолок взовьются. Но сначала — пресс-релиз. «Спешите! Спешите! Кто не успел, тот опоздал!..» Так на чем я остановился?

Валентайн. На охотничьей книге.

Хлоя. На Эросе.

Ханна. На «позаимствовал».

Бернард. Верно. «... позаимствовал у Септимуса Ходжа. Можно ли предположить, что письма уже находились в книге, когда Байрон взял ее у Ходжа?»

Валентайн. Да.

Хлоя. Валентайн, заткнись!

Валентайн. Почему? Это вполне вероятно.

Бернард. «Неужели Ходж одолжил Байрону книгу, не вынув из нее предварительно три личных письма?»

Валентайн. Да нет... Я только имел в виду, что Байрон мог взять книгу без разрешения.

Ханна. Верно.

Бернард. Тогда почему Ходж не забрал письма потом?

Ханна. Не знаю. Меня там не было.

Бернард. Вот именно, черт подери! Тебя там точно не было.

Хлоя. Продолжай, Бернард.

Бернард. «Убеждает именно третий документ, то есть собственно вызов на дуэль. Чейтер, «как мужчина и как поэт», указывает пальцем на «клеветника в прессе». Понятно, что Чейтера на страницах газет ежедневно не поминали — ни как мужчину, ни как поэта. Следовательно, под клеветой он наверняка подразумевает рецензию на «Индианку», опубликованную в «Забавах Пиккадилли». Был ли Септимус Ходж связан с лондонскими периодическими изданиями? Нет. А Байрон? Да! Двумя годами ранее он напечатал рецензию на Вордсворта. Два года спустя напишет на Спенсера. А располагаем ли мы какими-нибудь свидетельствами о том, как Байрон оценивал Чейтера-поэта? Да! Кто, кроме Байрона, мог вписать карандашом в «Английских бардов и шотландских обозревателей», принадлежавших леди Крум, следующие строки...»

Ханна. Да кто угодно!

Бернард. Дорогуша!

Ханна. Я не дорогуша.

Бернард. Хорошо, значит, идиотка. По-твоему, человек, которого Чейтер называет «мой друг Септимус Ходж», мог трахнуть его жену и смешать с дерьмом его книгу?

Ханна. Запросто.

Хлоя (*серьезно*). Ханна, вероятно, ты когда-то пережила жестокую обиду и разочарование?

Ханна. Разве разочарования юности сравнятся с сегодняшним?! Почему Байрон ни в одном письме не упоминает о рецензиях в «Пиккадилли»?

Бернард. Совершенно понятно! Потому что он убил того, о ком писал.

Ханна. Но первая — на «Индианку» — появилась годом раньше! Он что, ясновидящий, твой Байрон?

Хлоя. Письма могли потеряться.

Бернард. Благодарю! Именно! И все же существует некое — гипотетическое — письмо, которое все подтверждает. Письмо утрачено, но тем не менее неистребимо живо — как радиоволны, которые вечно бродят по Вселенной. «Мой дорогой Ходж, пишу тебе из Албании, и ты единственный на всем свете знаешь, почему я здесь. Бедняга Ч.! Я вовсе не желал ему зла — так, пощипал немного в «Пиккадилли». Но эта женщина, Ходж! Всему виной эта женщина! Какое несчастье! Впрочем, для поэзии такой исход дела оказался лучшим. Твой навеки, Б. — Постскриптум. Письмо сожги».

Валентайн. Как Чейтер выяснил, что рецензентом был Байрон?

Бернард (*раздраженно*). Не знаю, я же там не был, правда? (*Пауза. Обращается к Ханне.*) Хочешь что-то сказать?

Ханна. Moi?[1]

Хлоя. Знаю! Байрон сам проговорился! Он рассказал о рецензии миссис Чейтер. В постели. А на следующий день он ее бросил. Вот она на него и покатила. И пришила ему «изнасилование на свидании».

Бернард (*с омерзением*). Куда пришила?

Ханна. На то самое место. И дату поставила — 10 апреля.

Бернард с возмущенным возгласом поворачивается к двери, намереваясь уйти. Шум, гам, уговоры.

Бернард. Все! Конец! Ни слова не вытянете!

Ханна. Прости.

Бернард. Ни за что! Одни колкости, издевательства, детские глупости.

Валентайн. Я тоже провинился?..

Бернард. Самое сенсационное литературное открытие века! И никакого доверия!

Хлоя. Зря вы его так! Бернард, они просто завидуют!

Ханна. Молчу.

Валентайн. Да-да, продолжай, Бернард. Мы обещаем...

Бернард (*сменяет наконец гнев на милость*). Ладно. Только при условии, что здесь наконец перестанут кормить черепах.

Валентайн. Но ей пора обедать.

Бернард. И при условии, что мне будет оказано элементарное уважение — как ученому среди ученых.

Ханна. Клянусь, я молчу как рыба, пока ты не закончишь.

Бернард. После чего принимаются комментарии — в приемлемых в научном мире...

Ханна. ... выражениях. Ты прав, Бернард.

Бернард. ...терминах.

Ханна. Терминах. Отлично. Научная лексика. Обещаю.

Бернард снова раскладывает листочки, которые только что демонстративно складывал, и ищет, где остановился, с подозрением поглядывая на своих слушателей: вдруг опять смеются?

---

[1] *Я? (франц.).*

Бернард. Последний абзац. «Без сомнения, Эзра Чейтер послал кому-то вызов на дуэль. И если эта дуэль состоялась в рассветном тумане десятого апреля 1809 года в Сидли-парке, его соперником, по-видимому, был некий критик — великий насмешник и к тому же большой любитель женского пола. Кто он? Ответ напрашивается сам собой. Далее. Миссис Чейтер к 1810 году была вдовой. В чем причина столь ранней, безвременной смерти Эзры Чейтера? Ответ напрашивается сам собой. Далее. Лорд Байрон — на взлете своей литературной славы — покидает страну. Это настоящее бегство, паническое и тайное. Он проводит за границей два года. И это в то время, когда путешествия в Европу были редки и опасны. Почему он уехал из Англии? Ответ опять-таки напрашивается сам собой».

Он откровенно доволен своими разглагольствованиями. Многозначительное молчание.

Ханна. Чепуха.

Хлоя. А по-моему, так оно и было.

Ханна. Все, что не вписывается, ты попросту выкинул. Байрон давно собирался за границу, трезвонил об этом на каждом углу; есть письмо, *февральское*, адре...

Бернард. Но не уехал же!

Ханна. Он и в апреле не уехал! Только в начале июля!

Бернард. Тогда вообще жили очень неспешно. Другие времена. Он просидел две недели в Фалмуте — то ли попутного ветра ждал, то ли...

Ханна. Бернард! Я даже не знаю, зачем я так завелась. Тебя все равно не переделать. В науке ты — самонадеянный хапуга, не признающий ни рамок, ни правил. Едва что-то померещилось, ты — раз-два, с наскоку, с налету... Такого напридумывал! Получишь по шапке — и поделом. Ты просто сбрендил. А я... я лезу не в свое дело, потому что ты похож на ребенка, который гонит к обрыву на трехколесном велосипеде. Я невольно бросаюсь, чтоб тебя удержать. Так вот. Если Байрон убил Чейтера на дуэли, тогда я... наследная принцесса! Да, ты прославишься! *Так* прославишься, что из дому придется выходить в капюшоне или мешке. Прорежешь дырки для глаз — и вперед.

Валентайн. В самом деле, Бернард, с точки зрения ученого-естественника, в вашей теории есть пробелы.

Бернард. Но я не естественник.

Валентайн (*терпеливо*). А я как естественник должен вам сказать...

Бернард (*кричит*). Возражайте по существу!

Ханна. Никому в голову не придет убить человека, а потом поднять на смех его книгу. В крайнем случае, в обратном порядке. То есть, выходит, он «позаимствовал» книгу, накропал рецензию, отослал ее по почте, соблазнил миссис Чейтер, стрелялся с ее мужем и благополучно отбыл. Все за какие-то два-три дня! Кто на это способен?

Бернард. Байрон.

Ханна. Ты безнадежен.

Бернард. А тебе не дано понять Байрона. Достаточно прочесть твой романчик и...

Ханна. Мой *что*?

Бернард. Ах, прости! Ты ведь написала книгу века! В корне пересмотрела историю литературы! Испорченный ребенок Байрон, возвышенный не собственным талантом, а духом времени. И затворница Каролина, интеллектуалка, не допущенная мужчинами-снобами в высший круг.

Валентайн. Где-то я это читал...

Ханна. Это его рецензия.

Бернард. Неплохо, между прочим, сказано. (*Разговор принимает неприятный оборот, но Бернарда это, очевидно, не смущает.*) Ты поменяла их местами, дорогуша. На самом деле твоя Каролина — романтическая пустышка без проблеска

литературного таланта. А Байрон — рационалист из XVIII века, отмеченный печатью гения. И Чейтера он *убил*!!!

Ханна. Отойду-ка я, пожалуй, в сторонку. Вперед! Жми на педали!

Бернард. Так и сделаю. В чужом глазу ты и соринку видишь. А сама приляпала на суперобложку черт-те кого.

Ханна. Что не так с обложкой?

Валентайн. А компьютерные данные? Не понравились? Решили не упоминать?

Бернард (*Валентайну*). Неубедительно!

Валентайн (*Ханне*). Я проверил на компьютере: статьи в «Пиккадилли» сильно отличаются от других байроновских рецензий.

Ханна (*Бернарду*). Что значит «черт-те кого»?

Бернард (*пропустив ее вопрос мимо ушей*). Другие рецензии друг от друга тоже отличаются.

Валентайн. Безусловно. Но по иным параметрам.

Бернард (*издевательски*). Параметры! Байрона не засунешь в компьютер! Кишка тонка! Гений — это тебе не дичь.

Валентайн (*невозмутимо*). Все это достаточно тривиально.

Бернард. Что?!!

Валентайн. Кто написал, что написал, когда...

Бернард. Тривиально?!

Валентайн. Незначительно. Замыкается на личностях.

Бернард. Как ты сказал? Тривиально?

Валентайн. Это технический термин.

Бернард. Ну уж нет! В литературе это термин отнюдь не технический!

Валентайн. Понимаете, Бернард, вы ставите несущественные вопросы. Вроде спора о том, кто изобрел дифференциальное исчисление. Англичане говорят — Ньютон, немцы — Лейбниц. Но по сути это совершенно неважно. Зачем спорить о личностях? Главное — само дифференциальное исчисление. Научный прогресс. Познание.

Бернард. Неужели? А почему?

Валентайн. Что «почему»?

Бернард. Почему научный прогресс важнее личностей?

Валентайн. Он шутит или всерьез?

Ханна. Шутит. Причем тривиально. Послушай, Бернард...

Валентайн (*перебивает ее, обращается к Бернарду*). Имейте мужество! Признайте свое поражение!

Бернард. Ну, пропал! Сейчас меня забодают пенициллином и пестицидами. Оставьте вашу прогрессивную гадость при себе. А то припомню атомную бомбу и аэрозоли. А главное — не путайте прогресс с совершенством. Великий поэт всегда рождается вовремя. Великий философ нужен всегда и позарез. А вот сэр Исаак Ньютон мог бы и подождать. Человечество без него было вполне счастливо. Лично я и сейчас предпочитаю Аристотелеву модель Вселенной. Пятьдесят пять хрустальных сфер — что еще человеку надо? Бог крутанет ручку и — пошло-поехало. А главная тривиальщина, по-моему, — скорость света. Кварки, квазары, черные дыры, бах, трах... Да кому это все нужно? Вы, ученые, вышибаете из нас не только деньги! Вы лишили нас гармонии! И рады! Чему вы рады?

Хлоя. Бернард, ты что? Против пенициллина?

Бернард. И ты с ними заодно? (*Снова обращается к Валентайну*). Нет, это вы несетесь к обрыву! И я вас охотно подтолкну. Всех до единого! Пускай меня проклянут! Но калеки и убогие поймут! Ибо пострадали от вашего прогресса!

Ханна (*громко*). Да объяснишь ты наконец что с обложкой?

Бернард (*не обращает не нее внимания*). Познание без самопознания ничто. Оно

никому не нужно. Вселенная расширяется? Ну и что? Сжимается? Ну и фиг с ней! А может, стоит на одной ножке и поет «У Пегги жил веселый гусь»? Мне на-пле-вать! Свою Вселенную я и без вас расширю.

Она идет во всей красе —
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены[1].

Так-то. Пришел гений с вечеринки и сочинил. Просто взял — и сочинил! (*С язвительной вежливостью.*) Кстати, Валентайн, чем ты там с дичью занимаешься? Расскажи, сделай милость!

Валентайн встает, и внезапно становится видно, что он вот-вот расплачется.

Валентайн (*Хлое*). Он не против пенициллина. А я не против поэзии. И он об этом знает. (*Бернарду.*) А дичью я не занимаюсь. Бросил.

Ханна. Ты шутишь?

Валентайн (*идет к двери*). Я больше не могу.

Ханна. Почему?

Валентайн. Слишком шумно. Слишком много лишних шумов.

С этими словами Валентайн выходит. Хлоя — расстроенная, в слезах — вскакивает и принимается колотить Бернарда кулаками. Не больно, понарошку.

Хлоя. Какой же ты гад, Бернард!

Выбегает. Следом за ней — Гас. Пауза.

Ханна. Ну вот. Столкнул всех до единого. Не забудь и Молнию перед уходом пнуть.

Бернард. Н-да... Очень жаль. Лучше иметь дело с профессионалами, верно?

Ханна. Верно.

Бернард. Ну ладно... (*Начинает собирать бумаги с текстом лекции и вдруг вспоминает.*) Да, ты спрашивала про обложку? «Лорд Байрон и Каролина Лэм в Королевской академии»? Этюд? Тушь, перо? Автор — Генри Фюзели?

Ханна. Ну, и что дальше?

Бернард. Это не они.

Ханна (*взрывается*). Кто сказал?

Бернард вынимает из портфеля «Вестник Байроновского общества».

Бернард. В Байроновском обществе появился эксперт по Фюзели. Вот, прислали мне свежий номерок... Как уважаемому коллеге, хотя и не члену...

Ханна. Почему не они?! Это известнейшая вещь...

Бернард. Известнейшее заблуждение. (*Ищет место в тексте.*) А, вот. «Не ранее 1820 года». Он сканировал этюд, проверил его слой за слоем. (*Передает ей журнал.*) Почитай на досуге.

Ханна (*иронизирует, подражая Бернарду*). Сканировал?

Бернард. Не спорю, очень милый набросок. Но Байрон был уже в Италии.

Ханна. Бернард, это они. Я *знаю*.

Бернард. Откуда?

Ханна. Ниоткуда. Просто *знаю*. Сканировал-онанировал...

Бернард. Не выражайся.

Ханна. Он заблуждается.

Бернард. А, научный инстинкт сработал?! Кишки-печенки?

Ханна (*без всяких эмоций*). Он заблуждается.

Бернард захлопывает портфель.

---

[1] Дж.Г.Байрон. «Еврейские мелодии» (1814). *Перевод С.Маршака.*

Бернард. В конце концов, все это тривиально и незначительно. Может, поедем?

Ханна. Куда?

Бернард. Со мной.

Ханна. В Лондон? Зачем?

Бернард. Затем.

Ханна. А, послушать твою лекцию?

Бернард. Хрен с ней, с лекцией. Возляжем. В койку...

Ханна. А?.. Нет. Спасибо... (*затем протестующе*). Бернард!

Бернард. Тебе бы не повредило. Недооцениваешь роль секса в нашей жизни.

Ханна. Я? Вообще я не против секса.

Бернард. Нет, против. А ты бы себя отпустила... Глядишь, и книжку бы получше написала. Во всяком случае, поближе к реальности.

Ханна. Секс и литература. Литература и секс. Если не вмешиваться, ваши рассуждения так по кругу и ходят. Точно два шарика на блюдце катаются. И один из шариков всегда секс.

Бернард. Естественно. На то мы и мужики.

Ханна. Вот именно! Эйнштейн — секс и теория относительности. Чиппендейл — секс и мебель. Галилей — крутится земля или лежит в койке бревном? Вы что, рехнулись? Меня звали замуж, и не раз. Как представлю — в дрожь бросает. Ради регулярного секса надо поступиться последней свободой — даже пукнуть в своей постели, и то не смей! Так какая книга будет поближе к реальности?

Бернард. Только романтик способен вытянуть Каролину Лэм в героини. А ты рационалистка и рождена для Байрона.

Пауза.

Ханна. Ну, счастливо. Пока.

Бернард. Да, знаешь, я приеду на танцы. Хлоя пригласила.

Ханна. Вот добрая душа. Но я не танцую.

Бернард. Нет... Ты не поняла. Я танцую с ней.

Ханна. А, ну-ну. Я-то не танцую.

Бернард. Я — ее партнер. Sub rosa[1]. Только не говори ее матери.

Ханна. Она скрывает от матери?

Бернард. Скрываю я. Видишь ли, я прежде не имел дела с земельной аристократией. Всего боюсь. А у страха, как известно, глаза велики.

Ханна. Бернард! Ты соблазнил девочку?

Бернард. Соблазнишь ее, как же... Только повернешься — она уже на стремянке, под потолком библиотеки. В конце концов я сдался. Но между ног у нее я кое-что приметил... И тут же подумал о тебе. (*Получает в ответ увесистую оплеуху, но остается невозмутим. Достает из кармана маленькую книжицу. Продолжает как ни в чем не бывало.*) Издательство «Пикс». «Справочник путешественника». Джеймс Годольфин, 1832 год. К сожалению, без иллюстраций. (*Открывает книгу на заложенной странице.*) «Сидли-парк в Дербишире, собственность графа Крума...»

Ханна (*в оцепенении*). Мир катится в тартарары в тележке старьевщика...

Бернард. «... пятьсот акров, из коих сорок занято озером. Парк, созданный Брауном и Ноуксом, изобилует готическими прелестями: подвесными мостиками, гротами и т.п. В эрмитаже уже двадцать лет обитает безумный отшельник; общается он исключительно с черепахой по имени Плавт, которую неохотно, но все же дает погладить любопытствующим детям». (*Протягивает ей книгу.*) Черепашка. Редкое постоянство.

Ханна (*берет книгу, но не сразу*). Спасибо.

---

[1] Между нами (*лат.*).

К двери подходит В а л е н т а й н.

Валентайн. Такси со станции у подъезда.

Бернард. А-а... Спасибо... Да, а у Павлини-то нашлось что-нибудь путное?

Ханна. Кое-что.

Бернард. Имя отшельника и его послужной список? (*Берет листок с копией письма.*) «Дорогой Теккерей...» Какой же я, оказывается, молодец. Угадал. (*Кладет письмо обратно на стол.*) Что ж, пожелай мне удачи... (*Валентайну, неопределенно.*) Прости за... ну, сам знаешь... (*Ханне.*) И за твою...

Валентайн. Брысь.

Бернард. Понял. (*Уходит.*)

Ханна. Не принимай близко к сердцу. Это же словоблудие. Сплошная риторика. В древности уроки риторики были вроде физкультуры. Истину отдавали на откуп философам, а остальных занимало только искусство болтовни. Бернард репетировал негодование — готовится выступать по телевизору.

Валентайн. А я не желаю служить боксерской грушей! (*Рассматривает письмо.*) Так *что* наш безумец?

Ханна (*забирает у него письмо и читает вслух*). «Свидетельство безумца должно послужить предупреждением против слепого следования французской моде... поскольку именно французский, точнее, офранцузившийся математик привел его к печальной уверенности в том, что впереди нас ждет мир без жизни и света... подобный деревянному очагу, который неизбежно поглотит себя и обратится в единую неразличимую золу. Мир утратит весь жар Земли...»

Валентайн (*оживленно и заинтересованно*). Так-так, интересно.

Ханна. «Он умер в возрасте сорока и семи лет, дряхлый, как Иов, сморщенный, как кочерыжка, сам — лучшее доказательство своих пророчеств. Но до последнего часа он трудился, пытаясь вернуть миру надежду посредством доброй старой английской алгебры».

Валентайн. Все?

Ханна (*кивает*). В этом есть какой-нибудь смысл?

Валентайн. В чем? Что все мы обречены? (*Небрежно.*) Вообще-то это второй закон термодинамики.

Ханна. И давно он известен?

Валентайн. Поэтам и безумцам — с незапамятных времен.

Ханна. А серьезно? Тогда о нем знали?

Валентайн. Нет.

Ханна. Это как-то связано... ну... с открытием Томасины?

Валентайн. Она ничего не открыла.

Ханна. А с записями в тетрадке?

Валентайн. Нет.

Ханна. Значит, совпадение?

Валентайн. Какое совпадение?

Ханна (*читает*). «Он умер в возрасте сорока и семи лет». Это случилось в 1834 году. Значит, родился он в 1787-м. Как и учитель. Он сам написал лорду Крому, когда нанимался на работу. «Год рождения — 1787». Отшельник родился в тот же год, что и Септимус Ходж.

Валентайн (*помолчав*). Эпидемия! Тебя что — Бернард в ногу укусил?

Ханна. Как ты не понимаешь? Я думала, мой отшельник — идеальный символ. Идиот в пейзаже. Но так еще лучше! Эпоха Просвещения изгнана в пустыню Романтизма! Гений Сидли-парка уходит жить в хижину отшельника.

Валентайн. Ты этого не *знаешь*.

Ханна. Знаю. Знаю. И где-нибудь наверняка есть подтверждение... Только бы найти.

Сцена шестая

Комната пуста.

Повтор: раннее утро — отдаленный выстрел — грай ворон.

В предрассветном полумраке комнаты появляется Д ж е л а б и со свечой. Выглядывает в окно. Что-то привлекает его внимание. Он возвращается к столу, ставит лампу и, открыв стеклянную дверь, выходит в сад.

Джелаби (*снаружи*). Господин Ходж!

Входит С е п т и м у с, следом Д ж е л а б и, который закрывает дверь в сад. Септимус в пальто.

Септимус. Спасибо, Джелаби. Я боялся, что все двери заперты и в дом не попасть. Который час?

Джелаби. Половина шестого.

Септимус. Н-да, и на моих то же самое. Удивительная, знаете ли, штука — рассвет. Очень вдохновляет. Бодрит. (*Вынимает из внутренних карманов пальто два пистолета и кладет их на стол.*) Птички, рыбки, лягушки, кролики... (*Вытаскивает из глубин пальто убитого кролика.*) Красота. Жаль только, что рассвет всегда случается в такую рань. Я принес леди Томасине кролика. Возьмете?

Джелаби. Но он дохлый.

Септимус. Убит. Леди Томасина любит пирог с крольчатиной.

Джелаби неохотно забирает кролика. На нем пятна крови.

Джелаби. Господин Ходж, вас искали.

Септимус. Захотелось поспать этой ночью в лодочном павильоне. Я не ошибся, от ворот действительно отъехала карета?

Джелаби. Карета капитана Брайса. С ним уехали господин и госпожа Чейтер.

Септимус. Уехали?

Джелаби. Да, сэр. А лошадь лорда Байрона оседлали еще к четырем утра.

Септимус. И лорд Байрон уехал?

Джелаби. Да, сэр. Все на ногах, дом бурлит всю ночь.

Септимус. Но у меня его охотничьи пистолеты! Что с ними делать? На кроликов охотиться?

Джелаби. Вас не было в комнате, вас искали.

Септимус. Кто?

Джелаби. Ее сиятельство.

Септимус. Она заходила ко мне в комнату?

Джелаби. Я сообщу ее сиятельству, что вы вернулись. (*Направляется к двери.*)

Септимус. Джелаби! А лорд Байрон не оставлял для меня книгу?

Джелаби. Книгу?

Септимус. Он брал у меня книгу. Почитать.

Джелаби. Его светлость не оставили в комнате ничего. Ни монетки.

Септимус. Хм... Ну, будь у него монетка, он бы ее непременно оставил. Держите-ка, Джелаби, вот вам полгинеи.

Джелаби. Премного благодарен, сэр.

Септимус. Так что тут стряслось?

Джелаби. Сэр, от слуг все держат в тайне.

Септимус. Ладно, будет вам. Или полгинеи уже не деньги?

Джелаби (*вздохнув*). Ее сиятельство повстречали ночью госпожу Чейтер.

Септимус. Где?

Джелаби. На пороге комнаты лорда Байрона.

Септимус. А... Кто же из них входил и кто выходил?

Джелаби. Выходила госпожа Чейтер.

Септимус. А где был господин Чейтер?

Джелаби. Пил бренди с капитаном Брайсом. Лакей поддерживал огонь в камине

до трех часов по их приказу, сэр. А потом наверху начался скандал и...

Входит леди Крум.

Леди Крум. Ну и ну, господин Ходж!

Септимус. Миледи...

Леди Крум. И вся эта затея — чтобы убить зайца?!

Септимус. Кролика. (*Она бросает на него пристальный взгляд.*) Да, вы правы. Зайца. Просто он очень похож на кролика.

Джелаби направляется к двери.

Леди Крум. Принесите мой настой.

Джелаби. Слушаюсь, миледи.

Выходит. В руках у леди Крум два прежде незнакомых зрителю письма во вскрытых конвертах. Она бросает их на стол.

Леди Крум. Как вы посмели?!

Септимус. Это мои личные записи, и прочитаны они без разрешения. Вы не можете меня обвинять.

Леди Крум. Письмо адресовано мне!

Септимус. И оставлено в моей комнате. Только в случае моей смерти вы...

Леди Крум. Какой смысл получать любовные письма с того света?

Септимус. Такой же, как с этого. Но второе письмо и вовсе адресовано не вам.

Леди Крум. Право матери — вскрыть письмо, адресованное дочери. Не важно — живы вы, умерли или окончательно спятили. С какой стати вы учите ее размешивать рисовый пудинг? Бедняжку постиг такой удар! Смерть близкого человека!

Септимус. Кто-то умер?

Леди Крум. Вы! Вы, идиот вы этакий!

Септимус. А-а, понятно.

Леди Крум. Даже не знаю, какое из ваших сочинений сумасброднее. Один конверт набит рисовым пудингом, другой — скабрезными описаниями различных частей моего тела... Впрочем, одно из двух еще можно вытерпеть.

Септимус. Которое же?

Леди Крум. Хм... Какими бойкими мы становимся на прощанье! Ваш друг уже отбыл восвояси. И потаскушку Чейтершу с муженьком я тоже выставила. И братца моего заодно — за то, что привез их сюда. Таков приговор. Друзей надо выбирать с умом. Иначе — изгнание! Лорд Байрон — негодяй и лицемер. Чем скорее он покинет Англию, тем лучше. Ему под стать только левантийские[1] разбойники.

Септимус. Вижу, это была ночь откровений и расплаты.

Леди Крум. Да. Уж лучше б вы с Чейтером пристрелили друг другу головы — благопристойно, со всеми церемониями, как подобает в аристократическом доме. А так, господин Ходж, здесь не осталось никаких секретов. Все выплеснулось наружу — среди воплей, клятв, слез... К счастью, мой супруг с раннего детства питает пристрастие к стрельбе и потому давно оглох на одно ухо. А спит на другом.

Септимус. Боюсь, я все-таки не понимаю, что случилось ночью в этом доме.

Леди Крум. Вашу шлюху застали в комнате лорда Байрона.

Септимус. А-а... И кто же ее застал? Господин Чейтер?

Леди Крум. Кто же еще?

Септимус. Простите, мадам, простите великодушно за то, что я ввел в ваш дом моего недостойного друга. Он еще поплатится. Даю слово, я призову его к ответу!

---

[1] Левантийский Понт — старинное название Средиземного моря.

Леди Крум хочет что-то сказать, но в эту минуту входит Джелаби с «настоем». Это оловянный подносик на ножках с чайничком, подвешенным над спиртовкой. Еще на подносике чашка, блюдце и серебряная «корзинка» с сухими травами и чайными листьями. Джелаби ставит подносик на стол и, готовый помочь, остается рядом.

Леди Крум. Я справлюсь.

Джелаби. Хорошо, миледи. (*Обращается к Септимусу.*) Сэр, вам письмо. Лорд Байрон оставил его у камердинера.

Септимус. Спасибо.

Септимус берет письмо с подноса. Джелаби намеревается уйти. Леди Крум внимательно смотрит на письмо.

Леди Крум. Когда он оставил письмо?

Джелаби. Перед самым отъездом, ваше сиятельство.

Джелаби выходит. Септимус кладет письмо в карман.

Септимус. Позвольте?

Поскольку она не возразила, Септимус наливает ей чай и передает чашку прямо в руки.

Леди Крум. Не знаю, пристойно ли с вашей стороны получать в моем доме письма от персоны, которой от этого дома отказано?

Септимус. В высшей степени непристойно, миледи, совершенно с вами согласен. Бестактность лорда Байрона — неиссякаемый источник огорчения для всех его друзей, к коим я отныне себя не причисляю. И я не вскрою этого письма, покуда не последую за его автором, также приговоренный к изгнанию.

Она на мгновение задумывается.

Леди Крум. Того, кто читает письмо, еще можно оправдать. Но написавшему нет прощения!

Септимус. Почему вы не родились в Афинах эпохи Перикла?! Философы и скульпторы передрались бы за каждый ваш час и миг!

Леди Крум (*протестующе*). Ах, в самом деле?!. (*Протестуя уже слабее.*) Ах, перестаньте... (*Септимус вынимает из кармана письмо Байрона и поджигает уголок от пламени спиртовки.*) Перестаньте...

Бумага вспыхивает в руке Септимуса, он роняет ее на оловянный поднос. Письмо сгорает дотла.

Септимус. Ну вот. Письмо лорда Байрона, которое не суждено прочесть ни одной живой душе. Я отправлюсь в изгнание, мадам, как только вы пожелаете.

Леди Крум. В Вест-Индию?

Септимус. Почему именно в Вест-Индию?

Леди Крум. Вслед за Чейтершей. Разве она не сказала вам, куда едет?

Септимус. За время знакомства мы не обменялись и тремя словами.

Леди Крум. Естественно. Она приступает к делу без лишних разговоров. Чейтерша уходит в море с капитаном Брайсом.

Септимус. Бравым матросом?

Леди Крум. Нет. Женой своего мужа. А он взят в экспедицию собирателем растений.

Септимус. Я знал, что он не поэт. Оказывается, его истинное призвание — ботаника.

Леди Крум. Он такой же ботаник, как поэт. Братец выложил пятьдесят фунтов, чтобы опубликовать его вирши, а теперь заплатит сто пятьдесят, чтобы Чейтер целый год рвал в Вест-Индии цветочки, а братец с Чейтершей будут собирать ягодки. В постели. Капитан Брайс не остановится ни перед чем. Не моргнув глазом обманет Адмиралтейство, общество Карла Линнея и даже Главного королевского ботаника, сэра Джозефа Бэнкса из Кью-гарден. Брайс неукротим, раз уж воспылал такой страстью.

Септимус. Ее страсть столь же кипуча, но направлена не столь узко.

Леди Крум. У Бога особое чувство юмора. Он обращает наши сердца к тем, кто не имеет на них никакого права.

Септимус. Верно, мадам. (*Помолчав.*) Но разве господин Чейтер обманывается на ее счет?

Леди Крум. Он упорствует в своем заблуждении. Жену считает добродетельной оттого, что сам готов за эту добродетель драться. А капитан Брайс на ее счет нисколько не заблуждается, но поделать с собой ничего не может. Он готов за эту женщину умереть.

Септимус. Думаю, он предпочел бы, чтобы за нее умер господин Чейтер.

Леди Крум. Честно говоря, я никогда не встречала женщины, достойной дуэли... Но и никакая дуэль не достойна женщины, господин Ходж. Ваше письмо ко мне весьма странно соотносится с вашими шашнями с госпожой Чейтер. Можно произнести или написать слова любви и тут же их предать — такое в моей жизни бывало. Но предать, еще не окунув перо в чернила?! И с кем? С уличной потаскухой! Вы намерены оправдываться?

Септимус. Миледи, я находился в бельведере наедине со своей любовью. Госпожа Чейтер застала меня врасплох. Я был в агонии, моя страсть жаждала выхода...

Леди Крум. О-о...

Септимус. Я на миг поверил, что, задрав Чейтерше юбки, я обману свои чувства, я погнался за иллюзией счастья, о котором иначе не мог и помыслить.

Пауза.

Леди Крум. Вот уж, воистину, престранный комплимент, господин Ходж. Полагаю, в описанной вами позиции я дам Чейтерше изрядную фору. А она носит подштанники?

Септимус. Носит.

Леди Крум. Да-да, говорят, теперь это модно. Но это так не по-женски. Как жокеи на бегах... Нет, не одобряю. (*Она поворачивается, тряхнув юбками, и направляется к двери.*) А о Перикле и афинских философах я ничего не знаю. Могу уделить им часок. В гостиной, после купания. В семь часов. Захватите какую-нибудь книгу.(*Выходит.*)

Септимус берет свои «предсмертные» письма и сжигает их на спиртовке.

Сцена седьмая

Валентайн и Хлоя у стола. Гас тоже в комнате. В руках у Хлои две субботние газеты. Она в будничном платье эпохи Регентства[1], без головного убора.

Валентайн печатает на портативном компьютере. На нем тоже костюм в стиле Регентства, довольно неряшливый.

Вся эта одежда, очевидно, извлечена из огромной плетеной корзины с крышкой. Гас продолжает рыться в ней, подыскивая одежду для себя. Находит пальто эпохи Регентства, примеривает.

На столе появились два геометрических тела, пирамида и конус, высотой в полметра; такие обычно используют на уроках рисования. Еще на столе горшок с карликовыми далиями — на современные далии они не похожи.

Хлоя (*читает*). «Даже в Аркадии. Секс, литература и смерть в Сидли-парке». Рядом — портрет Байрона.

Валентайн. Почему не Бернарда?

Хлоя (*читает*). «Байрон дрался на дуэли, оказавшейся роковой, — утверждает ученый...» Валентайн, я первая до этого додумалась?

Валентайн. Нет.

---

[1] Эпоха Регентства — период в британской истории (1811—1820) и искусстве (1811—1830), время правления принца-регента (позже — король Георг IV), сына сумасшедшего короля Георга III.

Хлоя. Но я же еще ничего не объяснила. Слушай! Будущее запрограммировано, как компьютер. Правильно?

Валентайн. Да, если принять теорию о детерминированной Вселенной.

Хлоя. Вот видишь! А все почему? Потому что все — включая нас с тобой — состоит из атомов. Атомы прыгают, катаются, стукаются друг об друга, как бильярдные шары.

Валентайн. Верно. Еще в двадцатых годах прошлого века один ученый — не помню имени — утверждал, что, опираясь на законы Ньютона, можно предсказывать будущее. Естественно, для этого нужен компьютер — огромный, как сама Вселенная. Но формула, так или иначе, существует.

Хлоя. Но она не срабатывает! Ведь правда же? Согласись! Не срабатывает!!!

Валентайн. Согласен. Расчеты неверны.

Хлоя. Расчеты ни при чем. Все из-за секса.

Валентайн. Да ну?

Хлоя. Я уверена. Хотя — спору нет, Вселенная детерминирована, Ньютон был прав; вернее, она пытается соответствовать его законам, но все время сбоит. Буксует. А причина одна-единственная: люди любят не тех, кого надо. Поэтому сбиваются все планы и искажается картинка будущего.

Валентайн. Хм... Притяжение, которое Ньютон сбросил со счетов?.. Одно яблоко трахнуло его по башке, а другое подкинул змей-искуситель?.. Да. (*Пауза.*) Пожалуй, ты додумалась до этого первая.

Входит Х а н н а с бульварной газеткой и кружкой чая.

Ханна. Как вам такой заголовочек? «Блудливый Байрон убил поэта».

Хлоя (*довольно*). Давай скорей почитаем!

Ханна отдает ей газету; улыбается Гасу.

Валентайн. Смотри, какая огласка! Как они только разнюхали?

Ханна. Не будь наивным. (*Хлое.*) Эту газетку твой папа просил вернуть.

Хлоя. Ладно, ладно.

Ханна. Вот идиот.

Хлоя. Ты просто завидуешь. По-моему, он великолепен. (*Встает, направляется к выходу. Обращается к Гасу.*) Клевый костюмчик. Только не с кроссовками. Пойдем, одолжу тебе пару туфель без каблука. По стилю как раз подойдут.

Ханна. Привет, Гас. Вы все так романтично нарядились.

Гас идет за Хлоей. Неуверенно улыбается Ханне.

Хлоя (*напористо*). Ну, ты идешь?

Она придерживает дверь для Гаса и выходит следом за ним. Но шлейф ее неодобрения остается в комнате.

Ханна. Главное — уметь вовремя начихать на мнение молодежи. (*Снова обращается к газетам.*)

Валентайн (*с тревогой*). Надеюсь, она не влюбилась в Бернарда?

Ханна. За Хлою не беспокойся. Уже не маленькая, имеет право и ножки раздвинуть. Ага, «Байрон дрался на дуэли, оказавшейся роковой, утверждает ученый». (*Повторяет скептически.*) «Утверждает *ученый*».

Валентайн. Возможно, все это — чистая правда.

Ханна. Чистая? А как ты поставишь пробу? Пусть будет хотя бы не грязная ложь.

Валентайн (*довольно*). Все как у нас в науке.

Ханна. Если Бернард ухитрится пускать пыль в глаза до самой смерти — его счастье.

Валентайн. Ну точь-в-точь как в науке. Только страх перед судом потомков...

Ханна. Не думаю, что это так затянется.

Валентайн. ...А потом загробная жизнь. И кому-то она принесет немало разоча-

рований. «А, Бернард Солоуэй! Познакомьтесь с лордом Байроном». Рай небесный!

Ханна. Валентайн, неужели ты веришь в загробную жизнь?

Валентайн. Похоже, тебе наконец удастся меня огорчить.

Ханна. Огорчить? Чем же?

Валентайн. Спором о науке и религии.

Ханна. А я не спорю... Кто, что, с кем... Скукотища.

Валентайн. Ханна! Невеста. Сжалься. Давай заключим пробный брак! А утром его расторгнем.

Ханна (*развеселившись*). Таких предложений мне еще никто не делал.

Валентайн (*с интересом*). А других — много было?

Ханна. Все тебе расскажи...

Валентайн. А что в этом плохого? Твоя сдержанность — на самом деле зажатость. Она — от привычки, причем дурной. Нервы ни к черту.

Ханна. Мне выйти?

Валентайн. Кто ничего не дает, ничего и не получает.

Ханна. Я ни о чем не прошу.

Валентайн. Останься.

Валентайн возвращается к работе. Ханна устраивается на «своем» конце стола; перед ней небольшие, карманного формата тетради — «садовые книги» леди Крум.

Ханна. Ты чем занимаешься? Валентайн?!

Валентайн. Множеством точек на комплексной плоскости, полученных в результате...

Ханна. Это дичь?

Валентайн. Дичь. Черт бы ее побрал.

Ханна. Не бросай эту работу. Не сдавайся.

Валентайн. Почему? Разве ты не согласна с Бернардом?

Ханна. А, ты об этом... На самом деле тривиально и незначительно все: твоя дичь, мой отшельник, Байрон, который так занимает Бернарда. Цель, в сущности, ничто. И возвышает нас не цель, а сама жажда познания. Иначе мы покинем сей мир так же тихо, как пришли. Поэтому я и говорю, что в загробную жизнь ты верить не смеешь. Верь во что хочешь: в Бога, в отделение души от тела, в высший дух, в ангелов, если угодно, — но только не в эту великую сходку, на которой все наконец встретятся и все обсудят. Если ответы в конце книги, я еще подожду. И то это ужасно нудно. Уж лучше бороться — хотя поражение неотвратимо и необратимо. (*Смотрит из-за плеча Валентайна на экран компьютера.*) Ого!.. Красиво!

Валентайн. Закат семейства Каверли.

Ханна. Закат Каверли? Господи, Валентайн!

Валентайн. Дай-ка пальчик. (*Несколько раз нажимает ее пальцем на клавишу.*) Видишь? Островки совершенного порядка в океане праха. Формы, возникающие из ничего. Снова и снова. Каждая картинка — увеличенный фрагмент предыдущей. И так далее. До бесконечности. Здорово, правда?

Ханна. Это что-то важное? Это серьезно?

Валентайн. Интересно. Можно публиковать.

Ханна. Поздравляю!

Валентайн. Не меня. Томасину. Я просто прогнал ее уравнения через компьютер — в миллион, в несколько миллионов раз дальше, чем успела она со своим карандашиком. (*Достает из старой папки тетрадку Томасины и передает Ханне. Слышатся звуки рояля.*) Спасибо, можешь забрать.

Ханна. И все-таки — что это означает?

Валентайн. Не то, чего ты ждешь.

Ханна. Почему?

Валентайн. Ну, во-первых, она бы прославилась при жизни.
Ханна. Не успела. Она умерла слишком рано.
Валентайн. Умерла?
Ханна. Сгорела заживо.
Валентайн (*осознав*). Ах, так это девушка, погибшая в огне!
Ханна. Пожар вспыхнул ночью, накануне ее семнадцатилетия. На фасаде видно — не хватает мансардного окна. Там, под самой крышей, была ее комната. В парке — памятник.
Валентайн (*раздраженно*). Я знаю. Это мой дом.

Валентайн снова поворачивается к компьютеру. Ханна возвращается на свое место. Листает учебник математики.

Ханна. А ведь Септимус был ее учителем. И они вместе могли...
Валентайн. Занимайся своим делом.

Пауза. Два исследователя за работой.

Пятнадцатилетний лорд О г а с т е с , в одежде 1812 года, врывается в дверь, что напротив музыкальной комнаты. Смеется. Ныряет под стол. Его преследует разгневанная шестнадцатилетняя Т о м а с и н а. Она немедленно определяет, где Огастес.

Томасина. Ты же клялся! Ты крест на сердце клал!

Огастес выбирается из-под стола. Томасина снова бросается в погоню — вокруг стола.

Огастес. Я маменьке скажу! Все маменьке скажу!
Томасина. Какая же ты дрянь!

Она хватает Огастеса в тот миг, когда в комнату входит С е п т и м у с с книгой, графинчиком, бокалом и папкой с бумагами.

Септимус. Тише! Что случилось! Милорд! Прошу всех успокоиться.

Томасина и Огастес расцепляются.

Благодарю вас. (*Проходит к своему месту за столом. Наливает себе бокал вина.*)
Огастес. А, добрый день, господин Ходж!

На губах его ухмылка. Томасина принимается прилежно рисовать пирамиду и конус. Септимус открывает папку.

Септимус. Не составите ли нам сегодня компанию, лорд Огастес? У нас урок рисования.
Огастес. Я рисую лучше всех в Итоне, господин Ходж. Но мы предпочитаем обнаженную натуру.
Септимус. Что ж, рисуйте по памяти.
Томасина. Какая гадость!
Септимус. Прошу тишины.

Он достает из папки проверенную тетрадь Томасины и бросает ей через стол. Она ловит, открывает.

Томасина. Никаких отметок?! Тебе не понравилось кроличье уравнение?
Септимус. Не усматриваю связи с кроликами.
Томасина. Они же поедают собственное потомство.
Септимус (*после паузы*). Я сразу не понял. (*Протягивает руку.*)
Томасина (*возвращая ему тетрадь*). Дальше сделать — просто места не хватило.

Септимус и Ханна листают удвоенные временем страницы. Огастес вяло рисует геометрические тела.

Ханна. Ты хочешь сказать, что мир все-таки спасен?
Валентайн. Нет. Мир по-прежнему обречен. Но если он зарождался именно так,

то, возможно, и следующий мир возникнет по этому образцу.

Ханна. Из доброй английской алгебры?
Септимус. И так — до бесконечности, нуля или полного абсурда.
Томасина. Нет. Если отбросить отрицательные корни, все снова обретает смысл.

Септимус перелистывает страницы. Томасина начинает рисовать геометрические тела.

Ханна закрывает учебник и переключается на «садовые книги».

Валентайн. А чай-то стынет.
Ханна. Я не пью горячий.
Валентайн (*не слушая ее*). Нет, ты вдумайся. Твой чай стынет сам по себе. А нагреваться сам по себе не может. Странно, правда?
Ханна. Нет.
Валентайн. Не спорь. Конечно, странно. Только от горячего к холодному. Улица с односторонним движением. Чай будет стынуть и стынуть — до комнатной температуры. Так происходит везде и всюду. Солнце и звезды тоже остынут. Не так быстро, как чай, но в конце концов все на свете придет к комнатной температуре. Во времена твоего отшельника этого не понимал никто. Но — ладно, допустим, что в тысяча восемьсот лохматом году этот полоумный действительно разбирался в термодинамике — единственный во всем мире. Даром что жил затворником в дербиширской глухомани.
Ханна. Он — выпускник Кембриджа. Ученый.
Валентайн. Да хоть десять раз. Спорить не буду. А девчонка была его ученицей, ученицей гениального наставника.
Ханна. Или наоборот.
Валентайн. Как угодно. Главное — суть. А до сути они докопаться не могли! Как уж он спасал мир с помощью доброй английской алгебры — не знаю. Но только не *так*.
Ханна. Почему? Потому что у них не было калькулятора?
Валентайн. Нет. Да. Потому что существует определенный порядок, ход событий. Нельзя открыть дверь несуществующего дома.
Ханна. На то и гений.
Валентайн. Увы — это гений безумцев и поэтов.

Пауза.

Ханна.Я видел Сон, не все в нем было сном.
Погасло солнце яркое, и звезды
Без света, без путей в пространстве вечном
Блуждали, и замерзшая земля
Кружилась слепо в темноте безлунной[1].
Валентайн. Твои стихи?
Ханна. Байрон.

Пауза. Снова — ученые за работой.

Томасина. Септимус, как ты думаешь, я выйду замуж за лорда Байрона?
Огастес. Кто еще такой?
Томасина. Автор «Паломничества Чайльд Гарольда»[2]. А Чайльд Гарольд — са-

---

[1] Дж.Г.Байрон. «Тьма». *Перевод М.Зенкевича*.
[2] Плод заграничного путешествия Байрона, опубликован в марте 1812 года.

мый поэтичный, самый возвышенный и самый храбрый герой. А еще — самый современный и самый красивый, потому что для нас, тех, кто знаком с автором, Чайльд — это сам Байрон. Ну же, Септимус?!

Септимус (*сосредоточен на другом*). Нет. (*Он убирает тетрадь Томасины в папку и берется за свою книгу.*)

Томасина. Почему?

Септимус. Во-первых, Байрон даже не помнит о вашем существовании.

Томасина. Но, когда он был в Сидли-парке, мы обменивались многозначительными взглядами. Странно, почему он до сих пор не объявился, — ведь уже год, как он вернулся из своих странствий.

Септимус. Короче, миледи, это маловероятно.

Огастес. Ах, *этот* лорд Байрон! Помню. Он присвоил моего зайца, хотя я выстрелил первым. А он заявил, будто я промахнулся. Большой шутник. Но на тебе, Томсик, он конечно, не женится. Он ведь не слепой, а только хромой...

Септимус. Все, господа, тихо. Мертвая тишина до без четверти двенадцать. Нельзя непрерывно отвлекать наставника. Это невыносимо.

Огастес. Вы — не мой наставник. Я пришел к вам на урок по собственной воле.

Септимус. На всякую волю есть ньютонов детерминизм, милорд.

Томасина смеется — собственно, фраза для нее и сказана. Огастес злится, чувствуя себя лишним.

Огастес. Ваш покой меня нисколько не волнует. Раскомандовался тут!

Томасина (*предостерегающе*). Огастес!

Септимус. Я не командую, милорд. Я вдохновляю. Я благоговею перед Просвещенностью и тем самым вдохновляю учеников на умножение познаний, посредством которых они приблизятся к Богу. За лучший конус и пирамиду, нарисованные в полной тишине и представленные не ранее чем без четверти двенадцать, полагается награда — шиллинг.

Огастес. Сэр, вам не купить мое молчание! Я знаю тайну, которая стоит куда дороже.

Отбросив альбом и карандаш, он с достоинством покидает комнату. Захлопывает дверь. Пауза. Септимус вопросительно смотрит на Томасину.

Томасина. Я рассказала ему, что ты меня поцеловал. Но он не проговорится.

Септимус. Я? Целовал вас? Когда?

Томасина. Вчера!

Септимус. Как?!.

Томасина. Как? В губы!

Септимус. Где?

Томасина. В эрмитаже, Септимус!

Септимус. В губы в эрмитаже! Ах, вот вы о чем! Разве это поцелуй? Ни на шиллинг, ни на полшиллинга не тянет. Я о нем уж и позабыл совсем.

Томасина. Какой ты жестокий! Ты что — и уговор наш позабыл?

Септимус. Боже милостивый! Какой уговор?

Томасина. Ты учишь меня танцевать вальс! Подписано и скреплено поцелуем. А следующий поцелуй — когда я буду танцевать, как маменька.

Септимус. А, ну да, ну да. Мы, бывало, вальсировали в Лондоне ночи напролет.

Томасина. Септимус! Я непременно должна научиться! Иначе все меня будут презирать. Вальс — самый модный, самый веселый и самый дерзкий танец! Лучшее, что изобрели в Германии.

Септимус. Ладно, оставим немцам вальс. Главное, что дифференциальное исчисление открыл Ньютон, а не Лейбниц.

Томасина. Маменька привезла из города целый сборник вальсов, они будут играть с князем Зелинским.

Септимус. К чему напоминать, сколь печальна моя участь? Князь так немилосер-

дно колотит по клавишам Бродвуда и его сыновей[1] — я даже читать вынужден на счет три.

Томасина. А что ты читаешь?

Септимус. Эта статья получила приз Парижской научной академии. Автор заслуживает вашего благосклонного внимания, поскольку вы — апологет его идей.

Томасина. О чем он пишет? О вальсе?

Септимус. Да. Он составил уравнение, которое описывает распространение теплоты в твердых телах. А пока составлял, впал в ересь, поскольку обнаружил природное противоречие законам сэра Исаака Ньютона.

Томасина. Ого! Он оспаривает детерминизм?

Септимус. Нет!.. А впрочем... Пожалуй. Он показывает, что атомы двигаются не по Ньютону.

Томасина переключается — с характерной для нее легкостью — и спешит взять книгу в руки.

Томасина. Дай-ка... Ой! На французском?

Септимус. Представьте. Париж — столица Франции.

Томасина. Покажи, откуда читать. (*Он забирает книгу и находит нужную страницу. Тем временем музыка за стеной становится все более громкой и страстной.*) В четыре руки заиграли. Маменька влюблена в князя.

Септимус. Это в Польше он князь. А в Дербишире — фортепьянный настройщик.

Томасина уже взяла книгу и погрузилась в чтение. Музыка достигает бурного экстаза и вдруг обрывается — на полузвуке. В соседней комнате воцаряется настолько выразительная тишина, что Септимус невольно смотрит на дверь. Томасина ничего не замечает. Тишина позволяет нам расслышать отдаленный стук и гул парового двигателя — о нем пойдет речь позже. Вскоре из музыкальной комнаты появляется л е д и К р у м. То, что класс не пуст, для нее неприятная неожиданность. Однако она быстро овладевает собой. Плотно закрывает дверь и остается: понаблюдать равнодушно, праздно и тихо, не прерывая урока. Завидев ее, Септимус встает, но она кивком усаживает его обратно.

Х л о я, в платье эпохи Регентства, входит из комнаты, что напротив музыкальной. Видит Валентайна и Ханну, но, не обращая на них внимания, направляется к музыкальной комнате.

Хлоя. А где Гас?

Валентайн. Не знаю.

Хлоя скрывается за дверью.

Леди Крум (*раздраженно*). Ох! Опять этот Ноукс со своей паровой машиной! (*Выходит в сад через стеклянные двери.*)

Х л о я возвращается в комнату.

Хлоя. Черт побери!

Леди Крум (*кричит*). Господин Ноукс!

Валентайн. Он недавно был здесь.

Леди Крум. Эй! Эгей!

Хлоя. Сейчас будут фотографировать. Он одет?

Ханна. А Бернард уже приехал?

---

[1] Английская фортепьянная фирма. Основана в 1769 году. С 1795 года под названием «Бродвуд и сыновья». Изготавливала прямоугольные (столбообразные) фортепьяно с «английским» молоточковым механизмом.

Хлоя. Опаздывает. (*Звуки фортепьяно слышатся снова, но их перекрывает стук парового двигателя. Леди Крум входит обратно в комнату. Хлоя выходит в сад. Кричит.*) Гас!

Леди Крум. Удивляюсь вашему терпению, господин Ходж! Заниматься под такой аккомпанемент! Сочувствую.

Возвращается Хлоя.

Валентайн (*вставая с места*). Перестань всеми командовать.

Леди Крум. Нестерпимый шум!

Валентайн. Фотограф подождет.

Он ворчит, но все же идет за Хлоей — в комнату, откуда она вошла вначале. Дверь за ними закрывается. Ханна погружена в свои размышления. В тишине громко и ритмично стучит паровой двигатель.

Леди Крум. Нескончаемо! Тупо! Монотонно! Я с ума схожу! Придется вернуться в город.

Септимус. Ваша светлость может остаться здесь. А князь Зелинский пусть возвращается в город и не докучает вам своей музыкой.

Леди Крум. Да я о паровой машине Ноукса! (*Понизив голос, Септимусу.*) Вы что же — дуетесь? И дочь, чего доброго, научите угрюмству? Не потерплю.

Томасина (*не вслушиваясь*). Что, маменька?

Томасина по-прежнему погружена в чтение. Леди Крум прикрывает стеклянную дверь. Шум двигателя стихает.

Ханна захлопывает одну из «садовых книг», открывает следующую. Изредка делает пометки в блокноте.
Музыка смолкает.

Леди Крум (*Томасине*). И чем мы сегодня занимаемся? (*Пауза.*) Ясно, что не хорошими манерами.

Септимус. Мы рисуем.

Леди Крум (*бросает взгляд на работу Томасины*). Геометрия. Одобряю.

Септимус. Одобрение вашей светлости — моя главная и неизменная цель.

Леди Крум. Не отчаивайтесь, мой друг. Старайтесь. (*Нетерпение гонит ее к окну.*) Где же Ноукс? Все-таки Дар Браун был воистину дар, а Ноукс — настоящая бездарь!!! (*Раздраженно выглядывает.*) А-а, теперь он ищет свою шляпу. Больше ему перед дамой и снять нечего. (*Возвращается к столу, дотрагивается до горшка с далиями.*)

Ханна сидит, откинувшись на стуле. Она поглощена чтением «садовой книги».

Леди Крум. За далии, что прислала вдова, можно простить даже женитьбу брата. Слава Богу, обезьяна укусила мужа, а не жену. Во-первых, несчастное животное непременно бы отравилось. А во-вторых, мы теперь единственные в королевстве обладатели далий.

Ханна встает, продолжая читать.

Я послала одну далию Чатсвортам. Герцогиня была в восторге. Когда я приехала с визитом в Девонширский дом, она рассыпалась в благодарностях. Кстати, ваш друг обретается там в качестве придворного поэта.

Ханна выходит за дверь, за которой скрылись Валентайн и Хлоя.

Томасина хлопает книгой об стол.

Томасина. Я же говорила! Ньютон рассчитывал, что наши атомы покатятся от рождения к смерти прямиком, согласно законам движения. Ан нет! Я знала, что детерминизм несовершенен, он же прет напролом! И, похоже, этот господин нашел причину.

Леди Крум. Причину чего?

Томасина. Поведения нагретых тел.

Леди Крум. Это геометрия?

Томасина. Это? Нет. Я презираю геометрию. (*Дотрагивается до далий и добавляет — почти про себя.*) Госпожа Чейтер тоже знает, как распаляются тела. Она может опровергнуть Ньютона в два счета.

Септимус. Гоббс[1] утверждает в «Левиафане», что геометрия — единственная наука, которую Господь с радостью дал человечеству.

Леди Крум. И что он имел в виду?

Септимус. Господин Гоббс или Господь?

Леди Крум. Я не поняла ни того, ни другого.

Томасина. К черту Гоббса! Горы — это не пирамиды, а деревья — не конусы. Господь, наверно, любит только архитектуру да артиллерийскую пальбу — иначе дал бы нам еще какую-нибудь геометрию, не евклидову. Она ведь существует — другая геометрия. И я ее открою, уже открываю — методом проб и ошибок. Верно, Септимус?

Септимус. О да, миледи. Весь пыл расходуется пока на пробы и ошибки. Очень верно сказано.

Леди Крум. Сколько тебе стукнуло сегодня?

Томасина. Шестнадцать лет и одиннадцать месяцев, маменька. И еще три недели.

Леди Крум. Шестнадцать лет и одиннадцать месяцев. Надо побыстрее выдать тебя замуж, иначе останешься старой девой — от избытка образованности.

Томасина. Я выйду замуж за лорда Байрона.

Леди Крум. Вот мужлан! Не удосужился меня известить!

Томасина. Ты с ним говорила?

Леди Крум. Разумеется, нет.

Томасина. Где ты его видела?

Леди Крум (*с некоторой горечью*). Везде.

Томасина. А ты, Септимус?

Септимус. В Королевской академии, куда я имел честь сопровождать вашу маменьку и князя Зелинского.

Томасина. Что делал лорд Байрон?

Леди Крум. Позировал.

Септимус (*тактично*). В стенах Академии его рисовал профессор живописи, господин... Фюзели.

Леди Крум. Позы были самые разные. Запечатлеть удалось далеко не все. А спутница Байрона вообще опрокинула все устои Академии. У них принято, что-

[1] Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ. «Левиафан» (1651) — философский труд, объемлющий все грани человеческого бытия.

бы дамы-зрительницы тело прикрывали, а модели открывали. А она была чересчур... одета. Ладно. Все! Кончено! Пусть катится ко всем чертям и Каролинам!.. А тут еще Ноукс! Ведет себя в саду, точно слон в посудной лавке.

Входит Н о у к с.

Томасина. Император Нерегулярных парков!

Она принимается чертить график, который окажется третьим предметом в папке, дожившей до наших дней.

Леди Крум. Господин Ноукс!

Ноукс. Ваше сиятельство...

Леди Крум. Что вы со мной делаете?

Ноукс. Все идет превосходно, уверяю вас. Медленнее, чем намечалось, но — клянусь — плотину починят в течение месяца.

Леди Крум (*бьет кулаком по столу*). Тихо! (*В тишине слышен только стук парового двигателя.*) Слышите, господин Ноукс?

Ноукс (*довольный и гордый*). Усовершенствованный паровой насос — единственный в Англии.

Леди Крум. Вот именно! Если б такая штука была у каждого, что ж... Я бы приняла это зло как неизбежное, без жалоб и упреков. Но терпеть единственный на всю Англию усовершенствованный паровой насос! Нет, сэр, я этого не вынесу!

Ноукс. Миледи...

Леди Крум. А главное, ради чего?! От моего озера осталась заболоченная яма. Зачем — непонятно. Может, вы хотите собрать на этом болоте бекасов и вальдшнепов из окрестных графств, да перестрелять всех до единого? Вы нарисовали лес, а на деле? Жалкая плантация! И листва у вас грязная! И водопад — жидкая грязь. А гора — просто грязный карьерный отвал, из которого вы берете грязь для ваших грязных нужд. (*Указывает в окно.*) А там что за коровник?

Ноукс. Эрмитаж, миледи. Иными словами: скит, приют отшельника.

Леди Крум. Нет, коровник!

Ноукс. Мадам, уверяю вас, домик получится вполне удобный. Мы отвели подземные воды, положили фундамент, там будут две комнаты, чулан под скатом крыши, каменный камин с дымоходом...

Леди Крум. И для кого все это?

Ноукс. Как? Для отшельника.

Леди Крум. Ну и где он?

Ноукс. Простите, не понял...

Леди Крум. Какое право вы имеете строить эрмитаж без отшельника?

Ноукс. Но, мадам!..

Леди Крум. Не спорьте, господин Ноукс. Если я заказываю фонтан, подразумевается, что в нем будет вода. Итак. Какими отшельниками вы располагаете?

Ноукс. У меня их нет, мадам...

Леди Крум. Нет?! А у меня нет слов!

Ноукс. Отшельник найдется, мадам! Можно дать объявление.

Леди Крум. Объявление?

Ноукс. Ну да. В газету.

Леди Крум. Если отшельник читает газеты, на него нельзя положиться.

Ноукс. Не знаю, что и делать, миледи.

Септимус. А место для пианино там есть?

Ноукс (*обескураженно*). Для пианино?

Леди Крум. Нет, господин Ходж, так не годится. Мы вам мешаем. Учебное время уходит впустую. (*Ноуксу.*) Пойдемте отсюда, сэр!

Томасина. Господин Ноукс! Печальные новости из Парижа!

Ноукс. Про императора Наполеона?

Томасина. Нет. (*Вырывает из альбома лист с графиком.*) Это касается вашего парового насоса. Усовершенствуйте его сколько влезет — ваших затрат вам все равно не покрыть. Наибольшая отдача: одиннадцать пенсов на затраченные двенадцать. А оставшуюся монетку — вот этому автору.

Она передает Септимусу график. Тот пристально его рассматривает.

Ноукс (*опять весьма озадаченно*). Спасибо, миледи. (*Выходит в сад.*)

Леди Крум (*Септимусу*). Вы-то хоть ее понимаете?

Септимус. Нет.

Леди Крум. Тогда с учебой покончено. Я вышла замуж в семнадцать лет. Ce soir il faut qu'on parle français, je te demande[1], Томасина, из уважения к князю. И надень, пожалуйста, синее бархатное платье. Я пришлю Бриггса уложить тебе волосы. Шестнадцать лет и одиннадцать месяцев... (*Идет вслед за Ноуксом в сад.*)

Томасина. Лорд Байрон был с дамой?

Септимус. Да.

Томасина. Хм!

Септимус забирает у Томасины свою книгу. Одновременно листает книгу, изучает график и рассеянно поглаживает черепашку. Томасина берет карандаш и бумагу и начинает рисовать портрет Септимуса с Плавтом.

Септимус. Почему из этого следует, что двигатель Ноукса вырабатывает одиннадцать пенсов на затраченный шиллинг? Где это сказано?

Томасина. Нигде. Я попутно сообразила.

Септимус. Автора не особенно интересует детерминизм...

Томасина. А... Ну да, правильно. Ньютоновским уравнениям все равно, куда движется тело — хоть вспять. А теплота так не умеет. Поэтому насос господина Ноукса не может снабжать энергией сам себя.

Септимус. Это всем известно.

Томасина. Да, Септимус, известно. Про двигатели и насосы.

Септимус (*после паузы; смотрит на часы*). Без четверти двенадцать. На этой неделе вместо письменной работы дайте толкование вашего графика.

Томасина. Я не смогу. Не справлюсь с математикой.

Септимус. Можно без математики.

Томасина все это время рисовала. Теперь она выдирает лист из альбома и отдает Септимусу.

Томасина. Держи. Я нарисовала тебя с Плавтом.

Септимус (*смотрит на рисунок*). Необыкновенное сходство. Особенно Плавт. Как живой.

Томасина смеется и выходит из комнаты.

У двери в сад появляется О г а с т е с. Он держится несколько застенчиво. Септимус складывает бумаги и поначалу его не замечает.

Огастес. Сэр...

Септимус. Милорд?..

Огастес. Я обидел вас, сэр. Простите.

Септимус. Милорд, я не обижен, но — рад, что вы извинились.

Огастес. Я хотел спросить, господин Ходж... (*Пауза.*) Ведь Септимус по-латыни «седьмой». Вы были седьмым в семье? Наверно, у вас есть старший брат?

Септимус. Да, милорд. Он живет в Лондоне. Редактор газеты «Забавы Пиккадилли». (*Пауза.*) Вы это хотели спросить?

Огастес явно чем-то смущен. Принимается разглядывать портрет Септимуса.

---

[1] Сегодня вечером нужно говорить по-французски, я требую (*франц.*)

Огастес. Нет... Не только... А это вы?.. Можно, я возьму? (*Септимус согласно кивает.*) Есть такие вещи... Друзей не спросишь, неловко. О карнальном... Сестра рассказала мне... У нее в голове такое! Я даже повторить не могу, честное слово.

Септимус. В таком случае не повторяйте. Пойдемте-ка прогуляемся до обеда, как раз успеем обойти парк. Я вам все объясню: дело-то простое, обыкновенное. Ну а вы уж потом займетесь просвещением сестры, договорились?

Снаружи доносится шум и громкий, взволнованный голос Бернарда.

Бернард (*еще за дверью*). Нет! Нет! Нет же, черт побери!!!

Огастес. Спасибо, господин Ходж. По рукам. (*Прихватив рисунок, выходит в сад вместе с Септимусом.*)

Появляется Бернард — из той двери, в которую вышла Ханна. Вместе с ним входит Валентайн. Он оставляет дверь открытой, и вскоре появляется Ханна с «садовой книгой» в руках.

Бернард. Нет! Не может быть! Нет!

Ханна. Мне очень жаль, Бернард.

Бернард. Я облажался? Однозначно? И все из-за какой-то далии? Скажи, Валентайн. Скажи честно! Я облажался?

Валентайн. Да.

Бернард. Черт!... И двух мнений быть не может?

Ханна. Боюсь, что нет.

Бернард. Не верю. Покажи, где это сказано. Хочу увидеть своими глазами. Нет... Лучше прочитай. Нет, подожди... (*Подсаживается к столу. Готовится слушать, словно слушанье — это некое замысловатое восточное искусство.*) Вот. Читай.

Ханна (*читает*). «Первое октября 1810 года. Сегодня под руководством господина Ноукса на южной лужайке вырыли партер для цветника, который обещает в следующем году радовать глаз и быть единственным утешением на фоне второго и третьего планов, которые устроены в так называемом живописном стиле и являют собой сущую катастрофу. Далия разрастается в теплице с необыкновенной быстротой, путешествие через океан пошло ей только на пользу. Капитан Брайс назвал ее «Любовь» — по имени своей невесты. На самом деле называть надо было в честь ее мужа. Сам-то он нашел приют в земле Вест-Индии, поменявшись местами с далией и променяв светлый день на вечную ночь».

Пауза.

Бернард. Чересчур витиевато. Что это значит?

Ханна (*терпеливо*). Что Эзра Чейтер, связанный с поместьем Сидли-парк, — это тот самый Чейтер-ботаник, который описал карликовую далию на Мартинике в 1810 году и умер там от укуса обезьяны.

Бернард (*взрывается*). Чейтер был не ботаник, а поэт!

Ханна. Он был разом и плохой ботаник, и плохой поэт.

Валентайн. А что тут страшного? Ну, ботаник...

Бернард. Это конец! Я же выступал по телевизору! В программе «Во время завтрака»!

Валентайн. Это даже не означает, что Байрон не дрался на дуэли. Просто Чейтер не был убит.

Бернард. Думаешь, меня пригласили бы на «Завтрак», если б Байрон промахнулся?!

Ханна. Успокойся, Бернард. Валентайн прав.

Бернард (*хватаясь за соломинку*). Ты полагаешь? Ну конечно! Рецензии-то в «Пикадилли» были! Две абсолютно неизвестные рецензии Байрона! И строки, которые он приписал в «Английских бардов». Я внес весомый вклад!

Ханна (*тактично*). Возможно. Вполне правдоподобно.

Бернард. Правдоподобно?! К дьяволу! Не правдоподобно, а ясно как дважды два. Я доказал, что Байрон был здесь. Убил зайца. И написал эти строки. Жаль только, сделал основной упор на дуэли и смерти Чейтера. Почему вы меня не остановили?! Это же выплывет... Ошибка... Превратное толкование собственного открытия... Как ты думаешь, неужели какой-нибудь педант-ботаник спустит цепных псов? И когда?

Ханна. Послезавтра. Письмо в «Таймс».

Бернард. Ты?..

Ханна. Работа грязная, но кто-то же должен марать руки.

Бернард. Дорогая. Прости. Ханна...

Ханна. У тебя свое открытие, у меня — свое.

Бернард. Ханна.

Ханна. Бернард.

Бернард. Ханна.

Ханна. Да заткнись ты! Все будет сухо, скромно, без малейшего злорадства. А может, пусть лучше напишет какой-нибудь собрат-байронист?

Бернард (*с жаром*). Ни в коем случае!!!

Ханна. А потом, в твоем письме в «Таймс», ты...

Бернард. В моем письме?

Ханна. Ну, разумеется. Надо же поздравить коллегу. Достойно, доброжелательно. На языке, принятом в научных кругах.

Бернард. Дерьмо хлебать...

Ханна. Считай, что это шаг вперед в изучении далий.

Из сада вбегает Х л о я.

Хлоя. Почему вы не идете?! Бернард? Ты еще не одет! Давно приехал?

Бернард смотрит на нее, потом на Валентайна и впервые осознает, что Валентайн в необычном костюме.

Бернард. Зачем ты так вырядился?

Хлоя. Быстрее же! (*Принимается рыться в корзине, подыскивая одежду для Бернарда.*) Надевай что понравится. Нас всех сейчас будут фотографировать. Кроме Ханны.

Ханна. Я приду посмотреть.

Валентайн и Хлоя помогают Бернарду облачиться в камзол, прилаживают кружевной воротник.

Хлоя (*Ханне*). Мама спрашивает, нет ли у тебя теодолита.

Валентайн. Хлоюшка, а ты-то у нас сегодня кто? Пастушка?

Хлоя. Джейн Остин![1]

Валентайн. Как же я сразу не понял!

Ханна (*Хлое*). Теодолит? Он в эрмитаже.

Бернард. Разве уже пора? Для чего будут фотографировать?

Хлоя. Как всегда, для местной газеты. Они всегда приходят к началу бала и хотят, чтоб в кадр влезли все. Гас просто великолепен...

Бернард (*с отвращением*). В газету! (*Выхватывает из корзины подобие епископской митры и натягивает на уши и лицо, закрывая его почти целиком. Приглушенно.*) Я готов!

---

[1] Джейн Остин (1775—1817) — английская писательница, живописала быт и нравы английской провинции. Автор романов «Здравый смысл и чувствительность» (1811), «Гордость и предубеждение» (1813) и др.

Вслепую идет следом за Валентайном и Хлоей. За ними выходит Ханна.

Освещение меняется. Вечер. На улице зажигаются бумажные фонарики. Из соседней комнаты доносятся звуки рояля.

Входит С е п т и м у с с масляной лампой в руках. Еще он несет учебник математики и записи Томасины, сделанные на отдельных листах. Усаживается к столу — читать. За окнами, несмотря на фонарики, почти темно.

Входит Т о м а с и н а со свечой — босиком, в ночной сорочке. Вид у нее таинственный и возбужденный.

Септимус. Миледи! Что случилось!

Томасина. Септимус! Шш-шш! (*Тихонько прикрывает дверь.*) Ну наконец мы улучили минуту!

Септимус. Господи, для чего?

Она задувает свечу, ставит подсвечник на стол.

Томасина. Не разыгрывай святую невинность. Мне завтра семнадцать лет! (*Целует Септимуса в губы.*) Ну вот!

Септимус. О Господи!

Томасина. Теперь показывай, я заплатила вперед.

Септимус (*поняв наконец в чем дело*). Ох!..

Томасина. И князь играет для нас как по заказу! Нельзя не уметь танцевать вальс в семнадцать лет.

Септимус. Но ваша маменька...

Томасина. Упадет в обморок! А мы будем танцевать, пока она не очнется. Весь дом спит. Я сверху услышала музыку. Ну, Септимус, миленький, поучи меня!

Септимус. Тише! Сейчас не могу!

Томасина. Можешь, можешь! Только помни: я босиком, не отдави мне ноги.

Септимус. Не могу, потому что это вовсе не вальс.

Томасина. Разве?

Септимус. И темп не тот.

Томасина. Тогда подождем, пока он заиграет побыстрее.

Септимус. Миледи...

Томасина. Господин Ходж! (*Она ставит стул подле него, усаживается и заглядывает ему через плечо.*) Ты читаешь мою работу? Здесь? Почему ты так засиделся?

Септимус. Берегу свечи.

Томасина. А зачем тебе мой старый учебник?

Септимус. Он теперь снова мой. Вы напрасно писали на полях.

Она берет учебник, смотрит на открытую страницу.

Томасина. Это была шутка.

Септимус. Шутка, которая сведет меня с ума. Как вы и обещали. Отодвиньтесь. Вы нас компрометируете.

Томасина встает и пересаживается на самый дальний стул.

Томасина. Если войдет маменька, я про вальс не скажу. Скажу только, что мы целовались.

Септимус. Та-ак! Или вы умолкаете, или идете в постель.

Томасина. Умолкаю.

Септимус наливает себе еще вина. Продолжает читать.

Музыка меняется. Из танцевального шатра доносится грохот современного рока. Видны фейерверки — далекие вспышки на фоне темного неба, вроде метеоритов.

Входит принарядившаяся Х а н н а. Впрочем, разница между ее будничной и праздничной одеждой невелика. Она закрывает за собой дверь и пересекает комнату, чтобы выйти в сад. Она уже у стеклянных дверей-окон, когда появляется В а л е н т а й н. В руке у него бокал вина.

Ханна. О, ты...

Но Валентайн пролетает мимо, целеустремленный и полупьяный.

Валентайн (*Ханне*). Осенило!

Он идет прямиком к столу, роется в куче бумаг, книг и различных предметов, коих накопились уже изрядное количество. Ханна, озадаченная его поведением, останавливается. Он находит то, что искал. Это «график».

Септимус тем временем читает записи Томасины и тоже изучает график.

Септимус и Валентайн разглядывают удвоенный временем график.

Жар похоти, пыл страсти... Короче, теплота.

Ханна. Валентайн, ты пьян?

Валентайн. Это график теплообменного процесса.

Септимус. Значит, все мы обречены!

Томасина (*жизнерадостно*). Да.

Валентайн. Как в паровом двигателе. (*Ханна наливает из графинчика, принесенного Септимусом, в его же рюмку и чуть-чуть отпивает.*) Математическую часть она не делала даже приблизительно, да и не могла. Она просто видела суть вещей, как на картинке.

Септимус. Это не наука. Это детские сказочки.

Томасина. А теперь? Похоже на вальс?

Септимус. Нет.

Все еще звучит современная музыка.

Валентайн. Или в кино.

Ханна. Что же она видела?

Валентайн. Что не всякий фильм можно показывать от конца к началу. С теплотой этот номер не проходит. Она не подчиняется законам Ньютона. Вот колебание маятника или падение мяча можно заснять и прокрутить пленку задом наперед — разницы никакой.

Ханна. Мяч всегда движется к Земле.

Валентайн. Для этого надо знать, где Земля. А с теплотой все иначе. Тело отдает свой жар и — конец. Допустим, разбиваешь мячом стекло...

Ханна. Ну?

Валентайн. Это тоже необратимо.

Ханна. Кто же спорит?

Валентайн. Но она поняла — почему. Можно собрать кусочки стекла, но не теплоту, которая выделилась в момент разбивания. Она улетучилась.

Септимус. Значит, Вселенную ждет гибель. Ледяная смерть. Господи.

Валентайн. Теплота смешалась с... миром. (*Он обводит рукой комнату — воздух, космос, Вселенную.*)

Томасина. Так мы будем танцевать? Надо спешить!

Валентайн. И так же смешивается все, всегда, неизменно...

Септимус. По-моему, время еще есть.

Валентайн. Пока не кончится время. В этом смысл самого понятия «время».

Септимус. Когда будут раскрыты все тайны и утрачен последний смысл, мы останемся одни. На пустынном берегу.

Томасина. И будем танцевать. Ну а это вальс?

Септимус. Не вполне, но... (*Встает.*)

Томасина (*вскакивая*). Боже!

Септимус заключает ее в бережные объятия, и начинается урок вальсирования — под современную музыку из шатра.

Входит Бернард, в неубедительном костюме эпохи Регентства, с бутылкой в руках.

Бернард. Не обращайте на меня внимания... Я где-то оставил пиджак... (*Направляется к плетеной корзине с одеждой.*)

Валентайн. Вы уходите?

Бернард снимает маскарадный костюм. Остается в своих собственных брюках — с заправленными в носки штанинами — и в рубашке.

Бернард. Боюсь, что да.

Ханна. Что случилось, Бернард?

Бернард. Дело личного свойства...

Валентайн. Мне выйти?

Бернард. Нет, ухожу *я*.

Валентайн и Ханна наблюдают, как Бернард сует руки в рукава пиджака, одергивает и поправляет одежду.

Септимус обнимает Томасину. Целует в губы. Урок вальсирования прерывается. Она поднимает глаза. Он целует ее снова — всерьез. Она обвивает руками его шею.

Томасина. Септимус...

Септимус кладет палец ей на губы. Они снова танцуют, Томасина с запинкой, неумело. Урок продолжается.

Из сада врывается Х л о я.

Хлоя. Я ее убью! Убью!!!

Бернард. Господи.

Валентайн. Хлоюшка! Что стряслось?

Хлоя (*злобно*). Мать!

Бернард (*Валентайну*). Ваша матушка застукала нас в этом... в эрмитаже.

Хлоя. Она подглядывала!

Бернард. Не думаю. Она искала теодолит.

Хлоя. Я поеду с тобой, Бернард.

Бернард. Ни за что.

Хлоя. Ты не берешь меня?

Бернард. Конечно, нет! Зачем? (*Валентайну.*) Прости.

Хлоя (*со слезами гнева*). Перед ним-то ты за что извиняешься?

Бернард. Перед тобой тоже. Простите все и каждый. Прости, Ханна... Прости, Гермиона... Прости, Байрон... Прости, прости, прости. Могу я теперь идти?

Хлоя встает — скованная, заплаканная.

Хлоя. Что ж...

Томасина и Септимус танцуют.

Ханна. Какой же ты гад, Бернард.

Хлоя набрасывается на нее чуть не с кулаками.

Хлоя. Не суй нос в чужие дела! Что ты вообще понимаешь в жизни?!
Ханна. Ничего.
Хлоя (*Бернарду*). Все равно было здорово, правда?
Бернард. Было замечательно.

Хлоя выходит через стеклянные двери в сад, к гостям.

Ханна (*повторяет эхом собственные слова*). Ничего.
Валентайн. Ну ты, говно, я бы отвез тебя, но я слегка надрался. (*Выходит следом за Хлоей. Слышно, как он кричит: «Хлоя! Хлоюшка!..»*)
Бернард. Вот незадача...
Ханна. Что?.. (*Она сдается.*) Бернард!
Бернард. С нетерпением жду «Гения в пейзаже». Желаю тебе найти твоего отшельника. Пожалуй, через парадные двери безопаснее. (*Приоткрывает дверь, выглядывает.*)
Ханна. Я-то знаю, кто он. Только доказать не могу.
Бернард (*широким жестом*). Публикуй!

Выходит, закрывает за собой дверь.

Септимус и Томасина танцуют. У нее получается уже вполне сносно. Она счастлива.

Томасина. Я научилась? Я танцую?
Септимус. Да, миледи. (*Напоследок он ее раскручивает и подводит к столу. Кланяется. Зажигает ее свечу.*)

Ханна подходит к столу, садится — она рада побыть вдали от шума и гама. Наливает себе еще вина. На столе геометрические тела, компьютер, графинчик, рюмки и бокалы, кружка, книги и дневники, учебники, две папки, свеча Томасины, масляная лампа, далии, воскресные газеты...

На пороге появляется Г а с. Не сразу и поймешь, что это не лорд Огастес. Ясно станет только тогда, когда его заметит Ханна.

Возьмите работу. Ставлю «отлично» не глядя. Поосторожней с огнем.
Томасина. Приходи, я буду ждать.
Септимус. Не могу.
Томасина. Можешь.
Септимус. Нет.
Томасина. Ты должен.
Септимус. Нет. Не приду.

Она ставит свечу на стол. Кладет бумаги.

Томасина. Тогда я не уйду. Еще раз — в честь моего дня рождения!

Септимус и Томасина снова танцуют.

Гас походит к столу. Ханна испуганно вскидывается.

Ханна. Ой! Ты меня напугал. (*Гас великолепен в карнавальном костюме. В руках у него старая, истертая временем твердая папка с завязочками. Он подходит к Ханне, сует ей подарок.*) О! Что это? (*Она кладет папку на стол, развязывает бантик. Внутри, между картонными створками, — рисунок Томасины.*) «Септимус с Плавтом». (*Гасу.*) Это я и искала. Спасибо. (*Гас кивает несколько раз. Затем неуклюже кланяется. Поклон эпохи Регентства — приглашение на танец.*) Господи, да я не...

После секундного колебания Ханна поднимается, они становятся в танцевальную позицию, держась на приличном расстоянии друг от друга, и начинают неумело танцевать.

Септимус и Томасина продолжают танцевать — красиво и свободно, под звуки фортепьяно.

ЭНН БАРТОН

НА ПРОГУЛКУ ЕЩЕ РАЗ

— Позвольте мне, — сказал мистер Гэлл. — Размечая парк, я акцентирую внимание на живописных и колоритных фрагментах, наделяя их тем особым свойством, которое я называю неожиданностью.
— Помилуйте, сэр, — сказал мистер Майлстоун, — но как будет называться это свойство, когда по парку отправятся гулять во второй раз?
Мистер Гэлл закусил губу и про себя поклялся отомстить Майлстоуну — посредством значительного сокращения его следующей публикации.

Томас Лав Пикок. «Хедлонг-холл» (1815)

В самом первом сатирическом романе Пикока — «Хедлонг-холл» — в поместье сквайра Хедлонга на Рождество собирается разношерстная толпа гостей. Среди них ехидный журналист мистер Гэлл, модная романистка Филомела Попписид, поэт Найтшейд, ландшафтный архитектор, специалист по «усовершенствованию» дворянских поместий Мармадьюк Майлстоун, популяризатор новой «науки» френологии мистер Грэниум со своей прелестной дочерью Цефалис, воинствующий вегетарианец мистер Эскот, верящий в неуклонное вырождение мира, и его оппонент мистер Фостер, считающий, что человечество неуклонно движется к совершенству.

Характер происходящих между ними споров, ссор и семейных сцен позволяет угадать многих реальных прототипов этих персонажей. Например, Гэлл — это Фрэнсис Джеффри из тогдашнего «Эдинбургского обозрения», прообразом мисс Попписид стала писательница Амелия Опи, Эскот и Фостер воплощают в себе разные стороны характера друга Пикока, Шелли, а в Майлстоуне соединяются черты Хамфри Рептона (1752—1818) и его знаменитого предшественника Ланселота «Дара» Брауна (1716—1783). Рептон обычно представлял своим клиентам альбом в красном кожаном переплете, где на акварельные наброски видов их поместий накладывались контурные очертания тех же видов после его усовершенствований. Браун, самый прославленный из тех ландшафтных садовников XVIII и начала XIX века, кто стремился выстроить природные пейзажи по образцам идеализированных полотен Пуссена и Клода Лоррена, изображавших Аркадию и Елисейские поля, однажды встретил джентльмена, который выразил горячее желание умереть раньше его, «потому что хотел бы увидеть рай до того, как Браун его усовершенствует».

Том Стоппард утверждает, что уже несколько лет не брал в руки эту книгу. Однако «Хедлонг-холл», даже если и был прочитан давно, явно произвел на него сильное впечатление. Поместью сквайра Хедлонга соответствует в «Аркадии» вымышленный же Сидли-парк — подобно парным картинкам («до» и «после») в красном альбоме Рептона. Собственно, в первом действии Стоппард остроумно намекает на это, говоря, что сделанное около 1830 года описание Сидли-парка принадлежит перу «автора «Хедлонг-холла». А когда Бернарду Солоуэю, напористому стоппардовскому профессору, срочно требуется псевдоним, отнюдь не случайно возникает имя Павлини (Peacock). Как и в «Хедлонг-холле», гости в пьесе Стоппарда — а среди них ландшафтный архитектор, два поэта, писательница и беспощадный рецензент — спорят с хозяевами и друг с другом не только о проблемах обустройства парка, но и о писателях и критиках, о новых научных открытиях, а также о будущем человечества. И кроме того, они находят время заниматься любовью.

«Аркадия» — это та «полнометражная» пьеса, которую, как говорил Стоппард еще в 1974 году, после успеха «Прыгунов» (1972) и «Пародий» (1974), он всегда мечтал написать: «Нечто происходящее в идеально чистой комнате, без музыки, без суеты, — чтобы энергия концентрировалась на литературной стороне того, что я делаю. Мне бы хотелось написать спокойную пьесу»[1]. [...]

Если говорить о постановочной стороне, то по сравнению с большинством предыдущих пьес Стоппарда «Аркадия» действительно звучит приглушенно. Ничего похожего на гимнастов в желтых костюмах, с риском для жизни строящих и обрушивающих человеческие пирамиды («Прыгуны»), или на труппу бродячих актеров, пассажиров-безбилетников, устраивающих на пароходе невероятное музыкальное представление в трех бочках («Розенкранц и Гильденстерн мертвы», 1967)[2], или на убийство театрального критика из-за отрецензированной им пьесы («Настоящий инспектор Хаунд», 1968), или на библиотекар-

---

[1] Интервью с Рональдом Хэйманом (июнь 1974). // Hayman R. Tom Stoppard. London, 1982. Pp.11—12. (*Прим.автора.*)
[2] См. "ИЛ", 1990, № 4. (*Прим.ред.*)

Reprinted with permission from The New York Review of Books. Copyright © Nyrev, Inc.

шу из «Пародий», которая, взобравшись на свой стол, произносит прочувствованный панегирик Ленину, совершая при этом нечто вроде стриптиза.

[...] В «Аркадии» не только двое самых важных гостей Сидли-парка, лорд Байрон и сладострастная миссис Чейтер, так и не появляются на сцене, но и все по-настоящему интересные события совершаются вне поля нашего зрения. Характерно, что о самом неожиданном (и о самом страшном) событии этой пьесы — о том, что почти двести лет назад случайно и бессмысленно погибла необычайно талантливая юная девушка, — говорится лишь в самом конце и как бы между прочим.

«Аркадия» удивительно изобретательна и смешна, в ней множество характерных для Стоппарда эпиграмм, каламбуров и словесных фейерверков. Начиная с открывающего пьесу диалога между тринадцатилетней Томасиной Каверли и ее учителем («Септимус, что такое карнальное объятие? — Карнальное объятие есть обхватывание руками мясной туши») и до самого конца глубоко личностное любовное увлечение Стоппарда английским языком не ослабевает. Само же это увлечение возникло в результате комбинации двух факторов: глобального военного противостояния и чистой случайности. Томас Стросслер[1] родился в 1937 году в Чехословакии, вскоре его семья эвакуировалась в Сингапур, затем в Индию и с 1946 года, после повторного брака его овдовевшей матери, поселилась в Англии, что и определило тот язык, на котором он стал писать. Во многих пьесах Стоппарда ощущается увлеченность лингвистической философией XX века — Витгенштейном, Дж.Э.Муром, А.Айером — и сложностью взаимоотношений между словами и той «реальностью», которую они должны обозначать. Однако это всегда сочетается с нескрываемым восхищением словами, которое так характерно для елизаветинцев.

Каламбуры Стоппарда — отнюдь не дерридаанские, во всяком случае, Шекспир бы их понял. Стоппард любит показывать, как увлекательно порой укладывать два значения слова «в одну постель» — именно так одно значение слова «карнальное» («чувственное») «сожительствует» с другой его коннотацией («плотское», т.е., говоря иначе, — «мясное»). «Аркадия» продолжает и развивает традиционную для Стоппарда тему связи словесной игры и сексуальных прегрешений. Новой же является здесь элегическая, почти Вергилиева тональность, которая задается самим названием комедии. Эта «спокойная пьеса» — одна из самых тонких у Стоппарда. Но при этом она порождает один достаточно острый — и уже задававшийся у Пикока мистером Майлстоуном — вопрос: насколько важно, который раз вы гуляете по парку — первый или второй?

Пьесы Стоппарда — даже входящая сейчас в программу многих английских школ «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — всегда вызывали противоречивую реакцию как в академических кругах, так и у театральных критиков. Никто и никогда не отрицал мастерства и доведенной до совершенства изобретательности в двух с лишним десятках работ для радио, телевидения и театра, а также настойчивого стремления Стоппарда к тому, что он называет «счастливым браком между драмой идей и фарсом, а возможно, даже высокой комедией»[2]. С другой стороны, завистники обвиняли его в игре ради игры, в чрезмерной интеллектуальной перегруженности, в пустоте и холодности. Говорили, что он избегает затрагивать политические проблемы, — однако на этом стало трудно настаивать после пьес «Хороший парень стоит доброго отношения» (1977), «Профессиональный подлец» (1977), «Макбет» Кэхута» (1979) и «Квадратура круга» (1980—1981); утверждали, что большинство его женщин карикатурны, а если он изображает их серьезно (как Энни из «Отражений» (1982) или главную героиню «Хэпгуда»), то они неубедительны. И чаще всего жаловались на то, что его пьесы, с каким бы мастерством они ни были написаны, трудны для восприятия не только на сцене, но (в некоторых случаях) даже и в напечатанном варианте.

Стоппард защищался, объясняя, что он пишет в разных тональностях, что некорректно судить острый фарс — такой, как «Настоящий инспектор Хаунд» — по законам высокой комедии и что характеры интересуют его меньше, чем диалоги и «удачно сформулированные идеи»[3]. Когда многочисленные философские журналы ополчились на Стоппарда за то, как он представил Витгенштейна и весь английский логический позитивизм в «Прыгунах», он смог найти утешение в том факте, что на его защиту тотчас встал сам Альфред Айер. (Устойчивая неприязнь к академическим кругам отчетливо просматривается и в фигуре Солоуэя, преподавателя Сассекса.) Стоппард всегда утверждал, что основой для его творчества — пусть это и не всегда очевидно — служат гуманистические и моральные ценности, и в целом это представляется вполне справедливым. Более спорным является другое его утверждение — что, хотя в некоторых случаях он сознательно

---

[1] Фамилия Стоппарда по отцу. (*Прим. ред.*)

[2] Ловушка для публики: к высокой комедии идей. //Theatre Quarterly. May—July 1974. p.7.

[3] «Полный Стоппард», интервью со Стивеном Шиффом (май 1989). //Tom Stoppard in Conversation (University of Michigan Press, 1994). p.222. (*Прим.автора.*)

стремится запутать публику (Стоппард признал, что часто он намеренно делает начальные сцены совершенно непонятными для зрителей)[1], тем не менее его пьесы предназначены для постановки именно в театре и не нуждаются в разъяснениях при помощи печатного текста. В самом деле, «Аркадию», несмотря на видимую увлекательность, нелегко воспринять в полной мере с первого раза — не только в театре, но, вообще говоря, даже и при чтении.

Что касается общей интриги «Аркадии», то усвоить ее не так уж сложно — в ней нет ничего похожего на повествовательную запутанность «Хэпгуда», предыдущей «полнометражной» пьесы Стоппарда. Основное событие происходит в 1809 году — проживающего в поместье Сидли-парк молодого учителя Септимуса Ходжа, школьного друга Байрона, застают в момент недвусмысленного «карнального объятия» с женой заезжего рифмоплета Эзры Чейтера. Дело не доходит до дуэли только потому, что миссис Чейтер в ту же ночь сталкивается со столь же похотливой хозяйкой дома леди Крум на пороге спальни лорда Байрона, после чего Байрон и супруги Чейтеры поспешно покидают дом. Тем временем ландшафтный архитектор мистер Ноукс собирается заменить аркадийский парадиз «Дара» Брауна парком в колоритном стиле Сальватора Розы: асимметричным, мрачным, псевдодиким, с готическим приютом отшельника (которого еще предстоит найти и туда поселить).

Между тем дочь Крумов, Томасина, гениальный подросток, скромно ищет математическое доказательство знаменитой теоремы Ферма, ставя под сомнение Ньютонову физику и двигаясь к пониманию второго закона термодинамики и тех итерационных алгоритмов, на основании которых в наше время были созданы (с помощью компьютеров) теория фракталов и теория хаоса. Томасина — единственный персонаж пьесы, кто воспринимает планы мистера Ноукса с энтузиазмом, однако она, в отличие от мисс Тенорины у Пикока, делает это не из романтической страсти к болотам, готике и лесам «мрачным, ветвистым и мощным», но лишь потому, что изломанные формы и неухоженные деревья Ноукса подсказывают ее живому уму, что со строгой симметрией евклидовой геометрии не все в порядке.

В сценах, параллельно происходящих в настоящее время, два совершенно иных гостя Сидли-парка пытаются восстановить картину того, что происходило здесь между 1809 и 1812 годами. Ханна Джарвис, автор популярной книги о возлюбленной Байрона леди Каролине Лэм, надеется написать о неизвестном затворнике, который прожил до скончания дней своих в «приюте отшельника» («идиот в пейзаже» или олицетворение «изгнания эпохи Просвещения в пустыню романтизма»?). Бернард Солоуэй в погоне за академической славой пытается доказать, что Байрон убил Эзру Чейтера на дуэли в Сидли-парке и по этой причине был вынужден спешно покинуть Англию. (Может быть, Стоппард и не читает современных романов, однако похоже, что Солоуэй и Ханна чем-то обязаны Роланду Мичелу и ершистой Мод Бейли, двум литературным ищейкам из романа А.С.Байетт «Обладание», получившего Букеровскую премию 1990 года.) Ни Ханна, ни Солоуэй не добираются до истины, но Ханна оказывается к ней гораздо ближе, чем ее соперник. И прежде всего потому, что, несмотря на безоговорочное предпочтение, которое она отдает симметричному и ухоженному итальянскому саду, украшавшему Сидли-парк до преобразований «Дара» Брауна и мистера Ноукса, Ханна, как и давно умершая Томасина, наделена не только сильным логическим умом, но и мощной интуицией.

Именно интуиция позволяет ей понять истину (и осознать гениальность Томасины) без всяких доказательств. А вот работающий с семейным архивом Валентайн, ученый-математик и будущий граф Крум, не может поверить в открытие Томасины даже после того, как, прогнав миллионы раз через компьютер уравнение, которое она нацарапала в старом учебнике математики, получает данные для хорошей научной публикации. (У Томасины, настаивает он, не было ни достаточного знания математики, ни компьютера.) Проницательность Ханны, однако, привлекает к ней Гаса, младшего брата Валентайна, безмолвного и аутичного мальчика, в котором есть что-то от способностей Томасины (блистательно импровизирует на фортепьяно, указывает местоположение лодочного павильона «Дара» Брауна — когда это не удается знатокам). Именно он в конце дарит Ханне рисунок Томасины «Септимус с Плавтом», самый важный отсутствующий фрагмент головоломки.

Неудивительно, что зрители и в Нью-Йорке, и в Лондоне после просмотра «Аркадии», как правило, приобретают экземпляр текста пьесы. Многие нью-йоркские критики, даже те, кто постарался предварительно прочесть текст, явно не смогли уловить, что в комедии наличествуют три временных пласта: один день 1812 года, три дня 1809 года

---

[1] «Добро пожаловать в мир Тома Стоппарда», интервью с Томасом О'Коннором (апрель 1989). //Tom Stoppard in Conversation. С.225. (*Прим.автора.*)

и один сегодняшний день. А это имеет существенное значение. Лорд Байрон, харизматический, но незаметный гость Сидли-парка в 1809 году, возвращается из путешествия в 1812-м, чтобы стать любимцем Лондона, знаменитым автором «Чайльд Гарольда»; Эзра Чейтер умирает на Мартинике от укуса обезьяны; его вдова вторично выходит замуж, а внимание леди Крум перемещается с Байрона на ссыльного польского князя. Главная героиня, Томасина, — уже не ребенок, ей вот-вот исполнится семнадцать, и она влюблена в своего учителя (так же безответно, как ее мать — в лорда Байрона). Не следует также путать (подобно одному нью-йоркскому критику) молодого и речистого Огастеса Каверли из 1812 года с его безмолвным тезкой из XX века.

В этой пьесе, где ключевым является число три (палимпсест трех парков, три «карнальных объятия» в бельведере и приюте отшельника, три серьезные математические проблемы), следовало бы также обязательно обратить внимание на то, что очень многое связано с двумя группами писем — и в каждой группе их тоже по три. Это, во-первых, два вызова на дуэль и тайная записка миссис Чейтер, собственноручно спрятанные Септимусом Ходжем меж страниц кошмарной поэмы Чейтера «Ложе Эроса» (материал, послуживший Бернарду Солоуэю для ряда ошибочных выводов), и, во-вторых, письмо лорда Байрона и два послания Септимуса, уничтоженные почти сразу же после написания.

И тут напрашивается очевидный вывод — одной прогулки по парку явно недостаточно. Мистер Майлстоун был прав, обратив внимание на то, что при каждом возвращении эффект неожиданности неизбежно ослабевает. А в случае «Аркадии» можно говорить либо о возвращении в театр, либо о повторном перечитывании. Если вы уже знаете, что Томасина должна умереть вскоре после финальной сцены, где она танцует свой первый (и последний) вальс, или что лорд Байрон и миссис Чейтер так и не появятся на сцене, то вы уже не сможете выбросить это из головы. Еще четыре века назад Бомонт и Флетчер[1], первоклассные театральные профессионалы, осознали, что некоторые пьесы, если они не проваливаются сразу, могут на каждом представлении восприниматься как премьерные. Они подогревали интерес к таким спектаклям, уверяя, что второе посещение станет совершенно не таким, как первое, а гораздо интереснее.

Не отвлекаясь более на неожиданности, публика сможет смаковать упущенные в первый раз нюансы и детали, ибо главное будет уже известно. Подобно «Филастру» и «Королю и не королю» Бомонта и Флетчера, «Аркадия» в этом смысле не одна пьеса, а две. [...]

Стоппард говорил, что готовился писать «Аркадию» так же, как готовятся к экзамену, — терпеливо поглощая содержимое огромного количества книг. Чувствуется, что он не только скрупулезно изучил ландшафтную архитектуру и постньютоновскую математику, но и тщательно проштудировал биографию Байрона, главного отсутствующего героя. Действительно, в образе Томасины можно, пожалуй, обнаружить некоторые черты трагической фигуры дочери Байрона, Ады. Математикой увлекалась и жена Байрона, Аннабелла (Байрон называл ее «принцессой параллелограммов»), однако Ада была значительно талантливее. Вместе с Чарльзом Бэббиджем она активно экспериментировала в области, которую можно считать прототипом современных компьютерных дисциплин, —до тех пор, пока эти занятия не вошли в противоречие с тогдашними представлениями о том, чем приличествует заниматься лицам ее пола, а тем более — графине Лавлейс. Она покончила с собой после того, как проиграла на скачках больше, чем могла себе позволить. Ее смерть была ранней и зловещей. Если бы Томасина прожила дольше, она, возможно, не избежала бы подобной судьбы. Леди Крум уже в 1812 году беспокоится, что ее дочь может остаться «старой девой — от избытка образованности», и стремится поскорее выдать ее замуж.

Историческая правда постоянно смешивается в «Аркадии» с вымыслом. Байрон действительно в апреле 1809 года жил в Ньюстедском аббатстве, однако не осталось ни писем, ни каких-либо иных свидетельств, указывающих на его точное местопребывание с 10 по 12 апреля, когда, по Стоппарду, он посещает «близлежащий» Сидли-парк. Он действительно (в этом Солоуэй прав) напечатал статью о Вордсворте в июльском выпуске «Monthly Literary Recreations» (у Стоппарда — «Забавы Пиккадилли») за 1807 год, и, хотя никакое письмо Пикока не упоминается ни в какой статье об отшельниках в «Корнхиллском журнале» за 1862 год, именно там подобная статья могла бы появиться. Во втором издании своей сатирической поэмы «Английские барды и шотландские обозреватели» весной 1809 года Байрон действительно поместил ряд новых стихов, хотя в них нет ни одной строчки, в которой высмеивался бы некто Эзра Чейтер. С другой стороны, в «Тьме» («Я видел Сон, не все в нем было сном / Погасло солнце...»), навеянной «страш-

[1] Фрэнсис Бомонт (1584—1616), Джон Флетчер (1579—1625) — английские драматурги, младшие современники Шекспира. (*Прим.ред.*)

ным летом» 1816 года, когда колоссальное извержение вулкана в Индонезии затмило солнце, а в Новой Англии в августе выпал снег, гениально воплотилось представление Байрона о том законе энтропии, к пониманию которого Томасина приходит после знакомства с работами французского математика Фурье: суровое и необратимое охлаждение всего мира. Ханна не зря цитирует Валентайну первые строки «Тьмы», пытаясь убедить его в том, что гений — воплощающийся и в великих поэтах, и в одаренных детях — способен порой «открыть дверь несуществующего дома».

Стоппард действительно предлагает публике своего рода игры для ума. Однако игры эти оказываются, по сути, не такими уж и поверхностными — например, яблоко, случайно оставленное на столе в учебной комнате после того, как Гас молча дает его Ханне в конце второй сцены, последовательно становится символом открытия закона гравитации Ньютоном, геометрии природных форм конца двадцатого века, сексуального соблазна, потерянного рая и первого шага к смерти в мире после грехопадения.

Стоппард заложил в «Аркадию» огромный объем информации, хотя количество умолчаний, т.е. фактов, которые он наотрез отказывается сообщить зрителям, — не говоря уже о Солоуэе или Ханне Джарвис, — представляется столь же значительным. Оттого ли погибла Томасина в канун своего семнадцатилетия, что ждала Септимуса в постели (хотя он и отказал ей во время танца) и в конце концов заснула, так и не погасив свечу? Воплощенный ли на графике Томасины второй закон термодинамики превратил молодого учителя из Сидли-парка в отчаявшегося отшельника, влачащего остаток дней своих без общения, без людей, лишь с черепахой по имени Плавт, в яростных попытках посредством «доброй английской алгебры» предотвратить конец света? Или к этому привели раскаяние и скорбь по самой Томасине? Стоппард отказывается отвечать.

Все попытки Септимуса опровергнуть второй закон термодинамики обречены: «Не всякий фильм можно показывать от конца к началу», — терпеливо доказывает Ханне Валентайн. Время неумолимо течет и утекает, и в конце концов настанет день, когда оно кончится совсем. Септимус напрасно утешал горевавшую по сгоревшей Александрийской библиотеке Томасину, уверяя ее, что нет безвозвратных потерь и что даже исчезнувшие пьесы Софокла неким образом возродятся вновь. «Можно собрать кусочки стекла, — говорит Валентайн, — но не теплоту, которая выделилась в момент разбивания. Она улетучилась». С другой стороны, в самой «Аркадии» по воле драматурга время порой движется вспять. В одной из ремарок Стоппард педантично объясняет, что если Рептон размещал свой рисунок «до» поверх рисунка «после», то Ноукс поступает наоборот. Мелкое замечание, которое вряд ли возможно обыграть при постановке, мы встречаем в пьесе, где действие свободно перемещается из одной эпохи в другую, вперед и назад. Эти перемещения постепенно подводят нас к финалу, в котором четыре героя, две пары — Септимус и Томасина, Ханна и Гас — кружатся в танце, перелетая через века, под музыку, один такт которой взят из нашего времени, а другой — из эпохи Байрона.

В «Черной туши», новой сценической версии радиопьесы Стоппарда «В естественном состоянии» (1991), которая сейчас идет в Лондоне, тридцатые годы сопоставляются с «серединой восьмидесятых». В «Аркадии» же, напротив, «настоящее время» предположительно открыто, не ограничено строгими рамками. Эта пьеса способна незаметно впитывать в себя новую, актуальную информацию. 24 апреля 1995 года в лондонской «Таймс» появилась статья о седобородом отшельнике, который живет, принимая случайных посетителей, неподалеку от Вулвергемптонской окружной дороги, в палатке, предоставленной местными властями: этот человек все еще пытается осмыслить ужас того, что он видел во время второй мировой войны. В статье не говорится, есть ли у него черепаха. А когда в прошлом году доказательство теоремы Ферма, которая считалась «самой захватывающей проблемой в истории математики», было наконец найдено бившимся над ней с девятилетнего возраста Эндрю Уайлсом (с помощью его бывшего студента Ричарда Тейлора), это — без всякого преувеличения — еще более обогатило стоппардовскую высокую комедию идей.

Перевод с английского Г.ШУЛЬГИ

■

ГУСТАВ ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Рассказы

Перевод с польского СЕРГЕЯ МАКАРЦЕВА

От переводчика

«Иной мир» — так называлась книга Г.Герлинга-Грудзинского, вышедшая по-русски в 1991 году, хотя на другие языки она была переведена давно. Книга о лагере под Архангельском, куда польский писатель попал волею судьбы. Судьбы столь же необычной, сколь и характерной для человека XX века. Он родился в 1919 году под Кельцами, окончил филологический факультет Варшавского университета, а в сороковом оказался на территории, занятой советскими войсками, и при попытке вернуться в Польшу был арестован. Освобождения из лагеря ему удалось добиться с помощью длительной голодовки. Затем он вступил в армию Андерса, принимал участие в знаменитом сражении под Монте-Кассино, за что был награжден орденом Виртути Милитари. После войны жил в Мюнхене, где работал в польской редакции радио «Свободная Европа». С 1955 года живет в Неаполе, сотрудничает с польским эмигрантским журналом «Культура» и парижским издательством «Институт литерацки», которое издало многие его книги, в том числе сборники рассказов «Врата алтаря» (1960), «Второе пришествие» (1963), очерки о русской и советской литературе «Вампиры революции» (1969), четыре тома «Дневников».

Долгие годы Г.Герлинг-Грудзинский оставался в Польше запрещенным писателем, и только после возникновения «самиздата» польский читатель познакомился с его произведениями.

В мае 1991 года, более чем через пятьдесят лет эмиграции, Герлинг-Грудзинский получил разрешение посетить родину. В день его 72-летия ректорат Университета имени Мицкевича, отмечая заслуги перед польской литературой, присвоил ему звание почетного доктора наук. А в прошлом году журнал «Одра» присудил ему премию за творчество в целом и в особенности за «Дневники» (1989—1992).

Герлинг-Грудзинский — автор в основном новелл и рассказов. Познавший «иной мир», он ставит своих героев, в какую бы эпоху ни происходило действие, в экстремальные условия — эпидемия чумы, землетрясение, пожар, перед лицом страдания и смерти. Нравственный героизм и нонконформизм — вот его главная тема, поднятая еще в первой книге, «Живые и усопшие» (1945), посвященной выдающимся польским писателям Норвиду, Беренту, Ижиковскому, Конраду.

Герой у Герлинга-Грудзинского — а часто это реальное историческое лицо — оказывается один на один со стихией, безумием мира, со своим одиночеством. Как и у Кафки, которому Грудзинский посвятил рассказ «Прага Кафки», оно кажется почти безграничным. Но, изображая реальность во всем ее драматизме, писатель не теряет веры в величие человеческого духа, истоки которой — в его религиозном мировоззрении. В его произведениях звучит постоянное, хотя и завуалированное, напоминание о десяти Божьих заповедях, а порой и каре, ждущей того, кто их нарушает.

Без знания Библии и христианской литературы трудно понять глубинный смысл таких рассказов, как «Второе пришествие» или «Угасающий Антихрист».

Некоторые фрагменты «Дневников» или новелл Грудзинского поражают изысканностью описаний, метафоричностью языка, поэтическим чутьем, но все же его стиль отличает прежде всего аскетизм. «Слова облепили нас и пожирают, — пишет он в «Дневниках», — укоренилось ошибочное мнение, что с их помощью можно исчерпать всю, абсолютно всю действительность».

Широта интересов и неординарность мышления позволяют ему по-новому интерпретировать известные факты, создавать литературные мистификации, когда документальная точность соединяется с вымыслом, или, обращаясь к забытым или малоизвестным именам и событиям, вводить их в сферу современной литературы. Как и Стендаль, Грудзинский — прекрасный знаток Италии и творит собственную летопись Неаполя и его окрестностей.

Густав Герлинг-Грудзинский — трудный писатель, требующий от читателя внимания и определенных усилий, но знакомство с ним необходимо и полезно, и не только потому, что он высоко ценим в Польше и переведен на многие языки, но и потому, что он освещает пронзительным светом мрачные тайны человеческой души, обогащает нас знанием и напоминает о высоком предназначении человека.

Угасающий Антихрист

Ницше приехал в Турин 5 апреля 1888 года по совету своего приятеля, который столицу Пьемонта рекомендовал как нечто среднее между Ниццей и Сильс-Мария, излюбленными местами отдыха философа. В многоэтажном доме рядом с piazza Carlo-Alberto он снял комнату на шестом этаже в квартире Давида Фино, разбогатевшего владельца магазинчика по продаже газет и журналов. И Турин действительно пришелся ему по сердцу. «Вот город, где еще чувствуется дыхание XVIII века». Сухой и чистый воздух, улицы, оттененные портиками, кондитерские с изысканными сладостями и мороженым, частые концерты, прогулки над По и в огромном парке Мичелотти за рекой, книжный магазин Лошера с богатым выбором разноязычной литературы. Покой, покой, тревоги и сомнения как рукой сняло, ни одного потерянного дня, лихорадка работы. Он быстро подружился с хозяином, фортепиано было отдано в его распоряжение, и он иногда поигрывал на нем в четыре руки с милой барышней Фино, дочерью хозяина. Неуклонно росла стопка исписанных страниц. Вне мира, как бы из укрытия, из засады, легче было, то черня бумагу резкими ударами пера в комнатке с видом на прекрасную площадь, то погружаясь в туринскую жизнь, как в целительные воды, готовить приговор этому миру. Кто из прохожих, встреченных на улице, или горожан, порой прогуливающихся в парке и над рекой, или соседей по столику в обтянутых красным плюшем кафе мог заподозрить, что почти неизвестный professore tedesco[1] уже заканчивает закладку динамита и готовится подвести к нему запальный шнур? Бывало, что при мысли об этом из его горла вырывался короткий лающий смех, настолько странный для него самого, что он невольно оглядывался. Нет-нет, он был один, сильный в своем одиночестве.

Но вдруг в дневнике появляется запись от 12 мая: «Тень образа. Извозчик. Зимний пейзаж. Извозчик с гримасой отвратительного цинизма избивает собственную лошадь. Несчастное создание со стертой, израненной шкурой поворачивает к нему морду — с благодарностью, с огромной благодарностью». Приснился ему этот образ? Или это случилось наяву? Неизвестно. Известно одно — на несколько дней эта картина ввергла его в состояние крайнего возбуждения и лишила возможности сосредоточиться на его взрывоопасной работе. В течение этих нескольких дней случались мгновения, когда он с тревогой посматривал на свою рукопись.

Тревога прошла, наступило раннее и душное пьемонтское лето. Снова он бил пером в листы бумаги, все более жирно подчеркивая отдельные слова, но при этом с трудом хватал ртом воздух и вытирал пот с лица большим платком. В начале июня, заверив хозяина, что в сентябре вернется в Турин, он сбежал в Сильс-Мария.

«После того как я покинул Турин, я оказался в плачевном состоянии. Постоянная головная боль, постоянная рвота». В письмах из Сильс-Мария он непрестанно жаловался на «крайнее нервное истощение», на «угасание жизненной энергии». Боролся он напрасно и «с самыми печальными мыслями», «ясно осознавал собственное положение». Он был один, слабый в своем одиночестве. Вспомнилась дурная наследственность: «Мой отец умер, полностью утратив жизненную энергию».

В Турин он вернулся 20 сентября. И сразу: «Восхитительная прозрачность воздуха, краски осени, роскошное ощущение блаженства». Писал в спешке, почти до изнеможения, отрываясь от письменного стола не более чем на пять часов сна. 30 сентября взрывоопасный труд был завершен. Свое произведение он назвал «Der Antichrist — Fluch auf das Christentum»[2]. Ему мало было «проклятия христианству» в названии, он добавил еще «Декрет против христианства в семи параграфах», подписавшись «Антихрист». «Дан первого дня спасения, первого дня Года Первого (30 сентября 1888 года по лживой хронологии)». Семи параграфам декрета он предпослал его квинтэссенцию: «Смертельная борьба против изуверства, а изуверство — это христианство».

Туринское «блаженство» подогревало восторги по поводу законченной работы. Все более довольный самим собой, он листал и листал рукопись и, закрывая глаза, видел в воображении огонек, молниеносно пробегающий по запальному

---

[1] Немецкий профессор (*итал.*).
[2] «Антихрист — Проклятие христианству» (*нем.*).

© Gustav Herling-Grudziński. Institut Literacki w Paryżu.

шнуру. Какой взрыв, какой взрыв! Ему казалось, что он уже слышит оглушающий грохот. Он подолгу всматривался в отдельные фразы своей книги. Например, из «Декрета»:

«Параграф шестой. Священная история да будет именоваться так, как она того заслуживает: *проклятая* история; слова «Бог», «Искуситель», «Святой» да будут употребляться только как оскорбление, как позорное клеймо».

Или вот еще, из основного документа:

«Христианство не было национальным, не обусловливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью. Оно имело союзников повсюду. Христианство, опираясь на rancune[1] больных, обратило инстинкт *против* здоровых, *против* здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла: «Бог избрал *немощное* мира, *немудрое* мира, *незнатное* мира, *уничиженное* мира: это была та формула, un hoc signo[2], которой победил décadence — Бог на кресте — неужели еще до сих пор не понята ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, все, что на кресте, — божественно... Все мы на кресте, следовательно, мы божественны... Мы одни божественны... Христианство было победой, *более благородное* погибло в нем, до сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества».

Великолепно, великолепно! Он сам удивлялся силе и точности наносимых ударов. В эйфории бродил он теперь как пьяный по Турину, ни с того ни с сего останавливался и громко провозглашал: «Антихрист», являясь еще непосвященной толпе под новым именем, которое иногда перекрывалось лающим смехом. Снова этот смех звучал слишком странно, мерещилось, что он вырывается из чужого горла. Обман чувств длился недолго, сразу проходил, но на коже оставалась зарубка страха, как у человека, который, погрузившись в задумчивость темной и мертвой ночью, вдруг вздрагивает при виде собственной тени.

Пьемонтская осень, ясная, спокойная; днем город закрывает серо-золотой абажур; на бархате вечера сверкают белые шары газовых фонарей. Шумно под портиками катятся экипажи, доносятся звуки оркестра. К этому времени он уже прекратил регулярные занятия, медленным шагом обходил Турин, пока от усталости не деревенели ноги, и постоянно менял кафе. Почти каждый день заходил к Лошеру, но купленные книги просматривал рассеянно и наспех, и они отправлялись в общую груду, поднимающуюся в углу комнаты.

В середине ноября прорвало плотины небесные. Ливень, ненастье, даже мгла непроглядная: уже после полудня наступали сумерки. Он выходил из дома только для того, чтобы пообедать в ближайшем трактире, потом закрывался на ключ в своей комнате и избегал хозяина и его семейства. Эйфорию вытесняла апатия, настолько мучительная, что он опасался возобновления болезни. Однако о бегстве из Турина даже не помышлял. Так уж случилось, что именно здесь его труд обрел окончательную форму и именно отсюда в первый день Года Первого он возвестил о спасении, припечатав погибель христианства подписью Антихриста, поэтому Турин стал для него будущей столицей будущего вселенского царства. Но прежде чем оно поднимется на развалинах взорванного старого мира, следовало определенные элементарные вещи разъяснить тем немногим, the happy few[3], которые заслуживали доверия и посвящения. Одним из них был Брандес. И 10 декабря он набросал черновик письма Брандесу:

«Дорогой друг, считаю необходимым сообщить Вам о некоторых обстоятельствах чрезвычайной важности: дайте слово чести, что это останется между нами... Я готовлю переворот, который, судя по всему, расколет историю на две половины с такой очевидностью, что мы будем свидетелями рождения новой хронологии, начинающейся с 1888 года как Года Первого. Все, что сегодня вознесено на гребень волны — Тройственный союз, социальный вопрос, — полностью трансформируется в антагонизм между отдельными личностями; мы получим невиданную доселе войну, но не между народами, не между классами; все развалилось, все разложилось; и теперь я самый страшный в мире динамит».

Относительно перевода «Антихриста»: он предполагал тираж не менее «миллиона экземпляров на каждом языке только в первом издании».

---

[1] Злоба (*франц.*).
[2] Так (*лат.*).
[3] Избранные счастливцы (*англ.*).

И продолжал:

«Поскольку это будет *сокрушительный удар по христианству*, очевидно, что единственной международной силой, инстинктивно заинтересованной в уничтожении христианства, остаются евреи... Поэтому мы должны обеспечить свое влияние на все политические центры, которыми эта раса располагает в Европе и в Америке; необходимо также учитывать тот фактор, что наше движение потребует огромных капиталов... В результате динамит разорвет в клочья любую военную структуру, любую конструкцию; не в состоянии что-либо противопоставить этому враг окажется неготовым к войне. На нашу сторону перейдут офицеры, доверившись своему инстинкту, что оставаться христианином дело *позорное, низкое и грязное*... Что же касается германского кайзера, я хорошо знаю, как обходиться с идиотами подобного рода... Моя книга — это вулкан, вся предыдущая литература не дает и малейшего понятия ни о том, что я в ней сказал, ни о том, каким путями сокровенные тайны природы человеческой прорвались на ее страницы с пугающей откровенностью. Есть нечто просто сверхчеловеческое в голосе, которым я объявлю смертный приговор... Когда Вы, наконец, прочтете подписанный Антихристом декрет против христианства, которым завершается книга, боюсь, что даже у Вас задрожат колени».

Несмотря на то что письмо он не стал ни переписывать, ни отсылать, настроение у него немного улучшилось. Но ненадолго. Потянулись дни снежной пороши, тающей на черных улицах, слякоти, зимо-незимней меланхолии. Перед Рождеством Христовым морозы сжали город хрустальным кольцом. Он заранее предупредил хозяев, чтобы в праздники его не беспокоили ни под каким предлогом, и намеревался в эти дни добраться наконец до груды книг в углу комнаты.

Он знал Достоевского и высоко ценил его, читал когда-то «Преступление и наказание», но на этот раз штудирование купленного у Лошера романа стало для него настоящим потрясением. Сначала он, набросившись на книгу, прочел ее на одном дыхании. Потом, лежа на кровати, опять вернулся к началу и бесконечное число раз перечитывал пятую главу. Снова, снова и снова... «В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью... Страшный сон приснился Раскольникову...» Семилетний Родион становится свидетелем того, как мужик до смерти забивает несчастную клячу за то, что она не может сдвинуть перегруженную телегу. «С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы...» Раскольников просыпается весь в поту, с мокрыми волосами, задыхаясь. «Боже!.. да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп...»

Теперь и он просыпался весь в поту, теряя ощущение времени и способность хотя бы в момент пробуждения вспомнить и закрепить в памяти свои сны. Он не мог понять, были они лишь копиями сна Раскольникова или же осколками собственных впечатлений и видений. Он понимал только, что одни и те же слова — страдание, любовь, добро, зло — могут быть попеременно то телом живым, то звуком пустым. До его слуха доносился не вожделенный грохот взрыва, а тихий и скучный шелест бумаги. Он чувствовал нарастающую, будто из капельницы через маленькое отверстие в черепе струящуюся головную боль.

В эти дни он как бы умер для своих хозяев, и они вынуждены были подолгу прислушиваться у дверей, чтобы убедиться, что он в комнате. 3 января на Турин опустился густой снег. В комнате жильца с самого утра было тихо. После обеда Давид Фино вышел из дома. Сразу за углом еще издали он заметил двух полицейских, ведущих кого-то под руки в сопровождении толпы зевак. Что-то словно подтолкнуло его, и он ускорил шаг. Да, полицейские вели Ницше. Его нашли на Via Po. Он вцепился в шею лошади, и его с большим трудом от нее оторвали. По рассказам очевидцев, он подошел к запряженной лошади, обхватил ее за шею и прижался лицом к лошадиной морде. Фино удалось уговорить полицейских передать задержанного ему на поруки.

В Базель его перевезли 6 января. До того как это произошло, он лежал в своей комнате в Турине и заполнял неразборчивым почерком бесчисленные листки, подписываясь Цезарем, Дионисом, Властелином Мира. А также — Распятым. В день отъезда он оказал сопротивление, не желая расставаться с «любезным» хозяином. Уломали его подарочком — ночным колпаком господина Фино. В этом колпаке он, как клоун, сбежавший из цирка, поехал на туринский вокзал. В Базеле, чтобы

избежать публичного скандала на вокзале, ему внушили, что он — путешествующий инкогнито князь, поэтому должен молча пройти сквозь толпу от вагона до кареты.

В марте его поместили в клинику для душевнобольных в Иене. Медицинская карта, ежедневно заполняемая на него в течение целого года до марта 1890 года, удивительно однообразна: съел собственные экскременты, выпил свою мочу, обмазался испражнениями, выбил оконное стекло...

Из Иены его перевезли в родной Наумбург, где семь лет он просуществовал под присмотром матери. После ее смерти его забрала в Веймар сестра, Элизабет Фёрстер. Там он и умер в августе 1900 года, не приходя в сознание, в «состоянии полного физического и психического распада». Единственное просветление произошло за мгновение до смерти, когда допущенному к нему в порядке исключения посетителю он указал на самого себя пальцем и пробормотал по-итальянски в обвисшие усы: un povero cristo[1].

10 января 1978 года

Пожар в Сикстинской капелле в 1998 году от Рождества Христова

Нижеследующие показания принадлежат Каспару Траузигу, единственному ребенку в семье Мартина и Эльзы Траузиг: возраст — 68 лет, холост, бывший служащий страховой компании, в настоящее время на пенсии, проживает в Базеле на улице Якуба Бурхарда, дом 27. По требованию Римской квестуры показания записаны им в римской больнице Salvator Mundi[2] в первых числах июня 1998 года. Относительно легкие телесные повреждения и ожоги вполне позволяют ему провести час в день за столом для записи показаний и неплохо управляться при этом правой рукой, на которую была наложена легкая повязка. Чтобы эти письменные показания принесли пользу властям, не выглядели голословными и чтобы сотрудники службы безопасности, которые будут их читать, могли яснее представить себе атмосферу преступления (или несчастного случая), а также детальный портрет очевидца преступления (или несчастного случая), свидетель решил, не считаясь со временем, — которого в общем-то предостаточно в условиях вынужденного больничного безделья! — рассказать коротко по пунктам обо всем, что в его все еще негодующем сознании и исстрадавшемся сердце связано с трагическими событиями 23 мая.

1

Я родился в Базеле в 1930 году. Мой отец служил чиновником в базельском банке, мать до замужества проживала в окрестностях Берна. Оба они были людьми религиозными, но без ханжества и показного рвения. Вера вносила в их жизнь оттенок суровости и ощущение божественности миропорядка. С самого раннего детства такие же настроения они внушили и мне, одновременно с убеждением, что человек каждодневно подвергается Суду Господню. Такова была наша «домашняя» вера, которую точнее было бы определить выражением «страх Божий».

Я был поздним ребенком. Сразу после свадьбы мои родители дали обет самим себе (и, конечно, Богу) ежегодно в мае совершать поездку в Рим. Исполняли они этот обет со швейцарской, можно сказать, точностью. Но когда я родился, в их поездках наступила вполне понятная пауза. В мае 1939 года я, девятилетний впечатлительный мальчик, впервые отправился вместе с ними в Рим. Тогда я понял, что было главной, если не единственной, целью их скрепленных клятвой паломничеств в Рим: Сикстинская капелла, а в ней «Страшный суд» Микеланджело. Вскоре, возможно потому, что уже чувствовалось дыхание военного лихолетья и взрослеть приходилось быстрее, я из ребенка, которого за ручку сопровождали в школу и на прогулки к Рейну, превратился в полноправного участника их ритуала. Да, имен-

[1] Бедный Христос, бедняга (*итал.*).
[2] Спаситель мира (*лат.*).

но ритуала, я бы даже сказал — священного ритуала. Ежедневно в течение двух недель мы с самого утра шли от нашего пансионата «Микеланджело» к Сикстинской капелле, равнодушно проходя мимо других красот и сокровищ Вечного города. Родители научили меня итальянским выражениям Giudizio Universale[1] и Cristo Giudice[2], а после возвращения в Базель повесили над моей кроватью репродукцию центральной части фрески Микеланджело «Христос Грозный Судия», убрав перед этим со стены небольшое семейное распятие.

Война, жестокая, бесчеловечная война, вновь прервала наши паломничества в Рим. Добраться до Рима, недавно освобожденного, нам удалось, не без хлопот и трудностей, только в мае 1945 года. Мне тогда было пятнадцать лет. Когда мы вошли в Сикстинскую капеллу, заполненную (чего раньше никогда не бывало) огромной толпой, в которой преобладали солдаты союзников, я впервые увидел слезы на глазах родителей и услышал шепот моего отца «уцелела, уцелела», хотя не было никаких свидетельств, что гитлеровские варвары намеревались поднять кощунственную руку на «Страшный суд» — несравненный шедевр Микеланджело.

2

Несравненный шедевр! И сегодня у меня нет уверенности, что родителей покорил именно живописный гений Микеланджело. Правда, на полках моего отца Микеланджело господствовал безраздельно, представленный в основном альбомами репродукций и описаниями «Страшного суда». Однако я редко видел, чтобы отец, склонившись над столом, изучал книги о Мастере или репродукции его произведений. Он собирал, не жалея денег, эти альбомы и книги hommage[3] к создателю «Страшного суда», в глубине души он относился к ним как к богослужебным книгам, владение которыми было формой коленопреклонения и тихой молитвы перед фреской на алтарной стене Сикстинской капеллы, но на расстоянии. Что же касается моей матери, то она была еще более далека от восхищения искусством Микеланджело. Подозреваю даже, что она, воспитанная в строгих традициях целомудрия, не очень бы удивилась, если бы ей прочли отрывок из «Жизнеописаний» Вазари, где рассказывается об известном эпизоде посещения папой Павлом III Сикстинской капеллы с завершенной более чем на три четверти фреской «Страшного суда». Тогда сопровождавший папу церемониймейстер Бьяджо Чезенский заявил, без обиняков и не считаясь с присутствием разгневанного Микеланджело, что это полное бесстыдство — изображать в священном месте столько голых людей, такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы... Вазари (в больнице он у меня под рукой) утверждал: «Творение это сковывает и полонит всех тех, кто возомнил, что владеет искусством». Насколько я могу судить, такое мнение вряд ли разделили бы мои родители. Зато несомненно, что они воскликнули бы вместе с автором «Жизнеописаний»: «И поистине счастлив может почитаться тот, кто видел это, счастлива память о том — поистине поразительное чудо нашего века». Да, безусловно, «чудо нашего века» полностью овладело душами моих родителей, оно стало их счастьем, они хранили память о нем и благоговейно склонялись перед его реальностью. Но чудом являлся для них сам образ Страшного суда, а не его художественное воплощение.

Неоднократно, особенно после смерти родителей, я вспоминал тот эпизод моего детства, когда по их воле место Христа Распятого занял над моей кроватью Cristo Giudice. Неужели, подменяя в нашей «домашней» религии Жертву, Муки и Страсти Господни Страшным судом, они хотели утвердить эту подмену и в своем девятилетнем сыне? Шла ли здесь речь лишь о нашей «домашней» религии или о своеобразной «швейцарской» вере? Как бы то ни было, но в такой атмосфере я вырос, и мое воспитание, несмотря на некоторые позднейшие модификации, остается для меня и поныне надежным ориентиром. Но необходимо обратить внимание, и добросовестность вынуждает меня особо отметить то обстоятельство, что, когда мой отец, весь в слезах, шептал: «уцелела, уцелела», войдя сразу после войны в Сикстинскую капеллу, его шепот был — если можно так выразиться — мета-

---

[1] Страшный суд (*итал.*).
[2] Христос Судия (*итал.*).
[3] Почтение (*франц.*).

форическим. Для него «уцелела», сохранилась, несмотря на жестокую и бесчеловечную войну, *идея* Страшного суда; идея, которую он с восторгом обнаружил бы в словах некоего французского писателя первой половины нашего столетия: «Не жди Страшного суда, он совершается каждодневно» (и добавил бы от себя: «и будет совершаться вечно»). Это, прежде всего это он имел в виду, а не спасение живописи Микеланджело, которой, собственно, ничего и не угрожало. А о войне, которая не смогла поколебать Христа Судию, о годах жертв, мук и страданий он знал очень мало и, пожалуй, не хотел знать больше.

3

Наши совместные послевоенные паломничества в Рим продолжались всего лишь около пяти лет. В марте 1950 года отец заболел, а уже в мае стремительный рак свел его в могилу. Мучился он страшно. Спокойный и терпеливый по натуре, он не мог сдержать криков, стонов и жалобных стенаний. Казалось, он только теперь открывал, что такое боль в нашей жизни. А она есть и, более того, должна быть, подобно тени, которая постоянно и упорно крадется вослед за нашей умудренностью, как те библейские ночные тати, всегда таящиеся за спиной и готовые выскочить из мрака. Должна быть? Да, я это утверждаю, потому что уверен, что без осознания или постоянного предчувствия боли жизнь человека была бы фикцией жизни. Возможно, в свой смертный час понял это и мой отец. Однажды вечером, за несколько дней до смерти, будучи еще в сознании, он привлек меня к себе, обнял и поцеловал с выражением такого отчаяния в глазах, будто хотел предупредить меня о чем-то очень важном, но высказать вслух это прощальное предостережение у него уже не оставалось сил.

Вскоре после смерти отца, в сентябре того же года, отошла моя мать. Отошла — наиболее точное выражение, отошла тихо, на цыпочках. Собственно, умерла она еще во время болезни отца, умерла и оцепенела; без слова, без звука, автоматически она делала свою работу, но находилась уже где-то далеко, по ту сторону жизни. Не проронила ни слезинки над засыпанной могилой отца. В последние месяцы ее жизни мы разговаривали редко и о делах незначительных, могло показаться, что в нашем повседневном домашнем существовании вообще ничего не произошло. На вид она была здорова, ни на что не жаловалась, как и раньше (только теперь одна) отправлялась в погожие воскресные дни после церкви посидеть на набережной, но в ночь с 3 на 4 сентября просто уснула навеки. Да-да, она отошла на цыпочках, оставив сиротой единственного сына.

Ее осиротевшему сыну было тогда двадцать лет, и он учился в Базельском университете. Отцовское наследство позволило мне закончить университет без каких-либо материальных затруднений, а коллеги отца сразу после получения диплома помогли мне начать карьеру чиновника в одной из страховых компаний.

Со смертью родителей я не только остался один, но и привык к одиночеству и никогда даже не помышлял о создании собственной семьи. Наша большая квартира на улице Бурхарда постепенно опутывала меня, в молодом еще возрасте, паутиной мелких холостяцких привычек. По вечерам я очень неохотно покидал дом — предпочитал, удобно устроившись в отцовском кресле, провести время за книгой. Во мне пробудился интерес к истории искусства. Я листал книги и альбомы, приобрел даже аппарат для разглядывания диапозитивов, «обрастал» скромной, но солидной художественной культурой. Моя жизнь ограничивалась конторой и домом, если не считать случайных, мимолетных и довольно тривиальных «сентиментальных» интерлюдий.

В 1963 году, когда мое финансовое положение достаточно стабилизировалось, я решил восстановить нашу семейную традицию ежегодных майских паломничеств в Рим. Первоначально я просто хотел почтить память родителей, превратив май в своеобразный месяц поминовения усопших. Однако вскоре паломничества в Рим расширились до путешествий по Италии. Я посещал наиболее известные своими памятниками искусства итальянские города, хорошо изучил Вечный город, выйдя за рамки ритуальных визитов моих родителей только в Сикстинскую капеллу. Но «Страшный суд» оставался в фокусе каждого из моих путешествий по Италии, с него я начинал и им заканчивал мой ежегодный отпуск в Италии. Год от года я все больше влюблялся в эту фреску, мое восхищение, мое изумление пускало все новые

корни и прорастало все новыми ветвями, как здоровое прекрасное дерево. Возможно, «модификации», о которых я упоминал выше, в моем воспитании и восприятии лишали оттенка *священного* ритуала минуты, проведенные в Сикстинской капелле, но все же это был именно ритуал, вплоть до трагического конца.

4

Я, кажется, забыл, что всего лишь в качестве свидетеля даю показания полиции. Но тот, кто будет читать эти строки, пусть простит меня и наберется терпения. Возможно, добравшись до конца моих показаний, он и одобрит метод, с помощью которого я пытаюсь разобраться в этом преступлении века (или в несчастном случае).

В альбомах «Страшного суда» обычно имеется «карта» фрески — идентификация фигур, помеченных цифрами. Удивляет нерешительность «картографов», иногда на первый взгляд даже необъяснимая. Если не считать Христа Судии с грозно поднятой правой рукой, мускулистого, с суровым ликом, и опечаленной или встревоженной Мадонны справа от Него, над многими фигурами поставлены вопросительные знаки: дочь фараона, которая нашла Моисея, или Сара, или Ева; Авель или Ева; Авраам или святой Бернард; святой Иоанн Креститель или Адам; Ной, или Енох, или папа Павел III; жена Соломона или Данте; святой Варфоломей с чертами Аретино; Иов, или Адам, или Авраам; Микеланджело или папа Юлий II; жена Иова или Ева; Ниоба с дочерью или Ева с дочерью. Какое же здесь сплетение и мешанина образов, сюжетов, легенд, мифов, событий и фактов — о! — даже полов! Произошло ли это случайно, когда от усталости притупился глаз художника, или было сделано намеренно?

Я думаю, намеренно. Глаза Мастера, по моему мнению, устать не могли, они были божественны, как очи Творца, обозревающего в конце времен сотворенный Им мир, чтобы его окончательно осудить. Мир нашего величия и ничтожества, нашей любви и ненависти, наших грехов и добродетелей, наших страданий и радостей, наших взлетов и падений, наших ангелов и люциферов, наших святых и безбожников, нашего всеобщего и безнадежно искрошенного *месива*. Фреску Микеланджело называли видением, пронизанным «космическим ужасом» и «трепетом timore religioso»[1] (эти выражения особенно любил мой отец). Я постепенно научился видеть в ней гигантский смерч, внезапное падение с пустой и холодной высоты небесной лазури сквозь клубок человеческих тел до черного дна пропасти с серебристо-синими проблесками света. Но как же редки и мимолетны были эти просветы!

В мае 1995 года, через месяц после папской инаугурации, в Сикстинской капелле новый папа служил мессу. Пригласительный билет на мессу достал для меня знакомый из швейцарского посольства в Риме. Странная, очень странная вещь, граничащая с кощунством, но от великолепия мессы поблекло в моем сердце безграничное величие «Страшного суда».

5

В первом пункте моих показаний я уже упоминал, что сразу после войны Сикстинская капелла была, как никогда раньше, наводнена людьми. Я задаюсь вопросом: была ли эта толпа лишь эйфорической эманацией недавно освобожденного Рима, одной из многих в городе-символе Европы, в городе, которому обретенная свобода ударила в голову, как крепкое вино, или же люди, солдаты союзников и римляне, устремлялись, движимые неясным инстинктом, к лику Cristo Giudice, чтобы продемонстрировать свою веру в Высшую (и подвергшуюся смертельному испытанию в огне всемирного военного пожара) Справедливость? Другими словами: не стал ли этот день праздником победы вечного Giudizio Universale над мрачной, лишенной прав божеских и человеческих Peste Universale?[2]

Общеизвестно, что в прошлом Сикстинскую капеллу посещали редко, она не знала подобных толп зрителей, будто зеркального отображения клубка тел на фрес-

---

[1] Религиозный страх (*итал.*).
[2] Всемирная чума (*итал*).

ке Микеланджело. Я усмехался, читая в «Путешествии в Италию» Гёте (в больнице эта книга у меня под рукой) запись, датированную августом 1787 года: «Сторож, которому заплатили как следует, впустил нас через заднюю дверь возле алтаря, и мы распоряжались там как хотели. Недостатка в съестных припасах у нас не было, и помню, как, утомленный мучительным дневным зноем, я предался послеобеденному сну, расположившись на папском престоле».

Гёте, который ест в Сикстинской капелле и после еды дремлет на папском престоле пред очами Христа Судии, довольно наглядно демонстрирует, чем была когда-то алтарная стена в Сикстинской капелле: всего лишь достойным удивления произведением великого художника.

Толпа в мае 1945 года не означала единичный и мгновенный взрыв радости и благодарности, она не была фейерверком, который скоро погаснет на чистом, наконец-то безоблачном небе. Она увеличивалась из года в год, пока продолжались наши семейные паломничества. Когда в 1963 году я уже один предпринял такое путешествие, перед моими глазами предстала необычная картина: длинная очередь паломников (более точного определения я не могу подыскать), конец которой почти терялся в колоннаде площади Святого Петра. Чтобы добраться до дверей Ватиканских музеев, приходилось ждать от трех до четырех часов. Переступив нако-
нец их порог, человек попадал в поток, который быстро и нетерпеливо, не давая оглядеться по сторонам, нес его к Сикстинской капелле. В коридорах на подходах к капелле некоторые падали в обморок. Требования соблюдать тишину и порядок не выполнялись, люди не обращали внимания на раздающиеся из глубины капеллы призывы динамиков: Silenzio, Silence, Ruhe[1]. Слышны были возгласы взрослых и плач детей. И не говорите мне, что все это можно списать на взрыв массового туризма. В Сикстинскую капеллу на «Страшный суд» ходили паломники, а не туристы.

Так сложились обстоятельства, что в 1981 году я приехал в Рим поездом из Базеля на рассвете 13 мая. Я умылся, переоделся, плотно позавтракал в пансионате «Микеланджело» и сразу побежал к Ватиканским музеям за час до их открытия. Уже стояла очередь, пока сравнительно небольшая. Уставший после ночной поездки и странно возбужденный, я решил весь этот день провести в Сикстинской капелле, потому, в частности, что на следующее утро собирался выехать из Рима в Неаполь и на Сицилию. После обычного, по мере возможности обстоятельного осмотра «Страшного суда» (задача в толпе довольно затруднительная) мне удалось протиснуться в относительно свободный уголок капеллы. Я и на ногах умею хорошо отдыхать. Из задумчивости меня вывел усиленный мегафоном голос. Вместо повторений бесполезных Silenzio, Silence, Ruhe он объявил, что на жизнь Иоанна Павла II было совершено покушение. На этот раз толпа замерла в молчании и оцепенении. Казалось, что все взгляды как бы с удвоенной силой и с требовательным ожиданием приникли к фигуре Cristo Giudice и к Его грозно поднятой руке.

Вопреки первоначальным планам, я остался в Риме до 20 мая. Каждый день в Сикстинской капелле собиралось больше людей, чем даже в соборе Святого Петра. Какое еще нужно доказательство существования и постоянного усиления магии Страшного суда?

6

Однако мне кажется, что начиная с 1988 года эта магия стала ослабевать. К тому же десять лет назад, в мае, меня ожидало тяжелое потрясение.

Осторожное выражение «мне кажется» я употребил по причинам, которые объясню ниже. Но как бы ситуация ни выглядела в действительности, я не могу не упомянуть о шоке, который испытал в мае этого достопамятного для меня года.

Толчея в капелле не уменьшилась, не поредела и очередь перед входом, но меня изумила перемена в поведении паломников. Я даже стал сомневаться, можно ли их вообще называть паломниками. Вокруг, и в очереди, и в самой капелле, раздавались, в основном среди молодых людей, взрывы хохота, подчеркнуто ироничного, часто сопровождаемого замечаниями даже без намека на уважение, откровенно вульгарными, особенно при виде той доминирующей на фреске «наготы», которая

[1] Тишина (*итал., франц., нем.*).

в свое время так возмутила церемониймейстера папы и так в глубине души огорчала мою бедную мать. Верхом всего был выкрик молодой девушки, которую нежно обнимал ее спутник. Ее восклицание было адресовано Cristo Giudice. Повторить его? Я делаю это, краснея от стыда и моля Бога о прощении: «Che bel maschio, какой великолепный самец!» Я был просто потрясен, у меня слезы на глазах выступили. Не будет большим преувеличением, если я скажу, что всем телом почувствовал тогда обжигающее дуновение *предугаданного* пожара в Сикстинской капелле.

Теперь, как и обещал, я должен пояснить, почему я употребил выражение «мне кажется». Тема для меня не из приятных, но (ради достоверности свидетельских показаний) обойти ее никак нельзя. В начале 1988 года я заболел. Болезни, подобные моей, определяют по-разному: то психическими расстройствами, то нервными срывами, а то и депрессивными состояниями. Определения определениями, но суть дела заключалась в том, что временами мной овладевали какие-то странные страхи, я плохо переносил такое прежде милое мне холостяцкое одиночество, выискивал самим же придуманные опасности, мучился от бессонницы и утраты вкуса к жизни. Время от времени в моем сердце и разуме разгорались, хотя и быстро гасли, невнятные инстинкты ненависти и разрушения. Я стал неряшлив, но это не коснулось моих служебных обязанностей в страховой компании. Я пунктуально, минута в минуту, приходил в контору и выходил из нее точно по расписанию, хотя по совету врачей мне не раз предлагали отпуск по состоянию здоровья. Больших усилий стоила мне в мае того года поездка в Рим. Исходя из вышесказанного, нельзя исключить, что в тот период мои переживания в Сикстинской капелле могли быть плодом больного воображения. Так или иначе, но я решил прервать мои ежегодные поездки в Италию. Следующая состоялась только в 1995 году, в год моего выхода на пенсию и инаугурации нового папы.

7

Да, период с 1988 по 1995 год был для меня исключительно, просто мучительно трудным и неприятным. Как это случилось? Изменения ли во внешнем мире и в моем ближайшем окружении довели меня до чего-то похожего на психическое заболевание, или же наоборот — психическое расстройство продиктовало иную «оптику» моего взгляда на мир? Такие вопросы бессмысленны и бесполезны. И в том и в другом случае результат был бы тот же самый, а важен только результат.

Я никогда не интересовался заумными выводами социологов (не говоря уж об ученых-политологах, которые меня просто раздражают и нагоняют на меня тоску), однако я знаю, что они охотно пользуются понятием «социального организма», понятием образным, а потому в большей степени апеллирующим к воображению, чем сухие формулы и голые цифры статистики. Так вот, даже в нашей швейцарской реальности, которая всегда выдавалась за образец общественной жизни, я, воспитанный в уважении к элементарным правилам приличия, установленным для человека как гражданина и личности (не говоря уж о нашей «домашней» религии страха Божия), постоянно убеждался, что этот «организм» искалечен, изранен, окровавлен. Временами это превращалось в какую-то манию, и тогда я жалел о выборе профессии: я мечтал о роли судьи. Особую вину за постоянное надругательство над «организмом» я возлагал на молодежь. Я бы солгал, утверждая, что молодежь «переросла» религиозность родителей и полностью отказалась от нее. Но очевидно, что она внесла в нее принципиально чуждый религии элемент развлечения, увидев добродушно улыбающееся лицо Бога там, где должна была видеть неизменно la face sombre et juste du Christ[1].

Последние два года моей работы в страховой компании прошли под знаком одной проблемы, изучение которой было бы полезно и в данном деле. Я возглавлял в компании отдел лесного хозяйства и занимался страхованием частных и государственных лесных участков, а иногда даже отдельных лесных массивов в границах кантональных лесов. В мои обязанности входили также расследования и выплата страховых сумм в случае материальных потерь, понесенных владельцами лесных участков не по их вине. Моя работа отнюдь не изобиловала драматическими коллизиями, была довольно монотонной и со временем приобрела рутинный ха-

[1] Суровый и справедливый лик Христа (*франц.*).

рактер. Но внезапно страну захлестнула волна пожаров, притом настолько часто повторяющихся и катастрофических по своим последствиям, что наша компания — богатая и солидная — столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Причину пожаров полиция быстро обнаружила, но это не значит, что так же быстро она сумела ее устранить. Наоборот — пожары вспыхивали с пугающим постоянством, даже после окончания наиболее пожароопасного периода летней жары. Причиной стала одна из многих новых американских «игрушек», которую без каких-либо ограничений и по доступной цене можно было приобрести в любом магазине оружия или спортивного инвентаря: карманный огнемет, по форме и размерам напоминающий табакерку. «Игрушка» была задумана как невинное приспособление для разжигания костров, но вскоре была усовершенствована и перестала быть такой невинной. Firex (сегодня, пожалуй, нет необходимости никому, особенно тем, для кого я пишу эти показания, объяснять, что это такое) выбрасывал на расстояние более полукилометра струю пламени страшной разрушительной силы, которая сжигала все на своем пути. Когда власти разобрались, какое американское изобретение допустили они на швейцарский рынок, было уже слишком поздно. Несмотря на таможенные запреты и бесконечные конфискации в магазинах, этот шедевр современной техники проник в Швейцарию и в Европу, стоило только протянуть руку, готовую к предумышленному преступлению или к «невинной забаве». Я же, на пороге пенсии склонившийся над письменным столом, заваленным бумагами, с отчаянием всматривался в небольшую металлическую коробочку, которую мне велели положить рядом с лампой для предупреждения или предостережения клиентов.

Возможно поэтому, снова приехав в Рим после семилетнего перерыва, я так холодно воспринял бездушную помпу мессы, которую отслужил в Сикстинской капелле новый папа. Мне необходимо было чего-то большего для возжигания искры Божией «Страшного суда».

8

Теперь в сторону словоизлияния. От меня ждут «точного и по мере возможности подробного отчета о том, что я делал и что видел от момента прибытия в Рим до момента трагического инцидента». Я приложу все старания, чтобы отчет был точным и по мере возможности подробным, хотя должен заранее предупредить, что после всего случившегося моя память похожа на кинопленку с чересчур засвеченными или, наоборот, слишком затемненными кадрами.

В Рим я приехал 22 мая 1998 года от Рождества Христова в три пятнадцать после полудня поездом из Женевы. Как всегда, для меня была оставлена комната в пансионате «Микеланджело» в Borgo San Gregorio[1]. До ужина я спал, что может подтвердить портье. Около девяти вечера отправился в город. До площади Венеции я доехал автобусом, после чего неспешным шагом добрался до моей любимой площади Испании.

Рим в мае прекрасен, хотя мне показалось, что для начала сезона город более, чем обычно, заполнен народом и рокотом толпы. Над лестницей на площади Испании витали пьянящие ароматы, продавцы цветов, несмотря на подступающую темноту, еще не унесли свои корзины. С вершины лестницы открывалась панорама, от которой у меня всегда перехватывало горло: купол Святого Петра, резко очерченный на фоне пурпурного неба, будто подкрашенного отблесками далекого зарева. Я простоял там, опершись на каменный парапет, до десяти сорока пяти. У меня нет причин хоть что-нибудь утаивать, да, собственно, и вы, господа из квестуры, приложите все старания, чтобы все разузнать. В условленное время, в одиннадцать часов, я постучал в дверь на четвертом этаже дома на Виа Систина, известного дома, который приютил когда-то русского писателя Гоголя. Открыла мне Мирелла (фамилии ее я не знаю). За прошедшие годы она почти не изменилась. Подруги ее были заняты в своих комнатах, поэтому мы могли спокойно выпить бутылку вина в гостиной. Около полуночи мы перешли в ее комнату. Она может подтвердить, что я там провел три часа.

Пешком по пустеющему городу я возвращался в пансионат. Я говорю «пусте-

---

[1] Квартал Сан Грегорио (*итал.*).

ющему», а не «опустевшему», потому что позднее, почти предрассветное время лишь частично рассеяло толпу на улицах. Более того, я ощущал в этой толпе какое-то возбуждение, которое тотчас же передалось и мне. Около четырех часов я вышел на площадь Святого Петра и остановился как вкопанный. На площади горели десятки маленьких костров, вокруг которых стояли кучки людей обоего пола, преимущественно молодых. Они пели песни на незнакомом мне языке, песни печальные и похожие на рыдания, рвущиеся из самой глубины души. Однако я не вправе заострять внимание итальянской полиции на неуместности такого ночного концерта у стен Santa Sede, папской резиденции. Быстрым шагом, почти бегом, я направился к своему пансионату.

До самого утра я так и не сомкнул глаз. А в семь уже присоединился к группе людей, дожидающихся открытия Ватиканских музеев. Когда после девяти голова очереди втянулась в Сикстинскую капеллу, заработали невидимые динамики: Silenzio, Silence, Ruhe, Тишина. С этого момента призывы повторялись с небывалой, шокирующей частотой. В капелле бурлила толпа, тихий вначале шепот сменился громкими разговорами, а затем и выкриками. В словно наэлектризованном воздухе росло напряжение. Меня поразило, что лишь отдельные посетители подолгу всматривались в «Страшный суд» — во взглядах большинства было что-то опасливое и уклончивое. Внезапное головокружение, сопровождающееся общей слабостью и сильным сердцебиением, заставило меня предпринять попытку выбраться из толпы к выходу из капеллы. Однако выйти мне не удалось, я лишь оперся о стену у выхода, бесцеремонно прижатый к ней крикливой оравой молодых парней и девушек. Машинально взглянув на часы, я отметил: ровно десять часов. После чего закрыл глаза, погрузившись в беспамятство.

Очнувшись, я вновь машинально взглянул на часы: было десять двадцать семь. То есть точное время начала трагедии. Что же и как я смогу рассказать с той точностью и с теми подробностями, которые вам необходимы? Боюсь, очень немногое. Обморок притупил у меня остроту восприятия происходящего, хотя, разумеется, я помню взрыв ужаса и панику. Помню также, что струя пламени сначала с треском ударила в две точки «Страшного суда»: туда, где архангел Михаил открывает Книгу избранных, и туда, где Святой Петр показывает ключ Высшему Судии. И тотчас же, спустя, может быть, мгновение, стена была объята пламенем. «Страшный суд» пылал, как сухое смолистое дерево. Жар, жар, жар обжигающий, как удар хлыста. Толпа с криком боли и ужаса бросилась к выходу, топча упавших. Казалось, что Страшный суд из воображения художника переместился в реальность. К счастью, служба безопасности сумела быстро пробить выход в сторону Ватиканских садов. Вероятно, благодаря этому число погибших оказалось не слишком большим (24). Зато около трехсот человек получили легкие и тяжелые ранения. Я отношусь к легкораненым; когда я пытался (увы, безуспешно) помочь пожилой женщине, превратившейся в живой факел, то получил небольшие телесные повреждения и ожоги.

Пожар удалось потушить только под вечер. Мне говорили, что даже ночью из капеллы вырывались клубы черного дыма, прошитого угасающими искрами и подсвеченного розоватыми отблесками догорающих углей.

9

Сегодня, 23 июня, минует месяц со дня преступления (или несчастного случая). С меня сняли бинты и разрешили спуститься из моей палаты на пятом этаже и сходить в газетный киоск напротив больницы. Если не возникнет каких-либо осложнений, то в пять часов сотрудники квестуры должны отвезти меня в Сикстинскую капеллу для дачи дополнительных показаний.

Из газет известно, что за минувший месяц следствие не продвинулось ни на шаг. Ярчайшим свидетельством беспомощности следствия может служить бесконечное до навязчивости повторение одного и того же факта, в принципе несущественного. Когда в первой половине восьмидесятых годов осуществлялась реставрация «Страшного суда», использовалась новейшая японская разработка закрепителя для красок, химический состав которого римская лаборатория квалифицировала (слишком поздно) как altamente infiammabile. Но долгий, слишком уж долгий путь от «огнеопасного» вещества до установления причин пожара... Столь же пус-

тыми и бесполезными я считаю намеки в одной из статей, что необходимо исследовать состояние электрокабелей, вмонтированных с наружной стороны алтарной стены.

На первых страницах всех сегодняшних газет описано вчерашнее посещение папой Сикстинской капеллы, первое посещение, не связанное со следствием и с работами по расчистке капеллы. Кирилл провел в капелле четверть часа. Он опустился на колени, несколько минут молился на том месте, где раньше находился алтарь, и перед тем, как встать с колен, поцеловал выжженную землю. Его сопровождала группа кардиналов, епископов, прелатов и министров итальянского правительства, в свиту папы были также по их собственному желанию включены представители двух великих держав в Апостольской столице: посол Джеймс Годфингер и посол Трофим Богомолов. Журналисты и фоторепортеры допущены не были, но прессе удалось только ей известными способами раздобыть информацию о наиболее волнующем моменте посещения. Когда папа уже покидал капеллу, он еще раз оглянулся на сгоревшую фреску и в отчаянии закрыл лицо руками. Этот жест повторили все члены его свиты, включая двух послов. Читая описание этой сцены, я не мог сдержать слез.

***

Заканчиваю в полночь того же дня.

Гул и грохот в ушах, красные круги перед глазами, голова стиснута, как обручем, покалывание в левой руке, ноги онемели, будто связанные, грудь сдавило удушьем. И страх. Я боюсь встать со стула, боюсь вернуться в кровать, боюсь подойти к окну, боюсь позвонить санитарке. У меня не хватает духа даже свет погасить. Они, вероятно, думают, что я все еще сплю, что еще не проснулся после укола.

Все, что я помню, это то, как меня долго вели длинными коридорами, пока наконец, измученный и поддерживаемый под руки сотрудниками квестуры, я не оказался в капелле. Остальное — тьма. Сначала видимая шелушащаяся тьма «Страшного суда» на вздувшейся алтарной стене. Потом невидимая тьма — густая, давящая, затягивающая, — бездны внутри меня, бездны во мне. Но могу поклясться, что, вглядываясь в сожженную фреску, я на мгновение увидел белое пятно вознесенной вверх руки Cristo Giudice с открытой ладонью. Огонь не тронул эту руку? Это все, что осталось от «Страшного суда»? Наверное, я стал тогда кричать, потому что отчетливо услышал протяжный крик. И, втянутый бездной невидимой тьмы во мне, потерял сознание. Очнулся я полчаса назад на больничной койке.

Показания Каспара Траузига сопровождаются тремя короткими документальными свидетельствами.

Рим, 6 июля 1998 года. Главный врач больницы Salvator Mundi, профессор Джироламо Микеланджели-Кросетти: «Гражданин Швейцарии Каспар Траузиг, 68 лет, проживающий в Базеле, был доставлен в нашу больницу в день пожара в Сикстинской капелле, 23 мая текущего года. Обнаружены повреждения обеих рук и ног, а также ожоги лица, груди и спины. Через тридцать суток пациента можно было выписывать из больницы, но произошли неожиданные изменения в его психическом и нервном состоянии, что дает основание подозревать невроз типа психопатической депрессии. Не исключено, что причиной оказалась запущенная или недолеченная болезнь, уточнить характер которой без соответствующих клинических исследований на протяжении более длительного периода наблюдений мне не позволяет профессиональная этика. Наша больница не может заниматься этим случаем в связи с большим притоком больных, поэтому мы рекомендуем швейцарскому посольству в Риме и Римской квестуре незамедлительно доставить пациента по месту жительства. Отчет о курсе лечения в больнице Salvator Mundi прилагается».

Рим, 18 июля 1998 года. Заместитель начальника управления по работе с иностранцами Центральной римской квестуры капитан Ремо Доменичелло: «В соответствии с рекомендацией главного врача больницы Salvator Mundi и по согласо-

ванию со швейцарским посольством в Риме доктор Каспар Траузиг 15 июля сего года был доставлен в Базель. Окончательное решение принадлежало шефу квестуры, который пришел к выводу, что вышеприведенные свидетельские показания доктора Траузига для настоящего следствия не имеют существенного значения, поэтому дело в отношении его может быть прекращено (учитывая, в частности, состояние его здоровья). Я лично отвез доктора Траузига в Базель в сопровождении сотрудника швейцарского посольства в Риме доктора Эриха Хуфнагля. В заключение прилагается справка о приеме пациента, подписанная директором городской нейропсихиатрической больницы в Базеле по улице Карл-Густав Юнггассе, 16—18».

Базель, 24 мая 2000 года. Директор городской нейропсихиатрической больницы в Базеле профессор Мариус Лихтенбаум: «Вскоре после госпитализации в нашем учреждении доктора Каспара Траузига городские власти, согласившись с нашими доводами, дали разрешение на продажу его квартиры по улице Бурхарда, 27, вместе с мебелью, для покрытия больших издержек на лечение и содержание пациента в течение, как предполагалось, длительного периода в одноместной комфортабельно оборудованной палате. В тот период пациент еще сохранял ясность сознания настолько, что был в состоянии выразить согласие с принятым решением при условии, что из распродажи будет исключена и привезена к нему в больницу прекрасно выполненная репродукция Христа с фрески «Страшного суда» Микеланджело. На следующий день после того, как его просьба была удовлетворена, пациент впал в классический ступор на фоне относительно спокойного депрессивно-маниакального состояния, характеризующегося полной прострацией, глухой замкнутостью и периодическими припадками немотивированного страха. Иногда он разговаривал сам с собой, но сразу же замолкал, как только врач или санитарка входили в палату. Вчера он неожиданно захотел отправиться на прогулку к Рейну. Сопровождала его санитарка Гертруда Линден. Он выбрал скамейку, на которой (как объяснил санитарке) сиживал в детстве с родителями в погожие дни после воскресной мессы. Он смотрел на Рейн с выражением восторга и счастья на лице, будто перед ним была река его детства, а не гигантская черная, отравленная канава нашего двухтысячного года. К отчету прилагается фотография пациента, сделанная санитаркой».

Июнь—июль 1987 года

Клеймо

ПОСЛЕДНИЙ КОЛЫМСКИЙ РАССКАЗ

То, что я видел, — человеку не надо
видеть и даже не надо знать.
Я поразился страшной силе человека —
желанию и умению забывать.
Мне хотелось быть одному. Я не боялся
воспоминаний.

Варлам Шаламов. «Колымские рассказы»

Великий писатель умирал. Умирал уже три дня, с тех пор как его, сопротивляющегося из последних сил, уверенного, что его опять погонят на Колыму, избитого и растерзанного, со связанными за спиной руками, перевезли из дома престарелых и инвалидов в психиатрическую лечебницу под Москвой. Умирал уже три дня, не понимая, что умирает. Жизнь медленно покидала его, только покидала, не возвращаясь ни на мгновение, даже на те краткие мгновения, которые позволяют умирающему осознать умирание. В полосатой пижаме он сидел на койке в узкой палате с зарешеченным окном напротив круглого глазка в обитой железом двери. Днем под перекрестьем двойного света — от лампочки над дверью и от обледенелого окна, а ночью в тесных путах лучей лампочки под потолком. Из коридора иногда доносились шаги, там раздавались крики и проклятия, скрежетали ключи в замках; он не слышал их. Из окна открывался вид на пустой заснеженный двор, отгоро-

женный стеной от улицы; не для него был этот вид. В палату изредка заходила пожилая женщина в белом халате; он с трудом поднимал веки и затуманенным взглядом цеплялся за быстрое движение ее губ, но по его губам не пробегала даже легкая дрожь. Давно уже он был глухим и почти слепым, а в последнее время начал терять дар речи; его бормотание имело какой-то смысл лишь для того единственного друга, который время от времени навещал его в доме престарелых и инвалидов.

Когда-то, видно, высокий и плечистый, теперь он сидел на койке и был похож на окаменелость или на огромный ледяной нарост, напоминающий по форме человека. К полосатой робе он прижимал, цепко обхватив обеими руками, миску с недоеденной кашей, из которой торчала ложка. Массивная глыба его головы, поросшая волосами, как скала мхом, нависала над миской так недвижимо, с таким напряженным упорством, словно он искал какую-то нечаянно потерянную драгоценность. Может быть, он сидел так, затаившись в неподвижности, для отражения нового нападения? Удивляло, что он не ощущал сонливости и старческой слабости и что побоями не удалось добиться от него ни единого стона. Оцепенел навечно? Нашел способ отодвинуть своим оцепенением смерть? Или же он застыл так потому, что умирал, не осознавая собственного умирания?

Сразу после того, как его перевезли в лечебницу, у него наступила потеря памяти. Потеря полная, если не считать одного-единственного образа. Этот образ был когда-то стержнем его рассказа о «прибытии на причал ада». Мрачные силуэты скал, окружающих бухту Нагаево. Где-то далеко позади, за океаном, в другом, реальном мире, угасла навсегда осенняя яркость красок. Здесь, у ворот Колымы, с неба стекала густая мгла. Вокруг ни следа пребывания человека, темно и холодно, заключенные сходили с корабля на землю, на «причал ада», и их глотала беспредельная ночь. И такая же беспредельная ночь, враждебная и жестокая, вновь через много лет заползла в его сердце, заполнила целиком, не оставив места ни для чего другого. Будто в его венах потекла, лениво проталкиваясь и причиняя тупую боль, черная, густая кровь.

Будущий биограф Великого писателя отметит, наверное, что умирал он каждый день, каждый час, каждую минуту на протяжении двадцати колымских лет. Двадцать лет ползал он по краю пропасти, понимая, что значит поскользнуться. Но он знал не только об этом. «Я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни». Именно тогда осаждаемый постоянными вопросами: «Остался человеком или нет?» Так что же было основным в великом инстинкте жизни? Не забывать. Не для того, чтобы однажды передать другим свои воспоминания, нет, ведь есть вещи, о которых человек, не побывавший в аду, не должен знать. Основным в великом инстинкте жизни была необходимость сохранения в душе всех испытанных страданий, сохранения до последнего вздоха, иначе грозит утрата самосознания. Основным в великом инстинкте жизни была сама жизнь, пусть такая же страшная и тяжелая, как крест, несомый на Голгофу.

Через двадцать лет он вернулся в Москву: жена его оставила, дочь от него отреклась. На Колыме ему часто казалось, что он достиг предела одиночества; однако по-настоящему он познал его уже за тюремным порогом. Есть такая черта, за которой абсолютно одинокий человек боится самого себя, пытается убежать от самого себя. В его случае это могло означать только побег в колымское прошлое. Он готовился к этому побегу и, случалось, заходил так далеко, что временами не совсем понимал, где и как провел вторую половину жизни. Тогда он погружался в пустоту, в бездумную легкость дурмана и внутреннего очищения. Но как-то ночью, когда взгляд его блуждал по потолку, он вдруг почувствовал резкое стеснение в груди. Он попытался освободиться от него, но тогда сжало горло, а потом наступило удушье. Кончилось приступом сухого кашля, сопровождаемого медленным сползанием вниз по утыканному словом «нет, нет, нет» склону. Позже Великий писатель, обращаясь к этому эпизоду в одном из своих рассказов, писал, что он сразу осознал, что готов уже все забыть, вычеркнуть из своей жизни двадцать лет, и каких лет. Когда, осознав, одержал победу над самим собой. Он понял, что не позволит своей памяти освободиться от всего, что видел. И он успокоился и заснул.

Он писал свои рассказы, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Писал, чтобы «они остались в природе», существовали, все равно для кого, все равно где, все равно как; ведь земля не заботится о том, кто, где и как берет ее плоды; море не обращает внимания, что́ после прилива выбросило оно из своих глубин на прибрежные

скалы. Каждый рассказ имел форму как бы стихотворения, разрастался в строках, выстраиваясь вокруг ядра эпизода или события. Он медленно, в муке и молчании, искал слова, которые точно совмещались с описываемым материалом. «Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова». Не было в его рассказах ни одного лишнего слова, не было слова, которое он не взвешивал бы долго и подозрительно на заскорузлой ладони лагерника. Он не заботился о судьбе своих рассказов, однако они разными путями прорывались в мир. Он написал их более ста, мог написать еще столько же. Он стал величайшим старателем, топографом, летописцем неизвестного архипелага, ада, устроенного людьми для людей. Если бы у него хватило сил, если бы его оставили в покое... Но он терял зрение, слух, дряхлел; и от него потребовали заявления, что жизнь лишила его рассказы актуальности. Он написал это заявление, что дало повод окружающим заговорить об «измене». И он остался один. Он и хотел быть один и уже не боялся воспоминаний, но согласился с тем, что они должны онеметь, безмолвно сопутствуя ему в его собственной все усиливающейся немоте. В награду за «измену» ему предоставили место в доме для престарелых и инвалидов — теплую, удобную комнату. Там он был один и «по-своему» счастлив, как «по-своему» счастлив был слепой поп в его рассказе «Крест», который старался спать и днем и ночью, потому что только во сне он прозревал. В день семидесятипятилетия им вновь овладело искушение писательством, и своему единственному другу, который навестил его в этот день, он пробормотал несколько коротких стихотворений. Скоро они были опубликованы за границей. И вот он наказан полутюремной камерой в психиатрической больнице.

Умирал он здесь уже три дня, не понимая, что умирает. И постоянно один и тот же образ, точнее — одно и то же видение. Черные ворота, кто-то невидимый бьет в них тараном, к воротам черной чередой приближаются люди, внезапно останавливаются, пытаются отступить, дрожат черные скалы по обеим сторонам ворот, на них, как покрывало, опускается черное небо, и ворота медленно раздвигаются, а за ними клубятся вдали черные тучи, порозовевшие от огня, черное море трется о берег, как огромный зверь со вздыбившейся шерстью, толпа людей вновь трогается с места и бредет вперед, постепенно растекаясь и исчезая в огненно-черной пасти.

Он все сильнее сжимал в ладонях миску и конвульсивно упирался ногами в пол, чтобы удержаться в сидячем положении. Так он просидел до рассвета четвертого дня. Когда в заледенелом окне просветлело, он упал на подушку и подтянул ноги, продолжая прижимать к животу миску. Из зыбкого полусна его вывело прикосновение чего-то теплого к лицу, к голове, к шее. У него уже не оставалось сил, чтобы поднять веки, и он не мог, даже затуманенным взглядом, посмотреть на ту пожилую женщину в белом халате, которая гладила его, обнимала и монотонно повторяла какие-то слова. Не видя и не слыша ее, лишь предчувствуя, что скоро оттает, он вспоминал колымскую Анну Павловну, маленькую, щуплую женщину, которая проходила однажды мимо золотого забоя их бригады и крикнула, указывая рукой на заходящее солнце: «Скоро уже, ребята, скоро!» «Я всю жизнь ее вспоминал», — признавался он в своем рассказе. Вспоминал всю жизнь как прекраснейший образ и символ Надежды. А надежда тогда была только одна: вернуться в барак и свалиться на нары. Нельзя жить без надежды, сто лет тому назад сказал летописец Мертвого дома. А умирать можно? Можно умереть без надежды? Наконец он понял, что умирает, наконец воскресли и ненадолго обступили его воспоминания, наконец восторжествовала несломленная память. Он улыбнулся, в его слабой, едва заметной улыбке тень страдания слилась с тенью победного торжества. И он умер, как засыпают после изнурительно долгой и тяжелой дороги, легко опускаясь в чистую и черную глубину. Будущий биограф Великого писателя, наверное, попытается установить, на чьих руках он умер.

И вот он лежит в гробу, усыпанный цветами, а над ним, с возвышения, священник совершает обряд. Палата, превращенная в часовню, небольшая и темная, тридцать человек с тонкими, ярко горящими в руках свечами тесным кольцом окружают гроб. В тот январский день выпал обильный снег и одновременно потеплело. От сверкающей белизны за окном побледнели в полумраке часовни звездчатые огоньки свечей, побледнели и лица стоящих кольцом людей. Хотелось бы прочесть хоть что-нибудь в их глазах, но все взгляды обращены были к лицу умершего.

Его лицо было и его посмертной маской. Запавшие глазницы, удлинившийся и

заострившийся нос, морщины как шрамы на щеках, горькая, слегка насмешливая гримаса, оставшаяся от предсмертной улыбки, — только с давно уже мертвого лица смерть могла снять такую маску. Священник закрыл молитвенник, перекрестил тело усопшего и сошел вниз. Наступила тишина. Из круга вышел молодой человек, подошел к гробу, поднял свечу, огонь которой блеснул в его глазах, и произнес звонким и сильным голосом: «На каждом, на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубила лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!» Это была цитата из рассказа Великого писателя под названием «Тишина». Тишина вновь наступила и в часовне.

К могиле гроб Великого писателя несли открытым, на его посмертную маску падали последние хлопья снега, сразу таяли и омывали ее скатывающимися каплями. Перед тем как гроб закрыли крышкой, одна из женщин обтерла его лицо большим платком.

Будущий биограф Великого писателя одобрит, вероятно, что молодой человек, сказавший прощальное слово, выбрал именно эту фразу. Эта фраза почти уникальна в творчестве Великого писателя. Он, как известно, остерегался повторений и лишних слов и с недоверием относился к восклицательным знакам. Поэтому троекратно, пусть и в синонимах, повторенное слово КЛЕЙМО, слово-образ, усиленное резкими прилагательными и припечатанное восклицательным знаком, звучит в его «Тишине» как библейское проклятие, как гул, поднимающийся из глубин земных.

Апрель 1982 года

АЛЬДОНА ГУСТАС

Символы любви

Перевод с немецкого и вступление Е. КОЛЕСОВА

Тихая улочка в Шёнеберге возле парка Клейста. Шёнеберг — это по-прежнему Западный Берлин, две культуры и две части города еще не слились воедино, и у каждой свой облик. Облик западной части до сих пор определяют художники и поэты, искусство которых сделало город если не самым крупным, то, во всяком случае, самым своеобразным культурным центром Европы.

Поэт и художник Альдона Густас тоже принадлежит Западному Берлину — или, точнее, город принадлежит ей, отражаясь в ее стихах и картинах. Книги и картины заполняют всю ее небольшую квартиру, создавая удивительную атмосферу красоты и сердечного тепла, которых так часто недостает нам, жителям мегаполисов.

— Раньше я много писала маслом, — говорит Альдона Густас, — а теперь снова вернулась к графике: за последние пять лет у меня вышло шесть книг и еще две в работе.

Картины Альдоны Густас выставлялись во многих городах мира, а стихи переведены на несколько десятков языков, в том числе на литовский: она родилась в Литве в 1932 году. В 1945 году семья переехала в Германию, и с тех пор Альдона живет в Берлине. По-литовски она не говорит.

— Я недавно была в Карчевишкю, — рассказывает поэтесса. — Это моя родная деревня. Там, конечно, многое изменилось, но я узнала родные места. И меня там узнали — и признали.

В Литве давно переводят и издают стихи Альдоны Густас. Ритмы большого города, традиции немецкой классики часто самым неожиданным образом сочетаются в них с мотивами литовской лирики, с мягкостью деревенской природы — и с чистым и глубоким женским началом, не знающим ни границ, ни расстояний.

— Я — просто женщина и всегда была ею, — признается Альдона Густас. — Когда-то я активно участвовала в женском движении, но меня и тогда интересовала не политика, а именно самоощущение женщины как личности, призванной любить и быть любимой. Разве может быть что-либо важнее?

Усмешка сердца[1]

неужели я один и тот же человек
вчера причесывалась глядя на Стену
сегодня Стены нет
а улицы вроде все те же
но дома́ уже вспомнили свою берлинскую усмешку
ведь в идущих сквозь Стену уже не стреляют

и пусть кто-то скажет что пути все ведут в Берлин
пусть скажут что еще есть на свете берлинская лазурь
лазурь небесная не чета итальянской

[1] Печатается по рукописи с любезного разрешения автора.
© Aldona Gustas, 1979

что есть еще Ланки-озёра и Шпрее и Хафель

я поверю ибо Берлин и вправду
слаще самого лучшего турецкого меда.

Из сборника «ВОЛНА, РАКОВИНА И БОГИНЯ ВЕНЕРА ЛИЧНО»

✧✧✧

в этом городе столько домов
одних домов
что его улицам
хочется пожелать
деревьев

из автобуса
не видно ни одного
необработанного камня
ведь этот город так далеко
от земли

✧✧✧

ты
всегда был тем
что сделала я

лишь недавно
я полюбила тебя
настолько
что стала на «ты»
и с твоей тенью тоже

и теперь
могу сказать тебе
даже то
для чего нет слов

✧✧✧

мочки моих ушей
по вкусу похожи на рыбок
это язык любви

из женщины в целом
из волос из губ
из грудей из ног
из лифчика из туфель
я вывожу символ
не только для мужчин

ничего кроме
ночей
когда происходит зачатие
я
миру предложить не могу

✧✧✧

хотя
я встречаюсь с тобой каждый день
ты похожа скорее
на облако не сумевшее улететь
ты похожа
на крохотные капли дождя
а не на коллегу по работе

Из сборника «МЫ ПОДЕЛИЛИ ДАЖЕ НЕБО»

✧✧✧

давай поплывем
через море
от одного горизонта
до другого
но возьмем с собой
Ноев ковчег
нагруженный
сахаром и солью

если силы
оставят нас
мы сядем
в Ноев ковчег
и поплывем дальше

нет правда
давай поплывем
потому что я
устала ходить

✧✧✧

давай
станем с тобой
единым целым
как говорится
об этом
в стихах о любви
оканчивающихся так
как я
представляю себе
завершение
этой ночи

© Aldona Gustas, 1981

Из сборника «КУКОЛЬНЫЙ ПОКОЙ»

✧✧✧

иногда
я и вправду
мечтаю
приехать откуда-нибудь
издалека вся в лентах

чопорная
как икона средней руки
и есть мороженое
за столиком перед кафе

или петь кузнечикам песни
на зеленом лугу
окаймленном ледяными цветами

✧✧✧

мое платье
это капли дождя

мои туфли
лужи
с картин Шагала

чулки
связали мне
дождевые черви

я сглатываю радугу
с мокрых тарелок ладоней

а в другие дни
живу среди старых фотографий

✧✧✧

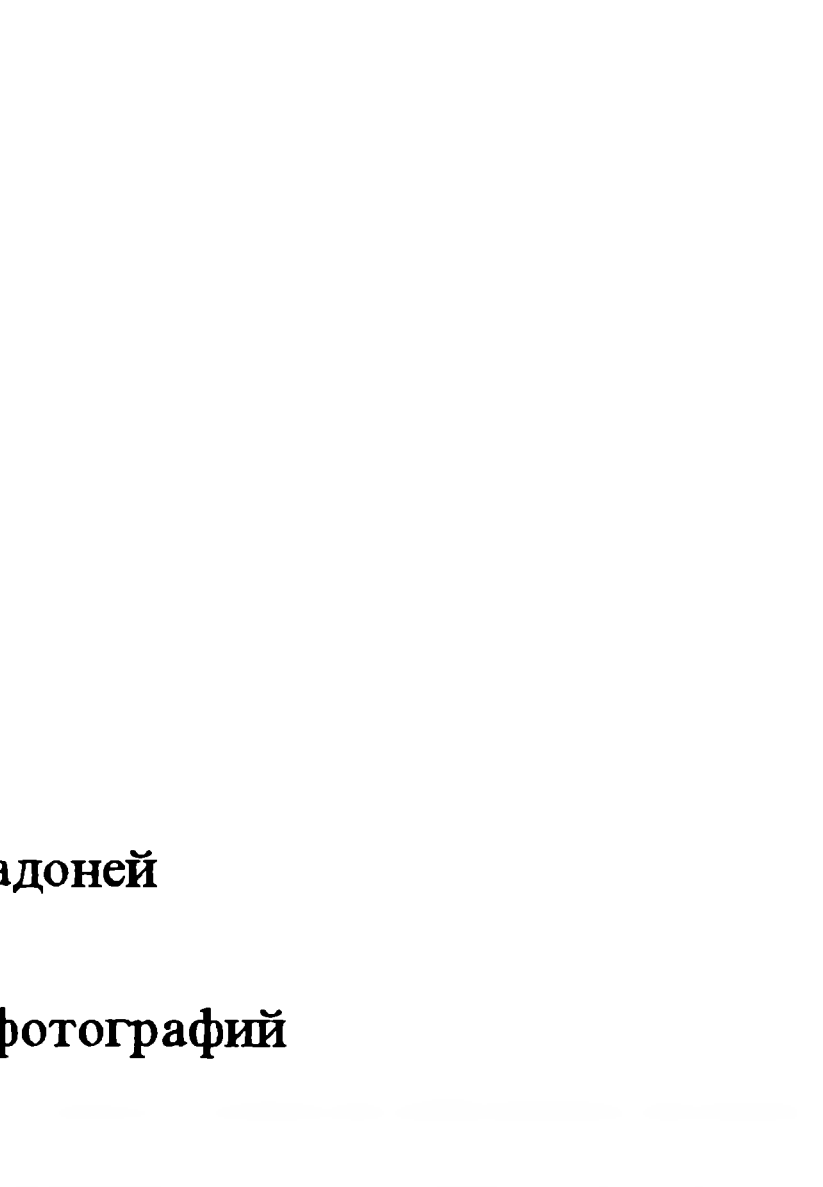
в царстве лимонниц
в шерстке луговых кошек
я вижу наш старый дом

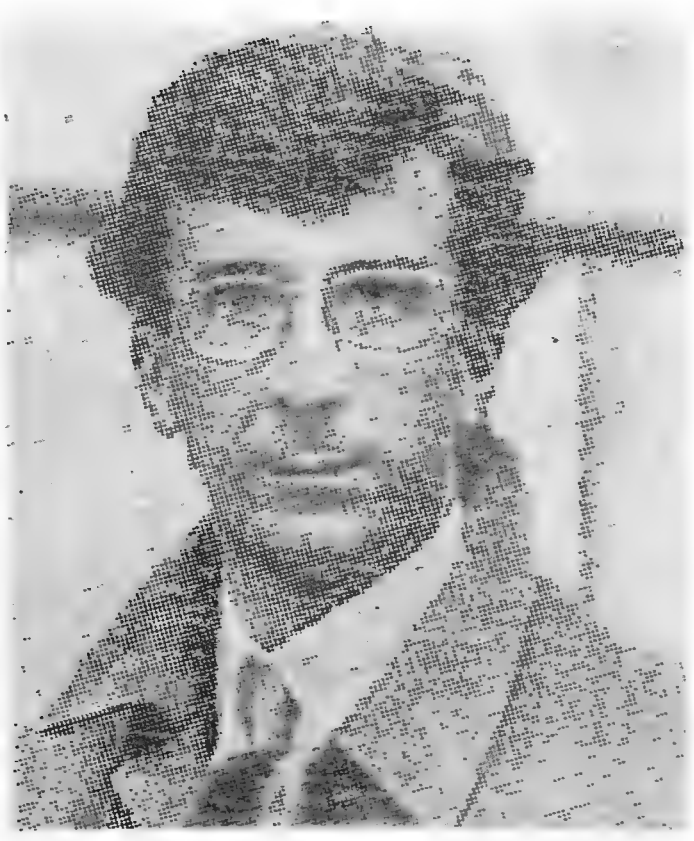
в царстве еловых шишек
под охраной гвардии муравьев
нахожу своих кукол

в царстве школьных дворов
в тени аспидных досок
вижу школьных друзей

словно коса
нисходящая до талии
нисходит время
до моего детства

© Aldona Gustas, 1989





ГАБРИЕЛЕ РОМАНЬОЛИ

Рассказы

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА

Когда Массимо мучают угрызения совести

К мнению тюремного психолога прислушались. На его докладную записку, одобренную директором тюрьмы, легла положительная резолюция министра юстиции. Докладная гласила: «Считаю, что за десять лет пребывания в неволе заключенный Массимо Спинелли полностью осознал свою вину. Впрочем, говорить в его случае об осознании вины не совсем правильно. В шестнадцать лет он действительно убил родителей. Действительно это было хладнокровное убийство — выстрелами из охотничьего ружья в затылок. Действительно он спрятал трупы в гараже и, рассказывая всем, будто мать с отцом уехали отдыхать, все двадцать дней до ареста жил как ни в чем не бывало, ходил в церковь, прогуливал школу. Следует, однако, учитывать мотив преступления, установленный судом. Отец Спинелли, адвокат, надеялся, что сын пойдет по его стопам, последовав примеру старшего брата. То, что отец связывал его будущее с юриспруденцией, мучило Массимо. Он знал: отец переоценивает его. В седьмом классе он дважды оставался на второй год. Родители постоянно ставили ему это в укор. Массимо нравилось мастерить. Из него мог получиться отличный столяр — он доказал это в тюрьме. Отец с матерью ждали от него большего. Он боялся их разочаровать. И убил их. Почему он это сделал? Чтобы не причинять им новых огорчений. Стреляя в них, Спинелли думал покончить не с ними, а с угрызениями совести из-за того, что он не такой, каким они хотели его видеть. Этим поступком он выразил (впав, надо признать, в крайность) свою сыновнюю любовь. Досрочно освободив Спинелли, мы дадим ему возможность показать, что он способен искупить вину, стать полноправным членом общества, уважать истинные ценности».

Массимо Спинелли освободили. Чего это вдруг? — удивился он. Ему показали докладную записку психолога. Он долго изучал ее. Прекрасные слова, прочитанные им о себе, растрогали Массимо. Позже он подумал, что не заслуживает их. Ему стало обидно за психолога, которого он боялся разочаровать. Появились мучительные угрызения совести.

Пабло остается один

Пабло пятнадцать лет. Он понимает, что отец ушел от них: с полочки в ванной исчез лосьон после бритья. Пабло бреется без году неделя и пользуется отцовским лосьоном. Ну вот, теперь щеки весь день будет жечь от раздражения, да еще вдобавок терпи мамашино нытье!

Пабло двадцать. Он понимает, что мать ушла: корзина, в которую он бросает грязные рубашки, переполнена, и в шкафу висят пустые плечики из-под платьев. Черт возьми, придется теперь таскаться в прачечную, а сегодня вечером он явится на свидание с Фрезией в неглаженой рубашке!

© Arnoldo Mondadori Editore, 1993

Пабло тридцать пять. Он понимает, что его жена Фрезия ушла от него: со стен исчезли все до единой фотографии, где они сняты вместе — на море, при венчании, втроем с сыном. Проклятие! На стенах остались следы от снимков, и, чтобы закрыть их, нужно будет найти карточки, на которых он сфотографирован с сыном Хуаном, — впрочем, он скажет Хуану, чтобы поискал.

Пабло сорок лет. Он понимает, что сын ушел из дома: с полочки в ванной исчез лосьон после бритья. Хуан бреется без году неделя и пользуется его лосьоном. Пабло машинально идет к постели. Ложится и засыпает. Во сне он видит, что дверь открывается и в комнату входят отец и Хуан, оба с флаконами лосьона, мать с чистыми рубашками, жена с фотографиями. И он понимает, что жизнь прожита, если не хочется просыпаться.

Позвоните Пьетро

Пьетро звонит Лауре. Лаура не отвечает. Он слышит голос, записанный на пленку: «Говорит номер 59-22-41. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала, вам перезвонят». Пьетро умоляет простить его. Просит отозваться. Клянется в любви. Второй сигнал вынуждает его положить трубку. Лаура не перезванивает. Он еще раз набирает ее номер. Опять тот же голос. Пьетро ждет, затем снова произносит свой горестный монолог. И так каждый час. Десять дней подряд. И десять ночей. Все равно он не спит — не дает уснуть любовь к Лауре. Он ищет ее дома, ищет на работе. Она исчезла. Остался только номер телефона. И записанный на пленку голос. Голос предваряет пустоту, которую нужно заполнить словами. Словами, приготовленными заранее, чтобы лучше использовать промежуток времени между звуковыми сигналами.

Номер телефона и голос. Строго говоря, не ее голос, не Лауры. Чужой женский голос. Странный, бестелесный. Пьетро еще долго слышит его. Он продолжает звонить Лауре неделями. Правда, все с бóльшими перерывами. Потом раз в день. Наконец наступает исцеление, все кончено, он перестает звонить. Проходят дни, недели. Однажды среди ночи раздается звонок. Пьетро бросается к телефону. Странный, бестелесный, умоляющий голос: «Говорит номер 59-22-41. Оставьте еще одно сообщение после звукового сигнала».

Не инспектор, а Лучо

«Завтра утром ты умрешь», — объявил вчера вечером по телефону Де Маркис, продюсер сериала. Однако нельзя сказать, чтобы сегодня утром на душе у Лучо кошки скребли. К этому шло давно, у него было время примириться с мыслью о смерти. И даже найти в ней положительные стороны. Да-да, думает он, так лучше. Люди, останавливающие его на улице, называя инспектором Милези, чувствуют себя жестоко обманутыми, когда он, давая автографы, расписывается своим настоящим именем: Лучо Амато. Кто такой Лучо Амато? Кем он, собственно говоря, был до сериала «Стражи города»? Никем, безвестным киноактером на три реплики, которому уготована участь типажа — появляться на экране в роли рядового мафиозо (черные глаза, смоляные волосы, широченные плечи, наглый вид) или везучего эмигранта. И вдруг удача: телефильм, где он — правая рука героя. Предполагалось, что главным действующим лицом в картине будет комиссар Ди Сальво, но после первых серий зрители произвели в герои его, инспектора Милези. А еще они добились перенесения показа на более удобное время — начало вечера. Первые тридцать серий смотрело огромное, близкое к рекордному, число зрителей, потом оно упало, что неизбежно. Зато его собственный успех меньше не стал. Новых предложений сниматься сколько угодно. Прощай, инспектор Милези, впереди не теле-, а настоящие фильмы. Новые возможности, думает он. Новые женщины. Они липнут к тем, от кого пахнет успехом. А от кого пахнет успехом, если не от него? Вот и жена Де Маркиса не устояла, мысленно улыбается он. После того как инспектор Милези исчезнет, ему все равно, узнает Де Маркис или нет. Инспектор умрет сегодня, весело думает он, выходя на лестничную площадку. Да-да, Де Маркис, сегодня Милези умрет, открыв перед окрыленным Амато путь к новым

успехам. Внешность та же, а имена другие. Все, как говорится, о'кей. Но когда он поворачивается и видит Де Маркиса с направленным на него пистолетом, он все понимает. Лучо Амато отправляется на тот свет раньше инспектора Милези.

Письмо Кристине

Кристина по-прежнему любит Марко. И ждет. Ждет письма. Восемь лет назад, когда она по телефону призналась ему в любви и он деликатно ее отверг, он обещал написать ей. Сказал, что это поможет ему лучше разобраться в своих чувствах, в своем отношении к ней. И она ждала, пока он разберется. Ждала каждый день. Восемь лет. За это время она видела Марко считанные разы: на ужине в пятую годовщину окончания лицея, на свадьбах школьных товарищей. Всякий раз она ему напоминала: «Я все еще жду письма». Он мило улыбался. Кивал головой, как бы подтверждая, что письмо будет. Наверно, он еще недостаточно разобрался в своих чувствах, в своем отношении к ней. Теперь Марко врач. Отпустил бороду. Что и говорить, солидный мужчина. Кристине не удалось кончить университет. Виноваты нервные расстройства. Она три раза сдавала древнюю историю, после чего отказалась от мысли о высшем образовании. Она работает в исследовательском центре. Шесть часов вводит данные в память компьютера и потом — домой, под родительский кров. Та же комнатка, где она жила школьницей. Те же книги. Та же надежда: Марко. Скорее бы он разобрался в своих чувствах, в своем отношении к ней.

Сегодня она рано ушла на обеденный перерыв. В одиннадцать. Страшно разболелась голова. Она заглядывает в почтовый ящик. Письмо. Достаточно взглянуть на конверт, чтобы узнать почерк. Это почерк Марко. Он ей написал. Да что же это с лифтом — еле ползет! Переступив порог, она бежит в свою комнату. Открывает конверт:

Марко Ленци и Джованна Морини
извещают о своем бракосочетании.
Венчание состоится 4 октября в 16 часов
в церкви Сан Секондо.

Вампирам не следовало бы заниматься сексом (во всяком случае, между собой)

Кто знает, с каким внутренним приводным устройством связаны эти телодвижения? Что задает ритм его телу, когда он в ней, когда стесняет ей дыхание? Сегодня ночью она старается не думать об этом, следить за собой, противясь его призыву устремиться к последней черте мучительного сладострастия. При соитии она смотрит на его лицо: это первая ночь, когда у нее есть возможность вглядеться в него. Сторонник полной темноты, он всегда приходит из ночи и в ночи исчезает. Он появляется с пустыми руками, и не похоже, чтобы предшествующие часы он коротал в одиночестве — слишком усталые у него глаза. Он берет ее почти молча, торопливо, будто ограничен во времени: до рассвета, до тридцати лет, до того, как все прочее отступит перед педантичностью беспамятного кумира. Но сегодня ночью, благодаря полнолунию, ей удалось рассмотреть его лицо — комнату, отражаясь в сотне зеркал, заливает лунный свет. Она видит его закрытые глаза, цвет и выражение которых ей неведомы. Видит его жадный рот и спрашивает себя, что может быть общего между этим неуемным зверем и потерявшимся ребенком, жаждущим потеряться снова, только теперь уже в ком-то. У нее одна мысль: не поддаться ему, не допустить, чтобы он дважды, пока сам не сомлеет, довел ее до предела чувственного наслаждения. Она упрямится, сковывает его движения, хватая за руку, перевязанную на запястье красным лоскутом — единственным обрывком прошлого, который он хранит как вызов настоящему. Она пробует думать о нем с ненавистью: «Эгоист! Сумасшедший! Коммунист! Убийца!» Будто все это нельзя простить много меньше, чем за ночь, и много скорее, чем невыполненное обещание. Чувствуя, как по его телу пробегает судорога, как по жилам его растекается буйная сокрушительная энергия, она про себя молит судьбу помочь ей обрести бес-

страшие. Она видит его открывающийся рот, его оскаленные зубы, стиснутые до скрежета, чтобы не закричать, не проговориться. Она точно знает, что сейчас он нанесет удар, и знает, куда он ударит. И пока он не сокрушил ее, пока не загрыз, она, опережая его, вонзает зубы ему в горло и до капли высасывает из него кровь.

Если выбираешь Сабрину

Фьоренцо Банди вот уже десять лет как бросил сочинять и петь свои бунтарские песни. Теперь он учитель. Преподает итальянскую литературу в старших классах. Некоторые из его песен были молодежными гимнами времен студенческих волнений — например, «Животные страсти» и особенно «Больное общество», где главная мысль звучала в припеве: «Больное общество, когда загнешься ты, не жди, что положу на гроб цветы!» Теперь он целый урок разбирает одну из песен Данто-ва «Рая», пытаясь увлечь не слушающих его учеников. Таких, как Сабрина Мариани, первая парта, длинные ноги, туфли без каблука. Переменой жизни он обязан самому себе: тот мир, в котором он жил прежде, перестал быть его миром. Чтобы удержаться в нем, пришлось бы идти на компромиссы, петь, быть может, о новых героях, выросших из праха неудавшейся революции. Выбор сделан, с прошлым покончено навсегда. Гитару в шкаф, книги на стол. Так лучше, спокойнее. Он вновь принадлежит себе.

Сегодня утром он пришел в школу позже обычного. На дверях плакаты. Учителя возбуждены. Он движется по течению взглядов и оказывается на пороге спортивного зала. В зале сотни три школьников, они сидят на полу, у них митинг. Эти чудаки намереваются захватить школу. Они скандируют новые лозунги, поднимают новые проблемы. Он смотрит на них с ностальгической улыбкой. Прислонясь к косяку, слушает их. Видит, как одна длинноногая девочка, туфли без каблука, встает и направляется к двери.

— Я пошла в класс, — объявляет она, проходя мимо него. — Хватит с меня этой ахинеи. Вчерашний день!

Фьоренцо Банди провожает ученицу взглядом, потом идет за ней. Вот он уже на лестнице, несколькими ступеньками ниже ее, и тут его догоняет грянувшее хором в зале: «Больное общество, когда загнешься ты, не жди, что положу на гроб цветы!» Он подтягивает про себя по дороге в класс. Взойдя на кафедру, он открывает «Божественную комедию».

Как Джон Ф. Кеннеди

Странный поезд. Будь это трамвай, так и подмывало бы скаламбурить: странвай. Забирает вправо, а идет в центр. Хитрый маршрут. В вагоне разношерстный люд, каждый счастлив или несчастлив на свой лад. Купив билет, в вагон на одной из станций входит Билл. На нем апельсинового цвета пальто, в карманах три мандарина. Горящие глаза, во рту потухшая сигара. Билл сбит с толку. Столькими женщинами, которых не любил. Их прелестными ножками, их атласными ручками, их тупыми словечками. Предчувствием тупика. Замкнутый круг, где надежда — пустой звук. Судьба слепа. Билл глух к осторожным намекам и тревожным звонкам. Верный знак того, что человеку, который отнимет у него будущее, обеспечена безнаказанность. Ходячее недоразумение едет в вагоне подземки. Чужая душа потемки. Билл не забыл, что сказал ему сын, когда увидел фотографию Джона Кеннеди: «Папа, это ты в старости?» Выходит, не забыл. Тем более что выходит на следующей, а следующая — «Даллас авеню». Она его ждет. Приходи на свиданье, только без опозданья. Нехорошо обманывать ожиданья ближнего. И дальнего тоже обманывать негоже. Это не проформа, это норма. Ирония смерти. Розина легла тогда на сиденье лимузина. Лежащего рядом Билла сперва знобило: дело было зимой. Потом все тело горело. Грехи сладки, а люди падки. Розина ждет, на ней платье в цветочек, она рвет цветы. Билл рвет финишную ленточку. У его убийцы светлая грива, она пьет темное пиво и бьет без промаха.

Глубокая ночь.

Путешественник в толпе

Он рассекает толпу. Высокий, длинноволосый, в темных очках, воротник куртки поднят. Он прокладывает себе дорогу чемоданом. Чемодан служит ему волнорезом. Люди, прохаживающиеся по центральным улицам, останавливаются и с интересом смотрят на него. Провожают Путешественника взглядами. Им некуда спешить, они глазеют на витрины, на памятники, на других прохожих; он идет скорым шагом с чемоданом в руке. Кто знает, откуда он приехал, вокзал далеко. Небольшой черный чемодан с серой окантовкой — его знамя. Нетрудно догадаться, что на чемодане рядом с ручкой — два квадратика и в них буквы. Это инициалы владельца: «А» и «В». При виде его по жилам женщин пробегает трепет, но особенно его появление действует на мужчин. Они ему завидуют. В то время как они, умирая от скуки, слоняются по воскресным улицам, он уезжает или только что приехал — одним словом, путешествует. Интересно знать, какие приключения, воспоминания, планы содержит его чемодан. Перейдя улицу, Путешественник входит в пассаж. Между столиками бара проносится шепот. Но он уже далеко, уже покинул галерею.

Он исчезает в подъезде большого дома. Никто не видит, как он быстро поднимается по лестнице в мансарду. Как вставляет ключ в замочную скважину и входит в свое новое жилище. Здесь он вынимает из чемодана, поставив его на шаткий столик, четыре полотенца, словарь и серебряную рамку с фотографией кошки. Переезд закончен. Остальное он перенес вчера в двух сумках. Он аккуратно распределяет все по своим местам — полотенца, словарь, фотографию кошки. Затем, закрыв чемодан, убирает его в шкаф. «Вот и чемоданчик пригодился», — думает он.

Человек, который поставил на 37

Цифры в рулетке идут от 0 до 36. Поэтому крупье не верит своим ушам, когда кто-то, подойдя сзади, подает ему стопку фишек и просит:

— Поставьте, пожалуйста, на 37.

Игроки замирают, крупье оборачивается, все смотрят на человека, решившего поставить на 37. И спрашивают себя, как это они умудрились не заметить его раньше — в синем смокинге, в серебристом галстуке-бабочке, совершенно лысого, с прозрачными глазами. Такое впечатление, будто он появился в результате действий иллюзиониста. Взялся неведомо откуда, равно как нестандартные фишки, которые он протягивает крупье. Сумасшедший? Профан? Избранник судьбы?

Хозяин за столом — крупье.

— Господину угодно играть на 37, — объявляет он. — Это его право.

Фишки занимают место на краю зеленого стола. Игрок одобрительно кивает.

— Я хотел бы увеличить ставку.

С этими словами он вываливает из карманов бриллианты и звезды, жемчуга и слезы, кукольные глаза и тигровые клыки, проблески благоразумия и искры надежды.

Больше никто не играет. До этих людей наконец дошло, для чего они здесь. Для того, чтобы им напомнили: нет правил без исключения, век живи — век учись.

— Rien ne va plus[1].

Не хочется верить, что шарик с бешеной скоростью мчится навстречу проигрышу. Неожиданно он выскакивает из круга, катится по полу игорного зала. Какая-то блондинка останавливает его на пороге носком элегантной белой туфли.

— Прошу прощения, мадам, какой номер обуви вы носите? — спрашивает крупье.

— Тридцать седьмой.

— Trente-sept, blanche[2], — объявляет крупье.

Игрок получает выигрыш.

---

[1] Ставок больше нет (*франц.*).

[2] Тридцать семь, белое (*франц.*).

Женщина на канате

Поговорив по телефону, она кладет трубку. Ярко-красное платье, туфли в тон. Идеальный наряд для прогулки по крыше. Она не боится высоты. Не боится смотреть вниз. Легкая. Ни одного неверного шага. Чувство опасности? Оно ей незнакомо. Она бросает вызов — чему-то или кому-то. Доказательством — канат, натянутый между двумя зданиями. Высоко-высоко. Она не отступает — как бы не так! Одной ногой она уже на канате. Слегка покачивается. По телу пробегает озноб — это от холодного воздуха, а не от страха. И она идет. Шаг за шагом над бездной. Руки расставлены, взгляд устремлен вперед. В бесконечность.

Мне ничего не стоит дернуть сейчас за канат — и ты сорвешься. Рухнешь вниз. Субботний вечер, а ты застряла между небом и землей, насаженная на железные пики ограды. Так тебе и надо, чертова эквилибристка, пофорсила — и хватит. Впрочем, что-то во мне требует, чтобы я оставил тебя в живых. Ведь ты рисковала. Ведь вместо того, чтобы сидеть перед телевизором, читать книгу или плакать над разбитой любовью, ты там, наверху. Но если я позволю тебе дойти в этих туфлях на умопомрачительных каблуках до конца каната, ты начнешь, чего доброго, прыгать от радости, задирать нос, говорить банальности вроде «Я сделала это, чтобы испытать себя». Кончится тем, что ты снова откроешь для себя удивительные вещи, которые чуть не потеряла, наполнишь их смыслом, который считала потерянным, будешь перелистывать альбом с фотографиями, чистить серебряный поднос. Ты чистишь серебро? Нет, мое восхищение тобой слишком велико, чтобы так или иначе поставить на тебе крест. Как же быть? Я притворяюсь, будто мне изменило воображение, поворачиваюсь и ухожу, навсегда оставляя тебя там, наверху: затаив дыхание, ты растягиваешь секунды, когда жизнь равноценна затеянной тобой игре. Вечная канатная плясунья, тебе дано разгуливать по небу всякий раз, как кто-нибудь из пленников земли будет читать эти строки.

Смерть диктатору!

Диктатору Беспросветных островов ничто не мешает осуществить свою давнюю мечту — стать великим пианистом. Теперь, когда он пришел к власти, для этого достаточно приказать, чтобы придворный хирург пересадил ему руки самого талантливого пианиста его маленькой империи. Диктатор становится прекрасным музыкантом, а пианист впадает в нужду, не может прокормить жену и сына, ютится в лачуге на берегу моря.

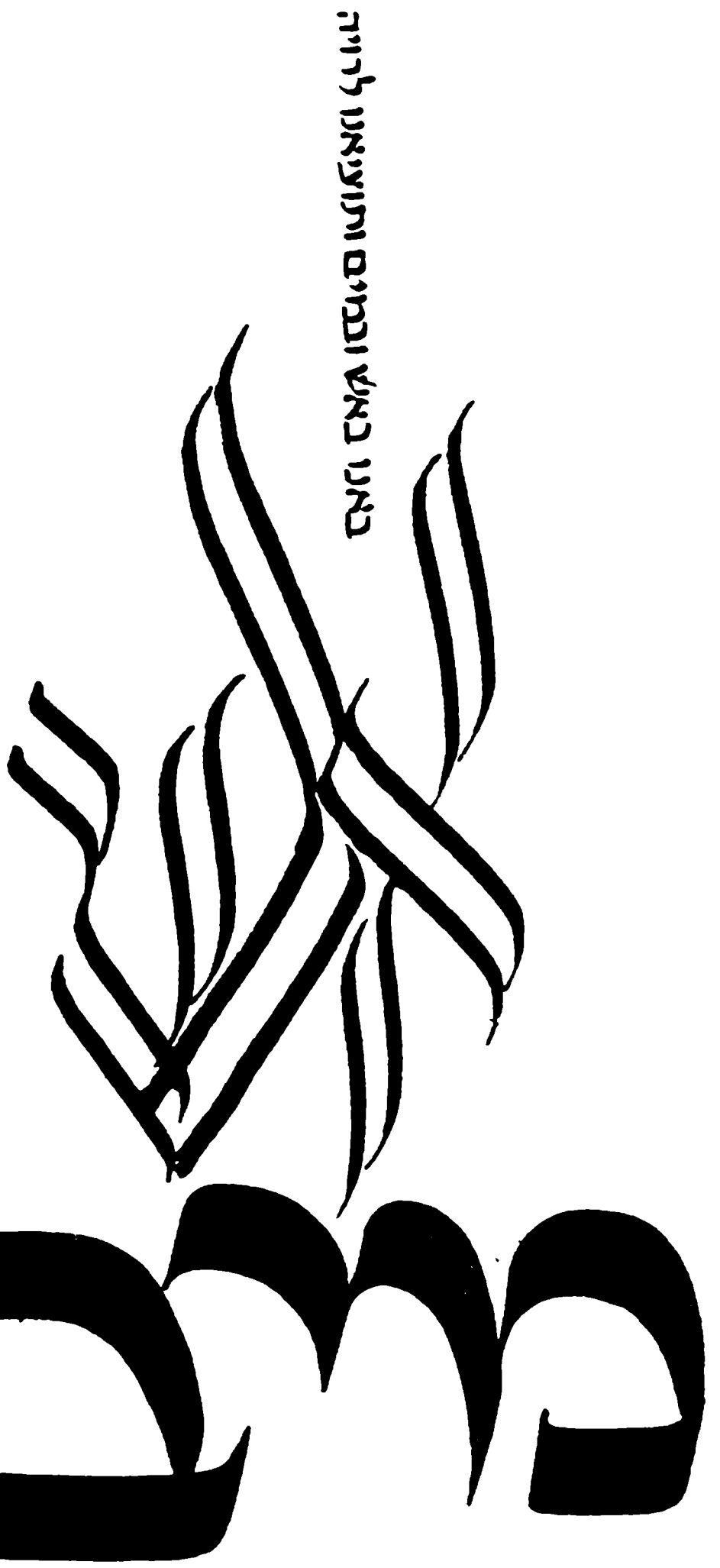
Но у диктатора Беспросветных островов есть еще одна страсть: футбол. Он с детства мечтал о лаврах чемпиона, он внимательно следит за розыгрышем футбольного первенства. Вызвав придворного хирурга, диктатор приказывает, чтобы ему сделали новую операцию — пересадили ноги капитана сборной команды, нападающего, чей искусный удар придает мячу самую невероятную траекторию. Теперь диктатор время от времени выходит на футбольное поле. Защитникам трудно его удержать, и, забив пару голов, он вызывает бурю восторга на трибунах стадиона. Бывший капитан сборной вынужден уйти из спорта и влачить с семьей жалкое существование.

Диктатор дает концерты, играет в футбол, но ни то, ни другое не вносит желанного разнообразия в его монотонную жизнь. Ему скучно. Придворный советник подсказывает: «Пусть тебе пересадят глаза ребенка, чтобы ты опять мог смотреть на мир свежим взглядом и делать каждый день удивительные открытия». На этот раз требование диктатора приводит придворного врача в замешательство, но разве можно ослушаться? Проснувшись после операции, диктатор велит подать зеркало. Едва увидев свое отражение, он хватает нож и вонзает себе в сердце. Все каменеют от ужаса. Придворный врач объясняет: «Я пересадил ему глаза сына пианиста. А сын пианиста поклялся, что, если увидит диктатора, убьет его».

■

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ИЗРАИЛЬ: НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО ЯЗЫКА



© Все права на отдельные публикации принадлежат авторам
© Все права на перевод принадлежат Израильскому институту перевода ивритской литературы

Израильская современная культура со времен своего возникновения и до сегодняшних дней находилась под влиянием русской культуры. Ивритская проза и поэзия многое почерпнули из богатого наследия русской литературы. Эта литература и помогла восстановить современную израильскую культуру.

Произведения большинства русских писателей и поэтов были переведены на иврит, и целые поколения израильтян выросли под влиянием этих произведений.

Несомненно, без влияния русской литературы мы не были бы тем, чем мы являемся сегодня.

Но в вашей стране были очень мало знакомы с культурой Израиля. Поэтому специальный выпуск журнала «Иностранная литература» имеет большое значение, так как он представляет русскому читателю современную израильскую литературу.

Будет прав тот, кто скажет, что между еврейским народом и Россией в последнем столетии существовали политические и идеологические разногласия, но нельзя говорить о разногласиях между культурами. Для наших отношений в области культуры всегда было характерно плодотворное взаимное влияние благодаря культурным богатствам обоих народов.

Сейчас, после перестройки, с открытием новой страницы в истории наших двух народов, открылись ворота для двустороннего сотрудничества и взаимообогащения. Будущее покажет, как будет развиваться этот литературный диалог.

АЛИЗА ШЕНАР, профессор,
Чрезвычайный и Полномочный
посол Государства Израиль
в Российской Федерации

Разноцветные одежды[1]

И ночь сменяет ночь.
Он в разноцветные одежды пойман
И к бедствиям готов.
Так он блуждает, одинокий,
Во тьме меж солнцем и луной,
Алкая необузданных фантазий,
И снов губительных,
И страха пробужденья.
Если бы знали они,
То не вязали бы снопы вражды своей
Сухие, жесткими руками.
Простите меня, прошептал он,
Я не в ответе за слова свои.
Семнадцать лет исполнилось ему,
Когда был ввергнут в ров.
Оставил отца и одиннадцать братьев.

[1] Стихотворение Ализы Шенар. *Перевод Дмитрия Прокофьева*

ШАЛОМ ШПИГЕЛЬ

Иврит возрожденный

Глава из книги

Перевод с английского, вступление и примечания Л.СТЕПАНОВА

Иврит, прежде называвшийся у нас по традиции древнееврейским, — язык с необычайной судьбой. Пережив пору своего недолгого расцвета в глубокой, седой древности, он уже в начале нашей эры вышел из живого употребления и на протяжении долгих веков оставался лишь языком книжной учености и культа. Однако его не постигла участь латинского языка, на котором уже больше ни одна мать не пропоет колыбельной своему ребенку. Произошло то, что многим казалось чудом: в XX веке обновленный древнееврейский снова стал живым языком — языком современной художественной и научной литературы, прессы и радио, разговорной речью населения целой страны.

Как случилось, что язык ветхозаветных пророков возродился к новой жизни спустя почти два тысячелетия? Огромная заслуга в этом принадлежит поколениям еврейских ученых, писателей и просветителей, видевших в возрождении древнего языка своего народа путь к его освобождению.

Жизни и труду тех, кому древнееврейский обязан своим вторым рождением, посвящено немало исследований ученых разных стран. Одно из лучших — книга американского историка литературы Шалома Шпигеля «Иврит возрожденный». Ш.Шпигель был уроженцем Буковины, входившей в состав Австро-Венгрии. Окончив Венский университет, он долгое время работал учителем в палестинских школах, а затем эмигрировал в США, где преподавал средневековую еврейскую литературу. Профессор Шпигель был избран почетным членом Академии языка иврит в Иерусалиме. Первое издание его книги вышло в 1930 году, второе, с некоторыми дополнениями и уточнениями,— в 1962-м.

Ш.Шпигелю удалось создать серию ярких, запоминающихся портретов выдающихся представителей еврейского народа. Здесь и поэты, и ученые, и мудрые хасидские вероучители (цадики) — все те, кто на протяжении более двух столетий волновали своим словом народ и внесли выдающийся вклад в развитие считавшегося мертвым языка и новой литературы на нем.

Книга состоит из глав-очерков, каждый из которых посвящен одному или двум еврейским ученым или писателям. Серию этих очерков открывает глава «Мессия» о Моше Хаиме Луццатто (1707—1747) — философе-каббалисте и поэте из итальянского города Падуи. М.Х.Луццатто был последователем идей итальянского Возрождения, одним из образованнейших людей своего времени. Он писал стихотворные пьесы и философские трактаты на древнееврейском. Подвергшись преследованиям со стороны ортодоксального еврейского духовенства за свои занятия Каббалой, Луццатто «бежал в Амстердам, где, подобно Спинозе, занимался шлифовкой алмазов и создавал прекрасные, как бриллианты, произведения».

Далее рассказывается об идеологе еврейского Просвещения (на иврите — Хаскала) Моисее Мендельсоне (деде знаменитого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди, глава «Горбатый философ»), о вожде мистико-религиозного движения хасидов среди евреев Восточной Европы Баал-Шеме (глава «Чудотворец»), о более близких к нам по времени писателях, филосо-

---

ШАЛОМ ШПИГЕЛЬ (*1899—1980*) — американский ученый, публицист и педагог. Уроженец Буковины, учился в Вене. Был профессором средневековой еврейской литературы в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Автор ряда трудов по древней и средневековой еврейской культуре и религии, книги «Иврит возрожденный» (1930, 2-е изд., 1962) — серии очерков о еврейских писателях и деятелях культуры Нового времени. Публикуемое эссе печатается по второму изданию этой книги («Hebrew Reborn». Cleveland — New York, Meridian Books).

фах и поэтах — таких, как основоположник новой литературы на идише и иврите Менделе Мойхер Сфорим, выдающийся мыслитель и публицист Ахад Хаам, замечательные поэты Хаим-Нахман Бялик и Саул Черниховский. Очень интересна глава «Апостол и отступник», где, в частности, рассказывается о влиянии на еврейскую интеллигенцию Чернышевского, Добролюбова и Писарева, о еврейских нигилистах.

О новом периоде, связанном с появлением первых в современной истории еврейских поселений в Палестине (восьмидесятые годы прошлого столетия), речь идет в очерке «Два фанатика». Герои этого очерка — люди с несгибаемой волей, фанатически преданные своему делу: Элиэзер Бен-Иехуда (1858—1922) и Аарон Давид Гордон (1856—1922)[1].

Особенно впечатляет поистине легендарная фигура журналиста, ученого и педагога Э.Бен-Иехуды, заслужившего прозвище «отца современного иврита». При жизни вокруг него происходили настоящие баталии. Одни считали его «еретиком» и «исчадием ада», другие непомерно превозносили. Так же было и долгое время после его смерти. Только теперь, кажется, его по-настоящему оценили. Особо почитают память Бен-Иехуды в Израиле — стране, которой он, можно сказать, подарил живой разговорный язык (его имя носят одна из главных улиц Иерусалима, крупное сельскохозяйственное поселение, учебные заведения.) О глубоко противоречивой личности Бен-Иехуды, о его жизненном подвиге Ш.Шпигель рассказывает в первой части своего очерка, перевод которой мы предлагаем читателям журнала.

Герой — это тот, кто непоколебимо сосредоточен на одной цели.

Эмерсон

В известной «Книге Хазара», написанной рабби Иехудой Галеви[2] «в защиту оклеветанной веры», приверженец иудаизма с большим воодушевлением говорит об Обетованной Земле. Пребывание на ней придает человеку святость как при жизни, так и в смерти, Дух Божий обитает только там, только там возможно подлинное богопочитание. Царь Хазарии не может, однако, постичь своим ясным, логически последовательным умом иноверца, почему, при всем при этом, его собеседник и евреи вообще не уезжают туда, а довольствуются вместо того поклонами, простирая свое тело по земле. Это представляется ему то ли лицемерием, то ли бессмысленным обычаем. Не найдя подходящего ответа, иудейский рабби, запинаясь, произносит:

«Ты посрамил меня, о царь Хазара! Ибо, если бы мы пришли к Богу наших отцов всем сердцем и душой, мы бы получили от него то, что наши отцы получили в Египте. Но когда мы молимся, говоря «Веди нас обратно в Скинию Твою в Сионе» и так далее, то это просто чириканье скворцов; мы не думаем о том, что говорим, о царь Хазара».

Элиэзеру Бен-Иехуде пришлось услышать подобный упрек от другого конкретно мыслящего «гоя»[3], упрек, который побудил его сделать пер-

[1] Бывший служащий в имении сахарозаводчика и мецената барона Гинцбурга в Подолии А.Д. Гордон в возрасте 48 лет уехал в Палестину, чтобы на личном примере воспитать у еврейских поселенцев любовь к земледельческому труду. Ш.Шпигель называет его «апостолом религии труда».

[2] Иехуда Галеви (правильнее «Ха-Леви», около 1075—1141) — знаменитый еврейский поэт и философ из мусульманской Испании, автор любовных и религиозных стихов, писавший с одинаковым изяществом на средневековом иврите и на арабском. В философском трактате «Книга Хазара» («Сефер ха-Кузари»), литературной канвой для которого послужила история обращения хазарского кагана (царя) в иудаизм, Галеви описывает диспут между представителями разных религий, каждый из которых старается убедить царя-язычника в преимуществах своей веры.

[3] Гой — на иврите иноплеменник, не еврей.

вый шаг к осуществлению своей идеи. Не то чтобы он действительно нуждался в таком поощрении. Он как раз был способен прийти всем сердцем и душой к Богу отцов или, точнее, к земле и языку отцов, слить себя целиком с идеей. Этот хрупкий человек, чей организм был рано подорван ужасной болезнью, но чей характер был словно соткан из железных нитей, может быть назван воплощенной идеей. Ибо воля, которая воодушевляла его, звала вперед и поддерживала, разительно проявляется во всем, что он делал: есть что-то страшное в этой странно односторонней силе.

Люди живут в некоем состоянии неопределенности, рассеянности, непостоянства. Уходящее время уносит с собой наши идеи; время, что приходит ему на смену, приносит нам новые идеи. Мы не можем ни твердо придерживаться первых, ни избегнуть вторых. Мы переходим от одного к другому, гонимые то сюда, то туда, и считаем большой удачей, если оказываемся в состоянии хотя бы некоторое время идти, не сбиваясь с пути, если знаем, что в целом мы не отклонились от намеченного маршрута. Этот человек, однако, бороздил мглистое море жизни подобно кораблю, который может обходиться без парусов и благоприятных ветров; штормы могут его задержать, но не отдалить совсем от места назначения. Ибо он черпал в себе, в своей идее силу, которая влекла его неизменно вперед, не позволяя отклониться ни на один градус от намеченного курса.

Его отца звали Иехуда Перельман. Родился он в местечке Лужки тогдашней Виленской губернии в 1858 году и, казалось, был обязан столь характерным для него упрямством своему литовскому окружению. Он получил обычное еврейское образование; но, помимо прочего, как это было типично для того времени, он познакомился с идеями Хаскалы благодаря своему учителю Талмуда рабби Иосифу Блокеру, возглавлявшему ешиву[1] в Полоцке и читавшему с ним старинные еврейские рукописи, а также (под большим секретом) перевод на иврит «Робинзона Крузо». Впоследствии Бен-Иехуда признался, что обязан своей безграничной любовью к ивриту этому необыкновенному человеку.

Хотя ему предстояла карьера раввина, его увлекали новейшие течения эпохи. От одного хасида-отступника (позднее ставшего его тестем) он узнал, что поспешно усвоенные путем самостоятельного изучения теории Хаскалы не дают должного образования, а, напротив, оказывают разрушительное влияние на человеческий ум и ведут к несчастью, так как человек осознает себя бесполезным в практической жизни. Поэтому Элиэзер решил получить систематическое образование и поступил в государственную гимназию в Двинске, где его вскоре захватили пламенные призывы русских социалистов-народников. В своей автобиографии он признается, что под влиянием позитивистской литературы того времени «я, долго не колеблясь, поклялся, что посвящу всю свою жизнь народу, то есть народу России. Я буду трудиться для народа, переносить ради него лишения и страдания, принесу все свое будущее как жертву на алтарь его свободы, совершенно в духе русских нигилистов тех дней». Тем не менее Бен-Иехуда остался верен еврейскому наследию благодаря неистребимой страсти, непреодолимой любви к ивриту. Его дальнейшая жизнь замечательным образом доказывает, какими могучими могут быть волшебные чары древнего языка.

Он рассказывает в своих мемуарах, а его биографы подтверждают это, что русско-турецкая война 1877—1878 годов произвела в нем духов-

[1] Ешива — еврейское религиозное училище (*иврит*).

ный переворот и помогла преодолеть русский нигилизм. Именно тогда его впервые осенили основные идеи его националистического мировоззрения. Маленькие балканские народы поднялись против турецкого господства, и по всей России прозвучал призыв исполнить священный долг крупнейшего славянского государства и оказать помощь младшим братьям в борьбе за национальную независимость. Бен-Иехуда был захвачен этими лозунгами панславистского движения гораздо сильнее, чем его русские друзья. И вот однажды ночью (в своей автобиографии он любил приурочивать решающие моменты своей жизни к полуночи — легендарному часу чудес в еврейской истории) он внезапно понял причину своего волнения: судьба маленьких народов указывала путь его собственному народу, путь «возрождения Израиля и его языка на родной земле». Как он свидетельствует, это ночное озарение определило ход всей его дальнейшей жизни. Только позже он испытал влияние романа Джордж Элиот «Даниэль Деронда» (опубликован в 1876 году)[1], который укрепил его решимость отправиться в Париж изучать медицину — профессию, казавшуюся ему наиболее подходящей для того, чтобы обосноваться в Палестине. Вполне естественно, что Бен-Иехуда со вниманием отнесся к сионистским фантазиям Деронды, потому что сам, знал он это или нет, носил их в своей душе.

Гретти Рубинштейн. **Портрет Элиезера Бен-Иехуды**. 1990

В Париже симпатичный русский аристократ, корреспондент ведущей российской газеты, посоветовал ему обнародовать свои заветные идеи о возрождении еврейского народа и его национального языка. До его трезвого нееврейского ума не могло дойти, как человек, если в его голове роятся такие идеи, может держать их при себе. После неудачной попытки поместить статью на эту тему в журнале «Хамагтид», редакция которого, хотя и была просионистской, отступила от столь радикальных идей, Бен-Иехуда опубликовал ее в 1878 году в венском ежемесячнике «Хашахар» под заголовком «Жгучий вопрос», предвосхитив в ней всю идеологию «Хиббат-Циона»[2] и позднейших сионистских движений. Он указывал на крах восходящей к Наполеону космополитической конвенции общеевропейского государства, вместо которого всюду поднимались национальные движения. Молодые, небольшие народы добивались политической независимости. Разве один только еврейский народ не способен избавиться

[1] Джордж Элиот (настоящее имя — Мэри Энн Эванс, 1819—1880) — известная английская писательница. Герой ее одноименного романа Даниэль Деронда, узнав уже в зрелом возрасте о своем еврейском происхождении, отправляется в Палестину, чтобы участвовать в возрождении «естественного центра» своего народа.

[2] «Хиббат-Цион» (*буквально* — «Любовь к Сиону», *иврит*.) — ранняя организация сионистского толка, возникшая в России в конце прошлого века.

подобным же образом от своих страданий? Должны ли евреи оставаться пассивными наблюдателями, пока силы, которые до сих пор сохраняли их как народ, — их религия и ненависть к ним других народов,— не смогут больше задерживать их ассимиляцию под напором течений новой эпохи? «Если мы хотим, чтобы имя Израиля не было предано забвению, мы должны создать нечто такое, что могло бы служить центром для всего нашего народа, подобно сердцу в организме, из которого кровь устремится в артерии и наполнит жизнью тело нации. Это «нечто» — поселения в Палестине». Даже в самой формулировке он здесь предвосхищает позднейшее учение Ахад Хаама о духовном центре еврейского народа в Палестине. Будущий воссоздатель разговорного иврита обозначает здесь также лейтмотив основного труда всей его дальнейшей жизни: «Почему некоторые из наших людей заявляют, что мы непригодны для самостоятельной жизни в качестве нации, так как не говорим на общем языке? Разве у нас, евреев, нет языка, на котором мы можем теперь писать обо всем, что хотим сказать, и на котором мы можем даже говорить, если только проявим свою волю?» *Если проявим волю,* — здесь он перекликается с Герцлем[1],— возрождение разговорного иврита не будет только мифом. Под этой статьей он впервые подписался «Бен-Иехуда»[2], и отныне это стало его собственной фамилией; в последующие годы он воспринимал как оскорбление, если его называли по прежней фамилии, которая была у него в диаспоре.

Идея, что иврит мог бы стать повседневным разговорным языком — о чем он писал в своей статье, — стала занимать его все больше и больше. Из бесед с Г.А. Селиковичем, известным еврейским ученым и путешественником, и А. М. Лунцем из Иерусалима, видным специалистом по палестинской географии, он узнал, что евреи Востока до сих пор говорят на иврите с сефардским произношением[3], которое он впоследствии усвоил, беседуя со своими друзьями. Вскоре, однако, ему стало ясно, что в этом языке отсутствуют необходимые повседневные слова. Заметки, которые он делал о таких словах, послужили началом для труда всей его дальнейшей жизни — большого словаря всего языка иврита. Именно тогда было создано первое слово современного иврита: «милон» («словарь»).

Между тем возникли препятствия, которые могли помешать осуществлению его мечты. Из-за туберкулеза, признаки которого рано у него обнаружились, ему пришлось отказаться от изучения медицины. Вместо этого он сделал шаг, который приведет его в Палестину еще скорее: поступил в учительскую семинарию при Всеобщем еврейском альянсе в Париже. К 1882 году он был уже готов отправиться в Палестину. Поехал он туда через Вену, где посетил издателя журнала «Хашахар» писателя Смоленскина. В Вене его встретила будущая жена, которая у них на родине обучала его русскому языку и ждала его все эти годы. Она одобрила его смелую идею поехать жить в Палестину и была готова отправиться туда вместе с ним. Когда они все еще находились на борту корабля, этот мрачноватый фанатик сказал своей молодой жене, что на палестинской земле она не услышит от него никакого другого слова, кроме слова на иврите,

---

[1] Теодор Герцль (точнее, Херцль, 1860—1904) — основоположник политического сионизма, выдвинувший в 90-е годы XIX века идею создания независимого еврейского государства.

[2] Бен-Иехуда, кроме «Сына Иехуды», может означать также на иврите «Сын Иудеи».

[3] Произношение, свойственное сефардам — потомкам евреев, изгнанных из Испании в конце XV века и расселившихся, в основном, в Северной Африке и странах Восточного Средиземноморья. Оно гораздо ближе к исконному древнееврейскому, чем произношение ашкеназов — евреев Центральной и Восточной Европы.

хотя он начал обучать ее этому языку только во время самой поездки. Его непреклонность сотворила чудо, и когда Дебора произвела на свет их первого ребенка, мальчик с первого часа жизни слышал от обоих родителей только один иврит. Он оказался первым еврейским ребенком, спустя тысячелетия полностью воспитанным на языке древних предков, и именно так возник прецедент того, что сегодня стало привычным и само собой разумеющимся на палестинской земле, но что не могло бы реализоваться без почти нечеловеческой жестокости. Бен-Иехуда рассказывает о своей жене в автобиографии:

«...она была и так слабого и хрупкого сложения, но еще более ослабла от тягот бедности и беременности. Тем не менее она без возражений согласилась не нанимать служанку, чтобы ребенок не слышал ничего, кроме священного языка. Мы боялись, как бы стены нашего дома, воздух нашей комнаты не отразили звуков чужого языка, на котором будет говорить служанка, как бы эхо от них не достигло ушей ребенка и не испортило бы его настроенного на иврит слуха, не сделало бы его неспособным правильно усваивать звуки иврита... В своем чрезмерном страхе мы хотели отдалить от его ушей все чужеродные звуки. И эта нежная душа, которой было суждено стать первой матерью национального возрождения, давшего нашему народу поколение, говорящее на иврите, с любовью возложила на свои плечи тяготы воспитания ребенка без малейшей помощи прислуги, хотя была такой болезненной и хрупкой. Она долгое время стойко переносила тяжелое испытание, выполняя всю домашнюю работу и заботясь в одиночку о ребенке до тех пор, пока не миновала опасность и нам не посчастливилось услышать первые звуки древнего языка из уст ребенка, услышать младенца, лепечущего на иврите».

Эта безжалостная тирания одной идеи, вызывающая в памяти ибсеновского Бранда, стоила бедной женщине жизни. В отличие от своего мужа, она не смогла победить туберкулез, которым она от него заразилась, и в 1891 году умерла.

В те дни воспитать ребенка, используя один иврит, было нелегкой задачей. «До трех лет ребенок отказывался произнести хоть слово, и наши соседи приписывали это ивриту». Не только от невежественных соседей, но и от друзей, с энтузиазмом относившихся к идее возрождения иврита, родителям пришлось услышать бесчисленные упреки. Даже Иехиэль Пинес[1], который первым связал себя с Бен-Иехудой обетом говорить только на иврите с теми, кто понимает язык, пытался убедить его не ограничивать своего сына одним ивритом: язык был еще неразвит, отсутствие товарищей по играм затруднит духовное развитие ребенка, превратит его в идиота[2]. На это непоколебимый фанатик отвечал, что иврит стоит того, чтобы пожертвовать для него талантами своего сына!

По мере того как проходило время, он все упорнее заставлял окружающих с той же безжалостностью, что и по отношению к своей семье, говорить с ним только на иврите. Он настаивал на этом неустанно, день ото дня, с дотошностью, которая часто казалась другим мелочной, невежливой, неприличной. Его неизменным принципом, если дело касалось иврита, было «не соблюдать правил благопристойности или галантности по

[1] Иехиэль Михаэль Пинес — публицист и педагог, соратник Бен-Иехуды, автор первого учебника физики на иврите.

[2] Вопреки пессимистическим прогнозам, старший сын Бен-Иехуды Итамар — первый человек, для которого современный иврит был родным языком, — стал впоследствии известным журналистом.

отношению к женщинам. В этом смысле я вел себя очень грубо, и эта грубость вызвала ко мне в Палестине много ненависти и вражды». Он не испытывал страха даже перед ужасным оружием смеха. Если Анри Бергсон прав в том, что определенные комические эффекты зависят от автоматических механизмов, реакция которых заранее предсказуема, то стереотипные, ожидаемые, автоматические ответы Бен-Иехуды на иврите выглядели для наблюдателя смешными. Но он оставался твердым и благодаря своему крайнему фанатизму сотворил чудо: доказал, что иврит может стать языком повседневной жизни, языком дома, жены и детей, и этот пример сделал возможным само существование страны, говорящей на иврите. Это, естественно, не могло быть достигнуто одним человеком, но неуклонное сосредоточение Бен-Иехуды на одной цели объясняет, почему легенда, всегда предпочитающая единственное имя, превратила оживление иврита в героическое свершение одной личности, которая, вероятно, навсегда сохранится в таком качестве в памяти народа.

У нас невольно пробуждается симпатия, когда мы читаем, какой жестокой была борьба, которую вел этот человек: с затяжной, губительной болезнью, сдерживаемой так долго лишь благодаря могучей силе воли; с жестокой многолетней материальной нуждой; с коррумпированным левантинским окружением, погрязшим в склоках и интригах, развращенным Халуккой[1], с которой он тщетно боролся в основанных им газетах («Хацеви», «Хаор», «Хашкафа»). Хотя эта борьба многого ему стоила, она не смогла сломить его отважный дух. Этот маленький, иссушенный чахоткой человек, казалось, черпал силу и отвагу в самой борьбе и противодействии. Вместе со старым римлянином Фурием Антиасом он мог бы сказать о себе: «Increscunt animi, virescit volnere virtus»[2].

Врач Бен-Иехуды сказал его друзьям после смерти его жены, что он едва ли протянет больше шести месяцев, и запретил ему жениться второй раз. Но больной вдовец, на руках у которого остались двое детей, написал младшей сестре своей покойной жены, учившейся тогда в Москве, откровенно объяснив ей, как обстоит дело, и не утаив от нее докторского вердикта. Наполовину ассимилированная российская студентка без колебаний согласилась стать его женой: такой подавляющей была сила идеи, исходящая от этого чахоточного. Хемда Бен-Иехуда скоро научилась говорить и писать на иврите и даже сочинять на этом языке не лишенные литературных достоинств рассказы. Она завоевала самую искреннюю признательность энтузиастов иврита, потому что преданно и самоотверженно заботилась о детях и больном муже и сама обеспечивала нужды семьи, так что Бен-Иехуда мог спокойно посвятить себя великому труду своей жизни — составлению «Словаря древнего и современного иврита».

Только человек, обладающий огромной, непоколебимой силой воли, мог взяться в одиночку за гигантский научный труд, который обычно осуществляется в течение многих лет большой научной организацией. Десятилетиями он работал в полном уединении, роясь в крупных библиотеках Парижа, Берлина, Пармы, Флоренции, Ватикана, Британского музея, Оксфорда, Нью-Йорка и Вашингтона, добавляя слово за словом к своим записям, чтобы обогатить страстно любимый язык. Было бы несправедливо подходить с обычными научными стандартами к труду, который никогда не преследовал своей целью одну лишь науку. Бен-Иехуда

[1] Халукка (*буквально* — «разделение», «распределение», *иврит*) — традиционная раздача милостыни из собранных паломниками пожертвований.
[2] От ран душа мужает, а доблесть закаляется (*лат.*).

составлял свой словарь не для ученой гильдии, которая глотает книжную пыль ex professo[1] и не преминет указать на ошибки и неточности. Он хотел служить росткам жизни воскрешенного языка. Поэтому ему доставляло особое удовольствие отыскивать подходящие термины, чтобы удовлетворить самые обыденные и насущные нужды в живом языке всех видов ремесел и профессий: нужды рабочих, фермеров, шоферов, носильщиков, включая даже непристойности грубых шуток. Если он не находил подходящих слов в древней литературе, то, не колеблясь, изобретал новые. Эти искусственно созданные слова были иногда крайне произвольными, неестественными, выпадающими из традиции; но он считал своим долгом заполнить лакуны, пока более подходящие и естественные слова не родятся из самой жизни. Некоторые из его нововведений были, однако, удачными и, несмотря на яростные возражения, утвердились в языке, иногда почти не воспринимаясь как неологизмы или иностранные заимствования. Он даже заимствовал иностранные корни, из которых образовывал такие «ивритские» по форме слова, что они стихийно приживались. В качестве примера можно привести использование им западноевропейского корня «brush» (французское «brosse», немецкое «Bürste», слово с этим корнем есть также в разговорном арабском), из которого он образовал новоиврит-ское «мибрешет» («щетка»). Менее удачные неологизмы, которые не соответствовали духу иврита, вскоре вымерли. Ибо язык нельзя сфабриковать; подобно живому организму, он развивается естественно, и лучше всего — в потемках бессознательного.

Но Бен-Иехуда обладал нетерпением фанатика. Он хотел любой ценой услышать, как будут говорить на иврите, даже рискуя подвергнуть его порче, варваризации. Простое звучание языка, а не его внутренняя чистота было его отрадой, его фетишем. У этой фанатической поспешности были темные стороны, и с ней по справедливости боролись, — ведь именно великое культурное наследие древнееврейского языка оправдывает его возрождение, жертвы во имя его, а сильная порча вскоре обесценила бы сам этот инструмент. Но было бы несправедливо не видеть в этих отклонениях от прямого пути глубокой и искренней озабоченности будущим языка.

Мы не будем здесь касаться его журналистской и общественной деятельности, — здесь он не был свободен от ошибок, заблуждений и непоследовательности. Его право на величие не в них, а в его уникальной силе воли и страстной любви к ивриту. Но об одном изъяне в его мировоззрении здесь будет упомянуто, а именно об его отношении к еврейской религии.

Он сам рассказывает, как, впервые приехав в Палестину, вменил себе в обязанность выказывать внешнее уважение к религиозным обрядам и обычаям, хотя уже давно освободился от пут религии. Он считал, что таким путем сможет увлечь религиозные слои идеей возрождения иврита... Он делится с нами тем, как годами заставлял себя выполнять религиозные предписания:

«Я честно соблюдал Субботу, я каждый день возлагал на себя филактерии и молился, даже наедине, у себя дома; так же обстояло дело со всеми религиозными обрядами. Я говорил: «Это законы нашей страны. Наш долг — соблюдать их, даже если они нам не нравятся, даже если мы не

[1] По должности (*лат.*).

считаем их правильными законами, пока они не аннулированы или не изменены легальным путем; точно так же, как представители всех других наций соблюдают законы своих стран, даже если они их не одобряют, до тех пор пока они не отменены их правительствами». И не только это. Я прилагал всяческие усилия, чтобы мой внешний облик тоже соответствовал обычаям еврейской общины Палестины. Я отпустил бороду, перестал носить свой европейский костюм, водрузил на голову турецкую феску вместо европейской шляпы и прогуливался по улицам Иерусалима, особенно по Субботам и в праздники, облаченный в молитвенную шаль с ритуальными кистями. Я вел себя так многие годы, пока не убедился, что все это было ни к чему».

Склонный к крайностям, Бен-Иехуда стал нерелигиозным евреем. Он даже не поколебался заявить, что он, его жена и дети не принадлежат ни к какой конфессии, и выдвинул идею о том, что иудаизм должен быть построен на чисто светской основе, включающей «народ, язык и отечество». Это было очень серьезной ошибкой с его стороны. На другом полюсе ей противостояло мракобесие строгих ортодоксов, которые не раз отлучали его от иудейской общины, отказывались хоронить его жену и ребенка и даже бросили его в тюрьму, оклеветав перед турецкими властями. Это была яростная, ожесточенная борьба — такая, которая возможна только между братьями! Он так и не разглядел в вызывающем упорстве религиозных фанатиков те же, в сущности, созидательные силы, которые питали его собственный труд. Да и они едва ли могли предполагать, что этот еретик своим неустанным служением еврейскому слову бессознательно будил таящиеся в этом слове духовные, религиозные силы. Ибо нет на свете такой вещи, как иврит без веры. Тот, кто, подобно магу, вызывает к жизни иврит, в то же самое время невольно открывает шлюзы перед истоками древней религиозной цивилизации. Он не сможет избавиться от вызванных им духов, хотя они, возможно, его и не обрадуют.

Таким образом, вопреки своим воле и намерениям, Бен-Иехуда, который намеревался повелевать судьбами древнееврейского языка, подчинится неистребимым письменам религии на этом языке. Это нисколько не умалит его труд, а еще и увеличит его значение. Невольно Бен-Иехуда стал более чем просто воссоздателем разговорного иврита.

ЙОРАМ КАНЮК

Комендант Кляйн

ГЛАВА ИЗ РОМАНА
«АДАМ — СЫН СОБАКИ»

Адам Штейн прибыл в хайфский порт на исходе пылающего лета 1958 года. В родном Берлине, куда он вернулся после лагеря, Адам жил в достатке и беспечности, словно травка какая или дерево. Кроме ежедневных визитов к доктору Вайсу (он же комендант Кляйн) с наполненным монетами презервативом, делать ему было почти нечего. Но и этого «нечего» было слишком много.

Дом у него был красивый, обсаженный липами и тополями. Горничная являлась ежедневно стряпать и наводить порядок. Большая зала, доставшаяся ему вместе со всей обстановкой и прочей утварью от бывшего хозяина, барона фон Гамдунга, была заполнена книгами, картинами, диковинными люстрами, старинными коврами и восточными вазами. Массивные кресла были обиты бордовой кожей. Белый «мерседес» усовершенствованной модели стоял в гараже. К автомобилю был приставлен молодой вышколенный водитель в серой форме. Адам не нуждался ни в чем. В те времена Берлин переживал чудо экономического возрождения. Его же, Адама, личное чудо было надежно застраховано в нескольких банках. Ничто не тревожило его. Собаки он не держал. Была у него канарейка в позолоченной клетке. Когда он вернулся из лагеря с заверениями коменданта Кляйна относительно компенсации (таково было условие, и, надо отдать немцу должное, тот сдержал свое слово, Адам же напоследок устроил представление со скрипкой и паясничаньем), ему удалось выиграть процесс и получить компенсацию за цирк, принадлежавший ему до войны. Цирк не закрывался всю войну, гастролируя с неизменным успехом в оккупированных странах. И даже название его осталось прежним: «Цирк Адама». Обслужив побеждавших немцев и жителей оккупированных территорий, он с не меньшим успехом веселил потом англичан и американцев. На тор-

---

ЙОРАМ КАНЮК (*род. в 1930 г. в Тель-Авиве*) — писатель, журналист, художник. Начал печататься в 1962 г. Автор восемнадцати книг, в том числе романов «Химо, царь Иерусалимский» (1965), «Адам — сын собаки» (1968), «Пост мортем» (1992) и др. Лауреат многих литературных премий. Книги Й.Канюка переведены на четырнадцать иностранных языков.

Публикуемая в журнале глава «Комендант Кляйн» взята из романа «Адам — сын собаки» (изд. «Амикам», 1968).

гах, так говорилось в судебном постановлении, стоимость цирка оценивалась в полмиллиона американских долларов. Адам получил все до последнего цента. А так как у него хватило ума вложить свой капитал в чудо экономического возрождения, сумма эта вскоре утроилась. Затем Адам, изъяв капитал из оборота, перевел часть его в швейцарский банк, часть же вложил в фонды под высокие проценты. С тех пор биржа и ценные бумаги перестали его интересовать.

В цирк он не вернулся. Отказался выступать по телевидению и радио. Гуго Вольф, его старый приятель, уговаривал его попытать себя в одном из новых театров или открыть ночное кабаре, сыграть в каком-нибудь фильме, выступить в цирке, но он отказывался. Иногда он встречался с профессорами Института исследований сверхъестественных явлений, расположенного в Гамбурге и получавшего субсидии знаменитой научно-исследовательской группы Вермонтского университета. Профессора интересовались его необъяснимыми способностями, которые впервые в жизни Адама использовались не для пустых, незамысловатых развлечений, а для важных научных изысканий — они в будущем позволят объяснить устройство человеческого мозга и скрытые в нем, неизвестные доселе возможности.

Они устроили Адаму испытания на картах, наблюдали за его способностью угадывать вслепую масть и число и, наконец, за его даром видеть сквозь карты. Они убедились в том, что он способен читать сквозь толстую обложку и описывать предметы, которые он ощупывал с закрытыми глазами. Они поняли, что он обладает некоей сверхъестественной, высшей, низшей или же просто непознанной энергией, но познать, объяснить, проникнуть в ее тайну так и не сумели.

Как-то его поместили в затерянный глубоко в лесу дом, с удивительной библиотекой доктора фон Альбендинга, эксцентричного субъекта, никогда не покидавшего своего чертога и никого туда не пускавшего; доктор почил в бозе за несколько дней до описываемого случая. В одной из комнат первого этажа были обнаружены сотни рукописей: саг, романов, духовной поэзии и сказаний о рыцарях немецких авторов XII — XIII веков; рукописи эти никогда не публиковались, с них не было снято ни единой копии. Адам сидел в комнате, на порог которой, за исключением нотариуса, следившего за точным соблюдением завещания, и трех профессоров, которым доктор Иоахим фон Альбендинг отказал свою библиотеку (в пользу тех университетов, где они преподавали), не ступала нога человека (кроме, разумеется, самого доктора). Теперь в этой комнате сидит Адам Штейн и с ним три профессора, нотариус, представляющий контору «Фогель и Штраус», сотрудник Кельнского университета, профессор Клинг и три сотрудника Института исследований сверхъестественных явлений. Адам обводит взглядом переплеты рукописей, к которым еще никто не успел притронуться, и говорит одному из них: «Выберите книгу, какую угодно. Можете не указывать на нее, можете не смотреть в ее сторону. Просто оглядитесь и выберите. Выбрали? Вот и хорошо». Затем он обращается к другому профессору и просит назвать номер страницы, от десятой до стопятидесятой. Просто номер страницы. «Выбрали? Чудесно». Обращается к третьему: «Выберите две строчки, от третьей до двадцатой. Две строчки». И вот Адам морщит лоб, изображает мыслителя, будто пытается связать нечто воедино, призывая на помощь некие запредельные силы. И наконец провозглашает: «Там написано: «И тогда граф Вильсберг вскинул вверх окровавленную руку и сокрушенно воскликнул: — Нечестивец! Неужели я покину свою возлюбленную?»

Далее профессора делают то, что требует от них Адам. Профессор А. достает пыльную, в паутине книгу, которую много лет не держали в руках, раскрывает и перелистывает. Профессор Б. говорит: «Тринадцатая строка». Нечего сказать. Слово в слово, как предсказал шут. Они смеются, не понимают, думают, трюк, не иначе. Однако смех не помогает. Они сдаются.

Нет, Адам не вернулся в цирк. Он сидит в своей хорошо отапливаемой зале, перелистывает книги, оставленные ему бароном фон Гамдунгом (который пребывает в тюрьме и после освобождения непременно пожелает внести посильную лепту в чудо возрождения, однако Адам сполна заплатил за все, так что теперь никто не сможет предъявить к нему претензий), курит ароматные сигары и американские сигареты, ему вполне комфортно, и он не придает значения тому факту, что впервые за последние две тысячи лет Берлин наконец стал юденрайн[1]. Гробы. Шкафы и книги. Пластинки: все вплоть до последних квартетов Бетховена, Скарлатти, Чимарозы, Монтеверди; из Бахов — Иоганн Себастьян, Иоганн Кристиан и Филипп Эммануэль; в довершение Гендель и Моцарт. Всё. Рисунки, миниатюры и репродукции вплоть до Ренессанса: не слишком уж бурный Леонардо, Джотто, Чимабуэ, Фра Анжелико. Книги: Гёте, Гейне, Шиллер, Жан Поль. Всё. Так сидит себе Адам Штейн в склепе, юденрайн, среди сладкозвучных пластинок, старых книг, беспамятной паутины, старинных картин, фолиантов по археологии — среди того, что омертвело и обессмыслилось: философских систем, которым здесь нечего больше делать, словесности, изящество которой исчезло вместе с исчезнувшим миром. Он не работает. Он богач, торгует фокусами, поставляет пищу для исследований, которые, впрочем, также не интересуют мир. Фокусы? А что же чудеса ? Чудесно то, что чудо больше не является чудом, как сказал Шиллер. Адам живет тем, что умерло, прошло, разбито: Юденрайн, Гуморрайн[2], Либенрайн[3]. Люди вокруг него, на улицах, в домах и серых электричках, — все они, вылезшие из окопов восстанавливать руины, видны ему теперь во всей своей глупости, и все же он никогда не перестанет любить их.

Вне всяких сомнений, Адам так и провел бы остаток жизни в своем кресле, не узнай он в один прекрасный день, что Рут, его старшая, отнятая у них с женой в день, когда «Цирк Адама» был объявлен юденрайн, 3 мая 1938 года, и погибшая, по их предположениям, в Дахау, где ее, по слухам, даже кто-то видел,— его Рут живет в Израиле.

Эта новость потрясла Адама. Он видел жену Гретхен и дочь Лотту на их последнем пути. Они улыбались. Они верили, что им ничто не угрожает. Мог ли он их утешить? Разрушить все надежды? Целью его действий было как-то скрыть страх смерти. Сама же смерть была неизбежной. Никто не был властен над ней. А вот от страха ему удалось их избавить. Комендант Кляйн не питал ненависти к евреям, подобно тому как рабочий на бойне не питает ненависти к скоту, а палач — к приговоренным. Он делал все от него зависящее. Отыскали Адама, поставили в проходе. Величайший шут Германии кривлялся перед процессией. Если уж он здесь, значит, все не так страшно. Поэтому он не сказал ни слова ни жене, ни дочери. Они прошли этот путь до конца с ощущением уверенности и покоя. И лишь два года спустя, оказавшись в нейтральной Швейцарии, он затосковал по Гретхен и Лотте. Отгоняя от себя воспоминания, он тем самым пытался избежать позора, которого страшился больше всего на свете, — позора вины. Адам

---

[1] Свободный от евреев (*нем.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)
[2] Свободный от юмора (*нем.*).
[3] Свободный от любви (*нем.*).

не признавал себя виноватым, ему было отвратительно воспевание комплекса вины, свойственное некоторым его знакомым, хотя где-то, на каком-то уровне сознания, ему было ясно, что все они имеют полное право на чувство вины, тогда как он сам такого права не имеет. В мире, где безмолвствовали такие достойные люди — бароны, священнослужители, президенты, главы правительств, а главное, сам Господь, — в этом мире он вернулся на свою родину, где был избавлен от позора вины, на которую не имел права и которую не признавал. Палестина — это просто шутка, думал Адам. Бесприютные беженцы, человеческие ошметки не могут и, может быть, даже не имеют права создавать свою страну. Берлин принял его с распростертыми объятиями. Поклонники его таланта были обрадованы тем, что в самом сердце разрастающегося Берлина в небольшом доме, среди деревьев и зелени, теперь обитает величайший шут Германии, добровольно вернувшийся к ним из возведенных в его честь крематориев. Он был чем-то вроде залогового чека на случай ада, если может существовать нечто более ужасающее, чем то, что они создали собственными руками. Статьи о нем и интервью с ним были опубликованы во многих журналах, его осыпали отличиями, оказывали ему знаки внимания, и он платил за все сполна: улыбался в фотокамеры из глубины выбранного им склепа под звуки мертвой музыки погибшего мира, а время от времени даже бывал на их приемах, где вместе с ними негодовал по поводу расчленения страны.

Но сообщение о том, что Рут жива, пошатнуло и обрушило тот карточный домик, который он себе построил. Все запуталось и перестало быть понятным. Адам ушел в себя, он задавал множество вопросов, на которые в склепе не найти ответа. Даже доктор Вайс, неисправимый гуманист, незадачливый праведник, спасший ему жизнь, исполнивший данные ему обещания и находившийся теперь на его содержании, не знал, что ответить. Адамом овладели доселе неведомые ему переживания. Живые переживания, не могильные. Он затосковал по кому-то, чей образ забыл, да и чье лицо, надо полагать, изменилось до неузнаваемости за прошедшие двадцать лет. Он написал Рут, рассказал о себе, о матери, о сестре. Описал, как они счастливо улыбались, шагая навстречу смерти, и поэтому наверняка счастливы там, где они теперь находятся. Не получив ответа, он написал снова. Он писал, что Господь безмолвствовал, что хороший мир рухнул в 1933 году, что Европа, христианство, иудаизм, мифы, Греция, Святой Августин, цивилизация, европейская культура, Римская империя, гуманизм — все рухнуло в один день. Ответа не последовало и на этот раз. Он писал, что, поселившись в склепе, распрощался с мессианством, еврейским безумством, с той непонятной материей, из которой за две тысячи лет были сшиты одеяния тоски и надежды, из которых, наконец, на востоке образовался народ с синими номерами. Он писал, что распрощался со всем этим и поселился в гробу, а так как ранее был собакой, то, следовательно, не является больше ни евреем, ни немцем. Писал, что он ее отец и что она должна ответить ему. Возможно, тогда он поймет, что не имеет ни прав, ни обязательств, что он просто растение. Камень. Мы народ, а не государство. Иудаизм не знает государства, постоянства, а знает только народ. Господь и его народ согрешили. «Подобны ли вы прочим народам в глазах моих?» Ответов не было. И Адам начал проявлять симптомы отчаяния.

Как-то раз, на приеме, данном мэрией Берлина в честь писателя Германа Шеллинга, недавно удостоенного премии за свою книгу «Икона по имени Анна Франк», Адам поднялся и долго декламировал на странном, никому не понятном языке. Хозяева были поражены. Что же это за язык?

Адам ответил, что он и сам понятия не имеет. Известный ученый Вольфганг Геринг (не родственник), присутствовавший при чтении, объяснил позже, что Адам декламировал Книгу Иова на языке эсперанто. Ученого привел в замешательство этот факт, насколько ему было известно, Книга Иова никогда не переводилась на эсперанто. Адам клялся, что понятия не имеет, как «попали к нему» книга и язык, с которыми он не был знаком; и вдруг подскочил и воскликнул: «Мне идет письмо. Важное письмо, а я теряю время попусту». Он стремглав бросился домой и действительно обнаружил письмо.

Он рвет конверт, разворачивает письмо, читает. Сердце колотится в груди. Из Израиля. Еврейская марка, на иврите, арабском и английском, прибыло наконец в город Юденрайн. Чудеса.

«Уважаемый господин Штейн ! Я плохо знаю немецкий, да и английский мой недостаточно хорош, поэтому прошу извинить меня за обилие грамматических ошибок. Я муж вашей дочери Рут. Сегодня в полшестого утра я отвез ее в больницу «Адасса» в Иерусалиме. Она должна родить сына или дочь. Я бы предпочел дочь, хотя Рут хочет сына. Вернувшись домой, я разбирался в ее бумагах (она просила привезти ей документы, свидетельство о репатриации и другие удостоверения, хотела иметь их при себе, понятия не имею зачем) , так я наткнулся на ваши письма.

Я был удивлен тем, что она не обмолвилась о них ни словом. Я очень взволнован. Оказывается, у моего сына или дочери есть дедушка. С завтрашнего дня я перестану быть лишь сыном своего отца и стану отцом собственного сына, поэтому меня так обрадовал факт, что вы родились, по крайней мере для меня, в тот же день. Мне трудно объяснить. Я знаю, что Рут не ответила на ваши письма. На полях одного из них она написала зеленым фломастером: «Папа, я никогда не буду говорить с тобой. Не смогу. Не потому, что ты пишешь, что был подлецом, а потому, что меня не было там, чтобы указать тебе путь». Простите, что пишу вам все это. Но лучше уж я, чем полное молчание, которое, конечно же, измучило вас.

Такая уж она, Рут. Читая письма, я подумал, что вы должны узнать об этом. Зачем ? Не знаю. Как я понял, вы давно расстались. Вы ничего не знаете о ней. Поэтому описываю вкратце. Если и не поможет, то, по крайней мере, не повредит.

Рут репатриировалась в 1945 году, Ее привезли нелегально. Оказавшись в Израиле, она сразу же повесила на шею маленький золоченый крестик и поклялась, что ее дети родятся христианами. Так безопаснее. Так ей хотелось! Она не стеснялась в выражениях. Своим товарищам, например, говорила, что она покончит с обрезанием и проложит своим детям дорогу в том мире, который не питает симпатии к соблюдающим этот проклятый завет. И все же позвольте мне похвастать перед вами -- вы как-никак мой тесть: благодаря нашему браку Рут переменилась до неузнаваемости. Она сумела подавить в себе страх, который охватил ее, когда она узнала, что беременна, и даже сняла с шеи крест. Она подавила в себе ужасные страхи, которые ее мучили, и радовалась, что беременна, ходя еще два года назад клялась, что ни за что не станет рожать еврейских детей. Она была очень больна. Говорят (сама она ни за что не соглашается касаться этой темы), что на ней проводили опыты, на ее теле. Доктор Кляйн, который осматривал ее в Иерусалиме, говорит, что она прошла все круги ада и что уже была по ту сторону смерти, так что смерть для нее ничего не значила. Так сказал доктор Кляйн, который здесь, в Иерусалиме, считается первоклассным врачом.

Позвольте подвести итог. Сегодня вы станете дедушкой. Из всего вышесказанного вы, разумеется, поняли, что Рут изменилась, так что, по-моему, Иосифа Греца, зятя вашего, мнению, у вас есть дом в Израиле. Захотите приехать — приезжайте. Я уверен, что если бы Рут встретилась с вами, она бы вас простила. А если нет, то по вашему письму я понял, что вы смогли бы жить с нами без всякого прощения.

Искренне ваш Иосиф Грец»

Адам рассердился на последние слова письма. Он никогда не просил простить его. Нет никого, у кого было бы право его прощать. Но не прошло и двух месяцев, как он оказался в хайфском порту.

Здесь Адам сразу же, по причине ему непонятной, почувствовал себя вполне на месте. Он не был чужаком, и Восток не казался ему чересчур гнетущим или слишком экзотичным. Все были к нему доброжелательны. Он понимал почему. И не спешил ехать к Рут. Ему казалось, что стоит немного отложить свидание. Может, он и опасался, и сам не знал толком чего. Он поселился в симпатичном пансионе семьи Дейч на горе Кармель. И там, в старом немецком домике, в тени высоких сосен, в славной, уютной комнатке с древними, напоминающими отчий дом комодами, ощутил, как нечто новое находит на него, заполняет его. Он уже не был прежним Адамом. Не был он и тем Адамом, который вернулся в Берлин с полным монет презервативом. Это было что-то новое. Не старое. Чуждое. И вместе с тем что-то кровное, глубокое. Понимал. Не изумлялся. Был готов. Он разъезжал по стране. Обошел все святые места. Добрался до Цфата и получил несказанное удовольствие от узких улочек города каббалистов. Побывал в Тель-Авиве, Негеве и Эйлате, окунулся в прозрачные воды Красного моря.

Как-то раз на пути из Галилеи в пансион Дейчей, в такси, он ни с того ни с сего вдруг тявкнул в спину водителю. Тот расхохотался и, закашлявшись, проговорил: «Да-а, у ваших свой юмор!», так и не объяснив, кого имел в виду под «вашими». Разъяснение Адам нашел на тель-авивском рынке «Кармель». Он прохаживался между прилавками с овощами, фруктами и одеждой, между пахнущими кровью мясными лавками, среди крикливой толпы (в детстве он любил живые, бурлящие, ароматные городские рынки), когда к нему подошли два пацаненка, желавшие продать ему фотоаппарат. Пытаясь объяснить им, что не нуждается в фотоаппарате, он использовал тот скудный запас иврита, который усвоил за это время (хозяйка пансиона, госпожа Дейч, заявляла, что за два месяца своего пребывания в Израиле Адам выучил куда больше слов, чем выучила она со дня своего приезда в Израиль в 1934 году). А когда он нечаянно наступил на загорелую босую ногу пацана, тот сказал своему дружку: «Трахнуть бы как следует это мыло!»

Адам понял фразу, несмотря на то что выражение «трахнуть» было ему незнакомо. Именно это «мыло» заставило его задуматься, кто такие «ваши». Интересно, каким образом слово «мыло» приобрело столь различные значения в Израиле? — размышлял Адам Штейн, известный своим пристрастием к словесности и каламбурам. Он вспомнил историю появления мыла в Сидоне, думал о распространении мыла по всему миру и о самом этом слове, которое в лагерях (с помощью коменданта) приобрело новый, загадочный смысл. Люди — мыло, они держат в руках других людей, чистеньких, стерильных. Ох уж эта стерильность. Отмытые правила игры. Ужас в том, что сегодня мы говорим «ну и намылил я ему шею» в смысле «ну и получил же он от меня». Всякий бледнолицый, похожий на

беженца, — «мыло». У мыла нет ни хребта, ни мускулов. Мыло из нас сделали. А здесь революция. Пацаны прямо в лицо кричат — «мыло»! С какой легкостью. С какой небрежностью. «Трахнуть мыло». Они намыливают ему шею. Жил-был человек, который стал мылом. Жило-было мыло, которое было когда-то Гретхен, Лоттой, семейством Шпигель. А на полке в магазине, в желтой обертке с оливковыми листочками, залежалось семейство Рабинович. Вот оно: старший сын Роберт — ароматное мыло с добавкой лаванды, рядом Петр, он же Шимон, — с запахом лаврового листа, а вот маленькая Дебора — странный запах, что бы это могло быть, ах да, фрукт или, может, апельсин цветущий? «Трахнуть мыло». Кто же может трахнуть мыло? Взмыленное мыло мылит по рынку, чтобы только не встретиться с Рут. Рут Штейн — в прошлом кандидатка на роль мыла — успешно выдержала испытание и превратилась в золоченый крест. Судьба. Знак обрезания можно соскоблить ножом. А что делать с мылом? Всему есть цена. Получают же проститутки денежки блядские. Послушайте, господин герр комендант штурмфюрер, чудо-экономика, цветущий Амалек, я, мыло лавандовое, хотел бы быть фруктовым; можно? Извольте подписать: сто миллионов марок, и все будет забыто. Будете фруктовым до конца дней своих. А если понадобятся противогазы против арабов или турок, всё здесь. Все оговорено. Контрактик подписан. Съездим, поплачем вместе на мыловарне. Усовершенствованной. Но кто-то должен был развлекать идущих, не так ли? Иначе случился бы, не приведи Господь, беспорядок, пошли бы в ход ножи, засвистели бы пули, а это дело нечистое. Мой комендант Кляйн любил во всем порядок и чистоту. Мыло. Если уж я мыло в стране выживших, значит, я у себя дома, сказал себе Адам, и на глазах у него выступили слезы. Вернуться прославленным? Нет. Вернуться мылом, это можно. Только такая деградация может спасти остатки чести, которой у меня отродясь не было и которую я потерял сам. Так герр Штейн, Адам Франкенштейн-Штейн, превратился из уважаемого и высокоценимого гражданина нового Берлина в сознательное мыло, в мыло в государстве мыл. У мыла нет иного выбора. Оно должно быть отчаявшимся и жестоким, сильным и потерявшим надежду одновременно.

Прибыв в Иерусалим, Адам Франкенштейн-Штейн снял красивую комнатку в пансионе Миттельмана в Рехавии[1]. Хозяева были в восторге от Адама Штейна. Они баловали его. После торжественного ужина господин Миттельман установил на карточном столике в гостиной патефон. Все трое пили прохладный вермут и танцевали по очереди: сперва Адам с госпожой Миттельман, затем господин Миттельман с госпожой Миттельман, а когда, уже за полночь, все отсмеялись, Адам пригласил на танец самого господина Миттельмана, что вызвало новый приступ смеха. Они не хохотали так с юношеских времен, когда, бывало, покатывались со смеху на представлениях «Цирка Адама» в Дрездене. В Палестине с юмором малость того, ну, сами знаете. Люди были всё такие серьезные, жизнь, знаете ли, английский мандат, потом начались все эти беды с террористами, войны, дефицит и все такое. Когда смеяться ? Мыло, однако, хохотало. Хохотали куски мыла. Ну-ка, мыла, встаньте в круг.

Поздней ночью, извинившись перед веселыми хозяевами пансиона, Адам вышел. Напротив большой гостиницы он остановил такси и назвал адрес.

— Вы что, не знаете, там сегодня стрельба, — предупредил водитель.

---

[1] Рехавия — престижный район в центре Иерусалима.

— Палили по Абу-Тору.

— А разве они там живут?

— Да. Вы же сами мне адрес дали. На вашем месте я бы подождал до завтра. Иорданцы не очень-то разбирают, в кого целятся. Чего доброго, пулю схлопочете. Дом их в таком дерьмовом месте. На самой границе. Вот, посмотрите...

Адам молча протянул шоферу ассигнацию, и тот поспешил уехать: мысль о стрельбе его пугала. Адам остался стоять посреди пустой, безмолвной улицы. Ночь. Кряжистые деревья. Каменные дома. Золоченые купола старого города вдалеке. Отчетливо слышен колокольный звон. Еще немного, и наступит утро. Полтретьего.

Раздались выстрелы, эхо разносило их в разные стороны, и Адам не понимал, откуда стреляют. Отовсюду сразу. Были четко слышны взвизги пуль, свист их полета, глухие удары попаданий. Адам искал дом. Он не боялся. Все его страхи мертвы. Он давно размышляет о маленькой девочке, которая пришла попросить его о чем-то. У нее нет лица. У нее нет носа и тела. Странное существо, маленькая девочка. Голодная и плачет. Папа, а у кого больше денег? У Бога или у тебя? Папа, а кого ты больше любишь, маму или Бога? У мира есть конец? А сколько это — много? Мало — больше, чем много? Почему Лотта плачет? Ее убила мама. Я похороню тебя с муравьями во дворе. Роберт убил муравья. И я тоже. И маму. Папа, почему моя пися обрезана? Эти фразы всплыли внезапно. От выстрелов? От хлестких пересвистов в сердце ночи? Жила-была девочка. Жила-была Рут. По тебе стреляют, Рут. Убивают твоих муравьев, Рут. Он защитит ее. Защитит ее тело и душу и, может, наконец увидит ее лицо? Таинственный лик. Святая. Молодая мать. Сына ли, дочери ли. Носит ли она крест на шее? Адам находит дом. Взлетает на третий этаж. Выстрелы стихают. Никакого переполоха. В квартире тишина. Спят? Вопросы донимают их, они ворочаются с боку на бок? Добравшись до третьего этажа, он читает на табличке: «Рут и Иосиф Грец», мелкими буквами. Стоит, уставившись на табличку, хочет позвонить в дверь. Но вместо этого, как и подобает истинному клоуну, владельцу лучшего цирка Германии, он, словно распятие, раскидывает руки в стороны и заслоняет дверь Рут от пуль. Он не позволит ей стать дымом, как стала Лотта. И Гретхен. И он сам. Дымы всех веков и поколений, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме мыла! Одно мыло, герр Адам. Супермен Штейн.

Снизу доносится смех. Парень и девушка переговариваются. Голоса слышны отчетливо. Игривый тон. Вечеринка? А как же малыш? Оставлен на дедушку? У тебя есть просто дедушка и дедушка-мыло. Они никогда не встретятся.

Адам испугался. Парочка поднимается по лестнице. Рут и Иосиф? Вернувшись навеселе с поля боя, смеются? Они заметят меня, Рут будет плакать. Как дороги ее слезы. Как они дороги сегодня. Отчего? Папа, почему там дым и почему он не огонь? Из чего делают людей? Бог спит по ночам? Когда придет Илия-пророк? Он знаком с Иисусом, который родился сегодня миллион лет тому назад? Сегодня зажигают елку? Почему ты не зажигаешь? Да? Да и нет! Не зажигаешь елку. Твоя елка не всамделишная. У Шталей всамделишная. И Адам взбегает по винтовой лестнице на чердак, влетает в скрипучую деревянную дверь, проносится мимо бойлеров и специального места, отведенного для стирки. Все еще стреляют. Внизу раскинулся Иерусалим. Свет полной луны на золотых куполах. Задумчивые деревья вокруг дома. Странные кипарисы, таких он в жизни не видел. Как священники в клоунских колпаках. Но вот задул ветер, и теперь они на-

поминают ему старых евреев с рисунка Лилиана, что висит на стене в комнате господина Меира, друга Миттельманов из Метулы: старые евреи молятся у развалин храма. Подобно им он, Рекс коменданта Кляйна, бессознательно молился у развалин храма. По моей вине он был разрушен и по моему слову восстанет из руин, и восславится имя Его. Парочка заходит в одну из квартир. Хлопает дверь. Адам так и не понял, в какую из квартир они зашли. Он мчится по лестнице, выбегает из дома. Бежать по пустым улицам. Никого не видеть. В шесть часов утра он вошел в пансион. Хозяин как раз включил газовый обогреватель и сказал:

— Гут морген, герр Штейн, хорошо ли вам спалось?

— Да, — отвечал Адам. — «Ich liebe die Ferne, alles ist Licht und Glanz...» (Я люблю простор, залитый светом и сиянием...)

На следующий день он не поехал в дом, где жила семья Грец. Какая-то неизвестная сила удержала его от этого. Он почувствовал, как что-то сдавливает грудь и сжимает горло — это началось у него сразу же по приезде в Израиль и резко усилилось в Иерусалиме, теперь он это ясно осознал. Ему стало трудно глотать. Утром, убегая от Рут и Иосифа по пустым иерусалимским улицам, он внезапно ощутил страх. Давно он не испытывал такого страха. С того дня, когда комендант Кляйн назначил его своей собакой, и до приезда в вечный Иерусалим, Город Праотцов, Сион, Йерушалем, Колыбель. Все эти иерусалимы одновременно. Он не пылал любовью к этому городу; слишком прекрасен этот город, он не был полностью разрушен, в нем не возвели новый, синтетический храм, как, например, в Берлине. Здесь со времен царя Давида строили город на городе, слой на слое. Но и к Давиду он не пылал любовью. Что-то давящее было связано у него с Давидом. Ему больше нравился Саул. Но Саула предали. Он в Йерушалеме не жил.

Адам Штейн направляется в отдел объявлений, агентство «Ха-итон» в Иерусалиме, и помещает в трех газетах следующее объявление:

«Просим Рут Грец (в девичестве Штейн) обратиться в пансион Миттельмана, ул. Усышкин, Иерусалим, по интересующему ее делу в любое время суток. Друг семьи».

Таким образом, меры были приняты, и он стал ждать. Она появилась через два дня. Постучалась в дверь его комнаты. «Заходите!» Вошла. Села против него, с сигаретой в дрожащих губах, попросила огонька. Она была красива, каштановые волосы, серые глаза, тонкий нос, лицо печально. Он знал, что дрожь скоро уймется, она разумная женщина. Он мог бы влюбиться в нее, мог бы убить ее. Он мог бы понять ее. Это отважное существо завладело его пространством. Уверенным движением она передвинула стул на другой конец комнаты и снова села. Она долго смотрела на него, разглядывала его чемоданы, примеривалась к нему. Она распахнула зеленые старые ставни, и комната наполнилась солнцем. Со двора доносилось кошачье мяуканье. Ему захотелось бросить кошкам объедки, но он не двинулся с места.

Они разговаривали. Поначалу были только слова, слова, брошенные наугад. Хорошие сигареты. Местные? Уютный пансион. Да, малыш растет. Смеялся сегодня. Похож на меня. И на своего отца. Что-то среднее. Гибрид. В Галилее очень красиво. Хайфа прекрасна. Чудесный вид. Сигареты в самом деле хорошие. Летом по ночам холодно. Приходится надевать свитер. В Тель-Авиве обливаешься потом. Да. Но в Тель-Авиве море. Спасатели на пляже. Вонючая набережная. Запущенная. Армия? Нет. Иосиф служил. Адам удивлен. Она молчит. Глаза говорят, но о чем они рассказывают? О чем они поют? Я больше не ее отец. Это прошло. Двадцать лет.

Вытаскивают мертвеца из земли и тащат в пансион Миттельманов. Чужая, красивая, холодная, смелая, добросердечная девушка. Конечно же, вот, есть пепельница! Да, да, пожалуйста, сейчас полчетвертого.

Иврит я учил по учебнику: утро благословенное — гут морген, бокер барух[1], вечер благословенный — гутен абенд, эрев барух[2], разрешите представить господина... Сочту за честь быть вам представленным, господин... (Она улыбается, улыбается сквозь ужас и боль, я цепляю ее улыбку на крючок, я мошенник. Явился любить, пытаюсь купить любовь, взамен ничего. Жалкое мошенничество.) Несомненно, приду, спасибо, данке, их ком... Исправны ли ваши часы? Здравствуйте, папа, мама, сестра, брат, зять. Час ранний, поздний, часы встали! Изволили встать? У меня много свободного времени, я занят, настала пора дождей, дождик-дождик, кап-кап-кап, дождь идет, возьмите зонтик, захватите плащ, дождь проливной, дождь перестал, в небе нет туч, Суккот — чудесный праздник, воздух свежеет, буря начинается, ветер дуёт с севера

с юга
востока
запада
с моря
ветер холодный
жаркий ветер
теплый

Официант, протрите, пожалуйста, еще раз эту клеенку. Я хочу черного хлеба

белого
черствого
свежего
лепешек
сухарей
соли
перца

Я... Что, еще сигарету? А ребенок плачет? По ночам. Ты кормишь? Это хорошо. Полезно и хорошо. Я смешной? Был когда-то. Это пепельница? «Блэк энд уайт». Я предпочитаю «Дуэрс». Или «Джи энд би». Вот еще вспомнил: Извольте подать сметану. Хабен зи зауэре зане?[3] Ну как? Когда-то я был моложе. Смешно? Приятный ветерок в Иерусалиме. Это окно? Да нет, почти нет шума. Тихое место, Рехавия...

Божественный гнет унижения, подумало зайфе[4]. А когда Рут поднялась, прошлась по комнате, подошла к окну, вдохнула полной грудью воздух и выговорила: «Па...па...», — он вдруг ощутил непреодолимое желание бежать куда глаза глядят от охватившего его отвращения. Она показалась ему дешевой актрисой. Она упала в его глазах. Папа! Я собака. Осторожнее, мадемуазель. Папа! Кто твой отец ? Бежать, бежать... Третьесортный театрик. Жалкий. В каком-то переулочке. Начинающая актрисуля, бездарная. Он смущен. «Встань, встань!» Она стояла на коленях. Дешевая актриса. Мелодрама. Хотелось кричать: «Фриц, музыка!» «Папа... Я люблю... Я прощаю тебя... Папа...»

Поднимайся же, актриса, дешевка. Я чужой. Ты чужая. Он одергивает

---

1 Доброе утро (*нем., иврит*).
2 Добрый вечер (*нем., иврит*).
3 Есть ли у вас сметана? (*Нем.*).
4 Мыло (*нем.*).

пиджак, хватает сигарету, дрожащей рукой зажигает, плачет — ужасная, невыносимая сцена. Он открывает дверь, чтобы убежать, скрыться. В дверях высокий парень, серьезный. На нем голубой свитер, серая фетровая шляпа, такая серая. Он бледен. Он смотрит на девушку, стоящую на коленях, восклицает угрожающе-холодно: «Нурит, уходи!» Она поднимается. Оба бледны. Она проходит мимо Адама, мельком взглядывает на него, колеблется секунду и быстро уходит. Из коридора слышен ее голос. Смех? Плач? Он не знает.

— Нурит... — говорит молодой человек. — Я Иосиф... Иосиф Грец.

— Очень приятно. Почему, почему она?..

— Понятия не имею, господин Штейн. — Иосиф пристально смотрит на него, пытается улыбнуться, понять, вобрать. Адам видит это, оценивает, взвешивает, проверяет все возможности этой неповторимой ситуации.

— А теперь пойдем к ней, — говорит Иосиф.

— Да, да, пошли.

Долговязый молодой человек с нежным лицом хватает Адама за руку и ведет за собой, осторожно и требовательно. И Адам впервые за многие годы, десятилетия, века чувствует, что больше не принадлежит и уже никогда не будет принадлежать себе.

Адам Штейн и Иосиф Грец шагают по каменистой дороге. От остановки, по камням и колючкам, непонятно куда. Зачем? Может, лучше и не знать. В конце пути — Рут. Еще одна Рут. Двух он уже потерял. Он нисколько не удивился, когда они оказались на кладбище. Опустился вечер. Кладбище во власти тайн и теней. Могильные плиты вырастают из темноты среди деревьев и огромных камней. Адам размышлял о чувстве уверенности, вдруг овладевшем им. Туманные воспоминания из лагеря. Там тоже, среди черных бараков и казарм, он ощущал уверенность, он знал, где находится, где стоит. Он учился в университете с архитекторами, построившими эти бараки. Они — представители той же культуры, создавшей и Адама, и лагерь. В Эрец-Исраэль, среди миттельмановских хамсинов[1], босоногих детей на рынке «Кармель» — детей, обозвавших его зайфе, он знал, что не понимает. Не в состоянии понять. Здесь, на кладбище, ему полегчало. Все снова стало ясно. Он был спокоен, ощущая щебень своими подошвами. Куда? Он не знал, да и не желал знать. Они проходят мимо старого еврея, погруженного в молитву. Чудесный ночной час. Молился бы я, если бы имел право? Он не знал ответа. В то время он еще не был знаком с Гербертом и никогда не спутал бы его с комендантом Кляйном.

Сторож с погасшей поминальной свечой в руке попросил прикурить. Адам протянул ему пачку «Кента». Сторож поблагодарил, помусолил пачку жадными пальцами и скрылся среди могил.

«Все, пришли», — произнес Иосиф доверительно. Голос был ровным, никакого волнения. Нет, нет, не останавливаться, почему мы остановились. Пойдем дальше. Дальше, кругами, не говорить «все, пришли». Идти и идти до потери сознания, никогда не достигая цели.

— Здесь я ее похоронил, — сказал Иосиф. Он сел на каменную плиту и указал на земляной холмик, из которого флагом торчала деревянная табличка:

РУТ ГРЕЦ

Берлин 7.05.1929 — Иерусалим 24.04.1958

[1] Хамсин — горячий ветер, дующий из пустынь примерно 50 дней.

«А теперь рассмеши ее, ты же умеешь смешить, а?» — сказал Иосиф.

Адам смотрит на него. Зрачки бегают. Еще не в силах понять, но до его слуха уже доносится звон далеких колоколов. Теперь ты — смеши ее... Кляйн! Приказ! Герр Штейн, жизнь за смех. Шут войдет в огонь и не сгорит. Выйдет живым. Вернется. Будут тебе Швейцария и счет в банке. И цирк у тебя будет. А теперь смеши! Ну не лай, не лай, Рекс, это же твой брат. С этого дня вы братья. Ты чистокровный, он нечистый. Юденрайн и Хунденрайн[1], кто кого? Хунденрайн проиграл, так как Юденрайн куда популярнее. Рекс. Королевство рексов. Рекс и рыцари Круглого Стола. Культура рексов в XVII веке. Рекс-Лютер стремится к Юденрайну и сжигает людей, Рекс-Фауст и Рекс-Мефисто, Веймарский Рекс исследует природу цветов. А еврейского Рекса, отца изысканной речи, зовущего себя Гейне (хотя мы-то хорошо знаем, что его имя Рекс) впускать только через черный ход. Кстати, рексы пишут неплохую музыку. В их руках — музыка, а в головах — героизм. У самого фюрера есть свой Рекс. У Рекса нет фюрера. А здесь? У кого нет — у того есть, у кого есть — у того нет.

— Рассмеши же ее, она говорила, что ты был клоуном, —настаивает он. Отступать некуда. Адам знает. Здесь свой Юденрайн. Гоев здесь не хоронят. Не здесь. Яволь, майн... Он выполнит приказ. Не имеет права не подчиняться. Он не пытается увильнуть, некуда. Усаживается на плиту. Вдалеке поблескивает Иерусалим. Многоцветный. Разноцветный. На семи ветрах. Осень. Много лет прошло с тех пор, как он работал по специальности, по единственной своей специальности. Поэтому, бескомпромиссный по сути своей, он будет работать как надо. Иосиф, разумеется, на это и рассчитывал. Он ждет. Адам разувается, снимает носок, напяливает его на голову, размазывает по лицу могильную пыль, закатывает штанину, расстегивает пальто и снова застегивает его не на те пуговицы. И вот через несколько минут, благодаря своей шутовской природе и изрядному опыту, Адам Штейн превращается в циркового клоуна. Этак запросто, без реквизита и грима! Все делается быстро и на месте. Его лицо искажено. Глаза озорно скачут, одно ухо шевелится, ноздри подрагивают. Он начинает представление. Иосиф — многочисленная публика, Рут — необозримый зал. Все забыто, кружевной купол света над башнями Иерусалима исчезает навеки. Адам произносит краткие монологи. Он запинается, но все же припоминает. Из глубин памяти приходят слова, и он декламирует все уверенней и уверенней. Вы, фройляйн, протяните вашу ручку. Колечко! Итак, я касаюсь вашего колечка... Подарок мужчины лет сорока, со шрамом на левой щеке, работает официантом в кафе «Вена»... На Вильгельмштрассе. У него серьезные намерения, и, несмотря на два предшествовавших романа, он все еще девственник... А вот перед вами месье Морис Шевалье, исполняющий «Эрику»! А теперь, дамы и господа, Марлен Дитрих сыграет для вас «Голубого Ангела» в усыпальнице еврея Рузвельта, ранее именуемого Рузвельтцвайг. А жена его — госпожа Хая Коэн. А деньги ? Вот они, еврейские денежки, текущие бесконечным потоком. Вот вам фотография Господа, наблюдающего с небес за комендантом Кляйном, занятым подсчетами после акции. Не смешно? Он стерт со страницы и сам ничего не видит. Это вы, мои славные рыцари, ослепили его светом, свели его в могилу.

Здесь Адам делает шаг назад. Возвращается к тем дням, когда можно

[1] Свободный от собак (*нем.*).

было рассказывать иные истории. Угадывать, ощупывать часы, ручки-самописки, шубы, шляпы. Он пел. Он смешил. Иосиф Грец вначале, когда Адам был в лагере, не смеялся, теперь смеется. До Адама его смех доносится тысячекратно усиленным. Гранд-холл Вены ржет и неистово аплодирует. Здание Пражской оперы вот-вот обрушится от хохота и «браво-бис!». Он проносится мимо, пробегает, проезжает. Он шлет телеграмму жене на рождение дочери: «Дульсинея, моя святейшая возлюбленная тчк поцелуй от меня в попку мою старшую тчк вернусь через неделю тчк не забывай кормить ее тчк вернусь зпт поменяемся тчк люблю».

Смех усиливается. Рут не слышит. Он пытался. Знал, видел сквозь вязкий туман, как кольцо его поклонников смыкается вокруг него. Нет, не псы коменданта Кляйна, а кладбищенские нищие, растущие здесь как грибы. Заспанные, зевающие, с мутными глазами, раскрывающие черные ужасные пасти. Разбуженные его криками, они кружат теперь вокруг него. Иосиф Грец, потрясенный зрелищем, не заметил, как они подошли. Их крики и хохот сливаются с голосом Адама в многоголосье пересмешника.

Враждебные взгляды. Они гремят жестянками. Чем пустее сосуд, тем он громче звенит. Прохладно. Дует ветер, деревья в кардинальских шапочках отвешивают шутовские поклоны. Кольцо вокруг них смыкается. А Адам, Адам встает на четвереньки и целует мягкую могильную пыль. Он закажет плиту, выбьет себя из камня, заморозит себя и встанет на земляной холм. Над его губой пот, тело обмякло, лицо посерело. Кособокие и косорукие с уродливыми рожами гремят консервными банками: дзинь-дзинь-дзинь, благодеяния спасут от смерти. Иосиф испуган. Нищие смеются, обнажая золотые зубы. Беззубые рты. Темные пещеры. Уродство и вонь. Нищие видят нелепость этих двоих и заливаются смехом. Смех все громче. Деньги! Масари! Гельт! Мани![1]

— Вставай, Адам, бежим.

— Не могу.

— Почему?

— Не знаю.

— Вставай, пойдем.

— Ноги не идут. Не могу. Иди сам.

— Нет.

— Да.

— Не могу.

Перст Господний. Хочется смеяться. Он вспоминает фильмы, жуткие фильмы. Вспоминается Рекс. Да здравствует Рекс! Рексизм во веки веков ! Из праха вышел, в прах возвратишься. Хороший прах. От них воняет. Обычная вонь. Еще немного, и станут дымом. У дыма нет цвета. Один запах.

Иосиф уходит. Прорывается сквозь кольцо нищих. За ним ползет Адам. Нищие разочарованы. Такое чудно́е представление. Такой смешной человек. Теперь он перестал быть смешным. Он ползет. Гад. «Сатана!» — вскрикивает толстуха и бросается прочь. «Сатана! Гад! Чудовище!» — они сами его боятся. Смешно. Он смотрит на них снизу вверх. Уроды. Раньше они были монстрами, а теперь сами трясутся. Они покидают кладбище: юноша и собака, собака в галстуке, галстук волочится по щебню. Нищие разбегаются в ужасе. Луна скрывается за горизонтом.

Перевод ЛИЗЫ ЧУДНОВСКОЙ и ФЕДОРА МАКАРОВА

[1] Масари, гельт, мани — деньги (*араб., идиш, англ.*).

ЯАКОВ ШАБТАЙ

Протокол воспоминания

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Было уже почти восемь, а в лавке ждали еще два клиента. Акива почувствовал, как все его тело наливается усталостью, хотелось поскорей закончить с ними и закрыть лавку. Он принялся нарезать двести граммов сыра для госпожи Каминки, беседовавшей с Габриэлем Слепом. Темой разговора был юный сын семейства Бройер, погибший в Иорданской долине. Госпожа Каминка еще раз повторила, какой замечательный юноша был Меир Бройер, такой талантливый и к тому же такой красавец, и сказала, что эта война ужасна, но всего ужаснее то, что ей нет конца. Габриэль Слеп выразил согласие с каждым ее словом, однако заметил, что нам при всем при том не остается никакого выбора, кроме как продолжать сражаться, следуя правилу «Идущего убить тебя — убей не медля». Эти слова он произнес, уставившись сквозь толстые линзы своих очков на Акиву, занятого взвешиванием сыра, будто ожидал от него поддержки. Кивнув, Акива произнес: «Да уж, гибель Меира — это действительно жутко. Ничего не скажешь», — и положил на прилавок кусок сыра в вощеной бумаге. Весы показывали двести двадцать граммов, и Акива не знал, включить ли ему лишние двадцать граммов в счет госпожи Каминки. Он решил, что не стоит, поставил рядом с сыром банку майонеза, йогурт, баночку варенья, положил пачку масла, хлеб «Киммель» и отправился за маслинами. Отслаивая полиэтиленовый пакетик, он подумал, правильно ли он поступил, простив ей двадцать граммов. Габриэль Слеп вспомнил про Ханана Авни и Баруха Фридмана, погибших в Войну за независимость, но госпожа Каминка упорно возвращалась к смерти Меира Бройера и к тому горю, которое выпало на долю его родителей. Акива наклонился над бочкой, из глубины которой тянуло острым, пряным запахом маслин, и при ее словах у него перед глазами всплыл некролог, опубликованный соседями, с именем Меира Бройера посредине, и его вдруг охватило чувство облегчения или даже довольства собой оттого, что он присутствовал на похоронах. Однако это чувство было мимолетным, а так ничего у него не было в душе — ни сожаления, ни боли. Что-то другое вертелось у него в голове, а что — он и сам не знал. Он положил маслины на весы, а госпожа Каминка сказала, обращаясь и к нему

ЯАКОВ ШАБТАЙ (*1934 — 1981*) — писатель, автор романов, пьес, рассказов, в том числе романа «Конец всему» (1984), который был опубликован посмертно и удостоен премии имени Агнона.

В номере печатается отрывок из его романа «Протокол воспоминания», изданного в 1972 году (изд. «ха-Киббуц ха-Меухад», «Симан Крия») и отмеченного литературной премией Кеннета А.Смилена в 1986 г.

тоже, что вот уже четвертый день она думает о смерти Бройера, просто никак не может забыть тот ужасный факт, что он был убит по ошибке и его гибель бессмысленна. Наблюдая за стрелкой весов, Акива злился — с чего бы это вдруг он простил госпоже Каминке те двадцать граммов, не взял с нее денег, он ведь не обязан дарить ей куски сыра. В ответ на слова госпожи Каминки Габриэль Слеп заметил, что каждый, кто погиб на войне, погиб за дело и что на войне невозможно избежать ошибок. Кроме того, добавил он, известно, что у нас в авариях гибнет больше людей, чем во всех военных операциях за все годы войн. «Лес рубят — щепки летят»,— заключил он и окинул Акиву и госпожу Каминку самодовольным взглядом. Госпожа Каминка пощупала хлеб, надавила на него пальцем и сказала, что ей это тоже известно, но ничего утешительного она в этом не находит. Затем она обратилась к Акиве и сказала, что не возьмет хлеб, так как он черствый и вообще дрянной. И ее тон, и то, как она брезгливо отодвинула от себя хлеб, вызвали раздражение у Акивы, но он сдержался и ответил лишь, что хлеб такой, какой есть, другого нет. Госпожа Каминка в ответ спросила, почему в лавке на улице Сиркин продают другой хлеб, в сто раз лучше этого. Ему хотелось сказать ей, чтобы она убиралась ко всем чертям, чтобы покупала все, что ей нужно, в той лавке и оставила его в покое, однако он промолчал, сложил ее продукты в сумку, подсчитал общую сумму и записал в тетради. Когда она вышла, Габриэль Слеп сказал: «Страна пожирает своих сыновей», и Акива кивнул, не зная, к чему были произнесены эти слова. Он взял у Габриэля Слепа бумажку и выложил перед ним на прилавок продукты по списку, все, кроме лакерды[1], которой больше не осталось. Акива силился вспомнить, что так гнетет и беспокоит его, но напрасно. Габриэль Слеп продолжал рассуждать о дорожных происшествиях и рассказал ему про аварию, которая случилась с его племянником. Акива глядел на него, кивая время от времени, и ждал, пока тот возьмет сдачу и продукты и уйдет. Когда он ушел, Акива немного постоял так, без дела, затем провел рукой по лицу и взял батон колбасы, чтобы нацепить его на крючок. Нет, то, что он хотел вспомнить, никак не вспоминалось; он снова ощутил удовлетворение оттого, что присутствовал на похоронах Меира Бройера. Вдруг ему показалось, что он обсчитал Габриэля Слепа. Подвесив колбасу на крючок, он проверил счет и в самом деле обнаружил ошибку. Он извлек из кассы лиру семьдесят пять, поспешил за Габриэлем Слепом и, извиняясь, отдал ему деньги. Вернувшись в лавку, он оперся о прилавок, чтобы немного отдышаться. Его взгляд отметил затертый, потрескавшийся от времени кафель на полу, застарелую грязь, трещину, доползшую по стене от угла потолка до маленького оконца, и ему снова подумалось, что надо, пожалуй, взять алебастр или цемент и заделать трещину. Он ненавидел эту лавку, в которой в дневные часы царил полумрак, а вечером желтый свет от двух пыльных лампочек освещал бутылки, коробки, ящики, картонки, полки, мешки, их вечно кривой ряд, он всегда чувствовал себя среди них, как в ловушке. Были моменты, когда он подумывал продать лавку и вложить деньги во что-нибудь другое, что-нибудь красивое, например магазин одежды или обуви. Потом он принимал решение хотя бы переложить плитку на полу, поставить другие полки, обновить прилавок, побелить стены, но руки до этого так и не дошли, и он знал, что не дойдут и лавка останется такой, какой была. Он говорил себе, что перемены связаны с большими расходами и усилиями, в которых нет насущной необходимости, что все равно жизнь уходит и все

[1] Лакерда — ценная морская рыба.

умирают. Он выпрямился, вышел на тротуар и принялся заносить в лавку ящики с зеленью и мешки с картошкой. После перенесенного инфаркта врачи строго-настрого запретили ему сильно напрягаться, но он не принимал их предостережения всерьез. Только порой он застывал, вдруг задыхаясь или почувствовав тяжесть во всем теле. И к нему возвращалось ощущение, которое он испытал сразу после приступа,— смерть близка, она незаметно свивает гнездо в его теле, она может застать его врасплох. В каком-то смысле это ощущение не должно отличаться от ощущения любого другого человека, подумал Акива, прислоняясь к дверному косяку. В конечном счете, сказал он себе, Меир Бройер тоже, наверное, ощущал близость смерти и в то же время за минуту до гибели не знал, что умрет. Он посмотрел на улицу, погруженную во тьму, представил себе Меира Бройера и попытался вообразить, как именно он, Меир Бройер, был убит по ошибке. Он увидел его спускающимся по холму, поросшему колючками и сухой травой, затем увидел его уже мертвым, лежащим на земле, с лицом, покрытым копотью. «Так устроена жизнь», — сказал он себе, чувствуя слабость в спине и ногах. Заставил себя сдвинуться с места и опять принялся расставлять ящики. Ему вспомнились слова Габриэля Слепа «Страна пожирает своих сыновей», слова ворочались в сознании, бессмысленные, как нагромождение несвязных звуков. Он внес последний ящик, опустил жалюзи, достал из выдвижного ящичка кассы деньги, тетрадь, счета и собрался уходить. Погасил свет, положил руку на замок и на минуту задержался в темноте, стараясь вспомнить то, что так докучало и что необходимо было вспомнить, чтобы избавиться от неосознанности над ним, как облако.

Ципора, жена Акивы, уже час как закончила работу в лавке и стояла теперь в кухне, готовя ужин для них и для младшего сына, приехавшего на два дня из киббуца. Старший учился в Технионе[1] в Хайфе и дома почти не бывал. Акива положил деньги, тетрадь и счета на шкаф в коридоре и пошел в ванную. Из зеркала на него глянуло серое, покрытое морщинами, обросшее щетиной лицо. Глаза горели. Он провел рукой по щеке и подбородку и решил отложить бритье на следующее утро. «Ох эта стерва, госпожа Каминка», — сказал он про себя, переодеваясь, потом вошел на кухню и сел за стол. Присутствие сына угнетало. Акива чувствовал, что надо бы с ним поговорить, но он сильно устал и никак не мог найти вопроса или темы, чтобы начать разговор. Наконец спросил сына, останется ли тот еще на денек и не нужны ли ему деньги. Последовал ответ «нет», и он продолжал есть молча, мысленно составляя список продуктов, которые нужно заказать, и одновременно пытаясь припомнить то явно важное и непосредственно его касающееся, что мучило его. Глянув на Ципору, он спросил, не надо ли заказать крупы. Она ответила отрицательно, но он решил удостовериться в этом сразу после ужина и мысленно увидел лавку и то место, где находится мешок с крупой. Ципора налила им чаю и спросила сына, был ли он уже у родителей Меира. Сын сказал, что, возможно, пойдет к ним на следующее утро, перед тем как вернуться в киббуц. «Да, да, сходи»,— попросила Ципора, опуская ломтик лимона в чай Акивы. Эти слова были ему неприятны — казалось, они относились к нему, ведь он уже третий день как собирался зайти наверх к Бройерам, но все откладывал из-за ссоры, вспыхнувшей между ним и отцом Меира Бройера, Эфраимом Бройером, по поводу уборки подъезда и лестничной клетки. Это пустяковое дело вызвало в нем такую бешеную злость, что он был готов избить Эфраима Бройера, однако сдер-

[1] Технион — политехнический институт.

жался и ни словом не ответил на все обвинения. Акива отхлебнул чаю и успокоил свою совесть, напомнив себе, что был на похоронах и даже пожертвовал на печатание некролога Меира Бройера, который неделю или десять дней назад, до несчастья, зашел к нему в лавку за сигаретами. Он был в увольнительной и пришел с девушкой, которая осталась стоять в дверях и, смущенная, ждала его. Он попросил сигареты «Тайм» и, взяв их, повернулся и сказал: «Идем, Рухама»,— и они ушли. У Акивы не было к нему никаких чувств — ни приязни, ни жалости, ни тоски по нему; но и к младшему сыну, который встал со своего места, сказал «до свиданья» и ушел, чувств никаких тоже не было, старший же, студент Техниона, своим откровенным недружелюбием повергал его в полную растерянность, при нем он чувствовал себя жалким и нелепым. Акива не мог понять, почему сын ведет себя с ним как с чужим, больше того, относится к нему пренебрежительно. Ведь он возлагал на него столько надежд, гораздо больше, чем на младшего, и никогда ни в чем ему не отказывал, будь то еда, одежда или деньги, а когда сын был маленьким, он гулял с ним и иногда, по субботам, ходил с ним на море, хотя и ненавидел море.

Он допил чай, посмотрел на пустой стул, на котором только что сидел младший сын, и произнес про себя: «Страна пожирает своих сыновей», не вникая в смысл ни самой фразы, ни отдельных слов, — его мысли вертелись вокруг чего-то другого.

Он отодвинул от себя стакан, поковырял в зубах, затем встал из-за стола и вернулся в лавку проверить запас крупы. Заодно выяснилось, что скоро кончится мука, и он рассердился на Ципору — она должна была ему об этом сказать. Он остановился и окинул взглядом лавку — не пропустил ли он еще чего, что надо заказать, и опять увидел полки, с которых слезла краска, старенькие жалюзи, плитку на полу, скопление бутылок и пустых мешков, заляпанные грязью стены, паутину, пыль на окнах, трещину до потолка, ржавый крюк, на котором висела гроздь бананов. «Разваливается»,— сказал он себе не без злорадства и вернулся в дом, чтобы окончательно разобраться с кассой и составить список заказов на завтра. Он придвинул к себе тетрадь и счета, взял в руку банкноты и в этот самый момент наконец вспомнил, что через пять дней у Ципоры день рождения. Это было то самое, что его так мучило и чего он никак не мог припомнить, и теперь, наконец вспомнив, он испытал облегчение и даже радость. Он взглянул на Ципору, шедшую из кухни в комнату, и принялся считать деньги. Сосчитав, записал сумму и пересчитал вновь, раскрыл тетрадь и стал заносить туда цифры из чеков, раздумывая, что бы ей такое купить. В голову пришла мысль насчет платья, или костюма, или шубы. Когда-то, когда они только встретились, она ходила в черной шубе, которая ей удивительно шла, но он не знал, пойдет ли ей такая шуба теперь. Если бы он был уверен, что она станет носить шубу, он плюнул бы на цену и купил. Перестав писать, он погрузился в размышления, чувствуя, как постепенно его охватывает раздражение и подавленность. Чем больше он думал, тем очевиднее становилось, что он не знает, что ей купить; за исключением первых двух-трех лет супружества, он никогда никаких подарков ей не делал, не интересовался ни ее вкусом, ни тем, каких вещей ей не хватает и какие бы ей хотелось иметь. Он с радостью забыл бы про день рождения, не стал бы на этом так уж сосредоточиваться, но все-таки это была круглая дата, пятидесятилетие, и он был обязан как-то ее отметить. Идея с шубой отпала, и он подумал об элегантном портмоне или каких-нибудь бусах, но не таких, какие были тогда на Рухаме, девушке Меира Бройера. Да, было в ней что-то этакое, в Рухаме, но

бусы на ней были, как у молодых, а он хотел чего-нибудь подороже, может, жемчужное ожерелье. Мысль купить жемчужное ожерелье показалась подходящей, он прикинул, во сколько такая вещь может ему обойтись. Заодно он вспомнил про платок, который когда-то купил Саре Краузе. К этому воспоминанию всегда подмешивалось некоторое удивление — прошло уже так много времени, сама Сара Краузе была давно забыта и вычеркнута из его жизни. Он улыбнулся; теперь он с трудом мог уловить связь между ним и женщиной по имени Сара Краузе или между ним и тем мужчиной, который тогда купил ей платок. Он помнил, что это был зеленый шелковый платок, и помнил, что был праздник Суккот, приходившийся как раз на день ее рождения, и он купил ей этот платок, но так никогда и не отдал его, опасаясь объяснений в любви и к чему-либо обязывающих последствий. Кроме того, он ждал, пока Сара Краузе намекнет ему первая о чем-то в этом роде. Стоило ему тогда только подарить ей платок и продолжить с ней встречи, все могло быть иначе. Это предположение огорчило его, и он поспешил его опровергнуть. Он усмехнулся про себя и подумал, что на самом деле никогда не собирался на ней жениться, а всего лишь хотел с ней переспать. И он в самом деле однажды переспал с ней, еще в Иерусалиме. Ему хотелось думать об этом, но тут из соседней комнаты его позвала Ципора помочь ей подвинуть стол. Он сказал «иду», встал и направился в комнату. Ципора уже была в своей мятой ночной рубашке, и он старался отвести взгляд, чтобы не видеть ее рук, шеи, ее толстых ног. Вместе они отодвинули стол, затем она напомнила ему, что надо заказать халву и маринованную селедку, и легла в постель. Он кивнул, вышел, сел за стол и взял ручку, чтобы продолжить работу со счетами, но мысль его опять вернулась к Саре Краузе. Ее образ был расплывчат, и, как он ни старался, четко помнил лишь, что она была очень красива, что у нее были большие зеленые глаза и черные волосы. Он отметил это и исполнился внутренней гордости оттого, что спал с этой красивой девушкой. Он подсчитал, сколько лет прошло с тех пор,— оказывается, прошло уже тридцать лет, это случилось на той неделе, когда Гитлер напал на Польшу. Он посмотрел на столбец цифр на бумаге и спросил себя, почему же он не переспал с ней еще раз, даже если не собирался на ней жениться. Вопрос был бессмысленный и только огорчил его, он принес ощущение бессилия, а главное, мучительное чувство упущенного, безвозвратности. Ему хотелось отвлечься от всей этой истории, но вместо этого он прикрыл глаза и попытался воспроизвести все в деталях — как они встретились на улице, и как она пригласила его подняться к ней в комнату, и как они пили чай из банок из-под варенья, и как она села с ним рядом, как взяла его руку и принялась играть его пальцами. Солнечный свет проникал в комнату сквозь жалюзи, рисуя полосы света и тени на ее лице, груди, руках. Она провела его рукой по своим бедрам, раскинулась на постели и потянула его на себя, он наклонился и с закрытыми глазами прижался к ней. Эти далекие, туманные картины принесли ему довольно жалкое удовольствие. Он не отпускал от себя воспоминание, но чем больше он старался его удержать и приблизить, тем слабее и ничтожнее становилась и без того скудная радость, которую оно ему доставляло, и в конце концов в нем остались лишь досада и боль разочарования. Все это было мертво и только раздражало. Он провел рукой по лицу и, нашептывая, принялся складывать цифры. Он вспомнил про госпожу Фройнд — та заходила под вечер и купила в кредит, и, похоже, Ципора забыла записать счет в тетрадь. Он покончил с цифирью и вошел в комнату, чтобы спросить об этом, но Ципора уже спала при свете настольной лампы — желтый свет был разлит по ее одутловатому

лицу. Он постоял рядом, глядя на нее, и подумал, что если бы он вернулся тогда к Саре Краузе, они непременно бы поженились, но он не вернулся. Он переехал в Тель-Авив и все откладывал встречу с ней, пока в один прекрасный день спустя четыре года не узнал, что Сара Краузе скончалась три месяца тому назад от лейкемии. После ее смерти в нем еще сильнее разгорелось желание быть с нею, так что он даже простил ей то, что она со своей стороны не сделала за эти четыре года ни одной попытки с ним встретиться. Но вскоре и это желание угасло и забылось. Он выключил лампу, пошел на кухню и нацедил себе полстакана грейпфрутового сока. Он пил сок и думал: в конечном счете, ему повезло, что он не женился на Саре Краузе и что ведь и Ципора тоже была когда-то хороша собой, а главное — полна жизни. Будь сейчас рядом старший сын, он бы, пожалуй, посоветовался с ним насчет подарка, но тот бывал дома очень редко. Он сполоснул стакан, поставил его на место, затем сел за стол, взял лист бумаги и принялся писать: «мешок муки», «халва», «маринованная селедка», «лакерда», и тут ему пришло на ум, что и с младшим сыном можно было бы посоветоваться, но они, наверное, увидятся лишь после дня рождения, если только сын не задержится, чтобы посетить родителей Меира Бройера. Сам сын на эту тему не заговорит, он и не знает, когда этот день рождения. Слово «лакерда» поплыло перед его глазами, он долго смотрел на него, и ему вдруг не понравилось, как оно написано. Он перечеркнул его и написал заново и в это время подумал, что, пусть даже он поссорился с Эфраимом Бройером и был им несправедливо обижен, это все равно не снимает с него обязанности зайти к ним, утешить в горе. Он решил, что сделает это завтра к вечеру, и уже представил себе картину, как он поднимается по ступенькам, звонит в дверь, как входит в большую комнату и сидит с Эфраимом Бройером и Грети Бройер и Наоми, сестрой Меира Бройера, приехавшей только по этому случаю из Лондона. Быть может, там будет и Рухама, девушка Меира Бройера. Акива вспомнил, как его тело лежало, накрытое национальным флагом, у могильной ямы и как он, с любопытством поглядев на это тело, перевел взгляд на собравшуюся вокруг многочисленную толпу и вдруг заметил Рухаму, стоявшую по другую сторону могилы, всю сжавшуюся, только карие глаза широко раскрыты, и что-то привлекательное было в ее фигуре и трогательное, так что он потупил взгляд и уставился на ее загорелые ноги, уходившие под юбку, которая облегала бедра и слегка колыхалась внизу от порывов ветра. Послышался звук падающих комьев земли, он почувствовал спазм в груди и дрожь в ногах и одновременно услышал пение армейского кантора: «Господь, исполненный милосердия, Царствующий в поднебесье,/ Упокой его душу/ Под крылами Шехины[1]», и затем раздались три залпа, он закрыл глаза и увидел безоблачное летнее небо, яркое солнце, а когда очнулся, все уже двигались к воротам. Он оглядывался кругом, ища Рухаму; протиснулся в гущу людей, чтобы найти ее и пойти с нею рядом, но она исчезла из виду, и все его усилия оказались тщетны. У кладбищенских ворот он вновь обернулся и увидел, что она идет где-то позади. Он хотел было задержаться и подождать или даже вернуться, но вместо этого лишь чуть сбавил шаг и сел в автобус, разочарованный и отчаявшийся, однако и эти ощущения рассеялись, когда все приехали в город и разошлись.

Перевод ФЕДОРА МАКАРОВА

[1] Шехина — Божественное Присутствие в земном мире.

ИЕХОШУА КЕНАЗ

Меж ночью и рассветом

ПОВЕСТЬ

Посвящается Нили Мирски

Мы стояли у открытых ворот и не решались войти. Широкий двор выглядел запущенным, так же как и большая двухэтажная усадьба на пустыре, на месте некогда цветущего сада, а ныне дикого, заброшенного. Красная черепичная крыша своей вычурностью все еще напоминала о прежнем великолепии, равно как и аллея высоких пальм, ведущая от ворот к крутому крыльцу.

Когда-то здесь обитали «миллионеры». Они прибыли из Европы и стали строить усадьбу на окраине поселка, посреди сада, за которым собирались любовно ухаживать. Не успели они закончить строительство, как разразилась вторая мировая война и сломала все планы. Они собрали вещи и уехали в Америку. В усадьбе остались жить их бедные родственники — семья Песаха. Ей было выделено жилье в одном крыле постройки, с условием охранять дом и присматривать за садом. Но эта задача оказалась для них непосильной, и они укрылись в своем уголке, словно боясь, что дом вот-вот обрушится и погребет их под собой. Отец Песаха нанялся в извозчики; усадьба, двор и сад с годами пришли в запустение.

Мы не раз проходили мимо этих ворот. Мы привыкли окидывать равнодушным взглядом дом, двор, высохший бассейн и пальмовую аллею — памятник миллионерам из сказки, посетившим наши края много лет назад. Мы знали, что где-то, в каком-то закутке разрушающегося здания, ютится семья Песаха. Иногда мы видели лошадь, пасущуюся средь высохших апельсиновых деревьев, или мать Песаха, развешивающую во дворе белье. Но мы никогда не входили туда.

Дело было в начале весны, в жаркий полуденный час. Воздух наполняли резкие запахи табака и навоза. Эти запахи были нам хорошо знакомы, они ассоциировались с Песахом — мы считали, что он никогда не моется и спит подле отцовской лошади. Это и служило излюбленной темой наших

ИЕХОШУА КЕНАЗ (*род. в Петах-Тикве в 1937 г.*) — прозаик. Получил образование в Еврейском университете в Иерусалиме и Сорбонне. Начал печататься в 1960 году. Автор повести «Музыкальный момент» (1980), романов «Шепот сердца» (1986), «По пути к кошкам» (1991). Выступает также как литературный и театральный критик, переводит на иврит французскую классику. В 1995 г. отмечен премией имени Бялика.
Повесть «Меж ночью и рассветом» взята из книги «Музыкальный момент» (изд. «ха-Киббуц ха-Меухад», «Симан Крия», 1980).

шуток. Правда, в последнее время шутки прекратились — то ли приелись, то ли мы уже повзрослели и поняли, насколько они плоски, а может, Песах, каким бы он ни был, перестал интересовать нас. Он был старше всех в классе, так как несколько раз оставался на второй год; он и сделался одним из главных развлечений наших школьных лет. Учителя тоже не больно церемонились с Песахом, они разили его стрелами колких замечаний, но Песах был невозмутим, и они махнули на него рукой. Песах разве что только присутствовал в классе, этакий безмолвный, беспристрастный свидетель происходящих в нас перемен — рождения внутри нас новых образов, нового смысла. И сейчас, стоя перед распахнутыми воротами и чувствуя волну знакомого, во много раз более сильного запаха пыли и навоза, мы вспомнили эти старые, глупые шутки, объектом которых служил Песах.

— Ничего не поделаешь, придется войти,— сказала Наоми, и ее кругленькое лицо залила краска стыда. Однако с места она не сдвинулась, а вопросительно обернулась к Эли Шапиро.

Для всех нас это было впервые, мы не знали, что именно нас там ожидает и как нужно будет себя вести. Мы знали одно: ни в коем случае нельзя ни с кем здороваться и прощаться, и не дай Бог рассмеяться или даже улыбнуться. Эли Шапиро сощурил свои голубые глаза, обвел взглядом пальмовую аллею; так командир, прежде чем вести вверенных ему солдат в опасную зону, определяет длину пути, возможные преграды и шанс дойти до цели.

Арик сказал:

— Не понимаю, зачем идти к нему всем советом. По-моему, вы вчетвером полностью представляете пятерых членов совета. Я уверен, вы справитесь без меня. И потом, я начну смеяться. Я в таких случаях всегда начинаю смеяться. Поверьте, я-то себя знаю. И к тому же я не переношу лицемерия. Ни один из вас не испытывает никакой жалости к Песаху после всего того, что произошло, и я терпеть не могу эти фальшивые церемонии. Пока!

Эли Шапиро взглянул на него:

— Ты идешь вместе со всеми.

— Постарайся не смеяться,— добавила Наоми,— и нас не смеши.

— Я за себя не отвечаю, — предупредил Арик.

— Пора уже отвечать за свои поступки, — сказала Рахель Химан и гордо выпрямилась. Она была очень красива и знала об этом, кроме того, она была подругой Эли.

Арик опять почувствовал какую-то враждебность к ним. Он был уверен, это вызывается тем, что он никогда не боялся сказать то, что втайне думает каждый из нас. Думает, но не сознается. Он знал, как переменчиво настроение компании, и старался уловить моменты резких перепадов — от всеобщего одобрения к нетерпению и раздражению. Его жажда быть признанным и любимым всеми часто шла ему во вред, она мешала ему приспосабливаться к новым условиям и извлекать из них пользу.

Мы вошли в пальмовую аллею, некогда выложенную крупными плитками, из которых сохранились лишь несколько, да и те были разбиты. У крыльца мы огляделись. Никого. Где комната Песаха, мы не знали.

— Может, искать по запаху? — предложил Арик заговорщицким шепотом и получил в награду сдавленный смешок Рахели Химан, которая, однако, заметив бесстрастное выражение лица Эли, тут же надела на себя маску отвращения и укоризны. Лицемеры, подумал Арик, а ты — королева лицемерия. Ему казалось, что она дурно влияет на Эли. С тех пор как

она у нас объявилась, Эли подпал под ее влияние, и, по мнению Арика, она навеки уничтожила ту возвышенную дружбу, которая была между ними раньше. Арик ненавидел ее, но старался этого не показывать.

— Вон там,— сказал Эли и махнул рукой в сторону бокового входа, слева. Неподалеку от входа стояла повозка, упиравшаяся в землю оглоблями.

Эли постучал в дверь. Нам открыл старший брат Песаха. Мы видели его впервые. Он исчез из поселка много лет назад, рассказывали о нем разное. Одни говорили, что он сидел в тюрьме за воровство. Другие — что он был замешан в краже и пойман, но ему удалось в последний момент сбежать от полиции и переправиться через границу в женской одежде. Были, однако, и те, кто утверждал нечто совсем другое — что он был участником одной из самых отважных антибританских акций ЭЦЕЛа[1], был сослан в Африку, а затем отправился бродить по свету. Конечно, могло было и так. А может, он просто перебрался в другое место в Палестине и его долгое отсутствие породило все эти невероятные слухи. Он был рыжеволосым, как Песах, но не таким угловатым и уродливым. Позже Наоми сказала, что в узких зеленых глазах молодого мужчины она заметила нечто «холодное, надменное и жестокое». Он провел нас в дом, не говоря ни слова. В комнате были лишь Песах, его отец и две старухи, льющие горькие слезы. Завидев нас, Песах встал, его отец сказал: «Принеси еще стульев», и он отправился за стульями.

Одна из старушек перестала рыдать и спросила:

— Вы из школы?

— Да, — ответил Эли.

— Из учителей еще никого не было, — сказал отец Песаха без горечи или упрека, он просто отметил этот факт, видимо, полагая, что возмездие неминуемо.

Песах вернулся со стульями. Мы сели в ряд у стены, напротив Песаха, его отца, брата и двух плачущих старух. Целую вечность мы сидели молча, в тишине, нарушаемой лишь постанываниям старух и скрипом стула Песаха, никак не находившего себе покоя.

Лицо Эли было спокойным и серьезным, Рахель сидела рядом и смотрела то на Эли, то на нас, то на них. Наоми, исполненная сочувствия, не отрывала взгляда от старух, казалось, еще мгновение — и она встанет и присоединится к ним. Я сжался на стуле и сконцентрировался на какой-то точке в пространстве, напряженно ожидая, пока кто-нибудь раскроет рот и что-нибудь скажет. Может, это такой обычай — не разговаривать в доме, погруженном в траур, подумал я, но и в этом случае молчание было слишком уж тяжелым. Краем глаза я посмотрел на Арика и заметил, что он наблюдает за нами, за выражением наших лиц, за нашей реакцией на происходящее. Мы интересовали его гораздо больше, чем Песах, смерть матери Песаха и горюющая семья. Мы всегда были объектами его критического изучения. Он охотился на нас, выслеживал любой наш неверный шаг или промах, а потом вставлял все это в фельетоны, сочиняемые для классных сборищ. Он изображал и высмеивал нас при каждом удобном случае. Похоже, и сейчас он копил материал для шуток, которые будет отпускать, как только мы выйдем из дома.

Песах нарушил тишину:

---

[1] ЭЦЕЛ (аббревиатура, полностью «Иргун Цваи Леуми») — еврейская боевая подпольная организация, действовавшая на территории Палестины, находившейся под британским мандатом.

— Это совет класса,— сказал он отцу, указывая в нашу сторону пальцем. — Их выбрал класс голосованием.

— Почему не выбрали тебя? — спросил брат, и мы не поняли, он шутит или действительно хочет получить ответ.

Песах смущенно хмыкнул. Он напоминал кота, силком опущенного в воду, нелепого и нескладного. Он сидел, пригнув свое крупное туловище к коленям. Его рыжие волосы были подстрижены как-то дико, беспорядочно, крупные темные веснушки, покрывавшие лицо, казались ненастоящими. Брови были настолько светлыми, что с трудом различались под узким нависшим лбом, глаза были похожи на две бесцветные щелки. И все-таки я почувствовал в нем какие-то изменения; будто смерть, посетившая их дом, посетила и его лично, поставила на нем свою загадочную печать, высветила в нем что-то, что доселе было погружено во тьму.

— Это как определяется, по оценкам? — поинтересовался отец Песаха.

— Нет! — воскликнул Песах. — Я же сказал тебе, голосованием.

— А-а! — удивленно сказал отец громким голосом, но по его лицу нельзя было понять, удовлетворен ли он полученным ответом.

Глаза Арика за линзами очков сияли от удовольствия. Трудно было понять, что же на самом деле происходит внутри него. В ту пору мы не слишком интересовались тем, что происходило в сознании других, мы были слишком поглощены самими собой, своими переживаниями. Но меня все же занимал Арик. Что за странный бес бушевал в нем, почему он так радовался чьей-то внезапно открывшейся слабости или проявленной оплошности, почему он во всем выискивал лишь нелепое и смешное? Он отгородился ото всех, постоянно увиливал от ответов на наши вопросы, а порой, наоборот, бросался в отчаянную битву за наше к нему уважение или даже любовь. В отношениях с нами ему явно недоставало вкуса, чувства меры.

Я хорошо знал, что в доме покойника нельзя смеяться и произносить слова приветствия и прощания. Мне казалось, что этот запрет обладает действенной, чуть ли не магической силой. Если в стенах этого дома прозвучат запретные слова, эта сила проявит себя самым страшным образом. С того момента, как мы пришли к Песаху, я твердил себе: ни за что не произносить вслух слова прощания. Лишь бы этого не сделал кто-то из нас. Вновь воцарилась тишина. В комнате было жарко, мы сидели неподвижно, прислонившись спинами к стене, в ожидании избавления.

Вдруг брат Песаха ни с того ни с сего спросил:

— У вас в классе уже есть парочки?

Песах разразился хохотом. В чем дело? Неужели он забыл о смерти своей матери, как он смеет хохотать, нарушая все законы приличия? В ожидании ответа брат Песаха смотрел на Рахель Химан. Оглядев ее с ног до головы с явным интересом, он перевел взгляд на Эли, понял, что между ними существует некая связь. Эли сказал:

— Да, есть парочки.

Брат явно остался доволен ответом. Эли покраснел.

Песах сказал:

— Вот они — парочка, — и указал пальцем на Рахель и Эли.

Одна из старух утерла слезы рукавом и сказала:

— Главное, чтоб вы были здоровы и чтоб ваши родители были здоровы.

Брат Песаха улыбнулся Рахели какой-то двусмысленной улыбкой. Он хотел что-то сказать, но в этот момент Эли поднялся, а за ним встали и все мы. Семья осталась на месте, а мы направились к выходу. К моему облег-

чению, никто из нас не произнес прощальных слов. Мы шли по пальмовой аллее. После нестерпимой духоты воздух на улице был спасительным. Когда мы добрались до тропинки, Эли обернулся и пристально взглянул на усадьбу, темневшую в конце аллеи, будто пытаясь понять нечто, что можно понять только на расстоянии. Мы шагали, ожидая обычной тирады Арика. Сейчас его слова были нам просто необходимы. Он знал об этом и молчал — как избалованный актер, который ждет, чтобы его упрашивали. Но было ясно — на долгое молчание его не хватит.

— Интересно,— сказал он,— где они наняли этих бабушек и как они им платят, повременно или сдельно, в зависимости от выпуска продукции? — И сразу после этого, тонким визгливым голоском: — Главное, чтоб вы были здоровы, и ваши родители, и дяди, и тети, и соседи...

Мы дружно засмеялись. Когда он начинал передразнивать и гримасничать, сдержаться было невозможно.

— Ну и злюки,— сказала Наоми,— какие же вы все-таки злюки. — При этом она тряслась от смеха, как и все мы, и ее слова нас только еще сильнее раззадорили. Мы так хохотали, что не могли идти. Взобравшись на холм, мы остановились у большого дерева перевести дыхание, в изнеможении опустились на землю, прислонились спинами к стволу. Смеркалось. С одной стороны на склоне холма вырисовывались ближние дома поселения, с другой были видны поля и сады, уходящие к горизонту. Я сказал себе: этот миг благодати должен остаться в моей памяти. Это был один из тех редких моментов в жизни, когда рушатся невидимые границы, забываются старые обиды, а время будто замирает. Мы тяжело дышали, вздыхали, не говоря ни слова. Каждый из нас охватывал взором свой мир, не замечая того, кто рядом,— чувство нашей общности было сильнее любого взгляда. Эта минута освобождения и облегчения принесла с собой чудесную сладость дружбы, и я мечтал, чтобы она продолжалась подольше, чтобы покрепче запомнилась на грядущие дни и годы.

Наоми очнулась первой:

— А брат у него — ну прямо Дон Жуан.

— На меня он произвел впечатление сексуального маньяка,— сказала Рахель с гримасой отвращения.

— Естественно,— сказал Арик. — Он все время на тебя пялился — ты ему понравилась.

— Ерунда! — запротестовала Рахель, однако ее тонкие губы скривились в довольной улыбочке.

— Что-то неохота идти на репетицию,— сказал Эли.

Может, и ему не хотелось, чтобы этот вечер закончился так скоро. Но у него была намечена репетиция в ансамбле народных танцев при молодежном Движении. Вообще, его день был заполнен множеством дел: будучи спортсменом, он ходил на тренировки в юношескую команду спортклуба «Ха-Поэль», кроме того, был вожатым, играл на аккордеоне, танцевал в балетном кружке и еще находил время на подготовку уроков и чтение научных книг. Он был отличником. Он всегда точно знал, чего хочет, и ничто в мире не могло бы сбить его с курса. Само время подчинялось его чувству идеального порядка, его самодисциплине. Поэтому, когда он сказал, что ему неохота идти на репетицию, всем было ясно, что этому минутному настроению он ни за что не поддастся: встанет и пойдет на репетицию, как было запланировано.

Точно. Через несколько минут он поднялся, отряхнул пыль с шорт. Затем он сделал несколько шагов, остановился, устремил взгляд на про-

стирающийся под нами поселок и обернулся к нам. Подразумевалось, что мы встанем и пойдем за ним.

К тому времени, как мы дошли до штаба Движения, уже стемнело и жара спала. Мы с Ариком, единственные из нашей пятерки, не принадлежали к Движению. Арик вышел из него, поссорившись с Эли. Но и после примирения он туда не вернулся, объявив, что все молодежные движения — это смешная и фальшивая забава для детей. Мы зашли в деревянный павильон посмотреть репетицию. Рахель и Эли тут же направились в тот угол, где танцоры разминались под присмотром вожатого, а мы уселись на длинную деревянную скамью и наблюдали за ними со стороны. Через несколько минут павильон превратился в танцевальную площадку. Все сняли сандалии, майки и футболки — в помещении было жарко. Построились парами, вожатый ударил по барабану, и пары пустились в пляс. Арик пренебрежительно взирал на это зрелище. Он утверждал, что эти народные танцы — никакие не танцы, и тем более не народные. Все ему тут кажется неестественным, нелепым и уродливым. Он предпочитает настоящий фольклор, идущий от древней традиции, а не выдумки безмозглых киббуцников. Арик интересовался культурой первобытных племен Африки — он говорил, что только там сохранилось что-то неподдельное и невыдуманное... А мне так нравились эти танцы, их восточная плавность и древняя печаль. Примерно таким мне представлялся древний Ханаан, пропитанный запахами пота и пыли,— вроде нашего павильона. Лица танцующих раскраснелись, тела покрывались потом. Арик то и дело передразнивал движения танцующих, а Наоми, сидевшая рядом с ним, была погружена в себя — она поедала глазами Эли и Рахель, которые и в танцах были неразлучны. Румянец на щеках Наоми выдавал ее с головой. Ее запретные мысли. Эли красив в танце. Его обнаженный загорелый торс блестит от пота, и этот блеск подчеркивает его атлетическую фигуру, изгибы мускулов, широкие плечи, мощную грудь и узкие бедра; в каждом его движении — гибкость, уверенность, сила. Рахель приникла к нему, как нежный благоуханный цветок, иссиня-черные волосы, лицо, удлиненное и нежное, глаза темные, большие, слегка раскосые, талия тонкая, и вся она — мягкость и благородство... При виде такой красоты Наоми чувствовала себя жалкой. Ее снова охватило желание быть стертой с лица земли вместе с этими двумя. Она была довольно неуклюжей, низенькой, толстоногой, светлые кудри беспорядочно торчали на лбу и на затылке. Она любила его тайно, страдая от безнадежности, делала все возможное, чтобы не выдать своих чувств, посвящала ему стихи, писала ему письма, которые запирала на ключ в ящике стола; она была уверена, что ее никто никогда не полюбит, что на ней лежит заклятье. Она искала его близости, всегда участвовала во всем, в чем участвовал он, но никогда не переходила границ. Она была предана Эли и Рахели всем сердцем, и они отвечали ей дружбой и верностью, она нравилась им своей разумностью, честностью, добротой и врожденной деликатностью. Они ценили ту серьезность, с которой она ко всему подходит. На праздниках и вечеринках Наоми читала вслух свои любимые стихи из книг, названий которых мы не слышали, так как они не входили в школьную программу. Мы не понимали, насколько близки ей эти стихи, не подозревали, что в них-то и есть ее тайная сердечная тоска. Возможно, об этом догадывался один лишь Арик: между Ариком и Наоми было некое безмолвное взаимопонимание и уважение, возникшее на почве многолетнего знакомства и не нарушаемое другими чувствами.

Танец прекратился, Эли и Рахель, запыхавшиеся и потные, вернулись

к нам и сели на деревянную скамью.

— Он все время потешался над нами,— сказала Рахель с усталой улыбкой. — Думаете, я не видела?

— Кто, я? — возмутился Арик. — Что вы! Чудесный танец, ей-богу! Никогда вы мне не верите! Мне правда очень понравилось! — говорил он, картинно прикладывая руку к сердцу, этакая оскорбленная невинность. — Послушай,— обратился он ко мне,— ты видел, что я над ними смеялся? — Он знал, что, если он спросит Наоми, та скажет правду. Она не умела лгать.

— Я видела,— сказала Рахель,— когда мы танцевали, я смотрела в твою сторону и видела, как ты паясничаешь.

Эли сказал:

— Когда-нибудь мы тебя силой затащим танцевать вместе со всеми, чтобы и ты однажды понял, что значит быть как все, а не каким-то особенным, оригинальным, самым умным, лучше всех.

С этими словами Эли обхватил Арика за шею, как будто собирался задушить его. Арик всячески вырывался из «объятий», но Эли смеялся и не отпускал его. «Будешь танцевать? — спрашивал он,— будешь танцевать со всеми?» Наоми наблюдала за сценой с некоторой тревогой. Она знала, что сильные и красивые люди могут нечаянно причинить боль, даже если они действуют из лучших, дружеских побуждений, красивые зачастую поверхностны и эгоистичны. Эли наконец отпустил Арика; на шее Арика отпечатались два багровых пятна. Но он держался так, словно ничего не случилось. Он страдал астмой, и Наоми опасалась, что это «объятие» вызовет у него приступ. Мы практически ничего не знали о его болезни. Мне она казалась несколько загадочной. Когда я спрашивал его, что именно он чувствует во время приступов, Арик уклонялся от ответа. При нас это случалось с ним крайне редко, пару раз в классе, во время урока, и тогда он шел в медпункт и оттуда домой.

— Будешь танцевать? — снова спросил Эли.

— Конечно,— ответил Арик,— еще как буду! — Он силился улыбнуться. — Я вам такое устрою — на всю жизнь расхотите танцевать.

Вожатый позвал Эли и Рахель на площадку. Репетиция возобновилась. Теперь они водили хоровод — это был русский народный танец, и Рахель танцевала с другим, поскольку Эли стоял в центре хоровода и играл на аккордеоне. Это был старенький аккордеон, принадлежащий молодежному клубу. Эли привык к своему «Эмилио Сопрани», и когда аккордеон издавал визгливый звук или западала клавиша, Эли нервно мотал головой. Игра захватила его; он запрокинул голову, и мы видели, как при каждом вздохе двигается его кадык.

Мы вышли на темную улицу, и на нас повеяло прохладой. Часть пути мы прошли молча. Я ощутил странную, беспричинную грусть. Какое-то чувство полной бессмысленности всего и вся и непричастности ни к чему. Интересно, чувствуют ли они то же самое или только мне за каждую минуту радости приходится расплачиваться часами печали? Все вокруг было тусклым, безликим. Освещенные дома, люди, проходящие мимо нас по улице, друзья, бредущие рядом. Словно природные запасы сил иссякли и остается лишь вступить в заранее обреченную на провал борьбу. И не было уже ничего, по чему можно тосковать или во что можно по-настоящему верить. Не потому ли мы шли молча?

Эли и Рахель ускорили шаг. Они шли впереди и перешептывались. Умолкнув, они остановились и подождали нас. Эли подошел к Арику, пол-

ожил руку ему на плечо и обнял его.

— Тебе было больно?

Арик протестовал:

— С чего это? Нисколечко!

— Так чего ж ты приуныл? Рахель считает, что я был неправ.

— Я не приуныл. Слушай, Эли, не будь моей мамой.

Арик вырвался из объятий Эли и стал громко смеяться. Я знал этот его деланный, вымученный смех.

— Чего это ты так за меня волнуешься? — спросил Арик.

Эли снова обнял его и сказал:

— Я не хотел причинить тебе боль.

Привычка Эли просить прощения при каждом удобном случае не раз повергала нас в смущение. У него были какие-то свои привычки, неизвестно от кого перенятые. Он действовал в соответствии со своими законами, при этом безо всякого стеснения игнорировал наши. Я часто задумывался над его поведением, но так и не мог понять, что им движет. Мы снова шли молча.

Послышалась сирена пожарной машины, которая с воем промчалась мимо нас и исчезла за поворотом. Первые жаркие дни весны были чреваты пожарами. Пожары для меня были знаками, предупреждением о какой-то другой, серьезной опасности. Я не знал, что это за опасность, но ощущал ее. Я не боялся ее; а она, в свою очередь, не была способна вытеснить то ощущение бессмысленности, которое было у меня в те дни. Иногда оно вроде бы покидало меня на час-другой, продолжая зудеть где-то в глубинах сознания. Я знал, что это тяжелый период, и предпочитал оставить попытки в нем разобраться и просто ждать, когда он закончится. В такие минуты мне всегда хотелось быть одному, но мое желание было недостаточно сильным, и я продолжал бесцельно следовать за компанией. Я был полностью погружен в себя, занят своими мыслями, которые разлучали меня с друзьями, уносили далеко-далеко. Бывало, я проводил долгие часы у радиоприемника, пытаясь поймать далекие радиостанции на коротких волнах, будто они должны были донести до моего слуха тайные сообщения, посланные мне некими неизвестными силами. В какофонии свиста, скрежета, взмывающих и нисходящих звуков, внезапно пробивающегося и умолкающего пения и музыкальных аккордов мне открывался жестокий ускользающий мир. В этом мире можно было набрести на огромные поля тишины или, наоборот, обнаружить на одной узенькой полоске собрание десятков голосов, липнущих друг к другу в упорном стремлении удержаться на своем месте, вытолкнуть другие голоса, заглушить их, подчинить себе. Было совершенно ясно, что эта конкретная точка выбрана по чистой случайности и не обладает никаким преимуществом перед бесчисленным количеством расположенных рядом с ней пустот, где все звуки могли бы уютно разместиться каждый в отдельности. Тем не менее звуки стремились попасть именно туда, в эту самую точку. Я понял, что битва ведется не за точку, а за саму жизнь, которая, однако, возможна лишь там, где идет кровавая борьба за существование. И как только один из звуков возвышался над другими и трубил победу, сильный и свободный, можно было уже предсказать, что через некоторое время он начнет угасать, другой звук появится вблизи и вскоре займет его место. Это были существа из иных миров, они общались при помощи загадочных языков, непостижимых шумов и незнакомых мелодий. Порой в ходе войны раздавался какой-то знакомый напев, и я знал, что там есть кто-то из нашего мира, но не испытывал к нему

никакой особой симпатии и не желал его победы. Сам принцип и устройство этой войны интересовали меня больше, чем ее результаты. Я был уверен, что каждый радиоприемник принимает свой набор сигналов на коротких волнах, а из этого следовало, что услышанное мной обращено непосредственно ко мне и, возможно, несет в себе некий важный смысл, который мне предстоит уяснить. Родители дивились моему сидению у радиоприемника и считали это занятие пустой тратой времени. Когда они обращались ко мне, спрашивали, какую станцию я ищу, я вздрагивал, будто пробуждаясь от глубокого сна,— до такой степени я уходил в себя и отделялся от внешнего мира.

Но у меня было и другое состояние — оживления и любопытства. Тогда друзья приобретали в моих глазах особую важность; я старался угадать их тайные мысли, уловить разницу между происходящим внутри них и тем, как они себя ведут. (В то время я еще не понимал, что в том спектакле, который разыгрывается для публики, не меньше правды, чем в самых сокровенных мыслях, что это одно и то же содержание, передаваемое на разных языках.) В те моменты, когда я пытался разобраться в творящемся внутри моих друзей, ко мне приходило ощущение силы и свободы, как будто мне удавалось захватить некую территорию в их душе, хотели они этого или нет, и там, на этой территории, у меня была своя опора. Когда же я замыкался в себе, я считал, что поступаюсь всем ради чего-то очень серьезного. Иногда я с удовольствием терялся в бесконечных, затянутых мягкой паутиной пещерах, погружался в мечтания, расцвеченные многочисленными зеркальными отражениями любви, окутанные влажной, приятной теплотой смерти. Все мои друзья уже представляли себе, кем они станут в будущем, я же продолжал держаться за остатки старых фантазий и переживаний.

Через неделю Песах вернулся в класс, уселся на свое место, и, когда начался урок английского, он не съежился за своей партой, словно собираясь исчезнуть, остаться незамеченным, слиться с полом и стенами. Напротив, он уставился прямо в лицо учителю Бено. Он не смущался и продолжал смотреть на Бено с некоторым вызовом. Бено сразу заметил Песаха — еще бы, после столь долгого отсутствия; в его глазах уже искрилась та приторная, отвратительная улыбка, специально предназначенная для Песаха.

— Добро пожаловать, Песах! — воззвал к нему Бено. — В последнюю неделю нам тебя так не хватало. Мы надеялись услышать от тебя разбор стихотворения «Ода западному ветру» Шелли. Мы все вместе проходили это стихотворение, но, кроме тебя, проанализировать его было некому. Где же ты пропадал все эти дни? Ну, коли уж ты здесь, мы можем быть спокойны. Пришла зима, весна уж недалече.

Учитель выжидающе оглядел класс, обычно после подобных реплик в адрес Песаха раздавался дружный смех. Но никакой реакции не последовало.

Бено был человек довольно молодой. Он приехал из Центральной Европы и прослыл у нас известным ловеласом и сердцеедом. Одно время в него были влюблены все девочки, за исключением той единственной, в которую был влюблен он,— Рахели Химан. Она же считала его «прилизанным и противным». Он был высокого роста, его суровое лицо всегда было темным от загара, как у лыжника, светлые глаза излучали холодный свет. Его ноздри чувственно подрагивали, словно бы ловя в воздухе те ароматы, которые мы тогда еще не успели познать.

Песах совершенно спокойно сидел на месте, он даже улыбался. Учитель перевел взгляд с Песаха на класс. Класс молчал. Бено в изумлении глядел на нас, как бы спрашивая: что не так? Но вскоре он взял себя в руки, поднялся на кафедру, окатил всех нас дежурным презрением, велел раскрыть книгу на странице такой-то, прочитал вслух стихотворение Вордсворта про весенние цветы, затем объяснил нам его смысл. Он долго говорил, обращаясь к английской поэзии, вместо того чтобы обращаться к нам. Он, несомненно, слышал заговорщицкие перешептывания, ощущал на себе неприязненные взгляды — предвестие бунта, витавшее в классе. Он вновь оглядел нас с высоты кафедры. Выражение его лица уже не было таким гордым и презрительным. Он был спокоен и сосредоточен.

Наоми, раскрасневшаяся от волнения, передала записку Эли. Арик пробормотал какую-то очередную шутку, и волна перешептываний усилилась.

Бено решил действовать. Он сошел с кафедры и спросил Эли:

— Может, ты объяснишь мне, что за тайное совещание здесь происходит? Урок так продолжать нельзя.

Эли прошептал что-то на ухо учителю, и тот сказал:

— Я не знал. После урока я приглашу его в учительскую и извинюсь перед ним.

— Нет,— сказал Эли. — Перед всем классом его унизили, перед всем классом и извиняйтесь.

В стальных глазах Бено сверкнула молния: «Нет! Не тебе мне указывать, как себя вести! Ты мной не командуй».

Он снова поднялся на кафедру.

— Песах, зайди в учительскую после урока, — произнес Бено сухо и принялся за английскую поэзию.

На перемене было решено: бойкот. До тех пор, пока учитель не извинится перед Песахом в присутствии всего класса. Эли подошел к Песаху и потребовал, чтобы тот не ходил в учительскую. Песах был единственным, кто не был взволнован поднявшимся вокруг него шумом. Он сидел на своем месте, уверенно улыбаясь еще необычной для нас улыбкой, и сказал:

— Мне совершенно все равно, что он там нес, и я не понимаю, чего вы от него хотите.

— Мы хотим, чтобы он знал — есть предел всякой наглости,— бушевала Наоми,— не смеет человек себе все позволять!

— А он-то как раз и не знает,— сказал Песах. — Чего вы к нему прицепились? Он со мной всегда так. А у меня в одно ухо влетает, из другого вылетает. Оставьте вы это.

В его голосе звучала уверенность. Словно он лучше нас самих понимал, что нами движет желание выиграть поединок с Бено, а вовсе не защитить его, Песаха. Но мы не стали его слушать. Мы остались при своем мнении. Песах же пошел в учительскую, вернулся и уселся в своем уголке. Директор пытался убедить старосту класса, что личное извинение Бено перед Песахом исчерпывает инцидент, но Эли стоял на своем, и мы его поддерживали.

Перед началом следующего урока мы собрались в роще перед школой. Мы приняли решение не идти в класс. Предвосхищение бунта и грозящей опасности опьяняло, мы находились в состоянии истерического торжества. Страх перед неизбежными последствиями сближал нас, точно мы не могли устоять поодиночке и черпали силы друг в друге, в нашей сплоченности. Арик стоял, прислонившись к дереву, сунув руки в карманы, и

довольно хмыкал. Его тоже коснулась лихорадочная радость. От наблюдения за всеми нами, взбудораженными. Его улыбка говорила: такое уже было, и известно, чем это кончается.

Кто-то закричал:

— А где Песах?

Песаха не было нигде. Эли искал его, но напрасно. Он встревоженно наморщил лоб, как на портретах великих революционеров, яростных борцов за свободу и справедливость.

— Небось в классе сидит, придурок,— пробормотал Эли и отправился на поиски. Мы остались в роще.

Эли вошел в класс и увидел полусонного Песаха; тот сидел на месте, подперев подбородок руками.

— Почему ты не со всеми? — спросил Эли.

— Не хочу, — ответил Песах.

— Но мы же делаем это ради тебя, — разозлился Эли.

— Не надо мне ваших одолжений! Меня это ничуть не интересует,— сказал Песах,— брось это дело.

Эли подошел к нему, дружески положил руку на его плечо и попытался потянуть его за собой.

— Не трогай меня! — сказал Песах и вскочил со стула. — Ты чего, драться?

Эли оторопел от изумления. Он хотел было что-то сказать, но тут Песах сорвал с себя рубашку и набросился на Эли; он обхватил его руками и стал пригибать к земле. Эли пытался высвободиться, но у Песаха была сильная хватка. Получив удар кулаком в живот, Эли лишился своего знаменитого самоконтроля и олимпийского спокойствия. Он принял вызов, но борьба была нелегкой, и он не мог одолеть Песаха. Когда мы вошли в класс, мы увидели их обоих, сцепившихся и катающихся по полу, мокрых от пота и тяжело дышащих. Кто-то из ребят попытался их разнять, но Эли вскричал тонким, придушенным голосом:

— Не лезьте, я его прикончу. — Мы никогда не слышали у Эли такого голоса.

Мы обступили их и наблюдали за дракой. В отличие от обычной школьной потасовки, сопровождаемой улюлюканьем и подшучиванием «болельщиков», эта борьба проходила в полной тишине. Должно было решиться нечто важное, имеющее отношение к каждому из нас. Слышны были лишь тяжелое сопение и глухие удары от падения тел на пол. Эли собрал все свои силы, но Песах не отступал, его гибкое, пружинистое тело, налитые мускулы, точные движения сулили поражение противнику. Мы видели, как с рыжих волос под мышками струится пот.

Силы Эли иссякли. Песах прижал его к полу, выпрямился. Его широкая грудь вздымалась при каждом вдохе, и была отчетлива видна полоска светлых волос, спускающаяся от груди к животу. Песах смотрел на нас. Я никогда не видел его глаза такими зелеными, спокойными и безжалостными. Нет, это не кот, силком опущенный в воду, которого Песах напоминал мне когда-то. Видимо, в его прежней жизни случилось что-то, придавившее его так, что он перестал быть самим собой и превратился в свое неверное, искаженное отражение. Но природа взбунтовалась и предъявила ему, Песаху, свои требования. Он стоял над поверженным Эли, безмятежно улыбаясь, не думая о какой-либо опасности, не выражая ни самодовольства, ни удивления своей победой, не ища в наших глазах реакции на произведенное им впечатление. Этакий мощный юный лев, с его природным вели-

чием и безукоризненной слаженностью всех частей тела, от ног до кончиков рыжих волос. Я знал, что все видят эту странную, неожиданную красоту, раскрывшуюся перед нами. Об этом говорил румянец на щеках девочек, которые при виде выскочившего из клетки зверя замерли на своих местах, и изумленное выражение на лицах ребят. Меня всегда привлекала красота побежденных, их застывшие, словно под гипнозом, лица, безмолвный плач, исходящий из поверженного тела, горькое разочарование собственным бессилием. Я неотрывно следил за Эли; тот поднялся с помощью Арика, оттолкнул его, взглянул исподлобья, вытянул шею, потянулся, как бы стряхивая с себя тяжелый сон,— и вдруг скривился, не в силах сдерживать боль и унижение. Взгляд его упал на Песаха, стоящего напротив. Зеленые кошачьи глаза Песаха улыбались ему. И тут Эли сделал то, что в подобной ситуации мог сделать только он один: подошел к Песаху и протянул ему руку в знак примирения. Песах принял стойку на случай, если бы Эли вздумал взять его хитростью,— расставил ноги на ширину плеч, для устойчивости, искоса поглядел на Эли и лишь тогда подал ему руку.

Эли пошел во двор умываться. Мы остались в классе, мы знали, что он хочет побыть один. Даже Рахель не пошла. Она молча сидела за партой, пытаясь скрыть ото всех то, что происходит у нее в душе. Эли перегнулся через край раковины; охваченный приступом гнева, словно бы наказывая себя за совершенный грех, он зачерпывал воду пригоршнями, обливался, еще и еще, до тех пор, пока его голубые глаза не покраснели; струи воды слезами текли по лицу. Закрыв наконец кран, он выпрямился и дал воде свободно течь по шее, плечам, футболке под рубахой, разорванной в драке. Во дворе не было ни души — все на уроках. Он зажмурился, пытаясь припомнить, не случалось ли с ним когда-либо нечто подобное. Когда? Почему он так ясно чувствует, что в точности то же самое с ним уже однажды происходило, может быть, в раннем детстве, может, в забытом сне, может, в другой жизни?

В классе уже были директор и классный руководитель. Они приготовились было читать нотации, но при виде Эли в разодранной рубашке, с которой стекала вода, директор воскликнул: «А это что еще?» Эли стоял в дверях, потупив глаза, и молчал. Затем он пошел к парте, держась прямо и спокойно, взял свои вещи и вышел, никого не удостоив взглядом.

Песах смотрел в окно. Трудно было поверить, что он только что участвовал в драке. Его это уже не касалось. Он облокотился о парту, подпер рукой голову и наблюдал за школьным двором. Время от времени он морщил лоб, словно бы напрягая мысли или всматриваясь во что-то, но затем его лицо снова принимало спокойное, безразличное выражение.

Этим летом у Песаха незаметно сошли веснушки, будто некая сила обесцветила их, сравняла с цветом кожи. Мы увидели новое, другое лицо. Зеленые глаза, бывшие узкими расщелинами, раскрылись, оттуда на нас глядел дикий зверь, не знающий преград, руководимый лишь голодом и собственной свободной волей. Поначалу его взгляд был подозрительным, ускользающим, опасающимся подвоха, осторожно оглядывающим чужую территорию,— будто его все еще не оставляли призраки темных событий прошлого. Его брови и ресницы, прежде почти незаметные, потемнели; от них на лице заиграли таинственные тени. Боязливость, неуверенность исчезли; теперь Песах был способен бросить вызов всякому, кто встанет поперек дороги. Резко обозначились скулы, что придало ему выражение надменного величия. Наметились толстые, чувственные губы. Рыжие волосы, прежде торчавшие в разные стороны, собрались в чуб, и Песах то и дело

вскидывал голову, запускал ладонь в волосы, поправлял упрямую завитушку, спадающую на его левую бровь. Он не любил трепать языком, друзей в школе у него не было, разве что несколько малышей, с которыми он играл во дворе в футбол. Малыши относились к нему с робким почтением — во-первых, он старше их, а во-вторых, они были свидетелями его победы над Эли. Сам же Песах не испытывал к ним никакого интереса.

Мы все еще не могли выработать своего отношения к Песаху. К приходу зимы от прежней Песаховой неуклюжести, служившей поводом для стольких шуток, не осталось и следа. Будь он новеньким, было бы куда проще завязать с ним отношения. Нам все еще мешал его прежний образ, который как тень следовал за ним. Но и это прошло, когда мы поняли, что его близости добиваются самые красивые девочки в классе.

Если красота — это гармоничное телосложение, верные пропорции, красивое сочетание цвета глаз, волос и кожи, то определение «красивый» шло Эли, как никому другому. Красоту Эли можно было легко понять. Не будь темноватого пушка на его щеках, он вполне бы сошел за красивую девушку, с голубыми глазами, черными как смоль волосами, тонко очерченными бровями, длинными черными ресницами, придававшими его загорелому лицу задумчивость и мягкость. Его гибкое, атлетическое тело отвечало всем канонам красоты. Но если под красотой понимать то загадочное внутреннее излучение, которое заключается во взгляде, выражении лица, движении, и добавить к этому нечто не определимое словами, то, что довершает образ, пред которым мы робеем и пасуем,— то красивым, несомненно, следовало назвать Песаха в его новом перерождении. В те дни мне было трудно уяснить, что именно я подразумеваю под красотой, но я ощущал ее присутствие. Сам же Песах стал для меня абсолютно непонятным. Я не мог объяснить себе причину обожающих, чуть высокомерных взглядов, которые дарили Песаху наши девочки, среди них и первые красавицы. Посланцем далекой враждебной страны, сумрачной родины дикарей, расхаживал он среди нас, незваный гость, дерзкий и вызывающий. Переглядывания и перешептывания, враждебность и смущение, которые вызывал Песах своим присутствием, заставляли меня попытаться постичь эту непонятную красоту. Единственным моим открытием было то, что от Эли исходили покой и уверенность, а от Песаха — неясная тревога. И это все?

Однажды в нашем классе распространились слухи про Песаха: якобы его видели в полночь на кладбище, он ласкал там Нехаму-проститутку. Кладбище было подходящим местом для такого рода историй. Хоть я и не верил сплетням, история выглядела вполне правдоподобной, теперешний Песах вполне мог быть ее героем. Я представил себе, как он и Нехама-проститутка танцуют голые под лунным светом среди могил. Я мог с легкостью поверить всему, что касается Песаха. Слухи и шутки стали множиться, рассказы Арика были полны намеков на любовные похождения Песаха — мы покатывались со смеху. Но Песах не смеялся, чтения вслух по пятницам он переносил с полным безразличием. Поначалу Арик следил за тем, чтобы имя Песаха не упоминалось в его рассказах,— от дикого кота, свернувшегося клубком в своем углу, можно ожидать чего угодно. Но Песах продолжал сидеть безмолвно, мышцы его скул ритмично двигались, он весь был как механизм, приготовленный для заточки острых предметов. Постепенно намеки становились все более прозрачными. Арик не внимал никаким просьбам. Эли сказал ему: «Осторожно, этот парень ненормальный, он со сдвигом, он на все способен». Но в Арика будто сам черт вселился, опасность его только возбуждала. Зрелище поверженного Эли, распростертого

на полу перед всем классом, не давало ему покоя. Его шутки по поводу Песаха сделались грубыми, они как бы утратили реальную почву и казались вымученными. Арик старательно отслеживал каждое движение Песаха, обращал внимание на каждое слово, которым тот нарушал свое сонное молчание.

Небо внезапно потемнело, покрылось свинцовыми тучами, в классе зажглись лампы. Я любил эти минуты перед ливнем, их обманчивый свет, разлитый в помещении. Я обернулся, чтобы посмотреть, повлияла ли эта перемена на ребят. Вокруг Арика царило оживление. Наверное, он сказал что-то смешное, подумал я, видя, как он закусил губы, чтобы не рассмеяться. Он показал мне глазами, чтобы я посмотрел на Песаха. Я обернулся: Песах сидел за партой как ни в чем не бывало. Но по классу шел какой-то шепот, девочки краснели и закрывались руками, а мальчики довольно хихикали. Новая учительница литературы, молодая и симпатичная, заметила, что все наше внимание вдруг переместилось на галерку. Она потребовала тишины, и эта просьба ненароком вызвала общий смех. От одной мысли, как она увидит, что случилось с Песахом, уже можно было покатиться со смеху. Учительница, не привыкшая к такому нашему поведению, рассердилась. Сообразив, что дело в Песахе,— видимо, он сказал что-то смешное и отвлек всех,— она подошла к нему и велела выйти из класса.

Некоторое время Песах сидел неподвижно, собираясь с мыслями.

— Ты не слышал? — повысила голос учительница. — Я попросила тебя выйти!

Он поглядел на нас. Его лицо выражало презрение. Осмелев, он встал. Тут я и увидел то, над чем все смеялись и что мне загораживала парта: нечто массивное оттопыривало его штаны. Он сделал печальную, смиренную гримасу и направился к выходу. Около Арика он притормозил и посмотрел на него с вызывающей улыбкой — мол, любуйся сколько влезет, смейся на здоровье. Учительница литературы, которая поняла, чем был вызван смех, попыталась смягчить ситуацию. Она подошла к Песаху, покидавшему класс, и сказала:

— Скоро они успокоятся, пять минут постой там, а потом заходи, ладно?

Но Песах не ответил ей. Вскоре я увидел его в окне, он играл сам с собой в футбол жестянкой, в пустом школьном дворе, под налитыми свинцом небесами.

Когда в конце урока Песах вернулся в класс, его штаны уже не привлекали ничьего внимания. Он подошел к Арику, и тот мгновенно подался назад, защищаясь. Но Песах успокоил его:

— Не бойся. Я тебя не трону, ты слабак. Но если ты такой умный, зачем показал это девчонкам? Ты что, чокнутый? Какой же ты после этого парень?

Слова Песаха пришлись по душе всем, а Эли сказал Арику:

— На сей раз ты перегнул.

Арик снова почувствовал, что все против него, опять он не успел подладиться под общий тон, зарвался и перестал понимать происходящее. Не получив поддержки общества, он оказался в полной изоляции. Его лицо скривила та болезненная улыбка, которой я не выносил. Нам выпало возвращаться домой вдвоем — Эли ушел на тренировку в «Ха-Поэль».

Арик сказал:

— Радуйся, пока молод, юность — лучший возраст, ты всегда будешь

мечтать об этих днях,— так нас вдохновляют на подвиги. Из лицемерия. Одно сплошное лицемерие. Я никогда не буду скучать по этому времени. Нас тут держат как рабов. Мы делаем только то, что нам велят, каждый старается влиять на нас, воспитывать, что-то нам давать. Почему нас не оставляют в покое, не позволяют нам быть такими, какие мы есть? Запомни мои слова: я никогда не буду тосковать по этим дням. Я хочу быть свободным и делать самые ужасные вещи, и чтобы никто мне не говорил, что хорошо и что плохо и что я за все в ответе.

Я сказал ему:

— Может, мы еще не полностью люди и нам не хватает чего-то, какой-то силы или умения, чтобы быть такими свободными и независимыми?

— Как раз наоборот! — воскликнул Арик. — Знаешь ли ты, что согласно науке в нашем возрасте человек находится на вершине своего развития? До восемнадцати-двадцати лет максимум. Это был бы чудесный возраст, если бы нам позволили его правильно прожить. Но к тому времени, когда мы сможем быть такими, какими хотим, уже начнется процесс постепенного старения, в конце которого — смерть. После двадцати у тела каждый день отнимаются силы, мозг атрофируется, сжимается в комок.

Я улыбнулся, приняв его слова за шутку. Но он не шутил. Никогда я не видел его таким серьезным и не мог представить, что он способен вдруг так открыться, я-то знал, что он не считает меня взрослым.

— Зря смеешься,— продолжил он,— сегодня это знает любой биолог. Мы прочли это с Эли в американском научном журнале, который выписывает его отец. Если захочешь, Эли тебе покажет.

Вот тебе на! А я-то жил с ощущением, что все впереди и нужно лишь переждать, когда пройдет унылый период. Ничто еще не устоялось и не было испорчено, до армии оставалось время — время надежд, фантазий и мечтаний. Оказывается, именно в этот период и пустит корни страшный, необратимый процесс деградации. Так вот откуда цинизм Арика, вот где кроется причина его отчаяния (я не сомневался, что Арику чувство отчаяния знакомо более, чем всем нам, только он умеет его хорошо скрывать). Значит, ему лучше нас известно то, что мы теряем наши лучшие минуты. Я взглянул на Арика, и мне показалось, что на его лице уже лежит печать убийственного процесса старения. Возможно, это было наказанием за чрезмерное любопытство, местью некоего бога за преждевременное постижение тайны. В его лице была какая-то неприятная кислинка, в тонких губах гнездилась боль, его глаза в оправе очков утратили обычный лукавый блеск и выглядели тусклыми.

Я попытался усомниться в его теории:

— Ты хочешь сказать, что после восемнадцати начинается смерть, верно?

— Ну конечно! — нетерпеливо воскликнул он, боясь, что я его плохо понимаю. — А ты думал, что естественная смерть приходит внезапно, этакий несчастный случай со старым человеком? Так бывает только в книжках и романах. Научные открытия показывают, что жизнь после отроческого периода сводится к постепенному умиранию. Каждую минуту отмирает энное количество клеток, энное количество мозгового вещества засыпает навеки. Человек постоянно слабеет, умственно и физически.

Заметно было, что Арик получает странное удовольствие, запугивая меня своей теорией, нарочно сгущая краски. Мы подошли к развилке, где наши пути расходились; небо нависало над нами черным куполом, готовым разорваться в любой момент. Но мне хотелось продолжить беседу. С

ним редко удавалось поговорить серьезно; я чувствовал, что и он не против выложить то, что у него накопилось, взять реванш за то, что произошло в классе, к тому же Эли чуть ли не первым поддержал Песаха и сказал Арику, что тот «перегнул». Мы сели на край тротуара, положили рядом ранцы, и он немного помолчал. Я вернулся к его теории:

— Допустим, что все это так и все в мире это знают, все, кроме молодых. Следовательно, взрослые специально скрывают от нас этот секрет...

— И когда мы наконец его откроем, будет поздно, смерть уже вселится в нас, и мы будем стареть и сами скрывать это от тех, кто моложе нас! Да, именно так! Причем, знаешь, между подростковым и двадцатилетним возрастом у нас самая высокая половая потенция, а ведь общество и в этом считает нас детьми! Нас к этому своевременно не готовят, это считается скандальным извращением, чем-то преступным!

— Значит, нельзя ни во что верить, ни к чему стремиться, ни о чем мечтать, так? — спросил я.

— Единственное, к чему можно стремиться,— ответил Арик,— это к тому, чтобы оказаться на вершине. Но если ты уже на вершине, а тебе не дают наслаждаться этим, владеть этим, потому что ты раб, которого ожидает лишь увядание и смерть, о чем тогда мечтать и на что надеяться? Мы уже на вершине, на максимуме, и мы ничего не можем из этого извлечь; как узники в пещере, мы не видим настоящего света и живем в мире теней.

— Так как же быть? — спросил я его. Я был уверен, что у Арика разработан план на будущее.

— Как только я почувствую первый признак старения, я покончу с собой,— сказал он без всякого пафоса, обыденно и сухо. — Проблема в том, не стану ли я к тому моменту тупым и одурманенным, найду ли в себе силы осознать это и принять единственно верное решение. Вот оно где — испытание, надеюсь, что я его выдержу. Если бы я верил в Бога, то попросил бы у него одно: сохранить мне трезвость ума в этот момент. Но я в него не верю. Поэтому я должен всегда помнить то, что понимаю сейчас, и не дать времени сломить меня.

— А твои родители в курсе?

Я знал, что этот вопрос тут же выдаст мою «незрелость», над которой Арик вечно потешался. Но мне было важно соотнести принятое им решение с реальностью; я представил Арика в его обычной среде — семья, родители, знакомые,— и его мысли показались не совсем четкими. Я был знаком с его родителями. Они были много старше моих (возможно, Ариков страх перед старостью отчасти был связан с этим) и очень баловали Арика, одаренного и больного. Я попытался связать их образ с его судьбоносным решением, испытать его в условиях повседневности. Эта мысль вызвала во мне боль и странное чувство вины,— я осознал это вечером того же дня. Я раскаивался в своем вопросе. Однако Арик и не думал потешаться над моей инфантильностью — он взглянул на меня с отчаянием, явно сожалея об усилиях, потраченных в нелепой попытке открыть мне глаза на правду.

— При чем здесь мои родители? — взъярился он. Выходит, я возложил на него ответственность, которую он отказывается нести. — Я что, учу их жизни? Я что, их выбирал? То, что я их сын, это чистая случайность. Да, я их люблю, я жил с ними с рождения, они многим для меня пожертвовали, но эта любовь не моральная ценность, а моя личная слабость. Настоящую любовь человек должен выбрать, выстрадать, а не получать просто так. И это не единственная моя слабость. У меня много слабостей, я их не отри-

цаю, но и не горжусь ими. Например, страхи: я знаю, что они иррациональны, и все равно это не помогает от них избавиться; они сильнее меня. Когда умрут мои родители, мне будет очень тяжело. Разумеется, в случае, если я до этого не покончу с собой, как собираюсь. Но эта боль тоже нелогична. Они ведь все равно умирают с каждым днем, каждый день какая-то часть их уходит безвозвратно. Этот последний момент будет тяжелым, потому что эмоционально большая часть меня умрет вместе с ними. Ну и что? Разве я позволю этому факту изменить свой жизненный путь?

— А Эли об этом знает? — спросил я. Эли был единственным человеком, имеющим на него влияние.

— Знает,— сказал Арик задумчиво и замолчал. Затем добавил: — Эли уже не тот, что был прежде. Но он все еще лучше всех остальных, вместе взятых.

Было уже поздно. Мы встали, чтобы попрощаться. Я устал. Мне нужно было время, чтобы переварить услышанное, попытаться понять. Не столько теории и идеи Арика, сколько это его необычное состояние, идущее вразрез с моим сложившимся представлением о нем. Я давно хотел проникнуть в глубину его души, я был уверен, что он, как любой человек, что-то прячет там. Каждого из нас ведет по жизни какой-то секрет, вроде засевшего в нас духа; этот дух охраняет нас в обмен на то, что мы прячем его и повинуемся ему. Мне казалось, что именно этот секрет делает каждого из нас неповторимым и порой непонятным. Вот, значит, каков секрет Арика. Я не любил его за его надменность, за непоколебимую уверенность в своем умственном превосходстве, за неуважение к другим людям, хотя, конечно, признавал его недюжинные способности и знания; здесь он был на голову выше всех моих знакомых. Я не знал, что он думает обо мне; для меня это было важно. Но Арик не спешил меня обнадежить:

— Ты ужасно инфантилен. Ты наверняка не понял ничего из того, что я говорил.

Он снова стал наигранно веселым и циничным. Похоже, он решил смягчить ситуацию и принять облик, хорошо знакомый мне. Или он испугался, что наговорил лишнего, и ринулся отдать долг верности своему тайному духу. Мы попрощались, и он повернул налево. Я не сразу двинулся с места; я смотрел на его спину и думал, что медленная смерть действительно точит его изнутри. Он еле плелся, словно бы утратив власть над своим телом, сутулый, понурый; в его правой руке болтался ранец, казалось, он вот-вот его уронит, левая рука была в кармане брюк. Таким я его запомнил и помню до сих пор.

Спустя мгновение небесные хляби разверзлись и хлынул ливень. Он настиг меня уже около дома, но все-таки я весь промок. В этом природном буйстве таилась угроза. Не было ни грома, ни молний, но дождь с такой неистовостью хлестал по земле, что можно было услышать тот самый гул, который, как сказано в книгах, бывает во время землетрясений, когда земля гудит изнутри. Испуг, охвативший меня, бегство от ливня, возвращение домой промокшим до нитки — все это на время приглушило впечатление от нашей с Ариком беседы, которую я и без того старался забыть. Вечером, как только мы сели ужинать, разразилась настоящая гроза, с громом и молниями, и в доме погас свет. Мама поставила на стол керосиновую лампу, специально припасенную на такой случай. По лицам мамы и папы заплясали тени, и мне разом вспомнилось все, что говорил Арик о медленной смерти родителей. Я ощутил ком в горле. Это не было детским ужасом пе-

ред их возможной смертью, эгоистическим страхом остаться одному, нет, это была невыносимая грусть от сознания того, что спасти их не в моих силах. Я никогда не думал, что мои родители старые. У них не было возраста. Но в тот час тени от керосиновой лампы вгрызались в их лица, шею, прорывали в них борозды, уродовали их — вот она, роковая печать. Жуть старости. Если бы они не боялись испугать меня, я уверен, они зарыдали бы горькими слезами. Но они сидели молча, как заложники тайной жестокой силы, прощая мне мое безволие и эгоизм, в смиренном, терпеливом ожидании исполнения приговора. Мне казалось, я понял слова Арика о том, что его родители умирают ежедневно и что каждый день он прощается навеки с какой-то частью их. Мама и папа говорили между собой, но я не вслушивался, зная, что все это — притворство, разыгрываемое ради меня, чтобы я думал, что все в порядке и что я ничем им не обязан. Их спокойствие только усилило мою боль. Я прекрасно понимал, что истязаю себя выдумками и что скоро зажгут свет и все пройдет, но все же не был уверен, что мои нынешние ощущения исчезнут и я смогу увидеть родителей такими, какими они были для меня прежде. Мне ужасно хотелось заплакать. Это забытое чувство судорогой поднялось из глубины живота, дошло до груди, сжало горло — я с трудом сдерживал его. Я знал, что должен побороть его, пока не зажгут свет. Я повторял себе, что лишь по чистой случайности они стали моими родителями, что это два чужих человека и не я их выбирал, но мое сердце знало, что эта жизнь — моя жизнь и в ней я каждый раз выбираю заново, день за днем, минута за минутой, сознательно или невольно, я привязан к этим теням и не смогу с ними разлучиться. Тут раздался крик из комнаты, мой братик зашелся плачем, видимо, он испугался темноты — обычно в коридоре горела маленькая лампочка, к слабому свету которой он привык. Я схватил керосиновую лампу, сказал, что пойду посмотрю, что с ним. Я вышел из кухни, и мне сразу стало легче. Я приблизился к кроватке моего братика, и сердце заполнила любовь. Я склонился над ним, он посмотрел на меня, словно не узнавая, перестал плакать, закрыл глаза и заснул. Я немного постоял в комнате, вдыхая любимый запах, запах его сна. Чувство гнета, которое я испытывал, забралось в свою нору и затаилось там в ожидании следующей возможности нападения.

Я вернулся в кухню, и мама сказала: «Наверно, ему что-то приснилось». В доме опять зажегся свет.

В конце четверти Песаха вызвали к директору; тот сказал, что, если у Песаха не будет прогресса в учебе, его не допустят к экзаменам и ему нечего будет делать в классе. Несколько хороших учеников вызвались «подготовить» Песаха, хотя он никого об этом не просил. Он предпочел бы избежать этого, но где тут устоять перед массовым выражением всеобщей заинтересованности. После обеда с ним оставался кто-то из нас — помочь с домашним заданием и объяснить то, что он не понял на уроке. Эли Шапиро, взявший на себя ответственность за подготовку Песаха по математике, заявил, что Песах «вовсе не дурак». Одна девочка, родители которой приехали из Америки, пыталась учить его английскому. Арик был единственным, кого не коснулся всеобщий энтузиазм. Он сказал:

— Это сплошное лицемерие. Он не создан для учебы. Я еще понимаю,— хмыкнул он,— почему девочки так рвутся остаться с ним после уроков, но мальчики-то почему? Ведь он просто животное.

— Ничего подобного, Арик, он хороший парень,— возразила Наоми. — Просто у него есть проблемы, и мы обязаны ему помочь. Он уже стал

гораздо более общительным, он уже сближается с классом.

Вся эта бурная деятельность была Песаху в тягость. Забота, которой он внезапно оказался окружен, раздражала его не менее, чем дразнилки и насмешки, сыпавшиеся когда-то в его адрес, не говоря уж про тот благословенный период, когда он и вовсе был забыт. Тогда он спокойно переносил обиды, теперь он спокойно сносил восторги. Правда, внутренний голос подсказывал ему, что последнее более опасно. Он стал чаще улыбаться, показывая ряд желтоватых зубов; его глаза излучали странный зеленоватый свет. Девочки видели в этом добрый знак. Одна из них, которая оставалась с Песахом после уроков, обычно приводила с собой подругу, «чтобы не сплетничали». Тем не менее опять пошли слухи, и что было в них правдой, а что нет — никто не знал. Подруги исполнились таинственной важности, будто бы открыли в Песахе нечто такое, чего не знает никто. Самоуверенность Песаха таяла; в запретной черте, которую он так ревностно охранял, была пробита брешь, он был загнан в угол и ожесточался на глазах. Арик тоже обратил на это внимание.

— Они пытаются укротить дикого зверя,— заявил он,— и здесь есть три возможности. Если он даст себя приручить, то привыкнет к клетке и утратит свою природную силу. С другой стороны, дикий зверь так долго не протянет, он не сможет привыкнуть к жизни в клетке. И третья возможность — в один прекрасный день он набросится на дрессировщика и растерзает его.

— И что же, по-твоему, грозит Песаху?

— Первая возможность, самая худшая для него, и именно в ней-то все и заинтересованы.

— Я был уверен, что ты рассчитываешь на третью,— сказал я.

— Вот было бы здорово,— мечтательно произнес Арик, очевидно воображая эту картину.

Эли не согласился с Ариком. Отношения между ними портились на глазах. Эли стал часто критиковать Арика:

— Тебе всегда надо выделяться, быть особенным, оригинальным. Детские штучки. Желание выделяться происходит от неспособности принимать жизнь такой, какая она есть.

— Я думаю,— защищался Арик,— что лучше вижу реальность, чем ты, но главное — остаюсь верен себе.

— Неправда,— злился Эли,— ты во всем ищешь подоплеку и всяческие козни, а простых вещей не понимаешь.

Они стояли у доски объявлений напротив дома Эли, ждали Рахель, у которой был урок игры на фортепиано. Арик воспользовался ее отсутствием, чтобы поговорить с другом по душам, как когда-то.

— Мы уже не такие друзья, как раньше,— грустно произнес Арик.

— Но ведь уже все не так, как было раньше, Арик, ты не понимаешь? Все меняется, появляются новые обстоятельства.

— Было время, когда ты ценил мое мнение, когда тебе было важно меня выслушать. Теперь ты заведомо не согласен ни с чем. Иногда даже кажется, что ты боишься согласиться со мной, поскольку если ты согласишься, то тут же потеряешь часть своей независимости; получается вроде, что ты меня ненавидишь.

— Чепуха! — возразил Эли. — Просто, если я с тобой не согласен, я должен тебе это сказать. Или ты хочешь, чтобы ради дружбы я соглашался с каждым твоим словом?

— Все пошло кувырком с той ссоры,— сказал Арик,— и началось с

ничтожной глупости, которую ты раздул до небес.

— Арик, ты вел себя отвратительно, говорил не то, что следует, и, между прочим, сам в этом признался, когда пришел мириться и просить прощения.

— Когда-нибудь ты поймешь, что это Рахель рассорила нас, из ревности.

— Опять ты об этом? — угрожающе вскинулся Эли. — Уж если кто и ревновал, так не Рахель.

— Она не могла понять нашей дружбы, там для нее не находилось места, и она решила все испортить.

— Неправда, ты нравишься ей гораздо больше, чем думаешь.

— Но я тебе больше не нравлюсь.

— Не мели чепуху! Ведешь себя, как ребенок. Все — только тебе, и внимание, и ласка, и уважение. И чтоб ни с кем не делиться. Ты не понимаешь, что есть вещи посильней дружбы, они заложены природой, с ними нельзя совладать. Это титаны, с которыми можно только заключить союз, черпать в них силы и энергию; сопротивляться им бессмысленно. Все равно что вести заранее проигранную войну, и ты, Арик, такую войну ведешь. Когда ты это осознаёшь, ты впадаешь в истерику. И с Песахом та же история. Ну что тебе до того, что я помогаю ему, сближаю с классом, разве это за твой счет? За счет нашей дружбы? Чего тебе бояться?

— Когда-то мы думали, что наша дружба важнее всего остального,— горько проговорил Арик,— и ты тоже верил в это.

— Что значит «важнее всего остального»? Оставь эти детские представления. Будто есть шкала, по которой все мерится. На самом деле одно не происходит за счет другого. Мне нужна любовь, мне нужна дружба, мне нужно продвигаться в жизни, нужно помочь обществу и государству, и все для меня одинаково важно. Тот, кто посвящает себя чему-то одному, в конце концов сходит с ума. Только соблюдение равновесия, понимание масштабов событий дают нам возможность реализовать каждую из задумок. Ты не можешь смириться с тем фактом, что между мной и Рахелью существует связь. Вбей это себе в голову: я люблю Рахель и собираюсь связать с ней свою жизнь. Быть моим другом — значит быть и ее другом. Когда у тебя будет подруга, которую ты полюбишь, я буду к ней относиться именно так, и тогда ты, возможно, лучше это поймешь. Не знаю почему, но ты не хочешь взрослеть, ты хочешь навечно остаться в детстве, с клятвами верности и прочими фокусами. Но для меня это уже пройденный этап. Меня интересует будущее, а не наши старые игры. Прими это как факт.

— Если тебе еще что-то во мне не нравится, то скажи.

— Опять твои фокусы! Хорошо, скажу. Мне не нравятся две вещи. Во-первых, почему ты ушел из Движения?

— Это было после того, как мы поссорились...

— А Движение тут при чем?

— Я не хотел с тобой встречаться, я ненавидел тебя.

— Не я один был в ячейке.

— Но ты был моим лучшим другом. Это непонятно?

— Почему бы тебе сейчас не вернуться?

— Я не верю в эти идеи.

— А тогда — верил?

— Нет. Но я верил в тебя. Я поклонялся тебе, во всем тебе подражал.

— Что ты имеешь против социализма, например?

— А ты веришь в социализм? В равенство? От каждого — по способ-

ностям, каждому — по труду?

— Разумеется, а что в этом такого невероятного?

— Да то, что ты всегда, и по сей день, думаешь, что тебе полагается больше.

— Я не думаю, что я лучше других.

— Да ты и не собираешься строить социализм. Ты знаешь, что жизнь в киббуце не для тебя. Ты собираешься взять отсрочку на время учебы, а это значит расстаться с ячейкой на время службы в армии.

— Во-первых, всегда можно найти компромисс. И до армии еще полно времени, планы могут измениться. К тому же есть моменты, когда я могу быть полезен Движению.

— А я ничем не могу быть полезен.

— Ты злишься на меня за то, что я говорю тебе это. Но ты сам просил.

— Наоборот, мне интересно. А что второе?

— Перестань волноваться и спрашивать, любят ли тебя и тому подобное. Это ставит людей в неловкое положение, это противно и не по-мужски. Нужно чувствовать, любят тебя или нет, и если нет — не о чем говорить.

Эти слова попали в больное место. Арик знал, что Эли прав, и ненавидел себя за слабость. Он чувствовал, что не может продолжать беседу, так как неизбежно скажет что-то лишнее, о чем потом будет сожалеть. Он состроил клоунскую гримасу и прогнусавил:

— Эли, ты меня любишь?

— Да, дорогой,— подхватил игру Эли. — Я от тебя просто без ума.

Они оба рассмеялись, и тем разговору был положен конец.

Вскоре пришла Рахель. Арик отправился с ними в ячейку Движения. Там их уже ждала Наоми, как всегда деятельная и полная энтузиазма. Увидев их, она поторопилась сообщить новость:

— Вы знаете, у Песаха есть арабская свирель и он чудесно умеет на ней играть. Сегодня я помогала ему по литературе, и он вдруг достает из ранца свою свирель, пастушью свирель, знаете, бамбуковую, его брат привез из какой-то арабской деревни, которую они захватили во время войны. И он ее с тех пор бережет. Я попросила что-нибудь сыграть, он сыграл «Дабка рафиа»[1], и как сыграл! У него талант.

— Пусть придет со свирелью в ячейку, он здорово впишется в ваши пастушьи танцы — единственный нормальный номер в программе,— съязвил Арик.

Рахель рассмеялась:

— Арик, ты бы молчал, ты вообще не состоишь в Движении и не имеешь права критиковать.

— В самом деле,— шутливо поддержал ее Эли,— что это ты здесь делаешь? Тебе нельзя быть в ячейке после того, как ты предательски ее оставил. Кстати, почему ты ушел из ячейки?

Наоми чувствовала, что Арик не верит в искренность ее восторга по поводу музыкальности Песаха. Ей это было неприятно — ведь Арик не слышал, как он играет, откуда же в нем такая уверенность?

Арик и Наоми знали друг друга с детского сада, я же познакомился с ними в одном из начальных классов школы, когда с родителями вернулся в поселок. И даже в переходном возрасте, когда мальчики невольно отдаляются от девочек, отношения между ними не изменились. Они могли просто

[1] «Дабка рафиа» — народный арабский танец.

идти рядом друг с другом и молчать, не ощущая при этом никакой неловкости. Несмотря на, казалось бы, несовместимые характеры — Арик-циник и Наоми-романтик, они хорошо понимали друг друга, один мог почти безошибочно предугадать поведение другого. На полпути к дому они распрощались с Эли и Рахелью. Когда они остались вдвоем, Наоми сказала:

— Последнее время меня каждую ночь преследует какой-то кошмар. Мне снится, что я просыпаюсь утром, ничего не вижу и не понимаю, что ослепла. Я пытаюсь кричать, но у меня нет голоса. Никто не верит, что я ослепла, никто не хочет мне помочь, а я ничего не вижу и знаю, что зрение никогда не вернется. А когда проснусь, то вместо радости от того, что это был сон и я зрячая, я продолжаю находиться в ужасном отчаянии, словно сон продолжается где-то внутри меня и пробуждение — это всего лишь отсрочка.

— Надо поглядеть у Фрейда, может, там найдется объяснение,— сказал Арик холодно и несколько насмешливо.

Наоми знала, что Арик не любит слушать про сны, но у нее не было никого другого, с кем можно было бы этим поделиться. А не поделиться она не могла. Она никогда не открывала ему тайну своей мучительной любви к Эли. Неразделенная любовь продолжалась уже два года, она началась еще до того, как Рахель Химан переехала к нам. Часто Наоми не могла заснуть, всю ночь ворочалась в кровати, тихонько плакала и звала смерть. Ей казалось, что все несчастье заключено в ее некрасивом теле, и оно сделалось ее заклятым врагом. Она уверила себя, что ее, такую, никто не полюбит и она умрет старой девой. Стоило ей мысленно представить близость Эли с Рахелью, как охватывала такая боль, хоть криком кричи. Она знала — нет ни малейшего шанса добиться любви Эли, она просто изводит себя, бьется головой о стену, и все же она ни на шаг не отступала от непробиваемой стены. Унижение душило ее, это чувство преследовало ее всегда и везде — где бы она ни была, что бы ни делала, среди других и наедине с собой. Она не могла ни на чем серьезно сосредоточиться и потому хваталась за всякое дело с энтузиазмом и романтическим пылом, присущим ее натуре,— так она, весьма безуспешно, пыталась избавиться от ноющей боли. Два года назад, в самом начале ее влюбленности, все это было очень возвышенно. Любовь заполняла пустоту в ее душе. Она воображала себя героиней романа, наслаждалась тайной печалью и книжной идеей о том, что жизнь — это всего лишь туманный сон. Осознав, что у нее нет надежды на взаимность, она приняла решение жить этим внутренним переживанием, находить в нем прелесть, хранить свое чувство таким, каким оно было поначалу, и тогда оно будет вечно утолять жажду прекрасного и чистого. В скором времени она поняла, что оказалась в ловушке, что она больна опасной болезнью. Она отчаялась, прекрасное видение стало ее тюрьмой. Ночи напролет она рыдала, зарывшись головой в подушку, чтобы не услышали родители, спящие в соседней комнате. Единственными верными собеседниками были стихи, и те, что она читала, и те, что писала и запирала в ящике письменного стола. Она читала стихи, и порой до нее доносился дружеский голос, будто ниспосланный ей в утешение, будто кто-то вспоминал о ней в стихах, заботился о ней, понимал ее боль. Но и это не спасало от бремени павшего на нее заклятья.

— Я объясню тебе твой сон, — сказал Арик.

— Ну да? — усомнилась Наоми.

— Ты хочешь быть слепой, не считаться с реальностью и жить своим внутренним миром.

— Так почему же это так страшно и непереносимо?

— Потому что ты знаешь, что на самом деле все не так и ты себя обманываешь. Ты хотела бы быть слепой, действовать в соответствии с желаниями, а не с реальностью. Например, ты знаешь, что Песах со своей свирелью — это полная ерунда, однако стараешься убедить себя и нас в том, что он играет чудесно и что у него большой талант. По-видимому, это удовлетворяет твои благие намерения, во всяком случае те, что ты считаешь благими.

— Откуда ты знаешь, что он плохо играет, ты же никогда его не слышал!

— Достаточно послушать тебя. Но что хуже всего, так это ваше лицемерие, которым ты тоже заразилась. Вы думаете, что помогаете ему, в то время как наносите ему большой вред. Вы хотите, чтобы он стал как все. Но он не как все. Он другой, и это вам мешает. Вам нужно, чтобы все были одинаковыми, и точка. Вы не даете ему быть таким, какой он есть, стать таким, каким он должен стать. Вы разрушаете его, ведете себя с ним, как те хозяева, которые кастрируют кота, чтобы тот разжирел, отупел и стал бы им послушной игрушкой. Вы делаете из него героя, вы тащите его шаг за шагом к тому пьедесталу, с которого потом сбросите. С тех пор как он сделался красавчиком, вы прилагаете все усилия, лишь бы он не остался в стороне, со своей собственной жизнью. Вы понимаете только одно — власть. Или ты властвуешь, или над тобой властвуют. Но чтобы кто-то вышел из вашей игры — нет, такого допустить нельзя, тогда он станет слишком сильным и начнет вам угрожать. Вот почему общество ненавидит чужого, другого. Песах мне до лампочки, я терпеть не могу его и подобных ему типов, он животное и не больше, но то, что ты стала фальшивить, как все, это обидно.

— Почему ты все время говоришь «вы», «вы», «вы»? Разве сам ты не высмеиваешь его в своих юморесках и при каждом удобном случае не отпускаешь шуточки в его адрес?

— Я же сказал тебе, что не переношу его. И не скрываю своего отношения. Я не хочу перевоспитывать его, делать душой общества и так далее. Вы пытаетесь это сделать, а я это презираю и над этим смеюсь.

— Но ведь он сам хочет стать одним из нас, и это его неотъемлемое право. Он не зверь, он такой же человек, как все.

— Неправда, что он действительно этого хочет. Это вы соблазняете его. Вся эта суета ему льстит, он вне себя от счастья, все его любят, все к нему пристают. Да тут никто бы не устоял. Это я имел в виду под «кастрированным котом» — вы нарушаете саму природу данной особи, и теперь ничего не стоит эту «особь» сломить.

— То есть ты хочешь сказать, что нет никакой связи между нашими истинными намерениями и нашими действиями?

— Во всяком случае, нет никакой связи между намерениями и поступками. В этом я уверен.

Песах не раз мечтал о побеге в далекую страну. В его памяти еще живы были случаи из детства, когда он сбегал из дома, однажды он целый день прятался в саду на окраине, пока не нашли рабочие и не привели в поселок, где кто-то узнал его и вернул домой. Но он вырос, и мечты стали уносить его в другие края, еще более отдаленные, где можно отдыхать и делать то, что хочется. После того как он впервые ощутил влечение к противоположному полу, это убежище стало представляться ему берегом озера, где без-

заботно омывают свои прекрасные тела обнаженные женщины, вроде как на картине, которую он видел в магазине около большой синагоги. Он часто рассматривал эту картину, стараясь понять этих женщин, выбрать ту, что ему подходит. Позже, под впечатлением увиденных кинофильмов, место озера заняло ковбойское ранчо. Но чтобы попасть туда, надо сбежать отсюда. Он, ни разу не выезжавший за пределы поселка, обдумывал побег за тридевять земель; для начала он собирался спрятаться в трюме корабля, направляющегося за границу, в одну из арабских стран, а затем забраться в глубь какой-нибудь пустыни, где не ступала нога человека, и построить там все своими руками. Его планы всегда каким-то образом связывались с тайником, в котором отец хранил деньги. Однажды Менахем обратился к отцу за деньгами, и Песах, хоть и любил брата и сочувствовал ему, все же мечтал, что отец ему откажет.

— Откуда я возьму деньги, Менахем? — спросил отец.

— Я знаю, ты сидишь на деньгах и не хочешь мне помочь,— сказал Менахем, отодвинул стул от стены и сел рядом с отцом. Песах сидел на диване и с окаменевшим лицом следил за разговором.

— Я же не посылал тебя играть в карты и просаживать деньги. Кто проигрывает, тот пусть не играет,— ответил отец.

— Что ты мне мозги пудришь, какие карты? — взвился Менахем. — Мне нужны деньги, чтобы вложить их в дело. Партнер вкладывает свою долю, а мне не хватает. Ты хочешь, чтобы я лишился заработка? Мне тоже должно перепасть что-то от маминого наследства.

— От маминого наследства! — Из отцовского горла вырвался горький смех. — Пожалуй, тебе стоит вернуться туда, где ты был все эти годы. Они тебя еще не вылечили.

Лицо Менахема исказилось от гнева. Нельзя было напоминать ему о том месте.

— Ты дорого за это заплатишь! — закричал он на отца. — Да, дорого! — и он требовательно взглянул на Песаха: — Куда он кладет деньги?

— Не знаю,— соврал Песах, не раз бравший оттуда по мелочи, без спроса.

— Почему он не работает? — грозно спросил Менахем, указывая на Песаха. — Почему он тратит наши деньги и свое время в гимназии? Он бездельник. Или ты хочешь сделать из него профессора?

— Во-первых, это не наши деньги, а мои деньги,— спокойно поправил отец. — А кроме того, я хочу, чтобы он учился в гимназии. Он еще успеет наработаться.

Упоминание о «том месте» вывело Менахема из равновесия. Он озирался по сторонам, будто искал, на чем выместить свой гнев.

— Я могу работать,— сказал Песах,— но папа хочет, чтобы я учился.

— Даже если бы у меня было полно денег, я ничего бы тебе не дал,— дразнил отец Менахема. — Я знаю, на что ты потратил все, что получил от меня: на шмотки, на баб и на карты. Не для того я всю жизнь трудился. В твоем возрасте ты мог бы уже сам зарабатывать. Знаешь, сколько мы платили за то место, где ты был?

Менахем, как ужаленный, вскочил со стула, бросился на отца. Песах ринулся на помощь, но Менахем не отпускал отца, крича: «Я убью тебя, убью, честное слово!» Песах заломил ему руки за спину и с трудом оттащил его от отца. Лицо Менахема покраснело, глаза налились кровью. «Отпусти», — взмолился он,— я ничего ему не сделаю». Песах отпустил его, Менахем сел на стул, закрыл лицо руками и разрыдался.

— Если он думает, что поможет делу слезами, то ошибается. Мне это безразлично,— произнес отец.

Песах положил руку на плечо брату и попытался его утешить. Он любил его больше всех на свете и не мог вынести этого зрелища. Менахем перестал плакать и принялся бить кулаком по стулу.

— Что же мне делать? Что же мне делать? — твердил он вполголоса. Потом он обратился к Песаху: — Я задолжал, много задолжал, и не могу вернуть долг. Они не дают мне покоя, они посадят меня или просто убьют. Я боюсь показаться в Хайфе. Они меня разыщут. И тогда мне крышка, понимаешь?

Песах кивнул головой.

— Этому нет конца,— вздохнул отец. — В последний раз, когда я давал ему деньги, я сказал: больше не получишь. Все, хватит! Нету у меня денег! Что я, банк? Что ему от меня нужно? Пускай убирается из дома, чтобы духу его больше здесь не было!

Менахем отправился в ванную, вытер глаза и причесался. Затем он долго рассматривал свое лицо в зеркале. Надев пальто, он вернулся в комнату и посмотрел на Песаха.

— Он еще пожалеет об этом, попомни мои слова.

И Менахем ушел из дому, хлопнув дверью.

Одно время Песах представлял себе, что возьмет с собой в убежище Нехаму-проститутку. Нехама не была проституткой в полном смысле этого слова, но так ее прозвали в поселке. Она была из хорошей семьи, но в юности с ней что-то случилось. У нее вдруг прорезалось ненасытное желание любви. Она стала одеваться в дешевые вызывающие наряды, ярко краситься и каждый вечер ездить в Тель-Авив. Там, в одном из баров, она проводила весь вечер и возвращалась в родительский дом за полночь, запиралась в своей комнате и рыдала. В летние ночи, когда окна и ставни не закрывались, ее плач был слышен на улице. Ее родители в гордом молчании несли бремя позора, окружали Нехаму любовью и заботой. Когда-то она была хорошенькой девушкой, со светлыми волосами, тонкой талией. Годы нанесли ей непоправимый урон. Она сильно располнела, у нее обозначился двойной подбородок, она стала красить свои потемневшие волосы, из-за чего они утратили свежесть и мягкость, и когда она шла, переваливаясь на тоненьких каблучках, то походила на грубое, похотливое животное. С Песахом она познакомилась, когда ей было уже под тридцать.

Это случилось через несколько дней после смерти его матери. Она спускалась с холма по тропинке, а Песах наблюдал за ней, прислонившись к забору. Она вызвала у него острое желание, не столько своим внешним видом, сколько явственно сквозившим в ее взгляде обещанием дать Песаху то, о чем он мечтал дни и ночи напролет. По части таких взглядов она была мастерицей. Остановившись, она тоже прислонилась к забору и сняла туфлю, якобы собираясь вытряхнуть из нее крошки гравия. При этом она пристально оглядела его.

— Рыжик, ты здесь живешь? — спросила она. Он кивнул и улыбнулся ей, что взволновало ее. Она сказала ему, что заблудилась и не знает, как вернуться в центр поселка. Песах верно истолковал ее слова и повел ее в сад, в тот уголок, куда никто обычно не заглядывал. Нехама набросилась на него, как будто хотела проглотить живьем. Когда вечером он вернулся домой, то знал, что не сможет без нее жить. Она выходила на тропинку чуть ли не каждый день, он ждал нетерпеливо и с опасением, что надоест ей и она больше не придет. Когда началось его сближение с классом, он по-

нял, что в нем есть нечто, чего нет в других мальчиках и что влечет к нему девочек, и стал меньше ценить Нехаму, хотя и считал, что обязан ей пробуждением в нем мужчины, и думал, что если перестанет с ней видеться, то все пропадет. То, что он просто хорош собой, он не сознавал. Он продолжал встречаться в саду с Нехамой, и со временем это вошло в привычку. Однажды она попросила у него денег. Он встал и посмотрел сверху на ее тело, бьющееся на земле в судорогах ненасытного желания. Его охватила ненависть и отвращение к ней, он пнул ее ногой и сказал: «Пошла к черту!» Пораженная его реакцией, она просила его вернуться, но он уже одевался, стараясь не глядеть в ее сторону. «Дурачок, я же пошутила!» — позвала она его. Одевшись, он снова пнул ее ногой и послал к черту. Нехама зарыдала, а он повернулся и ушел домой. С тех пор он ее не видел, он больше не нуждался в ней.

Поздней ночью, когда Песах и его отец уже спали, их разбудили полицейские. Менахема поймали при попытке ограбления магазина строительных материалов. Назавтра утром они отправились навестить его в полицейском участке. Лицо Менахема было бледным, ничего не выражающим, его опухшие глаза смотрели куда-то вдаль. Он зажал уши руками, словно пытаясь защититься от невыносимого шума. Все было как в тот день, когда его забрали в то место.

Равнина Шарона была покрыта грязью. Куда ни глянь — грязь. Поля, зеленеющие деревья, домики утопали в море темно-серой грязи. Вода после дождей, ливших в последние недели, не впиталась в землю, и посреди бурых просторов местами блестели озерца, словно окна в небе. В военном грузовике, на котором мы ехали, сидел незнакомый нам тощий усатый солдат в вязаной кипа[1]. Его назначили нашим вожатым. Он был в веселом настроении и кричал, пытаясь перекричать смех и разговоры: «Курсанты! Может, споем что-нибудь?» И он, как дирижер, взмахнул рукой и запел: «Говорил рабби Акива, говорил рабби Акива: на трех вещах стоит наш мир...» Мы этой песни не знали, и на мгновение воцарилась тишина; потом мы засмеялись, и он с нами. Его звали Игаль, он был выпускником сельскохозяйственного училища в Пардес-Хане, ему поручили руководить нашей работой. Нам надлежало посадить эвкалипты в одном из военных лагерей Шарона. В этот период вся страна лихорадочно высаживала эвкалипты. На нашу долю выпала особо важная и сверхсекретная задача: наши эвкалипты должны были замаскировать лагерь от зоркого глаза врага. Эта работа в рамках «национальной службы» и военной подготовки была рассчитана на три дня. Все мы понимали важность задания и относились к нему с полной серьезностью, разумеется за исключением Арика, который сразу же полез с вопросом:

— Это будет для них опознавательным знаком — где увидят эвкалипты, там и будут бомбить, так получается?

— Нет! — сказал Игаль,— со временем вся наша страна покроется эвкалиптами, как зеленой завесой, и они сверху ничего не разберут.

Было радостно представлять себе, что вся страна станет большим эвкалиптовым лесом. Эли достал из футляра аккордеон и стал играть нам наши любимые песни, и мы с воодушевлением пели, забывая о страхах, внушаемых неизвестным будущим. Все мы были одеты в старое барахло и

[1] Кипа́ — маленькая круглая мягкая шапочка наподобие тюбетейки, которую носят религиозные евреи.

обуты в высокие сапоги, хорошая одежда была сложена в рюкзаки в соответствии с полученным приказом. Я никогда не видел моих одноклассников в таких странных, жалких нарядах. В паузе между песнями вдруг отчетливо послышался голос Арика, изображавшего немощную, измученную старуху: «Ой-вей, евреи! Куда они везут нас? Что с нами сделают? Сказали, что везут работать, но они всегда так говорят. Господи, помилуй нас!» Все рассмеялись, один Игаль нахмурился, но ничего не сказал. Грузовик свернул с Шаронского шоссе и ехал теперь по узкой боковой дороге, среди цитрусовых плантаций и аллей кипарисов и акаций. Песах высовывал голову из кузова,— он сидел в самом конце грузовика,— его рыжий чуб раздувало ветром, и волосы лезли ему в глаза. Небо было голубое, безоблачное, повсюду был рассеян мягкий свет начинающейся весны. Пьяняще пахло цветущими апельсиновыми деревьями.

Скоро мы оказались у лагеря. Машина въехала в ворота и остановилась, нам было велено выходить. Неподалеку от ворот стоял солдат и жег в железной бочке какие-то бумажки.

— Евреи! — закричал Арик дурашливым голосом. — Гетто горит!

Игаль дал команду построиться. Мы построились, он стоял перед нами,— ноги широко расставлены, руки скрещены за спиной,— прямой, неумолимый, властный.

— Вы находитесь на военной базе! — заявил он. — С этого момента здесь будет полная военная дисциплина. Вы ничем не отличаетесь от солдат. Тебя как зовут? — спросил он, указывая пальцем на Арика. Арик невнятно проговорил свое имя. — Выйди из строя и подойди ко мне,— сказал он Арику. Арик подошел. — Я не расслышал твоего имени,— сказал Игаль. Арик громко повторил имя. — У тебя дурацкие шутки, понял? — напустился на него Игаль. — Я слышал, что ты сказал в машине. Ты, наверно, чокнутый, если можешь острить на такие темы. За такое я мог бы отдать тебя под трибунал, но на этот раз прощаю. Может, ты еще не понял, что такое армия. Как ты смеешь так шутить? Для тебя нет ничего святого? Никто тебя сюда ехать не заставлял. Если хочешь, можешь убираться сейчас же. Но коли ты остаешься здесь, заткнись и веди себя как все.

Арик молчал. На его устах появилась тонкая улыбочка, а глаза как бы говорили: «Жди следующей шутки».

Нас было человек тридцать, жить нам предстояло в бараке, длинном и приземистом,— мальчики в одной стороне, девочки — в другой, а в центре будет пусто, вроде пограничной зоны. По всей длине барака, рассчитанного солдат на пятьдесят, с потолка свисал ряд голых лампочек. Каждый занял кровать, положил на нее свои вещи. Я был рядом с Ариком, Эли — за ним. Арик внимательно наблюдал за тем, как мы разбираем свои вещи,— этакие чучела в немыслимых робах и сапогах.

— Глянь-ка,— сказал он Эли,— маленькие польские беженцы!

— Будь поосторожнее,— предостерег его Эли,— он здесь ходит и все слышит. Лучше прекрати эти шутки: он уже приметил тебя и может навредить.

— А мне он и вся его армия до фонаря,— произнес Арик вызывающе. — Не будь наивным. Он ничего мне не может сделать. Мы никакие не солдаты, он просто пытается нас запугать.

— Это правда,— сказал Эли,— но навредить он способен.

Вскоре Игаль вывел нас из казармы, построил по трое и повел в конец лагеря. Мы стояли под железным навесом посреди широкого поля, огороженного с трех сторон колючей проволокой; ноги утопали в жидкой грязи.

Под навесом было несколько сот ржавых жестянок с саженцами эвкалиптов и множество лопат и мотыг. В воздухе стояло приятное тепло. Лагерь выглядел уродливым и запущенным — старые деревянные бараки на фоне темной, густой грязи. Мы ощущали запахи цветущих деревьев, но не видели ни садов, ни полей, разве что самый краешек, за лагерем, на горизонте. Мы выстроились вдоль тонких веревок, натянутых для обозначения места будущих посадок. Мальчики рыли в земле ямы, девочки опускали туда саженцы и утрамбовывали землю вокруг. Сапоги тут же покрылись грязью, а вскоре, ко всеобщему восторгу, грязью была заляпана вся наша одежда.

В полдень нас повели в столовую, где в это время обедали солдаты. Мы смотрели на них с неприязнью. Они были не такими, какими мы привыкли воображать себе солдат; большинство были новыми репатриантами, низкорослыми и угрюмыми. Им было неловко в мундирах не по росту, говорили они на плохом иврите. В их облике было что-то мрачное, таких людей нам еще не доводилось встречать. Они походили скорее на пленных или на заключенных с пожизненным сроком, но уж никак не на военных. Кроме них, в столовой была группка настоящих солдат — мужчин и женщин, небрежных и беззаботных.

После обеда организовали соревнование. Игаль объявил, что пара, которая в заданное время высадит наибольшее количество саженцев, получит награду. И он показал нам бронзовый значок, на котором была изображена лопата, обвитая веткой, по-видимому эвкалиптовой. Каждый мальчик выбрал себе напарницу, и Игаль дал знак приступать. Скоро Песах с напарницей оказались далеко впереди всех в своем ряду. Песах перескакивал с места на место и копал лунки с дьявольской быстротой. Как только он замечал, что напарница отстает от него, тут же бросался ей на помощь. Потом несся назад и продолжал рыть свои лунки. Это было здорово! В слаженных действиях лопаты и его тела были гибкость, точность и изящество танца. Мы приостановили работу и наблюдали за ним. Даже вожатый Игаль с изумлением вытаращился на него и заявил, что такого и в сельскохозяйственном училище Пардес-Ханы не видывал. Песах с напарницей закончили свой ряд, выпрямились и посмотрели на нас издалека. Девочка тяжело дышала, Песах же разразился победным смехом. Мы впервые увидели, как он смеется, от всей души, громким раскатистым смехом — до этого знали лишь его улыбки и молчание.

Вручение награды состоялось, когда все закончили работу. Песаха обступили со всех сторон, каждый считал своим долгом похвалить его, похлопать по плечу, а он знай себе хохотал. В такие минуты в нем что-то раскрывалось, он излучал радость и силу. Похоже, он впервые чувствовал себя одним из нас. Игаль, как и положено по церемониалу, выстроил нас по трое, а победителей поставил лицом ко всем. Когда он подошел к Песаху, чтобы приколоть значок к отвороту его рубахи, Песах снова заливисто засмеялся, будто все происходящее казалось ему игрой, которую он не принимал всерьез.

Вечером мы вернулись в барак и уселись каждый на своей кровати. Арик лежал пластом и выглядел больным. Несколько девочек запели русские песни на два голоса, Эли пошел к ним с аккордеоном. Постепенно все перебрались туда. Песах лежал поперек кровати, положив голову на колени одной из девочек; он прикрыл глаза и отбивал ритм ногой. Я спросил Арика, что с ним. Арик снял очки и положил их на подоконник в изголовье. Он потер покрасневшие, будто от слез, глаза и пожаловался на головную боль. В пору цветения ему обычно жжет глаза, объяснил он. Мне

это показалось странным, но я подумал, что это должно быть как-то связано с его загадочной болезнью, и попытался расспросить его про нее, но он уклонился от ответа.

На половине девочек нарастало воодушевление. Было решено сдвинуть кровати в одну, огромную, и теперь все лежали на ней вперемежку, развалившись, опираясь друг на друга, некоторые мальчики даже обнимали девочек за плечи. Эли сидел в центре, перебирал клавиши аккордеона, из мехов которого лились полные сладостной печали мелодии русских романсов. Рахель Химан положила голову ему на колени и рукой дирижировала нашим «хором».

Мне хотелось как-то поднять Арику настроение. Я указал туда, где жили девочки.

— Помнишь, ты как-то говорил, что общество должно предоставить молодежи условия для свободной половой жизни, — наконец это свершилось.

Арик улыбнулся, но оборачиваться в ту сторону не стал.

— Знаешь,— сказал он,— в примитивных обществах подростки проходят обряды инициации, посвящения, их выводят за территорию племени в специальное место, и старейшины племени объясняют им, что можно, что нельзя, как вести себя с женщиной, и все это в рамках обрядов и религиозного культа. Так они становятся мужчинами. Когда они оттуда выходят, они могут спать с любой свободной девушкой. Здорово, да? А у нас — эвкалипты и песни молодежного движения.

Я присоединился к поющим. Меня влекло единство. Наоми пела, прикрыв глаза, с чувством. Она заметила меня и, взглянув в сторону Рахели Химан, прошептала мне на ухо, чтобы не помешать пению: «Посмотри, какая она красивая». Рахель сидела в центре, склонив голову к ногам Эли, ее длинные распущенные волосы ниспадали на плечи, у нее была длинная тонкая белая шея. Не по размеру большая рубашка цвета хаки, скорее всего одолженная у старшего брата, добавляла ей привлекательности. Тонкие белые носки доходили ей до колена. Большие, черные, слегка раскосые глаза смотрели мечтательно и задумчиво. Эли, сидевший позади нее, улыбался своей спокойной, широкой, греющей сердце улыбкой. Вдруг одна из девочек жалобно вскрикнула: «Песах пристает!» На что Песах со смехом возразил: «Нет, тебе кажется». И добавил: «Ты, может, и не прочь, да мне-то не хочется». Вступилась ее подруга: «Не ври, я все видела!» — и обе девочки залились смехом и стали шушукаться.

Песах сказал: «Я за своими руками не слежу, это дело той, кто окажется рядом».

Однако девочки от него не отсели.

Игаль вошел в барак. По всей видимости, наша компанейская атмосфера пришлась ему по душе. «Ребята, отбой!» — крикнул он. Все стали расставлять кровати по местам, компания распалась. Игаль вынул из кармана тонкую веревку, такую же, какой было огорожено место для посадки эвкалиптов, и натянул ее посередине барака. На веревку он набросил одеяла. Получилась ширма, отделявшая нас от девочек. Игаль отошел, чтобы осмотреть свое произведение, и остался им доволен; но тут он заметил Арика, лежавшего в одиночестве на кровати и не веселившегося вместе со всеми в девчачьей части барака, и подошел к нему.

— Что с тобой? Почему ты не со всеми?

— Неохота,— усталым голосом произнес Арик.

— Ты что сюда приехал — понижать моральный уровень коллектива?

Арик не отвечал ему. Эли, наблюдавший за ними издалека, заподозрил неладное и примчался на помощь.

— В чем дело? — поинтересовался он. — Он уже чего-нибудь наговорил?

Игаль рассмеялся:

— Чего ты каждый раз бросаешься его защищать, ты что, его телохранитель?

Вожатый подождал, пока все угомонятся и улягутся, пожелал нам спокойной ночи, погасил свет и ушел. Как только закрылась дверь, сразу же начались разговоры и смех — похоже, никому не верилось, что мы и впрямь будем спать в этом бараке. Вдруг дверь распахнулась, зажегся свет, и мы увидели Игаля. «Отбой — это значит полная тишина! — воскликнул он со злобой. — Кто скажет хоть слово после того, как я выключу свет, вылетает из барака и идет спать с шин-гимелями[1]». Некоторое время он стоял молча, при свете, видимо, для придания весомости своим словам. Потом погасил свет и, потоптавшись в темноте, вышел. Угроза оказала воздействие — все испугались загадочных шин-гимелей, с которыми так ужасно спать. Думаю, всем, включая меня, представились угрюмые, будто преследуемые чужеземцы, новые репатрианты, которых мы видели в столовой и возле бараков.

Воцарилась тишина. Слышно было лишь дыхание, покашливание и скрип кроватей. Мне что-то взгрустнулось, и я никак не мог заснуть. Армейские шерстяные одеяла были колючими и воняли солдатским потом. Да и кровать была неудобная. Раздавалось кваканье лягушек, которое почему-то всегда сопровождало мою первую ночь вне дома. И всегда эта ночь была какой-то грустной и полной сожалений. Я обнаружил любопытный факт: все у меня повторялось, будто время поставило перед моей жизнью зеркало. Из всех походов и экскурсий мне хорошо запомнилась школьная экскурсия, в которую мы поехали после окончания начальных классов. Это была экскурсия в Галилею, мы ночевали в лесу под открытым небом в местечке Табха, на берегу Киннерета[2], и такое же мерзкое кваканье лягушек прорезало тишину ночи, и мне было так же грустно, и так же я не мог уснуть. События прошедшего дня и то, что будет завтра, — все казалось скучным и тягостным. Кругом слышалось ровное дыхание; все, кроме меня, погрузились в сон. За окном виднелись фонари, их бледный свет падал пятнами на пол барака. Раздался смех, клацанье ботинок с железными набойками по бетону, разговор на арабском, постепенно удалявшийся и наконец стихший. И снова лягушачий ансамбль, исполняющий свою скрипучую трескотню с каким-то дьявольским усердием. Я мысленно перенесся в свою комнату, к родителям и братику, которые в этот час спали блаженным сном. Вдруг я обратил внимание на движение справа от меня. Я повернул голову и увидел, как Эли, которого отделяла от меня кровать Арика, осторожно стянул с себя одеяло, приподнялся в кровати и оглянулся. Затем он тихо встал, стараясь не шуметь, и некоторое время стоял неподвижно в одних трусах. Оглядев оба ряда кроватей, Эли убедился, что все уже спят; я тоже притворился спящим. Я видел, как его тень прошмыгнула за занавес из одеял. Через минуту он вернулся с Рахелью, на теле которой были две светлые полоски — трусы и лифчик. Они несли на плечах одеяла, простыни и одежду Рахель. Подойдя к ничейной территории посреди барака, они сло-

[1] Шин-гимель — охранник, в переносном смысле козел отпущения, «стрелочник».

[2] Киннерет — в русской традиции Тивериадское, или Генисаретское, озеро.

жили свой груз на одну из пустых кроватей. Постелили себе в полном молчании, легли и укрылись с головой одеялом. Я следил за ними краем глаза. Это было похоже на сон. В двух тенях, стеливших свое ложе бесшумно и ловко, чудилось нечто божественное. Их кровать была далеко от меня, я не мог уловить ни звука, ни движения под покрывавшим их одеялом. Но я чувствовал, как их присутствие наполняет мое сердце и весь темный барак туманной, загадочной красотой и страстным, неодолимым желанием. У девочек открылась дверь, и чья-то тень скользнула в нее.

Я перевернулся на другой бок, к кровати Арика. Его кровать была примерно в двух метрах от моей, Арик лежал головой к окну, бледный свет был разлит на его лице. На одеяле светился циферблат его часов; его глаза блестели в темноте. Я хотел сказать ему что-нибудь, поделиться с ним своими чувствами, но, увы, на таком расстоянии было невозможно перешептываться и не быть услышанным другими.

Наоми видела, как Эли подошел в трусах к Рахели. Рахель ждала его, и, как только его лицо возникло в просвете между одеялами, она привстала с постели. Сердце Наоми бешено билось. Казалось, кровать подпрыгивает в такт сердцебиению. Нет, только не это! Она молила Бога — только не здесь, не на моих глазах. Рахель быстро встала, собрала простыни и одеяла, накинула их Эли на плечи, взяла свою одежду, и они оба исчезли за занавесом. Наоми не знала, куда они направляются, но их силуэты стояли перед ней, словно отпечатанные на хрусталике глаза, и она не могла от этого избавиться. Она видела, как он обнимает ее и целует в губы. Ласки длились долго, и Наоми зажмуривала глаза, пытаясь справиться с нестерпимой болью. Но они продолжали стоять перед ее глазами, обнимаясь в истоме желания.

Ей было жарко, и вместе с тем ее бил озноб. Откинув одно из двух одеял, она перевернулась на другой бок. Было душно, голова налилась тяжестью. Она пыталась отвлечься, повторяя про себя любимые строфы, столь близкие ее душе, в надежде, что они смогут перенести ее в иные края, края покоя и чистоты:

Теперь моя душа исчезнет в мире этом.
Ты для меня один — лесной, тернистый путь.
О, если бы ты знал — меж ночью и рассветом —
Как в дверь твою стучусь, чтобы тебя вернуть![1]

Но и стихи не помогли ей. Ее тошнило. Завернувшись в одеяло, она тихонько пробралась к двери и вышла. Небо было светлым и холодным. В туалете ее вырвало. Придя в себя, она подошла к крану у бетонного фундамента барака и умылась. Стало немного легче. Она села на бетон, посмотрела на часы, подняла голову к небу и глубоко вдохнула ночной воздух, чтобы набраться сил. Она долго сидела, глядя в небо, пытаясь там найти убежище для своих мыслей, пробовала думать о чем-то совершенно далеком — все было тщетно. Она попыталась встать — ноги словно приклеились к бетону. Куда бы пойти? Сидеть на месте становилось невыносимым. Сердце все еще колотилось и рвалось из груди. Нет, на этот раз она не выдержит. Уткнувшись головой в одеяло, она пыталась заплакать, но боль душила и не давала слезам пролиться. Так она и осталась сидеть, в той же позе, уткнув голову в одеяло. Видение пары обнимающихся теней вновь возникло перед ней. А что, если так и остаться, навсегда, под одеялом —

[1] Стихотворение Н.Альтермана. *Перевод Лиоры Кнастер.*

как в плотном мешке, не пропускающем ни света, ни звука, ни воздуха,— и постепенно исчезнуть там, поскольку здесь для нее — не жизнь, а других мест нет; не стоит подслащать горечь, обманывая себя каким-то высшим конечным смыслом. Под этим одеялом все пути перекрыты, а мир снаружи крошится, превращается в прах, и остаются лишь две тени, соединяющиеся в темноте, на перепутье всех дорог.

Она пытается отвернуть края одеяла, но руки ее не слушаются; локти прижаты к животу. Она не может заставить их двигаться. Может, так и начинается медленное, неожиданное угасание. На мгновение вспыхнула надежда на покой и свободу, но это длилось недолго и сменилось внезапным страхом, поднявшимся откуда-то из глубины ее существа. По телу прошла дрожь, то ли оттого, что не хватало воздуха, то ли от страшной мысли. Руки одним махом отбросили одеяло. Ночной воздух источал прохладу, в которой улавливался сильный, чистый запах цветущих деревьев. Ее качнуло, она открыла глаза и всей грудью вдохнула воздух. Страх, только что вонзивший когти в ее душу, отступил, и в ней пробудились бездействовавшие доселе источники силы и желание во что бы то ни стало одолеть боль. Сердце понемногу умерило свой бег. Еще некоторое время она продолжала сидеть, пока не почувствовала, что ее охватывает усталость. Взглянув на часы, она с удивлением обнаружила, что прошло всего лишь двадцать минут, а казалось — несколько часов, и что скоро начнет светать. Она знала: теперь ей удастся заснуть. Она вернулась в барак. Дав глазам привыкнуть к темноте, она огляделась. Подруги были погружены в глубокий, ровный сон. Кровать Рахели все еще пустовала. Наоми скинула с себя одеяло, постелила его на кровать, забралась в постель и закрыла глаза. Наконец-то тени влюбленных оставили ее в покое. Наоми было хорошо знакомо это ложное ощущение спокойствия, возникающее вдруг после изматывающего спора или минут отчаяния. Неустойчивое, как мираж в пустыне. И все же Наоми оставалась верной своим миражам.

Я проснулся, едва забрезжил свет. Все еще спали. Кровать, где лежали Рахель и Эли, была пустой. Эли мирно спал около Арика, и у меня зародилось подозрение, что все увиденное ночью было сном. Арик похрапывал. Его рука, безвольно свисавшая с кровати, казалась рукой мертвеца. Увидев часы на запястье, я вспомнил светящиеся в темноте цифры и блеск глаз Арика и понял, что он тоже был свидетелем. Я с содроганием вспомнил вчерашний вечер и снова подумал о предстоящем — еще два дня и две ночи. В противоположном ряду спал, разинув рот и укрывшись по пояс, Песах, на его грязной рубахе красовался значок озеленителя. За ширмой из одеял началось какое-то движение, кто-то там проснулся и вышел. Я не чувствовал в спящих вокруг меня той теплоты и сердечности, которые связывали нас прошлой ночью, когда мы пели. Все вдруг показались мне такими чужими, а пребывание здесь — незаслуженной каторгой. Я лежал довольно долго, пока Игаль не вошел в казарму и не разбудил нас громогласным «добрым утром». Заспанные ребята высунулись из-под одеял — этакие великомученики, вернувшиеся из тяжелого похода. Смеха и разговоров не было. Эли поднялся первым, серьезный, почти угрюмый. Захватив с собой туалетные принадлежности и полотенце, он вышел. Арик снова заснул. Я разбудил его, и он сказал: «Да, маленьким польским беженцам пора вставать». Когда чуть позже нас построили в ряд, я увидел, что на всех нас лежит печать уныния. Видимо, не один я так паршиво себя чувствовал. Вскоре я заметил, что Эли и Рахель держатся порознь. Даже в столовой, за завтраком, Эли сидел с

нами, а она — со своими подругами. Что могло произойти между ними этой ночью? Время от времени Эли бросал в ее сторону косой взгляд, но тут же отводил его и замыкался в себе. Арик, самый близкий друг Эли, видевший его в разном расположении духа и, возможно, знавший причину его сегодняшнего поведения, не задавал ему вопросов.

Мы вышли на участок. Работа шла медленно и вяло. К полудню к нам подошли две девушки из солдат посмотреть на Песаха за работой. Судя по всему, это были приятельницы Игаля, которым он рассказал о нашем состязании. Они решили убедиться в правдивости его слов. Однако и Песах работал без особой прыти. Они подошли к нему, и он с любопытством оглядел их. Во взгляде одной из девушек, полноватой блондинки приятной внешности, он уловил знакомое выражение. Он сузил глаза и, опершись кулаком в бок, улыбнулся ей своей загадочной улыбкой. Девушка тоже улыбнулась и сказала: «Послушай, рыжик, покажи нам, пожалуйста, как ты вчера работал». «Сейчас мне неохота, сейчас мы не соревнуемся», — смеясь, возразил ей Песах.

За обедом Песах уселся рядом с ней, ел за солдатским столом, ничуть не смущаясь. Он заметно оживился. В отличие от него Эли за все это время не проронил ни слова, всем своим видом демонстрируя печаль. Он постоянно ловил на себе взгляд Наоми и в конце концов, не выдержав, гневно сверкнул на нее глазами. Рахели в кругу подруг было легче скрывать свои чувства, но и в ее глазах сквозила грусть. Я посмотрел на них обоих. В их размолвке мне тоже чудилась призрачная лунная красота, это был просто иной образ тех же самых обнаженных силуэтов, двойники Эли и Рахели. Я не стал обсуждать это с Ариком, и вовсе не из опасения заслужить насмешки,— я дорожил ночным видением и боялся разрушить его тайну словами.

Вечером, вернувшись в казарму, мы снова сдвинули кровати и принялись петь, но того проникновенного пения не получалось. Мы стали просто болтать, и Арик, чье настроение за день явно успело улучшиться, блистал юмором. Особенно изощренно он остроумничал насчет бессознательного влечения девочек к красавцу Песаху. Мы упрашивали его сочинить шутки, стишки и юморески к прощальному вечеру. Арик согласился, но только с условием, что его освободят от работы. Наоми, ответственная за вечеринки и развлечения, пообещала уговорить Игаля. В казарме снова воцарилась приятная, дружеская атмосфера, хотя Эли и Рахель продолжали сидеть далеко друг от друга и между собой не разговаривали. Внезапно Песах встал, направился к кровати и накинул на себя свой серый пиджак. Догадываясь, что у него назначено свидание с белокурой девушкой-солдатом, мы с улыбкой наблюдали за ним. Прозвучало несколько незлобивых шуточек. В ответ на это Песах не рассмеялся, как это было в последнее время; напротив, он швырнул пиджак на кровать и одарил нас взглядом, полным отчаянной злобы. Это был тот же, прежний дикий зверь, яростно охраняющий свою территорию, чужак, исполненный враждебности к окружающему и готовый в любой момент отразить нападение. Он опять перестал быть одним из нас. Песах пересчитал нас глазами, поклонился, взял пиджак и вышел.

Мы изумленно переглянулись.

— Что это с ним? — спросила Наоми. — Вы видели, с какой ненавистью он смотрел на нас? — В ее голосе звучала неподдельная обида.

— Он нас действительно ненавидит, и за дело,— сказал Арик. — Мы сводим его с ума.

— Что плохого мы ему сделали, ну что именно? — спросил его Эли с демонстративной иронией.

— За несколько месяцев мы изменили свое отношение к нему: он был ничем, а стал всем. Думаете, к этому можно привыкнуть?

— Так ведь это он изменился! — воскликнула Рахель Химан. — И это мы не успели к этому привыкнуть.

— Все мы изменились,— задумчиво проговорил Эли. — И всё изменилось.

Трудно было понять, доволен он этим фактом или нет. Мне показалось, что эти слова относились к тому, что происходило с ним самим. Рахель взглянула на него, как бы спрашивая: «В самом деле?» Арик потупил взгляд, словно боясь встретиться глазами с Эли. Я чувствовал, что они втроем хранят неизвестный мне секрет, и уже не мог довольствоваться таинственностью,— я хотел знать разгадку. Они говорят про Песаха, при этом подразумевают что-то другое, весь их разговор составлен из тайных знаков, в которых закодировано нечто, известное только им. Было очень обидно, что меня оставили в стороне.

— Сил у него как у мужчины, а мозгов как у ребенка,— пошутила одна из девочек и громко рассмеялась.

— Неправда! — возразила Наоми. — Ты его не знаешь. У него такие же мозги, как у всех нас.

— Иногда он смотрит на нас с таким презрением и сочувствием, как будто мы глупые малютки,— сказал один из мальчиков.

— Стать взрослым,— начал Эли,— это значит пробудиться от грез. Я не говорю, хорошие эти грезы или плохие, но очнуться от них надо.

— Пробудиться от грез,— сказал Арик,— это значит предать их.

Эли нахмурился, будто не понимая смысла его слов. Он недоверчиво взглянул на Арика:

— А разве у человека есть какие-то обязательства перед мечтой?

— Мечты — это самое глубокое и настоящее, что есть в человеке,— сказала Наоми.

— На практике они никак не связаны с повседневной жизнью,— заявил Эли. — Они только мешают думать, мешают логике.

— Но жизнь — это не только логика и правильное мышление! — воскликнула Наоми. — Чувства оказывают не меньшее влияние, чем разум, а может, и большее; между ними постоянно идет война.

— И очень плохо,— сказал Эли. — Не завидую тому, с кем это происходит.

— У некоторых людей вообще нет чувств,— сказала Рахель с недвусмысленным намеком. — Это врожденный порок, как дальтонизм.

Арик встал с места.

— Мне показалось, что я хочу по-большому.

— Не предавай своей мечты,— рассмеялся Эли. За этот день — впервые.

Арик вышел на улицу, во тьму. Прохлада загнала немногих солдат, бывших в лагере, в жилые помещения, огоньки которых были рассеяны по пустой, серой грязи. Вдалеке он увидел двух охранников, патрулирующих вдоль ограды с ружьями за плечом. Судя по бурной жестикуляции, они вели интересную беседу. Голосов их не было слышно. Вскоре они скрылись за одним из домишек. Арик рассмеялся про себя от пришедшей ему в голову озорной мысли: а что, если сейчас взять да повыдергать из земли сотни эвкалиптов, посаженных за эти два дня? Завтра утром все бы это

увидели... Сотни маленьких эвкалиптов корнями кверху! Он расхохотался, представив выражение лица Игаля при этом. Арик шел по грязной дороге. Групповые задушевные разговоры, которые в последний год участились, были ему противны; завершались они спором о существовании Бога. Арик жалел, что не ушел сразу и зачем-то сказал про предательство по отношению к мечте. Ноги сами вели его по направлению к эвкалиптовому участку. У навеса с саженцами он заметил чью-то фигуру: кто-то сидел, прислонившись спиной к деревянному столбу. Подойдя поближе, он узнал Песаха. Ему стало неловко: вдруг он спугнул белокурую девушку, помешал их уединению. Но Песах был один. Он узнал Арика и грозно окликнул его:

— Чего тебе надо?

— Ничего,— отозвался Арик. — Я просто проходил мимо, не знал, что ты здесь сидишь.

— Теперь знаешь, — буркнул Песах.

Арик отвернулся и пошел обратно.

— Подойди на минуту, — позвал его Песах.

Арик вернулся.

— Я давно хотел тебе врезать, но знал, что ты слабак, и сдерживался.

— Почему ты хотел мне врезать?

— Ты меня раздражаешь своими остротами.

Арик промолчал. Песах сидел, оперев локти на колени, в его глазах был кошачий блеск.

— Я тебя ненавижу, — сказал Песах.

«Как могут слова причинять физическую боль? — подумал Арик. — Может, они обладают независимой ранящей силой? И важно ли тогда, кто именно их произносит? Или у меня такая неутолимая жажда всеобщего признания, что мне небезразлично даже отношение Песаха? Или я, как и все, зачарован Песахом?»

— Это из-за того, что я слабак?

— Нет. Ты все время норовишь поддеть. И тебе не стыдно. Ты думаешь, что ты самый умный. Что, я не чувствую, что надо мной смеются? Знаю, что все смеются, но мне до лампочки. Ты думаешь, над тобой не смеются за твоей спиной?

— Ты ошибаешься, никто над тобой не смеется, ты просто не понимаешь, что происходит на самом деле.

— Не беспокойся, я еще как понимаю, что происходит,— сказал Песах. — Но мне это безразлично. Я все равно со следующей недели бросаю школу и иду работать, до армии. И «красавца Песаха» ты больше не увидишь.

— Ты обиделся на «красавца»? — недоумевал Арик.

— Такие вещи не говорят. Я не баба.

— Из-за этого ты ушел из барака?

— Я не могу больше это терпеть. Надоело.

— Все подумали, что ты пошел на свидание с блондинкой.

— Я иду, куда хочу, это мое дело.

— Послушай,— вдруг сказал Арик с волнением. — Красота — это самое замечательное, что есть в мире. Это единственное, ради чего стоит жить. Если бы я был красивым, я бы...

— Ты-то по правде урод,— прервал его Песах,— выглядишь, как старуха.

— Я знаю,— сказал Арик.

— Все. Отправляйся в барак и посмейся там с ребятами над тем, что я тебе сказал.

— Я не буду об этом говорить,— сказал Арик, – и поверь мне, я не буду над тобой смеяться, обещаю. Ты мне веришь?

— Я тебе уже сказал, меня это не волнует.

— Но я хочу, чтобы ты поверил моему обещанию. Я тебе обещаю.

— Ладно, хорошо, только отстань,— нетерпеливо сказал Песах.

Арик повернулся и пошел. Что с ним творится, почему он так разволновался и все это наговорил?! Такая досада, полное отсутствие связи между тем, как он себя ведет, и тем, что делается вокруг. Он обернулся. Песаха не было видно. Навес был пуст. Может, у него все-таки было назначено свидание с той блондинкой?

Когда Арик вошел в помещение, все готовились ко сну, расстилали постели, хотя Игаль еще не объявлял отбоя. Эли лежал в кровати. Все устали от прошлой ночи. Арик сел на кровать Эли.

— Что-то ты долго,— улыбнулся Эли.

— Да так, бродил по лагерю,— сказал Арик. — Мне пришла в голову гениальная идея: представь себе, если бы я взял и вырвал все саженцы, которые мы посадили за два дня. Завтра утром все выходят на поле, и вообрази его лицо: «Такого даже у нас в Пардес-Хане не видывали!»

Оба рассмеялись, и Эли сказал:

— А ты, оказывается, негативный, вредный, подрывающий основы элемент!

Когда Игаль вошел в помещение, чтобы объявить отбой, он обратил внимание на пустую кровать Песаха и спросил, где рыжий. Эли поторопился заверить его, что Песах пошел в туалет.

— Спокойной ночи,— коротко сказал Игаль и вышел.

После ухода Игаля не было уже ни смешков, ни разговоров. Мы все были какие-то полумертвые. Но я был только рад усталости — сегодня она должна была воздать мне за грустное ощущение неприкаянности и прочие переживания прошлой ночи. Арик уже похрапывал. Мне было любопытно, останется ли Эли этой ночью в своей кровати, хотя я знал, что, если вчерашнее ночное зрелище повторится, мне не будет суждено его увидеть. Одеяла уже не были такими колючими, запах их прежних владельцев — столь резким, а кровать — столь неудобной. По телу разлилась приятная тяжесть, и я уже готов был уснуть, как входная дверь вдруг отворилась. Я открыл глаза и увидел Песаха, медленно ступающего в темноте по направлению к своей кровати. Дойдя до нее, он снял с себя пиджак, разулся и залез под одеяло как был, в одежде.

Утром все вышли на поле, а Арик с Наоми и еще несколькими девочками остались готовиться к вечернему празднеству. Арика освободили от работы, чтобы он сочинял юмористические рассказы. «Он все равно ни черта не делает, только смеется над делом и понижает уровень морали в коллективе, так пусть от него будет хоть какая-то польза», — постановил Игаль. Он придавал большое значение коллективному духу и, разумеется, заключительному торжеству как завершающему номеру программы. Девочки украшали барак под умелым руководством Наоми с ее неизменным энтузиазмом. Оставив девочек на минуту, Наоми подошла к Арику, который притулился неподалеку один на один со своими юморесками. У нее при себе был перечень разных организационных мелочей и расписание культурной программы вечера: групповое пение под аккомпанемент Эли, выступление Песаха с его пастушьей свирелью, декламация стихотворения Альтермана в ее исполнении, угощение и танцы.

— Песах с его пастушьей свирелью, с ума сошла! Кому это нужно?!

— Арик, я не хочу больше говорить с тобой на эту тему. Ты не слышал, как он играет, ты просто его ненавидишь, вот и все.

— Наоми, послушай,— доверительно начал Арик,— ты, конечно же, хочешь сделать ему добро. Так вот, брось это, потому что ты делаешь ему зло. Эли знает об этом?

— Конечно, знает,— ответила Наоми,— он будет подыгрывать Песаху на аккордеоне. Он тоже считает, что может выйти очень здорово.

— А-а,— протянул Арик облегченно,— они будут играть вместе. Ну ладно, тогда все в порядке.

У всех, кто работал на поле, было приподнятое настроение. В последний день Игаль ослабил вожжи и не следил за темпом работы. Вместо этого он все время развлекал нас шутками. Эли и Рахель были вместе, они сошлись таким же необъяснимым путем, как и разошлись до этого. Радость, охватившая всех, включая меня, была настолько полной, что рядом с ней померкли многие из недавних событий и ощущений. Главное, все мы здесь, вместе, нам хорошо, и жаль, что все это скоро кончится. Песах был весел, все забыли про его вчерашний демонстративный уход. Всякому было понятно, что он нашел утешение в объятиях белокурой девушки-солдата, которая в этот день почему-то не показывалась в столовой. Вскоре саженцев под навесом не осталось, другой работы не было предусмотрено. Мы уселись на землю и запели. Игаль не оставлял попытки разучить с нами песни религиозного молодежного движения «Бней-Акива», некоторые из них и в самом деле были прекрасны.

— Я хочу, чтобы было по-настоящему весело,— сказал Игаль. — Отбоя сегодня не будет, танцуйте хоть до утра.

— Подожди, вот услышишь Ариковы шутки, тогда узнаешь, какой это комик и как умеет всех изображать,— сказала Рахель. — Он так смешит, что начнешь смеяться и не остановишься.

— А ты, рыжик, будешь кого-нибудь изображать на вечеринке? — спросил Игаль Песаха с заметной симпатией в голосе — Песах нравился ему с тех пор, как одержал победу в соревновании.

Песах, пообещавший Наоми не разглашать секрета о своем выступлении, ответил:

— Я изображу гиену. Вы когда-нибудь слышали ночью смех гиены?

Он встал, обратил лицо к небу, приставил ладони рупором ко рту и исторг из себя громкий вой, перешедший затем в истошный смех,— какая-то помесь страдания и злорадства. Мы видели, как вздувается его шея от воя и смеха. Это продолжалось долго, до тех пор, пока весь воздух не вышел из легких, — только тогда он остановился и глубоко задышал. Он раскраснелся, выглядел довольным, все восторгались им. Игаль сказал:

— Похоже, ей-богу, похоже. Одно время по ночам к нам сюда повадилась гиена, порой казалось — вот она, рядом, напротив окна. Жутко. Как заслышишь этот страшенный смех — кровь в жилах стынет. Саму гиену мы, конечно, никогда не видели. Но этот ее голос, вроде человеческого смеха, полный ненависти и жутких, жестоких мучений. Точно как он изобразил. Из-за этого смеха про гиену навыдумали всякой всячины — будто она раздирает падаль на части и пожирает ее, а потом злобно, издевательски смеется над бедными зверюшками. Глупости, разумеется. Однажды мы видели мертвую гиену. Так себе, жалкая тварь, питающаяся падалью, нас она боится куда больше, чем мы ее. А этот смех гиены — вовсе не смех никакой, животные не умеют смеяться. Это форма общения, позывные,

призыв к самке в период спаривания. У них свой язык, как лай у собак, вой у шакалов и прочие звуки у животных.

От гиены Игаль незаметно перешел к излюбленной теме — рассказам из времен его учебы в сельскохозяйственном училище в Пардес-Хане. Мы слушали его с удовольствием — настроение у нас было хорошее, солдат в вязаной кипе нам нравился, было жаль расставаться с ним. Так протекли предвечерние часы. Перед тем как нам разойтись, Игаль напомнил, что все должны вымыться и одеться в чистую одежду, привезенную из дому.

— В рабочей одежде никто не допускается. И чтобы было весело: придут гости.

По его хитрому виду мы поняли, что он приведет с собой двух девушек-солдат, одна из которых будет возлюбленная Песаха.

Думаю, большинству впервые пришлось раздеваться догола в присутствии других. Интересно, испытывают ли мои друзья стеснение при мысли об этом? Я понимал, что еще позорнее увиливать от этого испытания, публично признать свой стыд. Поэтому все направились в душ каким-то чересчур шумным строем, с полотенцами за плечом. Арик, шедший передо мной, обернулся ко мне с унылой улыбкой ведомого на казнь. Мне вспомнился его рассказ про обряд посвящения у примитивных племен. Вероятно, это тоже была разновидность обряда, который необходимо пройти. В гаме и шуме, которые сопровождали наш поход, было что-то подозрительное — ясно, мы подбадривали себя, отгоняя страхи и злых духов, как воины племени, вышедшие на тропу войны. Отсутствовал лишь Песах. Стеснялся ли он настолько, что решил сбежать, или же это было еще одно из его таинственных исчезновений? Все мы испытывали примерно те же чувства, и меня это еще больше пугало.

В душевых стоял затхлый запах, предвещавший другие неприятности.

— Эй, да здесь нет света! — закричал кто-то. — Лампочка не горит.

Ребята, понимающие в этом деле, подошли к выключателю, стали щелкать им, свет не зажигался, а другого выключателя обнаружить не удалось. На лицах друзей появилось облегчение. Смеркалось, в душевой уже было темновато.

— Только бы была горячая вода,— сказал Эли.

Он разделся первым и включил воду в душе. Видно было, что он абсолютно не стесняется. Вода была теплой, приятной. Постепенно все разделись, стараясь вести себя как можно естественней, но даже в сумраке можно было различить смущенно отворачивающиеся лица, а на них — испуг и желание как можно скорее покончить с этой процедурой. Однако не прошло и нескольких минут, как нас охватила настоящая радость. Она пронзила каждого из нас, как раскрепощающий электрический разряд. Словом, что-то произошло, а что именно — никто не знал. Теперь мы смотрели друг на друга безо всякого смущения. Будто мы навеки избавились от телесного стыда, смыли его вместе с грязью и пылью, приставшей к нам за эти дни, и никогда больше не ощутим его унизительного привкуса. Общими усилиями мы справились и с этим испытанием. Нас распирало чувство благодарности друг другу, ощущение неподдельного братства, что и выразилось в громких радостных криках, шуме и гиканье.

Из душевой мы вышли очищенные — и духовно, и физически. Вокруг уже царила кромешная тьма, и тут-то мы и запели песнь победителей, возвращающихся в шатры после решающей битвы.

Барак успел преобразиться. Стены были украшены бумажными гирляндами, протянутыми через все помещение. Лампочки прикрыты абажу-

рами из разноцветного картона. Кровати мальчиков составлены полукругом и превращены в сидячие места. Освобожденная площадка предназначалась для танцев. На веревке посреди казармы были снова навешаны одеяла, чтобы девочки могли переодеться после душа. Мы тоже стали переодеваться. За три дня мы привыкли видеть друг друга в грязных робах, теперь же на нас были белоснежные рубашки. Волосы после мытья у всех были мокрые, блестящие. Вошел Песах с полотенцем через плечо, волосы у него были мокрые,— оказывается, он пришел в душевую первым, увидел, что там нет света, и нашел с помощью какого-то солдата другие душевые, где все работало как надо.

Наоми появилась из-за «полога» в вышитой блузке и темно-синей плиссированной юбке. Под мышкой у нее была книга, сборник стихов. «Можно открывать?» — крикнула она девочкам. Получив положительный ответ, она сдернула одеяла с веревки, и одна из девочек подошла, чтобы сложить их. К стене были пододвинуты столики, на них разложены бутерброды, сладости, расставлены соки. Мы испытали что-то вроде гордости за наших девочек, столь старательно и красиво все приготовивших.

— Чтобы никто не трогал еду! — пригрозила Наоми.

— Ладно,— отозвался Эли,— я посторожу.

Наоми вышла из барака и направилась к фонарю, чтобы под ним вслух прочесть стихотворение. В суматохе у нее не хватило времени подготовиться. А ведь она ко всякому делу относилась с полной серьезностью. Собираясь с мыслями и глядя на страницу, она вдруг краем глаза заметила Песаха, который направлялся в ее сторону.

— Мне надо закатать рукава,— сказал Песах,— а я не умею. У меня плохо получается. Ты не могла бы мне помочь?

Наоми положила книгу на землю и встала. Когда она выпрямилась, Песах положил руку ей на плечо, и она принялась закатывать ему рукав. Ее взгляд упал на блестящий значок на отвороте Песаховой рубашки, и вдруг она ощутила легкое прикосновение его пальцев к ее шее. По телу пробежала дрожь, Наоми постаралась справиться с собой и не показать вида. Но прикосновение не было случайным — она ощутила, как пальцы гладят ее шею, спускаются к плечам и вновь поднимаются. Она продолжала закатывать рукав, чувствуя на себе испытующий взгляд Песаха. Она не знала, как вести себя, не понимала, приятно ли это ей,— Песах никогда не привлекал ее, объектом ее внимания всегда был тот, единственный и недостижимый. И все же она старалась оттянуть момент, когда рукав будет закатан и Песаху придется убрать руку. Поначалу от прикосновения чужих пальцев по ее телу пробежала дрожь и кожа покрылась пупырышками, но потом она почувствовала, будто какой-то лед растапливается внутри нее. Как во сне, она ощутила тепло пальцев, шум дыхания так близко возле нее, блеск его глаз, глядящих прямо в глубь ее зрачков; за эти мгновения она была готова отдать всю свою душу. Она продолжала медленно закатывать рукав, расправляя каждую маленькую складочку. Поднявшись чуть выше локтя, ее пальцы нащупали бугор мускула, распиравшего рукав, так что ей пришлось приложить усилие, чтобы сделать еще один оборот. Он отнял пальцы от ее шеи и стал гладить ее по щеке. Неожиданно в ней пробудилось неведомое дотоле ощущение наслаждения. И чувство признательности к этому парню, который не был ни близок, ни любим ею. Прикосновение его пальцев словно возвращало ей утраченное тепло и жажду жизни. Она не знала, есть ли в мире блаженство, сравнимое с этим.

Закатав рукав до конца, она набралась смелости и взглянула ему в глаза. Он снял руку с ее плеча и улыбнулся. С мокрой головой он выглядел совсем по-другому. Не было лохматого чуба, волосы были гладко расчесаны и прилегали к голове. Эта прическа в сочетании с белой рубашкой делала его похожим на маленького мальчика. Зеленые глаза улыбались, они излучали тепло, какого она ни в чьих глазах не видела. Он положил другую руку на плечо Наоми, но, прежде чем она начала закатывать второй рукав, послышался его голос:

— Наоми, ты лучше всех. Я тебя по правде люблю.

Ее глаза вмиг налились слезами, ей стало стыдно, но она ничего не могла с собой поделать и отвернулась. Он убрал руку с ее плеча, взял ее за подбородок и повернул ее лицо к себе.

— Чего ты плачешь? Я же сказал тебе, я тебя люблю, ты такая хорошая.

— Я знаю,— ответила Наоми,— я просто не могу сдержаться.

Он обнял ее обеими руками. Она почувствовала, как его щека горячо прижимается к ее щеке. Ее глаза были закрыты, казалось, она уносится куда-то далеко, за грань знакомых вещей и состояний, хранящих память о ее страданиях и стыде. Она вдруг очнулась, открыла глаза, увидела огни совсем рядом и поняла, что это светится барак в нескольких шагах от них. Она мягко отстранила его лицо от своего и взяла ту руку, где рукав еще не был закатан до конца.

— Нас могут увидеть,— сказала Наоми. — Кто-то может выйти.

— Ну и что с того? — спросил ее Песах. Он выпрямил руку, чтобы ей было удобнее. — Знаешь, я больше не буду ходить в гимназию,— сообщил он ей. — Я бросаю учебу.

Что ж, этого можно было ожидать. Несмотря на все усилия и всю помощь, Песах провалился на экзаменах. Но теперь эта новость предстала перед ней в ином свете, и это было очень тяжело слышать.

— Вы больше меня не увидите,— добавил Песах. — До армии у меня есть еще несколько месяцев, я буду работать на стройке.

— Значит, сегодняшний вечер — это еще и прощание с тобой,— сказала Наоми.

Песах приглушенно рассмеялся.

Ей не хотелось расставаться с ним, и она попыталась продолжить разговор:

— Все-таки этот год был неплохим, правда? Хоть от этого времени у тебя останутся хорошие воспоминания.

— Нет,— возразил Песах. — Ничего подобного.

— Тебе разве не хорошо со всеми?

— А я вовсе не со всеми,— сказал Песах. — Я только делаю вид. На самом деле я все время отдельно. Раньше мне нравилось быть одному, теперь я на это уже не способен. Раньше мне было безразлично, что обо мне скажут, а теперь я все время слышу эти разговоры и не знаю, к лучшему это или нет. Это все игра. Все в нее играют, ну и я играю со всеми. Это началось ни с того ни с сего и так же однажды кончится — ни с того ни с сего. Я никому не верю, они не друзья никакие. Только тебе верю, потому что ты по правде хорошая и я тебе, может быть, нравлюсь. Я это чувствую и за это тебя люблю. Я совсем не хотел играть на свирели на вечеринке, это все равно что за просто так себя на смех выставлять, но ты просила, чтобы я захватил свирель, и я видел, что ты на самом деле этого хочешь, и я это делаю ради тебя.

— Сейчас я опять заплачу,— сказала Наоми и улыбнулась. Она пристально вглядывалась в его лицо вблизи, как не позволяла себе раньше, будто видела его в последний раз и старалась сберечь в памяти его черты. — Знаешь, мне никто никогда не говорил таких вещей, никто не обращался со мной так ласково и чутко. Я тоже одинока, и мне тоже плохо. Я никому не рассказывала, но мне хочется, чтобы ты знал. Через неделю тебя уже не будет в гимназии, мы, может, никогда потом не увидимся. А может, столкнемся на улице в поселке, как два незнакомца, едва поздороваемся и разойдемся. Может, будем потом стесняться вспоминать об этом. Но мне бы так хотелось, чтобы ты помнил обо мне, чтобы этот момент, сейчас, возле этого барака, запомнился тебе как что-то хорошее. Я никогда не забуду тебя, никогда!

Одной рукой она сильно сжала его руку, а другую прижала к его щеке, чтобы вобрать в себя его тепло, сохранить в себе это прикосновение, это неизведанное чувство.

— Если хочешь, мы сможем продолжать встречаться и потом, после того как я брошу учебу,— сказал Песах.

Но Наоми уже не слышала его — она с опаской глядела в сторону освещенного барака.

— Пора возвращаться, а то нас будут искать. Ты иди, а я потом. Мне нужно подучить стихотворение,— сказала она, указывая на книгу, лежащую у ее ног. Песах нагнулся, поднял книгу, посмотрел на обложку и вложил ее в руку Наоми. Улыбнувшись ей напоследок, он повернулся и медленно пошел по направлению к бараку.

Через несколько минут пришла и Наоми. Все уже было готово. До назначенного часа оставались считанные минуты.

Игаль придавал большое значение точности, как предписывает армейская дисциплина; и действительно, ровно в назначенную минуту он вошел в барак в сопровождении двух девушек-солдат. Они сели на кровать в центре полукруга, и Эли заиграл мелодию «Инэ ма-тов ума наим»[1]. Мы запели. Мы спели еще несколько песен, и Игаль встал и попросил слова. Он похвалил нас за проведенную работу, столь важную для безопасности наших границ и для нашего государства, сказал, что ему было приятно работать с нами и грустно, что мы завтра расстаемся. И чтобы память об этих замечательных днях не исчезла, он, Игаль, приколет каждому из нас значок участника сельскохозяйственных работ. Он доставал значки из коробки, которую принес с собой, подзывал по списку нас к себе, нацеплял каждому значок и пожимал руку. Я с удивлением заметил или, во всяком случае, мне показалось, что Песах как-то напрягся при этой церемонии — я и не представлял себе, что он относится к процедуре награждения настолько серьезно. Потом мы опять пели, но вот Наоми, решив, что наступило время для культурной программы, вышла из своего уголка (за мероприятиями, которые она организовывала, она любила следить со стороны). Показав Эли жестом, чтобы он прекратил играть, она дождалась тишины и объявила:

— Сейчас перед нами выступит Песах. Он сыграет мелодию «Дабка рафиа» на арабской пастушьей свирели.

Это был сюрприз. Воцарилась тишина, изредка прерываемая одиночными хлопками и недоуменным перешептыванием. Песах встал с кровати, подошел к груде сумок и рюкзаков в углу и достал из своей сумки свирель.

---

[1] Начало известной песни на иврите: «Как хорошо, как приятно / Дружно сидеть, ребята...»

Это была тростниковая дудка, продырявленная в нескольких местах. Песах вернулся на место, сел, приложил дудку к губам, сжал их и подул. Ни звука. Он облизал губы, приставил их к свирели поплотнее, выбрал нужный угол и подул вновь. На сей раз мы услышали несколько приглушенных звуков, внезапно переросших в какой- то резкий, грубый и неприятный свист. Он взял дудку обеими руками, разглядывая ее, будто ища в ней дефект, вдруг гневно сжал ее и замер в раздумье — сломать или нет. Он вздрогнул, услышав смех. Некоторые из нас засмеялись, заражая остальных, и вскоре весь барак сотрясался от бурного, нарастающего смеха. Песах покраснел. Сначала он попытался смеяться вместе со всеми, будто эта шутка принадлежала всем в равной мере, но мощная волна смеха как бы отбросила его от нас. Лицо Песаха становилось все более серьезным. Наконец сквозь слезы, застилавшие мои глаза от смеха, я увидел, как он сидит, обомлевший, потрясенный, посреди постепенно разваливающегося мира.

Наоми попыталась нас утихомирить.

— На ней очень тяжело играть,— объясняла она, перекрикивая шум,— сразу трудно извлечь чистый звук.

Однако, как это обычно бывает в таких случаях, ее слова еще больше раззадорили нас, и смех стал просто оглушающим, он грохотал, как обвал в горах.

— Эли! — позвала она в отчаянии. — Эли, сделай что-нибудь!

Но Эли, готовившийся аккомпанировать Песаху, спрятал лицо в аккордеон, лежавший у него на коленях, и лишь его плечи беззвучно тряслись от смеха. Он выпрямился и постарался придать лицу серьезное выражение.

— Эй, ребята,— крикнул он,— ребята, ну хватит... — но его голос сорвался, и он задергался в приступе смеха так, что чуть не выронил из рук аккордеон.

Наоми села на прежнее место и закрыла глаза ладонями. Игаль и обе девушки с трудом удержались, чтобы не свалиться с кровати, так их одолел хохот. Смех длился долго, громкий, раскатистый, и наконец затих — у всех разом иссякли силы. Песах, покрасневший было вначале, стал теперь смертельно бледным и не двигался. Его зеленые кошачьи глаза уставились в пустоту, будто он находился в другом пространстве, далеком и смутном, и нас не видел. Вокруг него стена за стеной падали укрепления, воздвигнутые той внутренней, скрытой силой, которая, по-моему, управляла всеми происходившими с ним переменами; так и нам постепенно открывалась его красота. В этом последнем проявлении, казалось, красота лишилась всякой формы, всякого значения, всякой чувственности, всяких внешних связей и условностей — это было самое существо красоты. Бледность лица, язычки холодного зеленого пламени в его необычайно широко раскрытых глазах, слегка приоткрытые пухлые губы, словно замершие на века,— все это лишь подчеркивало эту чистую, немую красоту, за которой не могло стоять ничего, кроме смерти. Я, любивший красоту побежденных, не мог отвести глаз от Песаха, и красоты, подобной этой, никогда больше не видел.

Прошло много времени, прежде чем затихли всхлипы и судороги, вызванные смехом, и все смогли свободно дышать. Мы были обессилены, не способны и слова вымолвить. Наоми подождала, пока все угомонятся, отняла руки от глаз, встала и посмотрела на нас молча, с грустью и укором. Затем обернулась к Песаху и спросила: «Хочешь еще раз попробовать?»,

чем вновь разбудила готовый прорваться смех, который, однако, вскоре утих: это было бы уже слишком. Песах ничего не ответил на ее вопрос, он даже не обернулся. Он нас не видел. Как загипнотизированный, с застывшим лицом, он неотрывно глядел в одну загадочную точку.

Наоми немного поколебалась, раскрытая книга в ее руках дрожала, но она собралась с силами и решила, что вечеринка должна продолжаться. Найдя нужную страницу, она прокашлялась и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Затем взглянула на нас решительно и начала читать:

Мои глаза открылись, как когда-то,
Я чист
Перед Творцом.
Я вспомнил брызги солнца — в миг заката
Я в этот мир явился близнецом.

При чтении первой строфы она была еще недостаточно собранна, не было той уверенности и того чувства, к которым мы привыкли. Она сделала паузу, заглянула в книгу, вновь подняла на нас глаза и продолжила:

Теперь — молитвы срок. Окно — в завесе дыма.
Ты погасил свечу — померкли зеркала.
Во мне погиб Твой сын, единственный, любимый,
И первою рука моя на нем была.

Я чист перед тобой, о Господи! Невольно
Я бил его, стремясь в невольники продать.
С него рубашку снял, он не изрек: «Довольно!»
В оковах — не посмел он ничего сказать.

Ее голос вдруг осекся, руки стиснули книгу. Я видел, как побелели костяшки ее коротких пальцев, сжимая обложку. Она откашлялась, словно пытаясь справиться со своим голосом, и продолжала читать.

Всегда я знал,
Что он меня дороже,
Что он один Твой первенец — я знал.
И я склонился над его предсмертным ложем
И песенки свои на дудочке играл.

Когда чужая ночь звала в свои объятья,
Я бросился в нее, напевом завлечен...
Но в этот самый час один из нас, из братьев,
Остался без воды и утешенья — он.

Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами, она не могла читать дальше. Постояв так, плача и глядя на нас то ли с укором, то ли с немой просьбой о помощи, она закрыла книгу и вернулась на свое место.

Арик попытался ее приободрить, но она всхлипывала, бормоча: «Это я во всем виновата». Рахель подсела к ней и обняла ее. Наоми горько рыдала, прильнув к ней. У Игаля был озабоченный вид, обе девушки, пришедшие с ним, вызвались помочь — этакие опытные старшие сестры. Когда Наоми пришла в себя, она попросила Арика почитать юморески и взять на себя проведение оставшейся части вечера.

Арик выглядел беспомощным — перепад между диким смехом при выступлении Песаха и последовавшими за ним слезами Наоми был столь разителен, что нас всех охватило чувство напряженной неловкости. Арику не хотелось переходить к юморескам, и он попросил Эли поиграть на аккордеоне,— может, музыка приведет нас в порядок. Поначалу пение было нерешительным и слабым, но постепенно мы разошлись. Во время пения

мы услышали, как Песах встал и направился к выходу. Наоми вздрогнула и хотела тут же выйти за ним — уговорить его вернуться или хоть как-то попытаться сгладить происшедшее,— но Арик, сидевший подле нее, крепко сжал ее руку и удержал ее. Он прошептал ей что-то на ухо, и она поняла, что идти за Песахом не надо.

Потом Арик начал читать свои юморески — напряжение спало, мы снова были готовы смеяться. Он прочитал «Гимн маленьких польских беженцев», пародию на одно известное стихотворение, и мы подхватывали рефрен. Затем он сатирически изобразил «день работы на плантации», прекрасно имитируя некоторых из нас, не обойдя стороной и вожатого Игаля с его воспоминаниями про сельскохозяйственное училище. Игаль выслушивал все с добродушным смехом, как и требовалось в подобных обстоятельствах. Когда Арик закончил свою программу, мы успели позабыть про неприятности и к тому же изрядно проголодались. Был подан сигнал, и мы накинулись на угощение.

Потом, когда все вернулись на места, Эли играл нам и мы с воодушевлением водили вокруг него хороводы. В нос снова ударил смешанный запах пота и пыли, который всегда сопровождал наши танцы и который мне суждено было запомнить как запах юности. Игаль и две его подружки присоединились к нам и вместе со всеми в нужную минуту выкрикивали куплеты. Вдруг я заметил Арика, сидящего в углу вместе с Наоми. Старые друзья беседовали, на лице Арика были написаны серьезность, взрослость и сочувствие, каких я у него еще не видел. Я ощутил большую симпатию к Арику и отвлекся от танца. Выйдя из хоровода, я встал в стороне и следил за ним, за выражением его спокойного, умного, задумчивого лица. Что же так поразило меня в нем? Он снова изменился, это уже не был тот Арик, которого я знал много лет. Как будто с него слетела маска и обнажившееся лицо излучало внутренний покой, скрытый, но сильный, и еще в нем был такой чистый, прекрасный свет одиночества. Знал ли он, какая перемена произошла в нем? Хотелось подойти к нему, сесть рядом, быть с ним, быть посвященным в его мысли, в его неразлучную дружбу с Наоми, добиться своего места в его меняющемся мире, который, казалось, был отныне для меня закрыт — таково было новое выражение лица Арика. Кончилась ли наша дружба? Она никогда не была столь дорога мне, как в те минуты, когда моему взору открылся человек, достигший после долгих странствий место своего назначения, где-то там, за горизонтом моих представлений. Я приблизился к ним, и они умолкли. Наоми взглянула на меня с печальной, извиняющейся улыбкой побежденного. Я сел с ними, мы сидели молча. Голоса поющих, топанье ног воспринимались здесь, за пределами круга танцующих, как ритм иной мелодии, незнакомой, но настойчивой и увлекающей. Мы все были побежденными, мы проиграли битву, результат которой был известен заранее. Я посмотрел на моих товарищей, танцующих в кругу, и при виде их потных, разгоряченных лиц мне послышался крик: вернуться, вернуться домой, опомниться. Взглянув на Арика, я понял, что он пошел дальше всех — он поднял руки, сдался, отказался ото всего. Значит, таково было значение происшедшей в нем перемены, придавшей ему такую чистоту и силу, привлекшей и испугавшей меня? Я хотел сказать ему что-то, но не знал, как обратиться к этому новому для меня лицу. Наоми спросила его: «Может, сейчас подойдешь?», на что Арик ответил: «Нет, не нужно, не стоит», и я знал, что речь идет о Песахе. Я помнил, что Арик говорил когда-то насчет укрощения дикого зверя и что он тогда предсказывал одну возможность из трех. Был ли он прав и на этот

раз? Мне хотелось напомнить ему об этом разговоре. Я взглянул на него и увидел, что он не отвечает на мой взгляд, он не был настроен на разговор. Я раздумывал, где сейчас Песах и чем он занят. Одному Арику было известно — Песах сидит один под навесом в поле, игрушка тех сил, над которыми человек не властен.

Игаль и девушки-солдаты попрощались с нами. Было поздно, вечеринка шла к концу. Мы открыли окна, чтобы проветрить помещение, и стали готовиться ко сну. Девочки убирали остатки угощений, столы были раздвинуты, кровати поставлены на места. Вскоре на веревке уже были развешаны одеяла, однако, несмотря на всеобщую усталость, спать никому не хотелось. Мы разговаривали, лежа в постелях, пока девочки не стали жаловаться, что мы не даем им заснуть. Эли встал с кровати и погасил свет. Не успел он устроиться поудобнее в своей постели, как дверь барака распахнулась. Песах вошел в барак, ненадолго задержался у входа, подошел к выключателю и включил свет.

Его лицо было бледным и застывшим, как у лунатика. Медленно дойдя до своей кровати, он принялся раздеваться. Сняв белую рубашку, майку, ботинки, брюки и трусы, он предстал перед нами совершенно голым. Затем он так же медленно подошел к перегородке и одним движением сорвал с веревки все одеяла, подошел к выключателю у девочек и включил там свет. Одна из девочек издала испуганный крик и тут же затихла. Никто не спал, все лежали в кроватях, широко раскрыв глаза. Он ничего не слышал, никого не видел. Его глаза были холодными, безжалостными. Голый, он стал медленно прохаживаться от одного конца барака до другого, как запертый в клетке зверь, кругами, все убыстряя темп ходьбы, пока не перешел на бег, на галоп. В бараке царила тишина, слышалось лишь шлепанье босых ног по полу и его ровное, быстрое, хриплое дыхание. Вдруг он остановился и опустил взгляд на свое причинное место. Мы увидели большой половой орган, вздымающийся из чащи рыжих волос. Он приставил руки ко рту рупором, издал смеющийся вопль гиены и снова принялся бегать, и этот пронзительный вопль, протяжный и жуткий, носился над нами, перекатывался, словно вырывался не из горла, а из какой-то неведомой дали. Постепенно его мелькающий силуэт стал расплывчатым, и видно было лишь рыжее пятно, словно проносящееся мимо нас пламя, готовое разгореться, разбушеваться и сжечь все в огромном костре.

Париж, ноябрь 1978 г.

Перевод ФЕДОРА МАКАРОВА

МЕИР ВИЗЕЛЬТИР

Песня об Иерусалиме

Если не будет Иерусалима, что тогда будут делать с песней
об Иерусалиме?
Если не будет Иерусалима, эту песню запоют покамест в
другом месте.
Если не будет Тель-Авива, что станут делать с песней о
Тель-Авиве?
Если не будет Тель-Авива, запоют эту песню на хайфских
уступах.
А потом Тель-Авив возвратится и снова будет, Иерусалим
расцветет среди скал.
И даже Хайфа разляжется на горе Кармель, словно арабский
каменотес.
И огромное солнце расцелует все эти места, — были дети,
что согрешили,
но вернулись на прямые пути.
И будет тепло и тихо в наших местах.

Перевод САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

Из цикла «ТЕЛЬ-АВИВСКИЕ ЭСКИЗЫ»

Я симпатизирую
искусству
концептуалистов
города Тель-Авива

Город, где нету концепций, —
обвал пустопорожней штукатурки,
рыдающие ставни,
мертвый автобус

Я симпатизирую
людям

МЕИР ВИЗЕЛЬТИР (*род. в 1941 г. в Москве, в Израиле с 1949 г.*) — поэт и переводчик. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Автор многих книг стихов, в том числе «Возьми это» (1973), «Внутри и вовне» (1984), «Письма» (1986) и др. Перевел на иврит трагедии Шекспира, новеллы В.Вульф, произведения Ч.Диккенса, стихи английских, французских и русских поэтов. Лауреат премии имени Бялика.
Публикуемые стихи взяты из сборников «Возьми это» (изд. «Симан Крия», 1974) и «Поэзия — дело оптимистичное» (изд. «Змора Бейтан», 1984).

напрягающимся
в Тель-Авиве

Я симпатизирую
людям
упрямо старающимся
в Тель-Авиве

Я симпатизирую
людям
волнующимся
в Тель-Авиве

Оштукатуренная бесчувственность города
Конура подшпаклеванной горечи
Жестяная качалка грохота

Я симпатизирую людям
впавшим в отчаяние
в городе Тель-Авиве.

Приказ

Тогда позвали Маленького Принца,
Дали ему в руки автомат и сказали:
«Точно, ты прибыл с планеты другой,
Но теперь-то ты здесь, дорогой,
И из-под нарисованных шляп
Выходит не слон, а танк,
И кто зажигает фонари — тот вредитель.
А не уничтожишь овечек,
Головой ответишь,
Своей собственной головой,
Так-то вот, Маленький Принц, так-то вот, милый мой».

Перевод ЛИОРЫ КНАСТЕР

ЙОНА ВОЛАХ

ЙОНА ВОЛАХ (*1944 —1985*) — поэтесса, автор шести поэтических сборников, в том числе «Вещи» (1966), «Два сада» (1969), «Дикий свет» (1983) и др. Посмертно изданы «Избранные стихотворения 1963—1985» (1992).
Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Два сада» (изд. «Дага», 1969) и «Поэзия» (изд. «Симан Крия», 1976).

Мне никогда не услышать сладостный голос Господень

Мне никогда не услышать сладостный голос Господень
и никогда не пройдет уже голос его под окошком моим
крупные капли дождя упали в пространствах знаменье
больше уже не придет в окна мои Господь
как же мне снова увидеть сладчайшую плоть
и на глазах у него раствориться я больше не в силах
спуститься за прежним беспечным уловом
взгляды схлестнутся в мирах словно дыхания ветра
как же не вспомнить той красоты не заплакав
дни моей жизни пройдут как вибрации в теле
рядом с осколками памяти прикосновений разбитых сильнее
чем плач
и зачаруется воздух формой потока в своем теченье
и никогда не взойдет голос тоски на порог
время ожить человеку подобно мертвым пока их помнят
подобно существованью
если б восстал его сладостный взгляд у постели моей я бы
заплакать смогла.

Перевод ЛИОРЫ КНАСТЕР

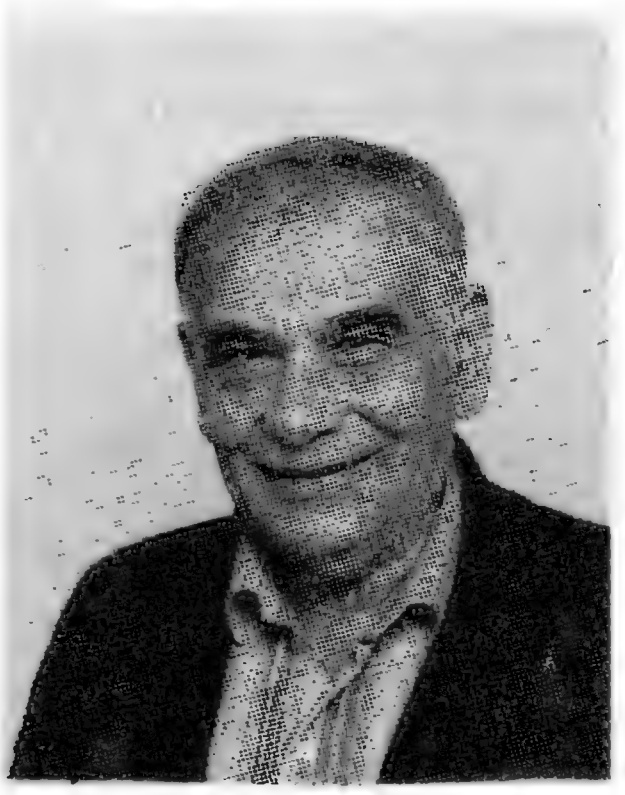
Стихи пред годом снов

и à propos, Годар

Намекают нам, что вот есть и другой секс.
Хорошо, что кто-то знает об этом, что это есть.
И если другой секс, то пускай при
ведут его сюда, мы узнаем его и тогда от
кровенно поговорим, что вот он или нету его.
Что мы ведь уже утомлены очень от
наших жен и подруг-девственниц, и все
это время показывают в фильмах, что вот
взаправду есть что-то другое, и мы
сквозь вздохи чувствуем, что это не зря.
И если есть другой секс в мире другом,
женщины новые и знающие, то от
чего не приведут сюда нескольких, чтобы они на
учили наших жен усталых, и может быть кста
ти откроют границы, а то мы ведь
утомлены нынче и зажаты чересчур мы здесь.

Перевод САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

АРЬЕ СИВАН



Предложение туристу

В твоей стране нет пыли на листве.
Есть цветы, отмытые дождем
В теченье года. Нету запаха
Горького и сухого,
Запаха истины.

Если хочешь вдохнуть его, я предлагаю:
Приезжай к нам, окуни лицо в фиговый лист,
На котором скопилась пыль
В теченье долгого лета.

Верно, фиговый лист шершав, как наждак.
Так он удерживает ту немногую влагу,
Которую удается извлечь из глубин,
Чтобы вырастить плоды:
Мелкую, сладкую ложь,
Отвлечь внимание мира, чтобы он не мешал
Собирать эту горькую пыль.

Эту пыль, которая раньше была
Птицей, человеком, великим царством
Или скитаньем в пустыне;
Но теперь, и уже навсегда,
Ей не придется
Притворяться чем-то иным.

Перевод ВЛАДИМИРА ГЛУЗМАНА

Сорок лет покоя

Сорок лет покоя сорок лет
Сорок лет подряд смоковницы плодоносят

Переполняя землю как женщина чья грудь
Касается всего и задевает каждого
Ей это безразлично

АРЬЕ СИВАН (*род в 1929 г. в Тель-Авиве*) — поэт. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Автор восьми сборников стихов и новелл, отмеченных литературными премиями, романа «Адонис» (1992).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Надорвалась душа» (изд. «Сифрият Поалим», 1976), «Жить в Эрец-Исраэль» (изд. «Ам Оведа», 1984) и «Пропуски» (изд. «Сифрият Поалим», 1981).

Сорок лет подряд
Мужчины с женщинами ложатся и дышать
Спокойно не боятся
Как дуновенье ветерка в пустых тростинках
На берегу ручья
И лунный свет их кутает и нежит
Мужчины как лунатики блуждают уверенно как спящие
Среди полей и виноградников и сосен.

Ощущение неловкости, возникшее на гражданской панихиде

Мой родственник — о нем известно мне,
Что он солдатом на каждой был войне,
И выступать однажды приглашен
Был на гражданской панихиде он —
Пред семьями поверженных бойцов
(И всеми, кто не в лучшем из миров),
Хотел сказать — и не находит слов.

«Я странную неловкость ощущал:
На сцене для чего-то я стоял,
Как Гамлет недотравленный, и ждал,
Что кто-нибудь мне крикнет наконец:
Прошло то время, дорогой боец!

Я почему-то ощутил, что кровь
Застыла в жилах в этот самый час,
Как будто в новой битве пролилась,
И бросилась в лицо — а зал
Переживал
Из-за меня, меня, моих друзей».

Перевод ЛИОРЫ КНАСТЕР

ДАЛИЯ РАВИКОВИЧ

ДАЛИЯ РАВИКОВИЧ (*род. в 1936 г. в Тель-Авиве*) — поэтесса, журналист, педагог, переводчик. Автор семи сборников стихов, в том числе «Трудная зима» (1964), «Зовешь вглубь» (1976), «Мать и дитя» (1992), сборников рассказов и книг для детей; переводила на иврит У.Б.Иейтса, Т.С.Элиота. Лауреат премии имени Бялика и других литературных премий.
Публикуемые стихи взяты из названных сборников.

Гордость

Даже скалы разламываются, — я скажу тебе.
И это бывает не от старости.
Долгие годы они возлегают на спинах в холод и в зной.
Столь долгие годы,
что создается ощущенье почти что полного покоя.
Они не сдвигаются со своих мест, чтобы скрыть расщелины.
Это от гордости, должно быть.
Долгие годы проходят в виденьях предстоящего.
Будущий их разрушитель
еще не явился.

И тогда прорастут кустарники. Водоросли взбурлят. Море прихлынет и отпрянет.
Но кажется, что они неподвижны.
До поры, когда маленький тюлень придет потереться о скалы.
Придет и уйдет.
И вдруг — камень ранен.
Я ведь сказала тебе,— когда скалы разламываются, это бывает внезапно.
Тем более люди.

Конец падения

Если человек падает из самолета в середине ночи,
только один Господь Бог может его поднять.
Господь появляется возле него в середине ночи
и притрагивается к нему чтобы смягчить страдания.
Господь не вытирает то что окровавлено,
ибо кровь не душа.
Господь не нежит человеческое тело
ибо человек это не плоть.
Господь наклоняется над человеком приподняв ему голову и смотрит на него.

В глазах Господа человек это малое дитя.
Вот он встал тяжело на четвереньки чтобы начать ходить,
и тогда он почувствовал что у него есть крылья для полета.
Человек еще растерян и еще не знает
гораздо приятнее парить над землей а не ползать по ней.
Господь хотел бы погладить по голове человека
но Он медлит,
потому что не хочет испугать человека
знаками любви.

Когда человек падает — из самолета — в середине ночи,
только одному Богу известно что будет в конце падения.

Ты, наверное, помнишь

Когда все уходят,
я остаюсь одна, я и стихи.
Некоторые из них — это мои стихи,
а некоторые из них — стихи других.

Стихи, сочиненные другими, я люблю больше.
Я остаюсь в тишине,
и сдавленное горло освобождается.
Я остаюсь.
Иногда я хочу, чтобы все ушли.
Писать стихи — это, возможно, приятная вещь.
Ты сидишь в комнате, и вот стены становятся выше.
И цвета становятся резче.
Светло-синий платок превращен в бездонность колодца.
Ты хочешь, чтобы все отдалились.
Ты не знаешь, что с тобой.
Может быть, ты подумаешь о двух вещах или больше.
После этого все пройдет и станет чистым, как кристалл.
И тогда — любовь.
Нарцисс так сильно любил себя самого.
Глупец, кто не понимает, что он любил также и самый родник.
Ты остаешься в одиночестве.
Твое сердце болит, но оно не будет разбито.
Постепенно отходят блеклые образы.
Постепенно пройдут следы повреждений.
После этого солнце появится в полночь.
И цветы темных соцветий ты помнишь.
Ты хотел бы быть мертвым или живым или кем-то другим.
Может быть, есть одна страна, которую любишь ты.
Может быть, есть одно слово.
Ты, наверное, помнишь.
Глупец, кто позволяет, чтобы солнце заходило где ему вздумается.
Оно ведь всегда заранее забредает на запад к островам.
К тебе придут и солнце, и луна, лето и зима.
Сокровища, которым нет конца.

Перевод САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

БИНЬЯМИН ТАММУЗ

Состязание в плаванье

РАССКАЗ

Много лет назад жарким летним днем я сидел за столом на кухне и смотрел в окно. Локти лежали на клеенке, взгляд мой где-то витал; босыми пятками я впитывал прохладу, исходящую от пола, выложенного красными глиняными квадратиками. Послеполуденная тишина стояла в комнатах, и мечтательное умиротворение царило в моем сердце.

Внезапно с улицы послышался звук цокающих копыт, и подкатила повозка, черная арабская повозка, из тех, что ездили по дорогам до того, как у нас появилось много машин; из тех повозок, которые мы нанимали, чтобы отправиться на железнодорожную станцию Яффы, а оттуда поехать к бабушке в Иерусалим на Пасху.

Лошади остановились перед нашим домом, возница спрыгнул с облучка и постучал в дверь. Я вскочил, чтобы открыть ему. Запах свежести наполнил кухню, запах лошадей и просторов: возница заслонил собой вход, не оставив жаре никакой лазейки, чтобы проникнуть в дом.

Он протянул мне письмо. Письмо было написано по-французски, французского я не знал. Пришла мама, взяла письмо, лицо ее просияло. Она пригласила возницу в дом и поставила перед ним тарелку с холодным арбузом и свежеиспеченной лепешкой. Араб прислонил кнут к стене, благословил «изделие рук» моей матери, сел за стол, попробовал арбуз; чавканье возницы заполнило собой пространство комнаты.

Мама сказала, что это письмо от старухи арабки, у которой большой фруктовый сад, она пишет, что чувствует себя хорошо, боли прошли, и все благодаря маме, и она хочет поцеловать ей руку, хотя бы издалека. И еще она пишет, что сейчас лето, и приближаются еврейские праздники, и, наверное, у моей мамы будет отпуск, и тогда она, может быть, приедет с сыном погостить в дом с фруктовым садом.

Когда мы садились в повозку, солнце спускалось в море. Возница отодвинул шатрообразное кожаное покрытие, и мы взобрались на сиденье, мягкое и глубокое; предвкушение далеких странствий охватило меня. Араб

БИНЬЯМИН ТАММУЗ (*1919 — 1986; уроженец России, в Израиле — с пятилетнего возраста*) — прозаик. Учился в Тель-Авивском университете, затем в Сорбонне на факультете искусствоведения. Автор десяти романов и сборников рассказов, в том числе романов «Минотавр» (1980), «Хамелеон и соловей» (1988), сборника «Рассказы» (1989). Рассказ «Состязание в плаванье» взят из книги «Истории Антона-Армянина» (изд. «ха-Киббуц ха-Меухад», 1964).

вспрыгнул на высокий облучок и, свистнув лошадям, взмахнул кнутом. Скрипнули рессоры, сиденье под нами просело, затем выпрямилось; прощальное ржание рассекло воздух. Закрутились колеса, повозка тронулась, подпрыгивая на колдобинах и напевая радостную песнь — привет грядущему.

Вскоре мы миновали мечеть Хасан-Бека и въехали в узкие улочки Маншии. Запахи приготовляемой пищи встречали нас — аромат тмина и мяты, дух жарившихся на углях бараньих ребер и тушеных баклажанов. Голос возницы звенел в воздухе, предостерегая стоящих по обеим сторонам дороги, просил лоточников отодвинуться, увещевал малышей, разлегшихся прямо посреди улицы. Лошади трясли задами, каурыми и лоснящимися, цокали мелодично и весело, а та, что справа, выбрасывала на скаку кругляшки. Возница, повернувшись к нам, извиняюще улыбнулся с высоты своего сиденья; лошади — бесстыжие и невоспитанные существа, сказал он, и нам ничего не остается, как понять их и простить.

Монотонное покачивание погружало нас в состояние покоя и беззаботности. Мы выехали из города. За городом, на дороге, вьющейся меж зарослей кактусов и живых изгородей из акации, лошади стали увязать в красноватом песке; из песчаных недр выползала жара и усаживалась рядом с нами на прохладном сиденье.

Казалось, что солнце ушло купаться в море, за фруктовыми садами уже навис багрянец пылающего неба, и прохладная сумеречность сгустилась вокруг. Лошади вдруг стали и, хоть и не сговаривались, одновременно помочились в песок.

Снова повозка оторвалась от земли, по спинам лошадей пробежала дрожь, замелькала под копытами дорога, выложенная мягким известняком; кипарисы вдоль аллеи проносились мимо. И тут перед нами возникла каменная арка с большими запертыми деревянными воротами, а в них — маленькая калитка. Рядом с калиткой стояла девочка моего возраста, в белом платьице и с розовой лентой в волосах. Когда повозка подъехала, девочка повернулась и скрылась за воротами.

— Приехали, возвестил возница.

В наше время уж не сыскать таких двориков. Если вас занесет туда, где был такой дворик, то вы обнаружите разрушения, причиненные войной, груды камней, бревна и паутину; патина умирающей старины будет лежать на всем том, что прежде дышало и смеялось.

Тогда, в те дни, двор был благоустроен и полон жизни. Его квадрат был обведен с трех сторон двухэтажным зданием. Внизу находились хлев и конюшня; по двору бродили черные и красные куры и петухи, кукареканье сливалось со ржанием лошадей. На втором этаже была подсобка для мотора, который охлаждал воду в бассейне. Золотые рыбки подплывали к отверстию, где прикреплялся шланг, и крутились в пузырящейся воде. Деревянная изгородь венчала собой длинную веранду, всегда находящуюся в тени. С веранды можно было через дверь из цветного стекла попасть в гостиную, из которой многочисленные двери вели в разные комнаты и в кухню.

В середине комнаты стоял длинный стол, вокруг него — набивные кресла в белых полотняных чехлах от пыли; но в тот день, когда мы появились в доме, чехлы были сняты и лежали в углу, свернутые.

В комнате стояли глиняные цветочные горшки, расписанные красным и золотым, в них кроме больших бумажных роз и лилий были и какие-то цветы, которых нет в природе. Был там и цветочный горшок, краски кото-

рого потускнели от времени. Этот горшок стоял здесь со времен свадьбы старухи, хозяйки дома.

Со стен, из позолоченных рам, смотрели мужчины в фесках и с мечами за поясом. Старуха подвела маму к одному из портретов и сказала:

— Это мой муж, да будет земля ему пухом. Его отец выстроил этот дом. Летом мы живем здесь, а зимой в Яффе.

Мама вздохнула и сказала:

— И моего мужа тоже нет в живых. Но его дом и дом его отца не здесь. Все осталось там, за границей. Я снимаю квартиру, в которой живу и зимой, и летом.

— Вы здесь новички, эмигранты, — сказала старуха,— но с Божьей помощью вы соберетесь с силами и построите себе дома. Вы трудолюбивые, у вас золотые руки.

Мама поняла намек и с благодарностью посмотрела на нее. В эту минуту у меня непроизвольно вырвалось:

— Это неправда, что мы притесняем арабов, мы хотим мира, мы против войны.

Старуха положила руку мне на голову и сказала:

— Все зависит от человека. Кто стремится к миру, с тем будет мир.

Тут пришла та самая девочка и встала в дверном проеме.

— Поди сюда, Нахида,— сказала старуха,— поцелуй руку докторше, которая излечила твою бабку. А этот мальчик — ее сын.

Нахида пугливыми шажками приблизилась к маме. Мама обняла ее и поцеловала в обе щеки, румянец вспыхнул на застенчивом лице девочки. Она молча склонила голову.

— Наша Нахида стеснительная,— сказала старуха,— но у нее доброе сердце.

Нахида приподняла края своего белого платья и уселась в кресло, а мы — следом за ней, словно бы получили соизволение высочайшей особы.

Старуха заговорила по-французски, мама рассмеялась. Щеки Нахиды снова зажглись румянцем, я увидел, что она искоса поглядывает на меня, пытаясь уловить, понимаю ли я по-французски.

Я сказал:

— Я не понимаю ни слова из того, что говорят.

— Моя бабка говорит, что мы могли бы быть хорошей парой.

— Глупости, — сказал я и уставился в пол.

— Идите поиграйте,— сказала старуха,— мы не будем вам мешать.

Я вышел вслед за Нахидой на веранду. Мы пошли к бассейну и сели на барьер.

— Ты веришь в Бога? — спросил я ее. — Я совсем не верю.

— Я верю. В саду у меня есть особое место, где я молюсь. Если мы подружимся, я приведу тебя туда и докажу, что Бог есть.

— А ты постишься в Рамадан? Я ем даже в Судный день.

— Я не пощусь, потому что я еще маленькая. А ты отдыхаешь в субботу?

— Когда как,— ответил я,— если мне нечего делать — отдыхаю, но не из-за Бога, а так просто.

— А я люблю Бога,— сказала Нахида.

— Тогда мы точно не сможем быть парой, пока ты не перестанешь верить.

Нахида хотела ответить, но тут послышался скрип калитки, и двое мужчин вошли во дворик. Нахида бросилась им навстречу и повисла на

шее у того, кто был в феске, но одет по-европейски, и крикнула:

— Папа, у нас гости!

— Я знаю,— сказал ее отец,— к нам приехала хакима[1].

Я встал с места и стал ждать, когда они подымутся к бассейну. Второй мужчина, молодой, лет восемнадцати, на котором была куфия[2], оказался дядей Нахиды, братом ее отца; он подошел первым, подал мне руку и пожелал мира моей душе. Отец Нахиды потрепал меня по щеке и повел в дом.

Ужинали мы на веранде. Нам подали печеную картошку, мелко нарезанные баклажаны в томатном соусе, запеченную в тесте брынзу — все в больших мисках. В других мисках лежали гранаты и маленькие арбузы, горка свежевыпеченных пресных лепешек возвышалась в центре стола.

Абдул-Керим, дядя Нахиды, спросил, состою ли я в боевой организации «Хагана», на что я ответил ему, что это секрет.

Он засмеялся и сказал, что этот секрет известен всей стране.

— Абдул-Керим учится в колледже муфтия,— сказал отец Нахиды,— и каждый день его пугают вашей «Хаганой».

Лицо Абдул-Керима потемнело, и он замолк. Но старуха, его мать, положа руку на его ладонь, сказала:

— Мой Абдул-Керим — парень надежный, верный. Пожалуйста, не придирайтесь к нему.

Абдул-Керим молча поцеловал руку матери. В эту минуту на веранде появился длинношерстный пес, из тех, что охраняют овец, забрался под стол и стал ходить между ног, ища, где бы поудобней устроиться; наконец он утихомирился, уткнулся мордой в ноги Нахиды и принялся их лизать, хвостом он проводил по моим ногам, и мне было щекотно. Я хихикнул и посмотрел на Нахиду, желая объяснить ей причину моего внезапного веселья. Но Нахида восприняла мою улыбку как проявление дружеских чувств, и я не стал ей ничего объяснять.

После ужина отец Нахиды сказал Абдул-Кериму:

— Абдул-Керим, брат мой, покажи детям, что ты привез из города.

Абдул-Керим встал и жестом пригласил нас последовать за ним. Он вошел в кладовую, расположенную в саду, и вынес оттуда новое, начищенное до блеска охотничье ружье.

— Завтра пойдем охотиться на зайцев,— сказал мне Абдул-Керим.— А ты умеешь стрелять?

— Немного,— ответил я.— Если хочешь, можем посоревноваться.

— На прошлой неделе,— сказала Нахида,— мы устроили в бассейне соревнование по плаванию,— и мой дядя победил всех.

— Если хочешь,— сказал я ему,— посоревнуемся и в плаванье.

— С большим удовольствием,— сказал Абдул-Керим,— завтра утром. А пока что вернемся домой и послушаем песни. У нас есть граммофон.

Мы вернулись в дом, Абдул-Керим поставил пластинку, покрутил ручку и направил граммофонную трубу.

Раздались звуки зурны, бубна и кимвалов и сразу же после этого — рулады и трели арабской песни, сладостной и жалобной. Абдул-Керим блаженно разлегся в кресле, лицо его светилось. Когда пластинка закончилась, он поставил новую. Но мне показалось, что это та же самая песня. И так это тянулось бесконечно; на меня навалилась страшная скука, и я улизнул в соседнюю комнату, где мама и старуха с наслаждением беседовали.

---

[1] Женщина-врач (*араб.*).

[2] Арабский головной убор, платок, поддерживаемый кожаным обручем.

Но и там мне было скучно, и я вышел на веранду посмотреть на бассейн и сад. Огромная луна озаряла деревья, вода из бассейна источала прохладу. Где-то вблизи кричала ночная птица, но когда умолкал граммофон, умолкала и она. На меня напала зевота; я грустью размышлял о том, что ребята из нашего квартала сейчас пекут картошку на костре, прямо под столбом линии электропередач, а дрова таскают со склада соседней колбасной фабрики.

Что я тут делаю? — спросил я себя.

Нахида разбудила меня утром престраннейшим образом — положила мне на голову жирнющего кота. Я вскочил с постели, схватил кота и бросил его Нахиде. Так начался наш второй день в доме с фруктовым садом. Я еще чистил зубы, когда Абдул-Керим вошел в кухню и спросил:

— Как насчет соревнования по плаванию?

— Готов,— ответил я.

Мы быстро покончили с едой, взяли плавки и вышли на веранду. Мама, старуха и отец Нахиды вынесли стулья и уселись у бассейна наблюдать за состязанием.

— Раз, два...три! — крикнула Нахида, и мы с Абдул-Керимом бросились в воду. То ли от волнения, то ли оттого, что я не привык к пресной воде, я камнем пошел на дно; когда же, собравшись с силами, я вынырнул, Абдул-Керим был уже на середине. Я увидел маму, перегнувшуюся через барьер и кричащую: «Не бойся, плыви быстрей!» И я поплыл, но напрасно. Абдул-Керим был на другой стороне бассейна еще до того, как я подплыл к шлангу, выходящему из мотора. Абдул-Керим сидел на краю бассейна и выжимал волосы.

— Ты победил,— сказал я ему,— но, если ты хочешь, мы можем продолжить состязания.

— Какие еще состязания? — спросил Абдул-Керим.

— Например, по арифметике.

— Почему бы и нет? — сказал он и велел Нахиде принести бумагу и карандаш.

Нахида вернулась, я взял у нее бумагу, разорвал надвое и на обеих половинах листа написал — семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь, умноженные на четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять.

— Посмотрим, кто первый сосчитает,— сказал я.

Абдул-Керим взял карандаш и начал считать. И я тоже. Я закончил первым и отдал отцу Нахиды лист на проверку. Выяснилось, я ошибся. Абдул-Керим протянул брату свой лист — но и он ошибся в счете.

— Тогда давай соревноваться в знаниях вообще,— предложил я Абдул-Кериму. — Например, кто открыл Америку?

— Колумб,— ответил Абдул-Керим.

— Неверно,— сказал я,— ее открыл Америго Веспуччи, его именем и названа Америка.

— Он победил! — крикнула Нахида своему дяде. — Видишь, он победил?!

— Он победил меня в Америке, а я победил его здесь, в бассейне,— сказал Абдул-Керим.

— Придет день, я вырасту и смогу победить тебя и в бассейне,— сказал я ему.

Нахида кивнула головой в знак согласия и посмотрела на своего дядю — ей было важно, что тот скажет.

— Если ты победишь меня в бассейне,— сказал Абдул-Керим,— будет очень плохо, и тебе, Нахида, тоже будет плохо, и всем нам.

Мы не поняли, что имелось в виду, и я хотел сказать ему, чтобы он не слишком уж философствовал, но я не знал, как это будет по-арабски, и промолчал.

После этого мы отправились в рощу охотиться на зайцев.

С тех пор прошло много лет. Снова лето. Усталый, вымотанный работой, я искал такое место, где можно было бы провести две недели в тишине и покое. Я уложил вещи в чемодан и поехал в Иерусалим. Но там не нашлось ни одного пансиона, где было бы свободное место. Тогда, собравшись с силами, я остановил попутку, направляющуюся в арабскую деревню Эйн-Керем. Уже сидя в машине, я задумался: а что я там буду делать, зачем я туда еду?

В конце главной улицы находилось увенчанное куполом здание, перед ним бил источник. Напротив, на склоне горы, возвышался русский монастырь, в тени сикоморов там и сям были расставлены низкие деревянные табуретки, на них сидели люди, они пили кофе и курили кальян. Я подошел и сел на одну из табуреток. Официант спросил, что мне угодно.

— Не знаешь ли ты здесь поблизости какую-нибудь семью, которая согласится принять меня на две недели?

— Я не знаю, но, может, хозяин знает,— ответил парень.

Подошел хозяин выяснить, что мне надо.

— Семья, которая сдала бы комнату? А зачем тебе?

— Отдохнуть. Я устал, мне нужно отдохнуть,— сказал я.

— А сколько заплатишь? — спросил хозяин.

— Сколько нужно,— ответил я.

Он попросил парня сходить к некоему Абу-Нимеру. Вскоре парень вернулся и сказал:

— Подымайся наверх, Абу-Нимер согласен.

С чемоданом в руке я поднялся в гору. Подымаясь, я все больше удивлялся себе: и чего это я надумал приехать именно сюда?

Я зашел во двор, постучал в дверь. Мне открыл араб, высокий и лысый, лет примерно сорока, и сказал:

— Благословен входящий, входи.

Я двинулся вслед за ним по прохладному коридору и оказался в маленькой комнате, полностью занятой широкой кроватью.

— Если тебе нравится здесь, добро пожаловать,— сказал Абу-Нимер.

— Нравится,— сказал я. — Сколько надо будет платить?

— Не знаю,— сказал Абу-Нимер,— надо спросить жену. — С этими словами он вышел.

Я поставил чемодан, сел на кровать и потонул в мягких перинах. Тишина обволокла меня, сквозь нее пробивались какие-то на редкость знакомые запахи растопленного масла, мяты, черного кофе, розовой воды и зерен кардамона. Я почувствовал, как мое лицо расплывается в улыбке, а уши напряженно пытаются уловить голос, тот, единственный, без которого невозможно восстановить далекое и утраченное воспоминание.

Внезапный звук льющейся воды заставил меня затаить дыхание: мотор, охлаждающий воду в бассейне.

Я вышел во двор. Бассейна здесь не было, как не было и того фруктового сада. Хотя росли сливовые деревья и яблони, росли так, как растут только в арабских дворах. Понятно, этот двор стал таким не сразу, каждое

поколение прибавляло что-то свое. Одно поколение сажало, другое выкорчевывало. Кто-то посадил яблоню возле трубы, кто-то шелковицу возле собачьей будки. Долго выращивался этот сад, повествующий о жизни своих хозяев. Я стоял и вслушивался, воображение рисовало мне Нахиду и старуху, Абдул-Керима, повозку, подъезжавшую к воротам, и лошадей, мочившихся в песок.

Вечером меня позвали отужинать за семейным столом. Абу-Нимер представил мне участников трапезы: жену, круглолицую и проворную, улыбающуюся в никуда и не поднимающую на меня глаз; двух сыновей, тринадцати и пятнадцати лет, которые учились в городском колледже; дочь, белокожую и пышнотелую, которая была замужем за полицейским. Того не бывает дома неделями, возвращается же он всякий раз с плетеной корзинкой, а в ней — голубка со свернутой шеей, яблоки и дюжина яиц, конфискованные у крестьянина, случайно оказавшегося в полицейском участке.

То, что подавалось к столу, было не чем иным, как продолжением того давнего ужина во фруктовом саду; и я понял, что я здесь искал.

После трапезы из граммофона полились звуки арабской песни; Абу-Нимер попросил меня объяснить сыновьям, как пользоваться английской пишущей машинкой, которую он вчера купил в городе.

Я взялся обучать мальчиков, которые принялись за дело с воодушевлением; их родители стояли в стороне и с замиранием сердца следили за происходящим. Мы провели за этим занятием довольно много времени. Их мать принесла мне стакан какао и попросила сделать перерыв. Граммофон не умолкал ни на минуту. Я пил какао, а мне слышался голос Нахиды, чудился Абдул-Керим, а из темноты коридора звучал голос мамы, беседующей со старухой. В эту минуту мне открылось: все эти годы я ждал мгновения, которое вернуло бы меня в то время, время фруктового сада, я жаждал повторения. Я закрыл глаза и спросил себя: «Увижу ли я вновь тебя, маленькая Нахида, и тебя, победитель в соревновании по плаванию Абдул-Керим?»

Прошло еще несколько лет. Шла война с арабами. Я был в бригаде, готовившейся атаковать Тель-Ариш, в песках под Яффой, к востоку от города.

Несколько недель тому назад там произошло сражение, в котором мы потеряли двадцать шесть бойцов. Но на сей раз мы были уверены в победе и считали этот бой актом справедливого возмездия.

В полночь мы вышли из Холона. Мы пробирались песками в Тель-Ариш. Песчаные дюны служили нам надежным прикрытием, и мы ползли между ними в тишине и молчании. Западный ветер доносил до нас запахи Яффы; однако позже ветер переменился, стал дуть нам в спину, и мы спиной чувствовали дыхание белых домов Холона. От прогретых солнцем песков подымалось тепло. Дюны шептали нам о наполненных светом днях, которые мы прожили в белоснежных кварталах. Пески заверяли нас — свобода и радость придут вместе с победой.

Когда арабы обнаружили нас, было уже поздно. Мы находились на расстоянии выстрела от арабской позиции, атакованной нами с трех сторон. Одна из наших первых гранат разорвалась возле ближайшего пулемета и ранила всю обслугу. Мы прорвались вперед и направили немецкий пулемет на деревню. Среди арабов поднялся переполох, они бросились из домов, но были срезаны огнем наших снайперов, которые стреляли из засады с двух флангов, юга и севера. Осталась лишь западная дорога, и, по-

видимому, часть арабов успела просочиться в ближайший фруктовый сад и укрыться там, где лет двадцать назад я провел несколько дней.

Я с самого начала предвидел такое развитие событий. Оно было в полном соответствии с планом наших действий. Дом в саду был второй целью нашей ночной атаки. Мы не знали, находились ли там бойцы, но нам было ясно: если не удастся взять высоту в Тель-Арише, то арабы в надежном убежище — каменном доме — смогут подготовиться к новым вылазкам.

По-видимому, в доме с фруктовым садом находилось подкрепление, так как оттуда открыли сильный огонь. Было ясно, что там укрепленная позиция, подготовленная на случай взятия высоты нашими силами.

На сей раз счастье нам не улыбнулось. Бой продолжался до утра. Мы потеряли шестерых солдат. Но дух мести, витавший над нами, раззадоривал нас. Кроме того, численно мы превосходили арабов. Вскоре мы заметили очевидные признаки слабости противника. Огонь стал слабее, а потом и вовсе стих. На заре мы пробрались во двор, проникли в конюшню и заложили там взрывчатку. Через несколько минут после того, как мы покинули двор, раздался оглушительный взрыв, и ближайшее к бассейну крыло дома превратилось в груду развалин. Раздались крики раненых и возгласы «Сдаюсь!» Мы стояли во дворе с винтовками на изготовку и кричали арабам, чтобы они бросали оружие и выходили.

Я не удивился, увидев Абдул-Керима. Казалось, и его появление входило в план нашей операции, хотя верить в такое мне не хотелось. Я узнал его сразу. Я вышел вперед и окликнул его по имени. Я объяснил ему, кто я такой, и он улыбнулся усталой улыбкой.

— Нахида тоже здесь? — спросил я его.

— Нет,— сказал Абдул-Керим,— семья уехала из Яффы.

Подошли наши и с удивлением прислушались к беседе.

— Ты его знаешь? — спросил командир.

— Знаю,— ответил я.

— Он может сообщить важные сведения?

— Вероятно,— сказал я,— но дай мне свести с ним старые счеты.

— Ты хочешь его кокнуть? — спросил командир.

— Нет,— сказал я,— просто поболтать.

Наши рассмеялись. Абдул-Керим, ни слова не понимающий в этой беседе, был, казалось, чрезвычайно оскорблен. Его руки дрожали от волнения.

Я поспешил объяснить ему, что хочу поговорить с ним наедине.

— Вы победители,— сказал он,— что прикажешь, то и сделаем.

— Пока я не победил тебя в бассейне,— сказал я ему,— неизвестно, кто победитель.

Абдул-Керим улыбнулся — похоже, он понял, на что я намекаю. Но наш командир ничего не понял, он просто приказал отвести Абдул-Керима во фруктовый сад, туда, где были все пленные.

Я поднялся к бассейну и сел на барьер. Из Холона и Бат-Яма двигалось подкрепление, санитары во дворе перевязывали раненых. Я был предоставлен самому себе. Я разделся и вошел в воду. Она была теплая и грязная — очевидно, насос уже давно бездействовал и не качал воду из колодца.

Я несколько раз подряд переплыл бассейн. Я закрыл глаза и стал ждать, когда прозвучит ободряющий голос мамы: «Не бойся, плыви быстрей!»

Но вместо этого я услышал голос Абдул-Керима: «Ты победил меня в Америке, а я победил тебя здесь, в бассейне».

Из сада послышался выстрел. У меня екнуло сердце. Я знал: Абдул-Керим мертв.

Я выскочил из воды, схватил свои брюки и бросился в сад. Там был переполох, командир кричал:

— Кто тут стрелял, черт подери?!

— У меня случайно выстрелила винтовка,— сказал один из наших.

Командир, обращаясь ко мне, сказал:

— Вот черт, языка упустили. Убили твоего араба.

— Упустили,— сказал я.

Я подошел к Абдул-Кериму и перевернул его на спину. Наверно, лишь несколько минут назад, когда я плавал в бассейне, он мысленно видел меня. Его лицо не было лицом побежденного. Здесь, в саду, побежденным был я. Все мы были побежденными.

Перевод ЛИОРЫ КНАСТЕР и ФЕДОРА МАКАРОВА

АМАЛИЯ КАХАНА-КАРМОН

Фата

РАССКАЗ

Пламя Божье объяло детей
Пламя Божье объяло города
Пламя Божье объяло дома, пламя Божье объяло поля
Пламя Божье — сама красота — Божественное такое.
Языки пламени, трубный глас, взгляды ангелов.
Взгляды ангелов чисты, много чище они взглядов детских,
Ангелы-серафимы, Аллилуйя!
Дети — не ангелы, дети — скверны, дети — мерзавцы.
Дети попрошайничают, дети злы, дети орут
и лишь изредка поют.
Дети — не ангелы, голоса их — это не Аллилуйя.
Придут ангелы, будут пинать детей,
разгонят матерей-дурнушек и замарашек.
А отцы тоже хороши — глупы,
нет в них Божественной мудрости.
Отцы-глупцы сеют зло, пожинают смерть —
— отцы-придурки.
Отцы из праха, отцы со свалки, окаменелые отцы.
Мальчик, где твой папа? Он не витает в облаках.

Кто витает в облаках? Уж не твой ли отец — глупец, мерзавец, придурок.
Давайте, дети, молитвсь Богу, а ангелы несут огнь Божий, столь прекрасный.
Скажи спасибо, мальчик, ты, нечисть, погань и слизняк.
Из туч прольется дождь, благодатный дождь прольется на землю.
Ангелы развесят пречистые саваны, окажут первую помощь этому миру.
И тебе, мальчик-замарашка, дадут сладкое печенье.
Цветы расцветут, а отец-придурок не узрит этой красы.
Мама-дурнушка и не посмотрит, мама умеет только ругаться.
Ангелы восславят Господа, трубы будут тяжко вздыхать.

МЕИР ВИЗЕЛЬТИР

Отец проводил ее, усадил в автобус. Остался с ней до его отправления. Предпоследний автобус. Папа водил ее в кино. А теперь он торопился. Был вроде бы даже сердит.

В автобус заходила группа солдат войск ООН. Про одного из них папа сказал: «Этот похож на Энтони Перкинса». Вошел еще один. «Этот еще

АМАЛИЯ КАХАНА-КАРМОН (*род. в 1936 г. в киббуце Эйн-Харод*) — прозаик. Окончила филологический факультет Еврейского университета. Автор трех романов, в том числе «С ней на пути домой» (1991), повестей, сборников рассказов «Под одной крышей», «Высокие ставки» (1980) и др. Лауреат литературных премий имени Бреннера (1986) и имени Бялика (1994).
Рассказ «Фата» взят из сборника «Магнитные поля» (изд. «ха-Киббуц ха-Меухад», 1977).

больше похож на Энтони Перкинса», — подумала Шошана, но вслух ничего не сказала.

Она ждала отца несколько часов. Вечер в чужом городе. Городской сад. Пустая детская площадка. Сквозь листву видны огни — городские кварталы. Дома, окна. Жилища чужих людей.

Она пришла сюда засветло. Когда еще садовники отдыхали в тени кустов. Двое бродяг-туристов, оба с пышными шевелюрами — у одного шевелюра, как солнце на плакате, распускающее во все стороны лучи-языки пламени,— тщательно примерялись, чтобы разрезать лезвием бритвы на две половинки одну-единственную сигарету. Потом стала собираться детвора, мальчики и девочки — совсем малыши. Одни — с заколками в волосах. Другие — с игрушечными сумочками. Или с маленькой белой накидкой, переброшенной через руку. Под вечер в городе, лежащем в горах, прохладно.

Затем в сад привели глухонемых детей. Сопровождали их две учительницы. Или воспитательницы. Очень молодые, одетые как проститутки.

Воспитательницы уселись на скамейку. Немые дети разбрелись по качелям и песочницам. Они заняли все, на чем можно было усесться. Или, зажмурив глаза, крутиться до умопомрачения — взлетать к небесам на каруселях и стремительно падать на качелях. Дети из приличных семей разбежались, бросились под крылышко родителей и гувернанток. Немые дети, как оккупанты, немедленно завладели освободившимися местами. Они делали друг дружке знаки руками, без единого звука, эти знаки выражали радость, довольство, злобу. Среди них были девочки-подростки, на лицах которых была печать умственной отсталости, они расселись на крошечные сиденья качелей для малышей. Один долговязый мальчик, особенно настырный, в рубашке, разорванной у плеча, все время пытался помешать им. Он норовил, когда они пролетали вверх-вниз мимо него, сорвать с них сандалии, а они лупили его ногами. Били в пах, в подбородок, под ребра, били с размаху. А он, зажмурив глаза, разевал рот в безгласном вопле боли, так что были видны зубные протезы.

Сад опустел. Еще немного — и стемнеет. Вот уже и совсем стемнело. Все ближе и явственней доносится песня, которую поет женщина на кассете. Голос настолько четкий и явственный, будто это гудит клаксон проезжающей мимо машины. И снова все тихо. Затем доносится знакомый голос диктора, читающего вечерний выпуск новостей. С лоджии первого этажа дома, что за ближайшими соснами, раз или два кто-то спрашивает кого-то о чем-то. Голоса такие домашние, обыденные, люди готовятся ко сну. Жалюзи слегка пошевелили ребрами, они сдвинулись настолько, насколько нужно, чтобы наглухо отгородить их от уличной жизни.

Шошана развернула пакетик с едой, которую приготовила ей мама на дорогу, и принялась есть. Два бутерброда. Немного печенья. Пара абрикосов. Немного халвы.

Некто, ашкеназ[1] с виду, лысоватый, с изрядным брюшком, одетый в короткие штаны цвета хаки, невероятно широкие (когда-то все были одеты именно так), с портфелем, похожий на чиновника средней руки, — то и дело заходил в сад и снова выходил. Входил и выходил. Сперва, когда он проходил мимо нее, она еще могла разглядеть пряжку на ремне его брюк, затянутом до последней дырочки. Капли пота на лице и на шее. Взгляд, устремленный на нее сбоку, будто взгляд курицы. Он все время посматривал на

[1] Еврей - выходец из Центральной или Восточной Европы.

нее. Затем стали лишь с трудом различимы черты его лица, выражавшие страданье. Стало очень, очень темно. Шошана решила сменить место ожидания, перебралась на тротуар, поближе к уличному фонарю. Она боялась, что отец не найдет ее, ведь он велел ей ждать в саду на детской площадке — там, где все дети. А если отец зайдет на детскую площадку через другой вход? И выйдет тем же путем. Ничего не поделаешь. Другой город. Чужой город.

Она стояла на углу, поглядывала во все стороны, пыталась не упустить из поля зрения главную улицу, там, дальше, за переулком. Там ходили люди. Правда, их становилось все меньше. Но все же прохожие были. И машины. Оказывается, она ошибалась. Хотя она особенно не задумывалась об этом, ей всегда казалось, что жизнь повсюду замирает тогда, когда люди, поужинав, укладываются спать. Но вот бывают исключения. Безусловно, нечто новое, доселе неизвестное случается чаще днем. Но, выходит, необычное бывает и ночью. Правда, иначе. Ночью все иначе: дома, люди, мысли.

Автобус все не отправлялся. Отец начал ворчать. «С каких это пор солдаты ООН разъезжают в автобусах?» — подумала Шошана. На сиденье перед нею сидели двое. А третий стоял в проходе и болтал с ними.

У них были голубые, холодные глаза. И хотя все они, конечно же, были широкоплечи, было в их фигурах что-то узкое. Будто они сделаны из более сухого материала. Будто мы кончим тем, что, сморщившись, растечемся лужицей. А затем, когда станем тонюсенькой пленочкой, сожмемся, испаримся и перестанем существовать. А они кончат тем, что рассыпятся, станут пылью и обратятся в ничто. И все они похожи, хотя все они разные. Как плоды гуаявы. Все — вкусны, но каждый имеет чуточку свой, чуточку особенный вкус, именно так она ощущала на вкус плоды гуаявы.

В автобус зашел человек с высокой картонной коробкой. На ней было написано корявыми буквами: «Принадлежности для птичников». Он загородил своей коробкой проход.

Шошане вспомнился отрывок из школьной хрестоматии «Пути», часть 4-я. Цыпленок вылупляется из яйца в инкубаторе. На кого направит он свое естественное стремление к общению, свои первые привязанности? Спрашивается: на электрический инкубатор или на птичника, который ухаживает за ним с тем, чтобы в конце концов отправить его на электрическую бойню, — на кого? «Естественное человеческое стремление» — так там было написано. Человеческое стремление есть у него, у того, кто сам — вовсе не человек.

С одного из задних сидений доносился голос парня, восточного еврея, это был шепот, но весьма страстный: «Дай мне должность профорга! Не из особой любви ко мне. А потому, что я усвоил принцип. Вот увидишь, за четыре года я превращу эту должность в трамплин для политической карьеры! Надежный трамплин. Увидишь, все будут заискивать передо мной, всем я буду нужен, все будут приходить ко мне. Вот, скажем, Бен-Дов. Ну и что Бен-Дов? Сейчас он стал важный. Сейчас. А кем он был пятнадцать-двадцать лет назад? Простым моряком. А теперь — сам знаешь. А я напущу на него всех строителей. Подумай — это же сила. Да, да. А вот Анави убрали, убрали потому, что он не общественный деятель. Он слабак. Да, он всюду совал свой нос. Но он слабак. Надо уметь повести за собой людей. Надо уметь их использовать. Как? Работать с людьми. И вообще, ты же знаешь, что со мной у тебя дело пойдет как по маслу. Отчетность, делопроизводство, все...»

Автобус не двигался с места. Отец встал, быстро попрощался и вышел.

Не успел отец сойти, как солдат ООН, стоявший в проходе, уселся рядом с ней. Просто сел на освободившееся место, продолжая болтать со своими товарищами.

Такой веснушчатый, молодой, симпатичный. Но свет погас, и он замолчал. Шошана удивилась тому, что он уселся рядом с ней. Она заметила, что, прежде чем сесть, он смерил ее взглядом, посмотрел на свободное место через проход и моментально принял решение — сел рядом с ней. То, что он сделал именно такой выбор, показалось ей маленькой победой.

Даже в темноте можно было различить его тонкие губы. Его большую, крепкую руку, твердо лежавшую на спинке переднего сиденья. Один из свойских парней. Весь, целиком — свой парень.

Автобус наконец тронулся. Высокая женщина перебежала перед ним дорогу, водитель бросил зло: «Грета Гарбо!» Шошана искоса взглянула на солдата, заметила улыбку на его лице. Она тоже улыбнулась, так, невзначай. Ремень дорожной сумки — синей сумки с эмблемой авиакомпании «Эль-Аль», — в которую отец сложил свое белье в стирку и которую поставил на верхнюю полку, свесился вниз, свободно раскачивался и почти задевал берет солдата, сидевшего перед ней. Шошана попыталась приподняться, чтобы засунуть ремень на место. Вот беда: солдат уселся на краешек ее юбки, широченной маминой юбки, которую мама дала ей в честь такого случая — поездки к отцу. Автобус разворачивался, выезжая со стоянки, Шошана покачнулась и вдруг обнаружила, что она, в полной тьме, сидит на чужом широком колене.

— Извиняюсь, — пробормотала она на иврите, ухватившись обеими руками, как на плоту, за подлокотник переднего кресла, а смущенный солдат пробормотал по-английски:

— Простите. Простите. Ничего страшного.

Она снова попыталась выпрямиться, но солдат все еще сидел на кончике ее юбки, автобус резко повернул, ее снова швырнуло солдату на колени. На сей раз он поспешил помочь ей, приподнял ее, как сверток, чтоб усадить на место. Но автобус резко вывернул на дорогу, его рука соскользнула и ухватилась за то, за что хватать не принято.

— Простите, — испугался солдат и отдернул руку. Шошана, пытаясь встать, произнесла:

— Ничего страшного, — она повторяла вслед за ним английские слова,— простите. — Она попыталась вспомнить слово из школьного учебника: — Платье.

— Платье? Ах, платье! Извините,— совсем смутился солдат.

— Ничего страшного, — повторила она по-английски, сгорая со стыда. Тень улыбки давным-давно исчезла с ее лица. А его лицо излучало уверенность в себе.

Однажды, когда папа еще работал в Тверии... Одна официантка хвасталась перед подружками своим умением общаться с людьми. Ее попросили выяснить у солдата ООН, женат ли он. Официантка не сумела подобрать нужное слово. Затем нашлась: «Ты — папа?». «Не знаю, может быть», — рассмеялся солдат, правда, заметно обескураженный. Все в ресторане расхохотались. Что он хотел сказать? Так женат он или холост? Солдат пригласил официантку пройтись с ним. «Куда?», — спросила та. «Потанцуем где-нибудь», — перевел отец его ответ. «ООНовские солдаты все равно что заезжие моряки», — разъяснил ей тогда отец.

Отец постоянно напевал французскую песенку. Однажды, в субботу, отец, расчувствовавшись, перевел ее с выражением: «Вижу портовые огни

Лишь они поведали мне, что мы расстались\ Эти портовые огни\ Тебя ко мне привели \Капают слезы\ Как их сдержать\ Волнуется, бурлит весь день серебристое море \Прощайте, ночи средь волн и дюн...», а потом другим голосом: «Хочу, чтоб ты был рядом \Хочу, чтоб обнял ты меня еще разок\ Но судьба моя — портовый кабачок\ А твоя судьба — бурное море...» и снова подхватил: «Вижу портовые огни\ Лишь они поведали мне, что мы расстались\ Другие портовые огни\ Тебя у меня отнимают».

Ночью деревья вдоль дороги качают кронами, как люди головами. Фары быстро едущего автобуса высвечивают их на мгновение, и они остаются позади. И серп луны, прикрытый облачной дымкой, как вуалью. Но почему так пересохло у нее в горле?.. Шошана долго глядела в окно.

Однажды, когда она ехала домой с отцовским бельем в стирку, рядом с ней сидел симпатичный молодой человек, вероятно, студент Техниона, читал книжку. Книжка называлась «Убийство при луне». А когда стемнело, он убрал книжку в карман и стал подвигаться, касаясь ее локтя так ловко, что до самого перекрестка она не могла разобрать, трогает ли он ее за локоть или это только ей кажется. И теперь, как и тогда, в первый момент был тот же испуг. Бессознательный испуг. Животный страх. Но теперь не так, как тогда, ошибки быть не могло. Солдат, сидящий рядом с ней, действительно прижимает свой локоть к ее руке. На сей раз она не встала со своего места и не пересела на свободное сиденье. Она сидела как истукан. И никак не реагировала. Глядела в окно.

Вот другой рукой он пытается взять ее за руку. Люди издают звуки не ради того, чтобы поупражнять мышцы гортани, а для того, чтобы сказать что-то. Точно так же и тут. Он пытался сказать что-то, но другим способом. Чего он хочет? Да, я знаю. Но непонятно, о чем именно он спрашивает сейчас, в эту минуту. И чего ждет от нее. Трудно разобрать. Тем более когда все мысли смешались.

Она исподтишка бросила на него взгляд. И открыла, что он совсем плотно прижался к ней, гораздо плотнее, нежели она предполагала. Лицо каменное, будто он тут ни при чем. Вот он протягивает руку, чтоб обхватить ее. ООНовские солдаты перед ними, позади них — откуда у него столько смелости?

На перекрестке — свет фонарей. Солдат быстренько отодвинулся.

В автобус вошли веселые девушки в военной форме. «Смадар, Смадар!», — звали они подружку, которая покупала что-то у мальчика-разносчика. Красивые, взрослые, смеющиеся. «Это конец», — подумала Шошана. И вообще, ничего не попишешь, ясно, что он теперь подумает обо мне: не посмела даже взглянуть на него. Он сидел, уставившись вперед, она тоже сидела и глядела вперед. Он сложил руки, она тоже сложила руки.

Компания девушек-солдат расположилась на свободных сиденьях. Вошел контролер. Солдат, что рядом с ней, улыбнулся, так, молча, слегка приподняв подбородок, а другой солдат, сидевший сзади, что-то громко произнес, видимо, это была шутка. Шошана достала из кармана кофточки свой билет. Обратный билет и квитанцию на доплату за поездку в ночные часы, зажала их в руке.

Видит: солдат улыбается ей. Будто просит ее разрешения. И прежде, чем она успела понять, чего он хочет, он взял у нее ее билет. И вместе со своим протянул контролеру.

Всегда она — старшая дочь — должна была уметь сама позаботиться о себе, как же ей быть, когда что-то, словно током, пронзило ее, прожгло сквозь спину до самого спинного мозга и бросило ее в жар. Она чувствовала себя

совершенно растерянной, ничего не понимала.

Он возвращает ей билет, пытается завязать беседу.

— Израиль? — указывая на нее.

Шошана кивнула.

Показывая на себя:

— Риф-Раф.

— Где это — Рифрафия? — напрягла она память.

— Канада, — улыбнулся он ей, будто осчастливил, засовывая в карман свой билет.

Ей подумалось, что с Канадой у нее связана только история, когда-то рассказанная отцом. Канадец зашел на кухню в гостиницу и поведал отцу и прочим поварам, что там, откуда он прибыл, гостей принимают в гостиной. Но если гость — особенно близкий человек, его принимают на кухне. Сказал так и захрапел. Был пьян в стельку. Потом выяснилось, что он уснул, усевшись на мельницу для приправ, которую никак не могли найти.

Канадский солдат указал большим пальцем назад. Спрашивая, из того ли она города, из которого они ехали. Шошана указала пальцем вперед. То есть из города, в который они едут. Он понял и рассмеялся, будто она удачно сострила. Он снова ткнул пальцем назад и повертел ладонью другой руки, как бы спрашивая. Шошана указала на отцовский сверток и произнесла:

— Папа. — Лицо солдата выразило само почтение, и Шошана совсем успокоилась. Тут ей вспомнилось, и она решила испытать свою способность к общению:

— Ты — папа?

Он не понял. Но все же, указывая на себя, улыбнулся:

— Нет папы. Нет мамы. Нет сестры. Нет жены. Нет детей. Никого, — сказал он. И снял берет. Положил его наверх, на ее сумку. Да, на ее сумку. Так, со своими рыжими волосами, он был гораздо красивее. Тут погас свет, и он обернулся к ней. Автобус качнуло. И он своей рукой, лежавшей на ее спине, слегка подтолкнул ее. Будто хотел уберечь ее, удержать на повороте.

Подъезжали к пригородам, хотя до автостанции было еще далеко, и вдруг угодили в затор — шоссе было запружено стоящими автобусами и машинами.

— Пробка? — спрашивали вокруг. — Авария?

Так они простояли долго. Новые машины подъезжали и останавливались. Люди стали выходить из машин. Потом, отчаявшись, возвращались обратно. В их автобус поднялся человек в форменной фуражке автобусного кооператива «Эгед». Из ветеранов.

— Случилась авария, — объяснил он. — Придется до города добираться пешком. Тем, кто следует дальше, предоставят транспорт.

Водитель перевел на английский, с безразличным видом взял свой планшет и тоже вышел.

Канадский солдат снял с полки сумку Шошаны. Люди толкались, сходя с автобуса. Особенно сильно толкалась одна весьма и весьма упитанная дама, которая по пути к выходу с жаром продолжала свою беседу, не могла остановиться: «Так вот, через двадцать лет я увидела ту, ради которой он меня бросил, — с серьезной миной вещала она. — Немного похожа на меня. Он и ей изменил. Скотина. Ничтожество. Откуда я знаю? Да он изменил ей со мной», — поведала сия воплощенная экстравагантность. Сплошные ночные приключения.

Шошана сошла почти последней, внизу ее ждал солдат.

— Гуд бай! — Шошана обрадовалась, что вспомнила нужное слово.

Она взяла у него свою сумку, с удивлением обнаруживая еще одну перемену в себе: из ее уст звучит чужая речь. Робот, дело рук человеческих. Будто кнопку нажали, и дело пошло: доселе сокрытое вдруг проявилось. Вдруг мир наполнился вопросами и неожиданностями. Раздумывая об этом, она услышала, как проходящий мимо молодой парень-израильтянин, бросив взгляд на солдата ООН, произнес на иврите: «Тело что надо». Будто комплимент сделали ей. Солдат не уходил. Он стоял, засунув руки за ремень своих узких брюк, и ждал. Шошана указала на его товарищей — солдат ООН, которые, отделившись от всех, переходили на другую сторону шоссе. Он покачал головой в знак отрицания и взял у нее сумку. Сказал с улыбкой:

— Little girl, — и указал на часы. Это означало: в такой поздний час маленькой девочке нельзя ходить одной.

Теперь они оказались позади всех. Она пошла было вслед за толпой, двигавшейся вдоль колонны стоящих машин, но он остановил ее. Поймал за рукав. Незаметно, как подпольщик на явке. И тогда Шошана остановилась вместе с ним, будто целиком отдала себя в его власть. Под его покровительство. Теперь она — его. От нее требуется лишь полагаться на него. А его вклад, взнос, или, если угодно, гарантию, можно было усматривать, например, в цвете кожи его рук. Нежный песчаный оттенок, могучая такая рука, правильная. Или, скажем, его часы — квадратные часы на руке, — в них тоже было что-то правильное, придающее уверенность. И его футболка — белая тренировочная, — выглядывающая из-под гимнастерки. И все прочее.

Так как вокруг уже не было других пассажиров, солдат притянул ее к себе, повел в сторону от дороги по тропинке — там было множество тропок — в сторону города. Все идут по дороге, а они пошли по другой. Это тоже было правильно. Она пошла с ним, не спрашивая ни о чем.

Он то и дело останавливал ее, крепко обнимал. Один раз, прижав к себе, стал гладить, не отпуская, уткнулся ей в волосы и прошептал медленно, так, чтобы она поняла:

— Вот увидишь, со мной будет хорошо, — и поцеловал в голову.

Эти слова поразили ее. Новое, доселе неизвестное: это ведь то, что говорят взрослым девушкам. Тем, из Канады. Счастливицам. Загадочным, гордым, желанным. Их это тоже так завораживает? Вечерами, на тропках меж кустов. Фонари висят среди ветвей и освещают листву. А еще его грудь в форменной гимнастерке, к которой он прижал ее, говоря эти слова. Удивительная грудь, ровная, близкая, незанятая. «Надежная гавань»... Но что же он сказал? Ее будто спрашивали удивленно: «Как же так? Все эти годы ты не имела об этом никакого понятия? Не знала, что есть на востоке Средиземное море?» Ну конечно же. Море, берег. Но откуда это невероятное облегчение? «Не знала», — отвечала она, уже без уверенности: так знала, или не знала? Так что же все-таки он сказал? Может быть, просил ее руки? «Маленькая девочка». Предлагал ли он подождать, пока она подрастет? Взять ее тогда с собой в Рифрафию? Бегите, бегите, дни и годы! Неясно только, как же он умудрился сразу, совсем не зная ее, понять, что Шошана — лучше всех, что именно ее следует выбрать.

Ее, в цветастой юбке, которая ей страшно велика, которая заколота английскими булавками, чтоб не спала. В кофточке в клеточку, которая ей страшно мала, едва прикрывает лифчик. Та самая Шошана. И все же другая Шошана. Загадочная, желанная. Девушки — красавицы, женщины — красавицы! Ей всегда доставляло удовольствие видеть красивых женщин.

Будто она приобщалась к их красоте — издали. И вот она тоже в их компании желанная. Она — из их числа.

Может, все это — как тогда — во сне? Я стою на широкой лужайке. День клонится к закату. Красавица негритянка, жена посла, стоит тут же, зачарованная, подле клумбы. На клумбе — огромные, прекрасные цветы. Разных оттенков, яркие, дивной, неземной красоты. «Дикая лошадь Пржевальского, — произносит она тихо, — лошадь Пржевальского». Я тоже стою зачарованная. «Дикая лошадь Пржевальского?» — спрашиваю я. «Лошадь Пржевальского. Горы сластей у нас на базарах!» Кто-то зовет ее. В самолет. Ночные небеса. Уже покрытые звездами, как цветами жасмина. Бегите, бегите, дни и годы!

Он все время держал ее за руку. Тропинка упиралась в ограду из колючей проволоки. Похоже, ее установили здесь недавно. Они пошли назад. Но каждая тропинка упиралась в тот же забор. Вдоль него не пойдешь. Непроходимые заросли колючек. Ничего не поделаешь, придется лезть через забор.

Он перебросил ее сумку через забор. Помог ей вскарабкаться. Влез сам. Перекинул ноги на другую сторону и спрыгнул. Но она не могла спрыгнуть! Он протянул к ней руки, она решилась и спорхнула прямо в его объятия.

Он принял ее, почему-то не отпустил, прижал всю целиком к себе. Вдруг как-то весь переменился. Почему-то они не идут дальше. И почему-то ее опять охватил панический, животный страх — она попыталась вырваться. Но ей пришлось убедиться, что мужчины невероятно сильны. Он дышал, как кузнечный мех. Неожиданно грубо повалил ее на землю. Разве не унизительно, когда твою голову запрокидывают в пыль. Она пыталась выскользнуть из-под него, освободить нижнюю половину тела, охваченную его ногами, как клешнями, верхняя половина ее тела была прижата его рукой. Он навалился на нее, тяжелый, в одежде, в ботинках, другой рукой поворачивает ее лицо к себе, ищет ее рот, просит близости и согласия. Сам он отдает, преподносит, жертвует только собственные губы, такие дорогие ему, должно быть, губы его такие нежные. В то же время он решительно пресекает все ее попытки освободиться, не позволяет ей пошевелиться. Что же это такое? А он тяжело дышит, весь такой возбужденный. И вдруг он ослабил натиск. Все как-то непонятно, нехорошо. А мы были просто друзья. Я для него — уже не подданная Израиля. Я — подданная ООН.

Он сидит рядом с ней, спрашивает медленно, так, чтоб она поняла:

— Сколько тебе лет?

Шошана показала на пальцах — «тринадцать».

Он рассмеялся, прижал свое лицо к ее плечу.

— Господи, — сказал он, смеясь, — прости меня. — Хлопнул себя по макушке — это значило: «А я думал». И пояснил, что он думал: выбросил трижды кулак, разжимая и сжимая его, затем растопырил три пальца, что значило — «восемнадцать». Повертел левой ладонью, что означало «может быть». Проделал те же движения пальцами правой руки, это значило «семнадцать». Потом выбросил на палец меньше, это означало «шестнадцать». Задумался на минуту, выбросил на пальцах «пятнадцать». Шошана терпеливо следила за его движениями, пытаясь понять язык его жестов. Но тут он рассмеялся, пальцем щелкнул ее по носу.

Шошана приподняла голову, глядя на него, а он одной рукой обнял ее, прижал к себе. Его крепкие руки все еще были такими надежными. И его грудь в форменной гимнастерке была безопасной гаванью.

— Комары, — сказал он. Разумеется, комары. Он порылся в заднем кармане, вытащил измятую пачку импортных сигарет. И спички — их головки были светлее, чем палочки, прикрепленные к бумажному основанию в форме книжечки. Зажег сигарету. Показал на дымок сигареты и объяснил: — Комары, — помахал рукой, показывая, как дым отгоняет их. Дым отгоняет комаров — поняла Шошана.

Он курил. Глядел прямо перед собой. Потом обернулся к ней, протянул сигарету. Шошана взяла. Он улыбнулся, показал, как правильно держать сигарету, предлагая ей закурить. Но Шошана вернула ему сигарету. И тут, когда она попыталась устроиться поудобней, облокотившись, вскрикнула: она наткнулась на осколок стекла, валявшийся в траве, и порезалась. Порылась в траве, нашла осколок — это было отбитое горлышко бутылки. Он взял осколок и швырнул подальше.

— Покажи, — он хотел посмотреть на порез.

Шошана убрала руку за спину и опустила глаза. Он снова закурил. Глядя перед прямо собой, Шошана осторожно вынула из-за спины пораненную руку, стала украдкой лизать рану. Он заметил, рассмеялся. Обернулся к ней, взял руку в свою. Но ничего не мог разглядеть в темноте. Пожал ее руку выше локтя, как бы подбадривая, затем отпустил. Докурил сигарету, ткнул окурок в землю. Встал легко, почти не опираясь о землю, — отметила про себя Шошана. Пошел за ее вещами, легко, как пушинку, взвалил их на плечо.

Потянул ее за руку, поднял:

— Little girl, — указал он с улыбкой на часы.

Шошана поднялась, подчиняясь ему. Он что-то произнес, медленно, чтоб она поняла. А она не поняла. Он повторял снова и снова, а она не понимала.

— Hever mind[1], — махнул он рукой, смеясь.

Уже ясно виднелись дома. Все вокруг было словно бы бесцветным. А там, над домами, гасли уличные фонари. Вот так, день за днем, своей чередой, брезжит рассвет, небо светлеет, будто умывается, и с легкостью, молча, день выпрастывается из-под ночи. Такое правильное, такое простое решение, вселенский порядок. И свидетелей не надо. Однако видящий видит. Солдат поднял руку, кончиком пальца стряхнул пыль с ее бровей — она восприняла это как приведение к присяге на верность.

Они шли между шоссе и аллеей деревьев, высаженных вдоль него. На северо-востоке, за деревьями, дальше, за плоскими крышами домов, она увидела проблески зари. Над полоской синевы. И тяжелыми тучами. Похожие на гномов баки солнечных бойлеров, их покатые отражатели, лесенки и тростинки телевизионных антенн, все — чернее черного — на фоне освещенного моря, будто постепенно разгорается. Как чудеса, открываемые лишь посвященным, причастным к тайному сообществу тех, для кого обыденное, повседневное, заключает в себе вселенскую тайну.

Когда они еще искали дорогу, она услыхала доносящийся издалека гомон детей. Видимо, ученики профессионального училища. Один из них терзал гитару, прочие пели что-то неразборчивое. Она вспомнила, что сегодня — последний день учебного года. «Пиф-паф», — солдат сделал вид, будто целится туда, откуда раздаются голоса. Теперь, при свете зари, эти ребята были видны им — они шли им навстречу. Уже можно было различить цвета — намеками. Брюки в обтяжку — намек на голубое. Ремень — на полоски

[1] Ничего, неважно (*англ.*).

красного и черного. Рубашка — намек на желтое. Они все еще нестройно поют, переходят шоссе, шагают в сторону домов — четыре часа утра, они перебудят всю улицу. «Не помню, что я написал на экзамене, но то, что я написал, было правильно».

Канадский солдат торопливо огляделся, обернулся к ней, быстро потащил ее к ближайшему эвкалиптовому дереву. Уперся о ствол руками, вытянутыми над ее головой, хотел прикрыть ее собой. Она сжалась в комочек. Сама она бы не додумалась. Она попыталась что-то сказать, но он упредил ее, закрыл ей рот ладонью, и вот ее дыхание перемешивается со свежим запахом крепкого табака, которым пропахли его пальцы. Он посмотрел на нее сверху вниз, дружелюбно улыбнулся. «Солдат войск ООН! — стучало ее сердце. — Солдат ООН! — Она стояла, глядела на него не отрываясь, пожирала его глазами, а его ладонь лежала на ее губах. Так продолжалось до тех пор, пока компания ребят не скрылась из виду, тогда он нагнулся, взял ее за плечи, прижался щекой к ее щеке. Встрепенулся, провел ладонью по своей щеке, указывая на рыжую поросль, уже начавшую пробиваться, пытаясь рассмешить ее, затем отпустил.

— Little girl, good girl[1], — сказал он.

«Солдат ООН!» Шошана набралась решимости, протянула руки, обхватила его за талию, не хотела идти. Но пошла за ним.

Он свободен от всех известных мне условностей. Условности неизвестные создали эту твердыню, этот характер (а без этого человек — не человек). Он шагает, глядя перед собой, будто все, буквально все — одно и то же. И слова ему не очень нужны — можно обходиться и без них. Видно, что он в этой ситуации — как рыба в воде. Раскованность, порожденная силой. Шошана пыталась поспевать за ним. И всю дорогу — его лицо, руки, форменная одежда — все знакомое, старое и в то же время новое — в новом свете.

Мимо них с шумом пронесся грузовик — фары еще не включены. В кузове полно рабочих-арабов. Через дорогу — футбольное поле. Двое ворот, земля, расчищенная от колючек, окруженная двумя рядами деревянных трибун, похожих на каркас. И остановка автобуса. Рекламный щит. Тот, кто не знает, не разберет в такой час, что темный квадрат на рекламном щите — это крупная красочная афиша индийского фильма. Девушка с круглым пятнышком на лбу — прямо над линией носа. Янтарные бусы. Бусинки крупные, будто квадратные. Кажется, все это должно страшно привлекать мужчин.

Солдат рассеянно глядел на автостраду, водил ладонью по розоватой шее. Посмотрел на нее, точно сомневался в ее способности найти дорогу. Возможно, он решил, что она не отводит от него взгляд потому, что во всем полагается на него. Но она не отводит от него взгляд потому, что просто не может отвести от него взгляд: «Я не представляла себе его с усами, с пейсами или с бородой. Теперь, когда ему пора бриться, это можно представить». Или такое: хотя его нос облупился под солнцем этой страны, остались голубоватые осколки льда. Осколки далекой страны, где его дом, вечные странники, поставленные на его лицо там, где должны быть глаза. Его лицо, на котором навеки запечатлелась та внезапная отчужденность, которая появляется на лице наших женщин в те моменты, когда они впервые примеряют новые сережки. Как незнакомые духи. Аристократическая такая отчужденность. Даже с оттенком суровости. Суровости, порожденной только твоим

[1] Маленькая девочка, славная девочка (*англ.*).

воображением, твоей нерешительностью. Или, скажем, его цвета. Цвета иной, чужой земли, докуда хватает глаз — чужие, иные поля. С теряющимися вдали опорами электропередач — тоже иными. С другими, непохожими на наши, тракторами и комбайнами. Их водители одеты в совсем другие комбинезоны. Может быть, комбинезоны с погонами? А на головах у них соломенные шляпы с широкими полями? И в полуденную жару они все, посреди поля, пьют виски прямо из бутылок.

Шошана остановилась. Чтоб вытряхнуть камешек из туфли. Она попыталась объяснить ему, что ей нужно. Он тоже остановился, понимающе улыбнулся.

Шошана пошла дальше. Осколки дальних краев, оказывается, обрамлены золотистыми ресницами. Цвета, все цвета незнакомой земли, страны за ледяными горами: если пробить топором прорубь, можно поймать на крючок рыбу размером в рост человека. И подумать только, все это вдруг свалилось сюда. Сюда, к ее ногам. Здесь, на задворках городского стадиона перед нашим кварталом, — он и никто иной. Все птицы, что на ветвях эвкалиптов, торжественным оркестром встречают близящийся рассвет, но я знаю: они поют и в нашу честь, в нашу честь тоже. Есть ли кто-нибудь подобный тебе в этом мире, такой же единственный?..

Вот и ее квартал.

Кошка перебирается с крыши дома на крышу сарая. Дома погружены в сон. Из-за угла выглядывает борт дощатой повозки, груженной арбузами. Ранними арбузами — сезон только начинается. Но, похоже, ни один из братьев Эзра сегодня не улегся спать там на матрасе. И фонаря, висящего на повозке, что-то не видать. Медленно, словно нехотя, разрушаются два дома, брошенные жильцами. Стены в трещинах, во дворах — заросли колючек. Поговаривают, что между сваями фундамента завелись змеи.

Возле своего двора она остановилась. Указала на дом. Но канадский солдат загнул большой палец, поводил им между зубов, запрокинул голову, показывая, что хочет пить. Она поняла. Указала на кран возле мусорного бака.

Он взобрался на забор, перелез. Плечи прямые, как вешалка для пальто, широкая гимнастерка болтается у него на спине, как на чучеле, он открывает кран. Наклонился к крану, расставив ноги, принялся пить. Кот, вечно сидящий там в засаде, вдруг решился, сиганул из мусорного бака, бросился на соседский двор и скрылся за валяющимся на земле корпусом выброшенного холодильника. Солдат вытер лицо рукой.

Подошел. Встал напротив нее. Достал автобусный билет. Изучил его внимательно. Аккуратно сложил вдвое. Вложил билет ей в ладонь, согнул ее пальцы, собирая в кулачок, крепко сжавший автобусный билет.

— Сувенир, — улыбнулся он.

Шошана не уходила. Он легонько погладил ее по щеке и пошел. Всего один раз обернулся, помахал ей рукой и ушел.

Когда он скрылся из виду, Шошана уставилась на билет. «Я не знаю его имени, — вдруг пришло ей в голову. — Он не знает моего имени». Шошана глядела на билет. Прижала его к своему лицу. Перекинула свою сумку через плечо.

В дом она вошла на цыпочках. Аккуратно отодвинула детскую коляску, стоящую у двери, пробралась мимо спящих братьев. Торжественных таких, будто распятых. Тихонько разделась. Юркнула в кровать, рядышком с маленькой сестренкой, та спала, обхватив голову руками, вся покрытая пупырышками гусиной кожи.

Мама, в своем неизменном красном халате, наспех наброшенном прямо на ночную рубашку, вышла из другой комнаты, отодвинула желтую полосатую занавеску и встала в дверном проеме: Шошана смотрела прямо в глаза матери. Мама смотрела ей прямо в глаза. Не произнося ни звука. Ушла. Шошана слышала, как мать сдавленно рыдает. Там, на своей скрипящей кровати, в другой комнате. Затем проснулся младенец. И снова уснул.

Она смахнула последние пылинки со своих тонких бровей и с шеи. И за ушами. «Меня зовут Розита», — сказала бы я ему. Вполне светское имя. Мое настоящее имя, которое было заменено по настоянию Хафцивы — классной руководительницы[1]. А теперь моим именем останется «Маленькая Девочка». Да, она стала маленькой, как мальчик с пальчик, и в то же время выросла неимоверно: все окружающее — такое знакомое и в то же время совсем другое. Совсем как Алиса в представлении, на которое нас водили. В честь Дня шефов, Дня «И возлюби ближнего своего», когда над нами установили шефство. Не обошлось без накладок. Микрофоны не работали. А тут еще грузовик сломался. Гости, вынужденные ждать, сердились: им подали чай, они поблагодарили, но к нему почти никто не притронулся. Тут классная руководительница Хафцива быстренько организовала ансамбль клоунов, мы должны были развлекать гостей — петь хором. Цви сбацал «танец лани». Вырядился хоть куда: дамская шляпка, платье, сумочка, а щеки небритые, и вот он отплясывает в стиле ночного кабаре, обнимая и поглаживая воображаемого партнера. Но гости постоянно шептались: «грузовик-аварийная машина-безответственность». Будто это важно. Стирай, мама, стирай. Может, пройдет две-три недели, и — там все красивы, все добры, все влюблены, и, в шикарных зеленых спецовках, на просторном дворе, под серыми опорами электропередач, весело и дружно скребут скребницей, или разглаживают, или расчесывают гривы и хвосты своих любимых коней, а потом, один за другим, распрямляют усталые спины. Взгляд скользит дальше, вдоль изгороди. Привет тебе, возлюбленный мой, чистый и румяный: будет он последним в их ряду. Будет делать свою работу. С любовью. И ничего не замечает. А я встану. Подожду. Пока не заметит меня. Не узнает меня. Не отложит свою скребницу. Не выйдет ко мне. Не введет меня. И все засмеются, но радостно — дочь полка. И может, через две, может, через три недели поеду в рейсовом автобусе. С синей сумкой, на которой эмблема авиакомпании «Эль-Аль». Навстречу своей судьбе.

«Но имя мне — Маленькая Девочка, дочь полка\ А имя тебе — солдат войск ООН\ И вижу я портовые огни...». А может, даже через двадцать лет. И может быть, даже, увижу тех, ради которых бросали меня. Похожих на меня. И им тоже изменят. Как я узнаю? Да ведь им изменят со мной!

Она прижала к лицу автобусный билет. В сердце — пустота. Она казалась себе человеком, представшим перед судом, и вот чиновники подносят ей на подпись лист бумаги — страшный лист бумаги. И она подписывает. Между прочим, с некоторым удовлетворением. Удовлетворением, манящим и отпугивающим одновременно. Да и цыпленок, когда вылупляется из яйца в инкубаторе, знает ли он, какие сложности его поджидают... Ее клонило в сон. Она прогнала от себя сонливость: будто по мановению руки рушатся все преграды и человек против своей воли становится близким. Он будет внимательным, будет отзывчивым, нежным. Без боязни. Будет открытым, не будет стесняться чужака. Он должен любить этого чужака. Обязан. Ина-

[1] Шошана означает на иврите «лилия», но иногда это слово переводится как «роза».

че зачем ему все это, даже если это по доброй воле. Идет изнутри его самого. Да, он любит. И она начала погружаться в глубокий сон, подобно тому, кто, измучившись к концу пути, освобождается от ненужного груза. И осталось одно: человек хочет. Хочет давать, получать. Человек отдает, любит, отзывается, перестает быть чужим. А потом он уходит. Безвозвратно. Уснула.

Она слышит, как мама встает, идет на кухню. Готовит корм курам. Мир уже погружен в зной, весь — будто прачечная — муки новорожденного дня. Рожденного нагим: без благости, без надежды, без утешения, без обновления. Вьющееся растение. То ли тыква, то ли кабачок. Такие украшают собою только бедные дворы, она давно это знает. Распускает свои желтенькие цветки, цепляется за бревна сарая, его край виден ей из окна. Она слышит, как мама привинчивает к кухонному крану шланг. Чтобы наполнить водой стиральные баки и бадью для стирки пеленок, что стоят на улице, под окном кухни. Как это она нам рассказывала однажды? Дело было на их родине. Брат задушил свою сестру-шлюху и бросил тело в колодец. «Благословенны эти руки», — сказала его мать», — так рассказывала нам, преисполнившись священного трепета, мама.

А вот я никогда больше не буду подданной этой страны. Навсегда останусь подданной ООН.

Эта мысль пронзила ее. Точно давно забытая мелодия. Свежая сила, что возвращает к прошлому, ворвалась в нее, и тоска, словно боль утраты по убитому, которого много раз убивают у твоих ног и растаптывают, а кто он — ты никогда не узнаешь. Каждый раз переступаешь через это, и вот теперь только умиротворение, сплошной покой. Но остаются в нем острота всего пережитого, яркость всех красок — резких, как удар в челюсть. В большом мире, только сейчас, только ради меня, только со мной, я тебя — во имя всего святого — когда-нибудь снова найду.

Перевод АЛЕКСА ЛЕВИНЗОНА

ШАМАЙ ГОЛАН

Холм

РАССКАЗ

Ицхак Сокольник медленно, чтоб не потревожить Машу, приподнялся на узкой сохнутовской кровати. Он вгляделся в лицо жены, уже покрытое морщинами. Ее губы шевелились во сне, словно напевали грустную колыбельную песню. Прозрачная грусть была разлита и по ее впалым щекам. С того дня, как чиновник Сохнута[1] привел их в этот район на самой границе, Машино тело как бы ссохлось. В притемненной — от опущенных жалюзи — комнате чиновник объявил радостным голосом:

— Со временем, когда станет лучше, вы сможете поменять Ир-Ганим[2] на любой район Иерусалима, даже на Рехавию. Мы, друзья мои, страна демократическая, каждому дано право жить там, где ему вздумается...

Они не знали, где эта Рехавия, но все же кивали головой, соглашаясь.

То были славные первые дни. Их квартира, состоявшая из комнаты с прихожей, понемногу приобретала черты их старого жилища в Магнитогорске. Они доставали из ящика с багажом то его научные книги и расставляли их по книжным полкам, то блестящий самовар появлялся на этажерке, то вышитый коврик на стене, то пузатые матрешки... Только Маша, казалось, никак не могла найти себе места в этой квартире. «Климат, — оправдывалась она и прятала руки, покрытые красной сыпью. — Аллергия...» Ямочки на ее щеках растеклись морщинками. Как он любил касаться языком этих ямочек!

Он осторожно слез с кровати, не желая опять слышать «Куда, Соколик?» Он надеялся, что в этот ранний субботний час не встретит Азулая. Этот Азулай, живший по соседству за стеной, постоянно следит за ним своими хитрыми глазами, дожидаясь, когда же он наконец потерпит полный крах. Но по субботам Азулай подымается не раньше того часа, ког-

---

[1] Сохнут — израильское агентство, занимающееся вопросами репатриации.

[2] *Буквально*: город садов (*иврит*) — район новостроек в Иерусалиме.

ШАМАЙ ГОЛАН (*род. в 1933 г. в Польше*) — прозаик. Изучал литературу и историю в Еврейском университете в Иерусалиме. Был атташе по культуре Посольства Израиля в Мексике, председателем Ассоциации израильских писателей, в настоящее время советник по культуре Посольства Израиля в Москве. Автор романов «Смерть Ури Пеледа» (1971), «Брачный покров» (1984, русский перевод напечатан в журнале «Знамя», 1994 г. № 9), сборника рассказов «Побеги на короткие дистанции» (1975) и др.
Рассказ «Холм» взят из сборника «Засада» (изд. «Сифрият Тармиль», 1988).

да тень закрывает купол церкви Мисс Кери, расположенной по ту сторону холма. Абраша уже ушел и не вернется до сумерек. А может, только поздно ночью вернется. «Баскетбольная площадка освещается и по ночам, папа». Абраша уже парень самостоятельный. Учится в пятом классе гимназии и наплевать ему на все на свете. Так он и сказал: наплевать! И добавил: «Здесь ты, отец, не понимаешь ничего!» Сказал и потребовал, чтобы его звали Аври. Больше он уже не Авреймеле и не Абраша — он Аври. Свое имя он укоротил так же, как и свои штаны. Его набитые карманы торчат над обрезанными закатанными штанинами. На голенях уже видны черные волосинки: мужчина.

Он еще раз взглянул на жену. Морщинки двигались вокруг ее рта, как зыбь по тихой воде. С того дня, как они приехали сюда, она словно бы гребет вверх по течению. Даже когда она выходит в лавочку или во двор, она как бы преодолевает сопротивление сильного потока. И только когда она думает об их сыне, морщинки на ее щеках разглаживаются.

— Наш Абраша ест хлеб с повидлом. Не кончает обед без хлеба с повидлом. И это очень хорошо для здоровья, Соколик!

— Но он обстриг свое имя! — бросил Сокольник.

— Так и надо! — сказала она.

Он знал, что она всегда встанет на защиту сына. Поздно родился Абраша. Сокольник был вечно занят в лаборатории, писал диссертацию, соревновался с Горшиковым — коллегой по химической лаборатории. Поэтому сын его родился поздно... И когда Сокольник получил звание доцента и родился ребенок — все-таки дело было проиграно: сыновья Горшикова уже учились в школе.

Маша вдруг вздрогнула во сне. Приоткрылось плечо. Приоткрылась вялая грудь. Как будто миновали все битвы, и вот она лежит, побежденная, под простыней, помеченной вышитыми инициалами. Может, она была права, когда настаивала, чтобы мы никуда не ехали.

— Жаркий климат, азиатская культура.

— Климат прохладный, — уверенно возражал он. — И культура еврейская, наша культура.

— Что будем делать без языка? — молила она. — Мы ведь уже не так молоды, Соколик!

Она работала библиотекаршей в университетской библиотеке. Приносила домой Толстого, Достоевского и Чехова и — тайком — Солженицына, Пастернака и Мандельштама.

Сверху, с крыши, доносился сухой треск нагретой солнцем черепицы. Он подошел к окну и поглядел между полосками жалюзи. Раскаленный воздух. Сколько раз стоял он так и глядел на холм на горизонте. «Языческий алтарь»,— объяснил Азулай. Иногда холм представлялся ему древней богиней, одной из тех, которых он видел в археологическом музее. Богиней с раздвинутыми ягодицами, со свисающими грудями.

Азулай злил его:

— Видишь эти ее половинки? Это то, что написано в Пятикнижии: «Бейн а бетарим»[1], господин Ицхак. Только идти туда нельзя — Святое место. И к тому же наша международная граница, господин Ицхак. Никто туда не ходит. А ты ведь пойдешь туда, господин Ицхак?

Сегодня он туда пойдет. Сегодня суббота. Все отдыхают. Даже по-

[1] Договор между Богом и еврейским народом (*иврит*).

езд, проходящий внизу, по дну ущелья, отдыхает. И Сокольник радуется отдыху в святую иерусалимскую субботу. Ему не надо никуда идти, и в лабораторию ему не надо. Сиди себе дома, как в защищенной ловушке. Потому что враг — снаружи. Железные жалюзи защищают от солнца и от гранат федаинов.

Чиновник пальцем указал на глинобитные домишки по ту сторону ущелья:

— Это деревня Батир. Не Бетар Бар-Кохбы[1]! — разъяснил он тоном экскурсовода, а потом добавил: — Наша страна — это страна камней, Сокольник. Но наш Иерусалим — не просто город камней, Иерусалим — город святых камней! Горный воздух! А горы здесь — это горы пророков Амоса, Иеремии, Исайи, а также мудрецов наших Бубера[2], Клаузнера[3] и Шолема[4].

Чиновник говорил с ними по-русски с московским акцентом, как будто приехал вместе с Сокольниками, а не много лет тому назад. И Маша тщательно заперла за ним дверь... Шел дождь, Сокольник опустил жалюзи, и они втроем уселись у газового обогревателя, вслушиваясь в дробь дождевых капель по крыше. «Как у нас дома!» — сказала Маша без улыбки и налила им чай из электросамовара. Абраша открыл продуктовую посылку, полученную от чиновника, а когда вдруг послышался гудок паровоза, Сокольник поднялся и вышел в дождь, побежал по бездорожью, через пустырь, к ущелью, по дну которого паровозик волок три вагона. Он стоял там до тех пор, пока последний вагон не исчез за поворотом ущелья, и не почувствовал, как дождевые струи пропитывают его одежду.

А сегодня он надел выходной черный костюм, тяжелое серое пальто. Попробовал соскрести пятна застарелой зимней грязи. На цыпочках, так, чтоб жена не проснулась, он пошел в ванную и причесал волосы. Действительно, у него пробивалась седина, словно посыпанная неведомой рукой. Он надел на голову фетровую шляпу и вышел и сразу попал в душные объятия жары. Руки солнечного пекла словно ждали его. Он закрыл глаза и стоял, не двигаясь. Еще раз подосадовал, что дом его стоит на голом месте и нет навеса над входом, как и у других домов квартала. Мошкара набросилась на его лицо, пронырливо лезла в ноздри, в уши. Инстинктивно он хотел было отступить, вернуться в прохладу затемненной комнаты. Но Ицхак Сокольник не из тех, кто отступает! Он надвинул шляпу пониже на глаза, а потом взглянул в слепящее небо, как бы бросая ему вызов, и снова покосился на холм. Много-много раз он обещал себе, что пойдет туда. И сегодня это случится. И не надо будет больше обещать. Азулай сказал ему, что он вовсе не обязан туда идти. Они играли, как обычно, непременную субботнюю партию в нарды, Азулай двигал круглые фишки из треугольника в треугольник. И все повторял, что этот алтарь — конечно, Божий алтарь Авраама, Ицхака и Яакова. Он встряхнул игральные кости в кожаном стаканчике и добавил, что, возможно, это алтарь Мелхиседека, царя Шалема[5], как написано в нашей Торе. И поклялся именем Бога святой Торы, что надо пойти и проверить,

---

[1] Город-крепость в древней Иудее, последний оплот повстанцев во время восстания против римского владычества под руководством Бар-Кохбы (132 — 135 гг. н.э.).
[2] Мартин Бубер (1878 — 1965) — философ и теолог, уроженец Вены, один из духовных вождей сионистского движения.
[3] Иосиф Клаузнер (1874—1958) —израильский критик, историк, литературовед.
[4] Гершом Шолем (1897— 1982) — израильский академик, философ — каббалист..
[5] Шалем — древнейшее название Иерусалима.

— правой рукой он складывал фишки в кучки на краю доски, клал их одну на другую с отчужденной улыбкой победителя, и дразнил: — Пойдешь, господин Ицхак? Я тебе обещаю — когда вернешься, меня в два счета обыграешь!

Сокольник остановился и медленно перевел взгляд с нагромождения камней на горизонте — на соседское окно. Все-таки хотелось спросить у Азулая, не опасно ли там, на холме, и если вдруг откроют огонь — найдется ли какое-нибудь местечко укрыться. Азулай однажды уже предупреждал его, что нельзя туда ходить в черном субботнем костюме. Может, все-таки стоит разбудить его. Может, стоит еще раз, как обычно, сыграть партию в нарды и снова проиграть ему пачку «Нельсона».

— Ты, господин Ицхак, никогда не выиграешь у меня, если будешь носить этот твой черный костюм. И в лаборатории твоей ничего у тебя не выйдет, если будешь разгуливать в этом пальто и шляпе. Ну, между нами, хоть что-нибудь у тебя получается с этими твоими бутылочками и пробирками с разноцветной водой? Между нами, господин Ицхак! Я по твоим глазам вижу, что ничего у тебя не выходит. Все зависит от одежды, которую ты носишь. Не бойся, раб мой Яаков! — написано. Не бойся, господин Ицхак: ни солнца, ни камней Земли Израилевой.

Никогда не рассказывал он соседу о своих лабораторных опытах — и все-таки ему что-то известно. Пробирки взрываются в его руках, его температурные расчеты ошибочны. По русским книгам ведет исследования Сокольник, но эти книги не учитывают жары Земли Израилевой — так он оправдывается перед молодым профессором Кедроном. Если бы ему дали комнату со свинцовой изоляцией, вакуумную камеру и затемненные окна, чтобы не видеть скалы!.. Профессор Кедрон улыбнулся — он помнит эту улыбку еще с первого их свидания. Двое сидели против него, он не знал, кто из них кто. Не знал — пока не увидел эту насмешливую улыбку профессора Кедрона — всеведущего. Они спросили, где диплом с его научной степенью. А он только развел руками — нет у него! Не дали ему вывезти. То, что он взял, — отобрали на границе. «Диплом тоже секретный документ!» — сказал офицер-пограничник и усмехнулся. Отняли и фотографию, где он стоит в белом халате рядом с Горшиковым, на фоне стеклянных лабораторных трубок. «Может, хотели отомстить, — оправдывается Сокольник. — За то, что я покидаю их рай...» Профессор Кедрон скривил губы в той же улыбке. Его сосед-профессор подмигнул ему. И в тот момент Сокольник почувствовал, что камни всех гор Земли Израилевой обрушились на его грудь. Наука — это не политика! — они сказали. Может, это профессор Кедрон сказал, но голос его звучал за двоих. Их головы неподвижно торчали из крахмальных воротничков рубашек. Летние голубые пиджаки... Их пальцы легко двигались по столу. Заносят его жалкие объяснения на бумагу, расчерченную на графы, разбитую на клетки, — словно раскалывают ему душу. Он чувствовал, как бессилие овладело им — сдается! И чувствовал ненависть к себе — потому что поддался им. Он ненавидел свои нервные пальцы, свою плешивую голову, свою согнутую шею, свои раболепные глаза. Господи Боже мой, думал он, они же евреи, такие же, как я, сколько он тосковал по ним там, в Магнитогорске! Когда сидел в комнате, полной табачного дыма, с учебником «Элеф милим»[1] — как тосковал по братьям, которых никогда не видел! Сейчас он сидит перед ними, умоляет: верьте мне! Дайте

[1] Элеф милим (1000 слов) — начальный учебник иврита.

мне только возможность показать себя, дайте хоть какое-нибудь местечко, лабораторию, инструменты... Но вот — и впрямь они братья ему? — они улыбнулись и сказали:

— Ничего, ничего, дело не в дипломе, а в фактах, и если все, что ты говоришь, подтвердится, будешь у нас заведовать лабораторией, будешь учить студентов.

Сокольник шел вдоль забора. Остановился возле ворот. С удовольствием погладил рукою камни ограды, металлические прутья. Все это он сам построил, собственными руками. Сразу, как приехал, он начал строить эту ограду вокруг дома. Может, хотел защититься от врагов, скрывающихся там, за алтарем, от гор, от соседей. Возвращаясь из лаборатории, отыскивал камни нужного размера, собирал, подгонял обожженными серой пальцами, натягивал проволоку между столбами — пока дом его не стал как крепость.

Сейчас он украдкой взглянул на алтарь, издалека разглядел крупные камни, растрескавшиеся, два вала светлых камней — один над другим, и воздух, как прозрачная синяя вода. И, надвинув шляпу, широкими шагами вышел за ворота. Шляпа не помогла, он все равно сощурил глаза от солнца. Скалы слепили его, и солнечные лучи — как острые иглы. Все это бьет ему в глаза, отраженное от крыш, от купола церкви Мисс Кери, от стальных переплетов подъемного крана, от двух бетономешалок. Щебень набился в его ботинки, но он не остановился. Он привычен к боли. В лаборатории брызги кислоты жгли его пальцы, его лицо, а он продолжал, как ни в чем не бывало, заносить результаты опытов в разлинованный лист, для профессора Кедрона. Завтра придет и покажет новые данные, которые он собрал. После того как вернется с холма. Латинскими буквами он запишет в разлинованную тетрадь свое открытие: «ABRI»[1]. «Абри пост мортем»[2] — он вдруг рассмеялся горьким смехом. Острые камешки царапали, ранили его ступни. Он снял ботинки, вначале ступал с осторожностью, ощупывая пальцами дорогу, потом сбросил пальто и побежал. От скалы к скале, от камня к камню. Горячий ветер сдул его шляпу, а он и не пытался защитить голову от солнца, только отбросил редкие волосы с глаз — как чуб в молодости. Завтра утром он своими руками разломает аппарат, поставленный по указанию профессора Кедрона для химика — нового репатрианта. Все кончено, господин профессор, доказательств больше не требуется!

Только бы дойти до холма! Конечно, он дойдет. Даже если там вдруг окажутся арабы. Все так думают: вот-вот они появятся, а их все нет и нет. По ночам, опустив жалюзи, не перестают о них думать: они где-то там, за железной дорогой. Но они, наверняка, видят его, когда он идет к автобусной остановке, — своими черными горящими глазами. Если бы в Ир-Ганиме росли сады, можно было бы укрыться за деревьями. Но склон гол, а вокруг домов садов еще нет. Только ограда, которую он сам сложил, да горная цепь напротив — там граница. И не пытайтесь стать героической жертвой на этом алтаре... Чиновник улыбнулся, и Сокольник улыбнулся ему в ответ понимающе. Маша боится. «Опять стрельба!» — говорит она, а он уверяет ее, что сюда они не дойдут. Сокольник — герой большой мировой войны — не ошибается в вопросах безопасности. Медали, позолоченные звездочки — это все доказательства его героизма в борьбе с немцами. С русской армией он дошел до Берлина, видел,

[1] Сокращенное от Авраам.
[2] Посмертно (*лат.*).

как вспыхнул красный флаг над рейхстагом. Когда у него тяжело на душе, он открывает шкатулку с боевыми наградами, раскладывает их перед сыном. В те дни, когда профессор Кедрон заглядывает к нему в лабораторию, Сокольник открывает свою шкатулку.

Он поднял глаза и увидел алтарь прямо перед собой, на макушке холма. Камни сверкали на солнце. Колючки вонзались ему в ноги. Аври, его сын, говорит:

— Колючий кустик — это ерунда, папа! Можно сидеть на нем, лежать. Надо только привыкнуть! Когда мы были на экскурсии, я спал в поле на этих колючках — и ничего. Видишь, отец, я цел и невредим. — «Отец» — это не то что «папа».

Он продолжал подниматься наверх, пока не достиг алтаря. Пот заливал глаза. Руками он ощупывал горячие камни. И между камнями наткнулся на засохший стволик масличного дерева. Казалось, хрупкие сучья бились в агонии. Сокольник облизал языком мертвую кору. Деревце отбрасывало крохотную тень. Человек изнемогал. Ступни его саднило. Не спеша он снял костюм, но перед тем, как улечься на землю, ему захотелось увидеть, что там, за алтарем. В нижнем белье он стал карабкаться к самому алтарю. Острые камешки осыпались под его окровавленными ступнями. И, взобравшись, он поднял глаза, не загораживая их ладонью от солнца, и смотрел. Он видел горные вершины, выжженные склоны, желтую стерню и глинобитные домишки, похожие на игрушечные кубики. «Вот оттуда стреляют», — подумал он. Но сейчас стояла тишина, пугающая тишина, и Сокольнику хотелось закричать во весь голос. Он зажал рот ладонью и пополз назад, к высохшему деревцу, к жидкой тени. Пальцами выдергивал кустики колючек и складывал их на спекшуюся землю. Потом повалился на них и закрыл глаза. Надо только привыкнуть!.. И чем дольше он так лежал — тем больше успокаивалась боль, и он видел раскаленные пространства. И огонь обжигал его, но ожоги уже не причиняли ему боли.

Прохладный ветер коснулся его голого тела, и он открыл глаза. Медленно поднялся. Легкая улыбка бродила по его лицу. Он повернулся и пошел по направлению к дому, не оглядываясь.

Перевод ДАВИДА МАРКИША и ШАМАЯ ГОЛАНА

РУТ АЛЬМОГ

Бойкое местечко

РАССКАЗ

Про Цилю Кестен можно было сказать, что у нее в жизни были только две вещи: сын Уринька и балалайка.

Что же касается ее мужа Арнольда Танцмана, то их отношения катились, как по хорошо накатанной дороге, которую, однако, если не утрамбовывать ежедневно, потом уже не заровнять.

Вместе с тем Циля Кестен была доброй знакомой разных знаменитостей, таких, как Марсель Рубин, композитор, бежавший из Германии в Мексику, Герман Брох, который добрался до Америки, и таких знаменитых женщин, как Милена Ясенская, которой спастись не удалось (об этом Циля узнала спустя много лет), и как Гертруда Краус, которая тоже приехала в Палестину. Благодаря ей Циля появилась однажды на сцене, хоть и не столичной, на столичную у нее бы не хватило таланта. До сего дня у Цили длинные волосы, кудрявые, перевитые множеством ленточек.

С той же минуты, как Уринька родился, Циле стало ясно, что другого такого не сыскать на всем белом свете. Но Танцман говорил, что младенец слишком много кричит, и по этой причине Циля полночи, а то и всю ночь носила Уриньку на руках. Танцман, однако, был против этого, поскольку в руководстве по уходу за новорожденными было сказано, что это запрещенный прием. При этом сам Танцман спал глубоким сном праведника и, подобно праведникам, просыпался в положенное время. Поэтому все как-то обходилось.

Когда Танцман придирался, Циля говорила ему: «Может, он просто голоден». Но Танцман утверждал, что согласно книге младенца следует кормить в определенные часы и строго определенными порциями, и все тут.

«Может, у меня мало молока», — говорила Циля, но Танцман сообщал, что автор, известный немецкий педиатр, установил, что, если женщина не отрывает ребенка от груди в течение десяти минут, значит, у нее достаточно молока и нет необходимости в прикорме, который может только повредить.

Книгу Танцман высмотрел в букинистическом магазине, где были в основном книги на немецком. Выжившие после холокоста и добравшиеся до Палестины бывшие жители Германии, Австрии и Чехии приезжали с

РУТ АЛЬМОГ (*род. в 1936 г. в Петах-Тикве*) — романист, новеллист, автор книг для детей; лауреат двух премий по детской литературе. Автор книг «Смерть под дождем» (1982), «Женщины» (1986), «Невидимое улучшение» (1993). За книгу «Корни света» удостоена премии имени Бреннера 1989 года.
Рассказ «Бойкое местечко» взят из сборника «Женщины» (изд. «Кетер», 1986).

ящиками книг, но без гроша в кармане. В точности как Эльза: Циля поехала ее проведать в Иерусалим, но, как только увидела, в ужасе побежала в ближайшую лавку за продуктами.

Иногда Циля находила в себе что-то, что было в ней глубоко запрятано, подобно осколкам, застрявшим в теле соседа, господина Цахора. Говорили, что врачи пользуются магнитом для извлечения из господина Цахора кусочков металла и что зимой его мучают боли и лицо становится темным, как сумерки сразу после заката. Она осмеливалась сказать Танцману, что такого, как Уринька, не сыскать на всем белом свете. Но Танцман стоял на своем:

— Он всего-навсего маленькая пискля, орет каждую ночь, как мартовский кот. — В голосе его был металл.

Но иногда у Цили доставало духу сказать ему шепотом:

— Может, он просто голоден, может, у меня мало молока.

В ответ на это раздавались звуки, какие бывают, когда по железу бьют железом; от этого пронзительного скрежета у Цили звенело в ушах. Танцман заявлял:

— Я тебе уже все говорил, и кроме того, необходимо внимательно изучить то, о чем так подробно пишется в руководстве по воспитанию детей (эта книга была им куплена в том же букинистическом), — если не начать с первых дней после рождения, то у нас вырастет преступник, такой же, какой была Циля Кестен, пока я не подобрал ее на улице и не женился на ней, что, возможно, было моей ошибкой.

Циля не относилась к этому серьезно — у Танцмана каждый второй был преступником, особенно если тот играл или пел на улице или даже в кафе, как это когда-то делала она сама. Естественно, и Эльза, с его точки зрения, была преступницей, доказательство тому — Господь наказал ее и забрал у нее сына.

— Неправда, — прошептала Циля (люди уже стали забывать, каким сильным и звонким был некогда ее голос), — у него был туберкулез.

Но Танцман крикнул:

— А кто послал ему туберкулез? Разве не Господь? Кто же тогда?

Поэтому, когда Циля ездила в Иерусалим навещать Эльзу, она говорила Танцману, что едет покупать новые струны для своей балалайки, чему Танцман не мог воспротивиться, поскольку в брачном контракте, заверенном нотариусом, доктором Вайксельбаумом, был специально оговоренный пункт относительно игры на балалайке, а Танцман был «человек солидный, человек слова», как он сам о себе любил говорить. В конце концов, это он настоял на заключении контракта.

Циля была крохотулей с круглым, плоским, как у эскимоски, лицом. Скулы ее были плотно обтянуты кожей, тонкой и розовой, как кожура персика, прозрачной, как москитная сетка, защищавшая Уриньку от комаров и мух; вблизи можно было разглядеть тончайшие переплетения сосудов, проступавших сквозь кожу. Носик у нее был пуговкой, а в ее фарфорово-голубых глазках искрился свет.

Веселая по натуре, она больше всего на свете любила музыку. Когда Танцмана не было дома, она клала младенца на коврик в большой комнате и слушала пластинки, одну за другой, пока у нее не начинала болеть рука оттого, что она крутила ручку патефона.

После рождения Уриньки она заметно растолстела, но походка у нее осталась легкой и стремительной. Теперь Циля напоминала катящийся шарик, и становилось ясно, что на сцене ей уже не танцевать. Но это было и

РУТ АЛЬМОГ ◻ Бойкое местечко

не так важно. Во-первых, Циля была к тому же певицей, а во-вторых, в ее контракте с Танцманом значился пункт, запрещающий ей появляться на сцене. Сначала Танцман называл ее Цилей, как все вокруг, потом Цецилией, и, когда ее друзья слышали, как он ее величает, ей делалось неловко.

Танцман был невелик ростом, однако рядом с Цилей выглядел молодым гладкоствольным деревцем, из тех, что сажают у ворот и чью листву садовник выстригает полукругом или трапецией. Таким он казался из-за волос, росших обильно во все стороны, прямых, густых и буйных. Если он забывал надевать на ночь черную сеточку, его волосы утром делались похожими на булавки, торчащие из подушечек для шитья.

У Танцмана были ввалившиеся щеки, его глаза непримиримо взирали на мир из затененных щелей. Его заостренное лицо было в беспрестанном движении, а красноватые губы, проступающие из-под жидких, будто углем нарисованных усов, были в таком явном противоречии со всем его обликом, что прочитывались на лице как знак вопроса.

Сначала Циля называла его Лисенком.

— Но не потому, что ты похож на лиса, — объясняла она, — а потому, что тебе удалось поймать глупую гусыню. — Но тут же отступала от своих слов: — Вообще-то это не очень подходит, потому что ты не растерзал ее.

— Пока еще нет,— отвечал Танцман смеясь.

При всем том она довольно долго звала его Лисенком, так как Арнольдом звали одного ее приятеля, двоюродного брата Стефана, который сейчас жил в Хайфе на горе Кармель; его, в отличие от другого ее друга Лео, в которого она некогда была влюблена по уши, музы не покидали.

Ах, Лео, Лео! Он женился на такой красивой и такой элегантной женщине! Все свои роскошные шляпки и потрясающие шелковые платья та привезла с собой в Тель-Авив. Разбитое сердце Цили истекало кровью до той поры, пока у нее не родился Уринька. Жена Лео часто сидела в том самом кафе на побережье, где Циля выступала по вечерам, туда же в то время приходил Танцман играть в шахматы. Стоя на маленькой сцене и распевая полные страсти цыганские песни, Циля не сводила глаз с этой женщины. Может, это и побудило ее согласиться на дополнительные условия в брачном контракте.

Танцман был специалистом по выделке кож. Ему принадлежала маленькая мастерская на окраине города. Каждое утро он отправлялся туда на велосипеде, Циля оставалась одна и кормила Уриньку, когда тот плакал. Детский врач сказал, что в таком возрасте, — а Уриньке было пять месяцев, — уже можно прикармливать молоком и молочными смесями, нужно только тщательно все это кипятить. Возможно, тогда ребенок перестанет плакать по ночам.

Однажды Танцман вернулся неожиданно рано, наверное потому, что у него разболелась голова. Он застал Цилю в большой комнате, в кресле, с Уринькой на руках. Танцман заметил, что она кормила его с ложечки чем-то густым и белым.

Танцман посмотрел на часы и сказал:

— Мало того, что время кормления еще не пришло, ты еще даешь ему то, что даже на первый взгляд выглядит как молочная смесь!

Циля испугалась и не ответила. Танцман взял у нее младенца и уложил его в кроватку, в детской. Уринька разревелся. Танцман принялся трясти его, крича «Тихо, тихо!», но младенец не унимался.

— Я изобью тебя, если ты сейчас же не прекратишь! — заорал Танцман и стал трясти его еще сильней. Но и это не помогало. Тогда Танцман, с

трудом сдерживая себя, вернулся в большую комнату. Циля неподвижно сидела в кресле.

— Смотри, что ты творишь, преступница! — сказал Танцман, склоняясь над ней.

На щеке у Цили вдруг проступило безобразное синее пятно. Она сидела неподвижно, вцепившись в ручки кресла.

Танцман сказал:

— И ради этого, ты думаешь, я взял тебя с улицы? Такую дрянь, как ты?

Танцман снова наклонился, и синее пятно на Цилиной щеке сделалось еще безобразней.

Танцман пошел принять душ. В этот день было очень жарко (может, поэтому у него была мигрень), и от него разило потом и запахом шкур.

Звуки льющейся воды почти заглушили плач ребенка. Циля встала, взяла балалайку и вышла на улицу. Она сидела во дворе на маленькой табуретке и играла до заката. Соседи слышали, как она щиплет струны, и говорили: «Как хорошо она играет!» Но голоса ее слышно не было. Когда солнце зашло, она вернулась домой и приготовила салат и яичницу. Нарезала черный хлеб и поставила на стол бутыль с холодной водой. Когда Циля посмотрела на часы, Танцман сказал:

— Поскольку ты его раньше накормила, теперь ты кормить его не будешь, хотя и пришло время, и пусть это будет наказанием для вас обоих. — На его лице появилась улыбка, расплывшаяся сразу после того, как он закончил фразу.

Конечно же, и в эту ночь Циля взяла Уриньку на руки. Груди ее были полны молока, капли молока проступили на сосках. И хотя Циля слышала, что Танцман храпит, она не осмелилась покормить младенца. Когда на мгновение ее отпускали горечь и боль, она задремывала, но все остальное время ее обуревали мысли, которые приходят на ум человеку, заблудившемуся в пустыне. Она думала, например, что продала себя, как брат Иакова, — как там его звали, — тот, что продал себя за простую похлебку. Еще она думала о цене лжи, и она не казалось ей такой уж ужасной. Ведь Циля была артисткой и привыкла к обману. Весь мир — театр, думала она, театр и игра. Так что же? Это не страшно. Нет. Ее занимало другое: что заставляет людей превращать жизнь в театр? Ну что ж, сказала она самой себе, мне уже ничто не поможет. Волна боли и стыда захлестнула ее, и она стала молиться за Уриньку, чтобы он был свободным, как птица.

Так вырос Уринька — на пухленьких и заботливых руках Цили Кестен, певшей ему песни Шуберта, и при отеческой помощи мозолистых ладоней Танцмана, от которых постоянно пахло сырыми кожами, не ставшими еще туфельками и кошельками.

Когда Уриньке исполнилось пять лет, Циля купила ему губную гармошку, на которой он сразу же выучился играть и покорял сердца слушателей.

Иногда Циля в шутку говорила Уриньке:

— Как ты думаешь, что если нам выйти на главную улицу, приискать себе бойкое местечко и играть там вдвоем, а я еще и спою — так мы подкопим деньжат и удерем в другую страну, теперь это реально, сам знаешь, война уже кончена, и даже Арнольд убежал отсюда, а Лео каждое лето ездит в Вену.

Когда она сказала об этом впервые, Уринька спросил ее, что такое «бойкое местечко», и Циля объяснила ему, что это такое место, где всегда полно народу.

В другой раз Уринька спросил: «А зачем?», и она засомневалась, стоит ли отвечать ему. Тогда Уринька сказал ей:

— Мам, когда я вырасту, я буду выделывать кожи, и у меня будет большой завод по изготовлению кошельков и туфель. Я буду их шить из крокодилов и змей. И у меня будет много денег, и тогда я возьму тебя в кругосветное путешествие, в которое отправились мистер Фог со своим слугой, не помню, как его звали.

Циля тоже не помнила, как звали слугу. Она сказала:

— Разве тебе не жалко будет погубить свой талант?

На это Уринька ответил:

— Я люблю запах звериных шкур.

Между тем он продолжал играть на губной гармошке и еще научился собирать и разбирать всевозможные бытовые приборы. И хотя Циля приучила его к чтению книг, — вся мировая культура заключалась для нее именно в книгах, написанных ее ближайшими друзьями: Лео, Францем, Арнольдом и, конечно же, Эльзой, — Уринька предпочитал чинить соседские радиоприемники, часы, патефоны и даже холодильники. Соседи наперебой приглашали Уриньку, и он целыми днями ходил от одних к другим.

Когда Уринька приходил к соседям, чтобы что-нибудь починить, Танцман (если он случайно оказывался дома) говорил ему:

— Надеюсь, что ты не оказываешь услуг даром. Это было бы аморально.

У Уриньки была своя система работы: сначала он разбирал прибор, выяснял для себя его устройство, рисовал схему, после чего собирал прибор, и каким-то чудом все, что было испорчено, начинало работать. Соседи изумлялись, и иногда Циля позволяла себе заметить Танцману, что Уринька — гений, просто Эйнштейн. Но Танцман пугался этого и отвечал: «Он просто маленький преступник, весь в тебя». Он говорил так, поскольку Уринька учился плохо, хулиганил на уроках, бил других детей, кидался камнями. Несколько раз он разбивал стекла, и Танцману приходилось возмещать убытки, а однажды он сломал руку одному мальчику. Суд обязал Танцмана заплатить штраф, но и Уриньке пришлось дорого заплатить за свои дела.

После этого Циля вновь сказала Уриньке, что им стоит приискать себе бойкое местечко.

— Тогда, — сказала она, — тебя никто больше не тронет.

Но Уринька не соглашался ни в какую. Он твердил, что ему нравится запах кож и что после армии он непременно займется их выделкой.

— Сначала закончи гимназию,— сказала Циля, и Уринька согласился с ней.

Соседи говорили, что у мальчика золотые руки, хотя он сорванец, каких мало, совершенно невыносим и опасен для окружающих; и они запрещали своим детям водиться с ним. Когда Уринька возмужал, его голос стал низким, плечи широкими, а мускулистые руки сделались мощными, как стволы деревьев. Теперь никто с ним не хотел связываться, и во дворе гимназии он всегда был один, даже Танцман остерегался его.

За два последних года в гимназии с Уринькой произошли перемены. Он перестал играть на губной гармошке и чинить приборы. Вместо этого он с головой окунулся в учебу, особенно он увлекался математикой, а в свободное время играл сам с собой в шахматы. Иногда он сражался и с Танцманом или ходил в кафе на взморье и наблюдал за игрой местных чемпионов. Однажды он взялся играть с лучшим шахматистом кафе и на седьмом ходу одержал победу. Все были поражены, но с тех пор Уринька

бросил шахматы. Танцман теперь знал наверняка, что наступит время — и ему придется продать свою мастерскую по выделке кож. Он сказал Циле с досадой:

— Если этот преступник рассчитывает получить от меня деньги на университет, он очень ошибается.

Циля сказала:

— Тогда политехникум в Хайфе.

— Мне не важно, где это, в Иерусалиме или в Хайфе, — сказал Танцман, — денег я не дам.

Циля сказала в шутку:

— Хорошо, в таком случае я снова выйду на улицу и найду себе бойкое местечко.

Танцман посмотрел на нее узкими щелочками и сказал:

— Ты забыла, что мы подписали контракт? Слово есть слово. Но знаешь, меня это больше не волнует. Ты можешь идти. Вместе со своим сыночком. Он родился преступником и останется преступником. Да и ты такая же. Тебе уже ничто не поможет.

Циля взяла балалайку и вышла во двор. Там она села на маленькую табуретку и стала играть. Соседи слышали только звуки струн, но не ее голос. Они сказали: «Она опять играет».

Уринька этого не слышал, его не было дома. Теперь он разбирал на части танки и время от времени сидел на гауптвахте. Когда пришло сообщение, что Уринька ранен, Циля поехала в госпиталь, чтобы быть рядом с сыном. Перед ее отъездом Танцман сказал: «Раньше это был маленький преступник, теперь это взрослый преступник». Циля привезла с собой балалайку и нашла «бойкое местечко». Солдаты говорили, что у нее божественный голос. Он звенел в приемном покое, как серебряный колокольчик.

Уринька довольно долго пробыл в госпитале. Потом его послали в санаторий, после чего он отправился в Хайфу работать в порту и домой больше не возвращался.

Он много работал, у него появились деньги. По ночам и по выходным дням он сторожил покойников. В канун субботы, выходя из морга, он видел освещенные окна, людей, сидящих вокруг столов с белыми скатертями. На столах горели свечи, столы были накрыты по-праздничному. На торжественной церемонии по окончании политехникума ему вручили диплом с отличием. Танцман сказал:

— Я не еду, поскольку тот костюм, что я привез из Германии и в карманы которого ты положила нафталин, стал мне тесен.

Циля спросила:

— С чего ты это взял, ты же его не мерил?

Тут Танцман закричал:

— Ты всегда готова спорить по любому поводу!

Циля отправилась одна. После торжественной церемонии они пошли бродить по улицам, и Уринька указал ей на здание морга:

— Вот здесь, видишь, мое бойкое местечко.

После этого он повез ее на такси показать детский парк, где он любил сидеть и читать учебник. Но парк был закрыт. Циля ночевала в гостинице, а на следующий день они вместе уехали из Хайфы: Циля вернулась домой, а Уринька поехал работать на буровых установках на юге.

Однажды Циля получила письмо от Уриньки. Вот что он писал:

«Дорогая мама, я еду в Австралию. Я получил там хорошую работу. Тоже на буровых установках. Если я разбогатею, пришлю тебе билет. Я

уверен, что в Мельбурне есть немало бойких местечек. Твой Уриэль».

— Он уехал в Австралию,— сказала Циля Танцману, хотя он ни о чем не спрашивал.

— Я не удивлен, — ответил он, — Австралия, да будет тебе известно, место ссылки преступников.

— Вот увидишь, он еще станет миллионером,— произнесла она безжизненным голосом.

Циля похудела, ее эскимосские щеки теперь были похожи на песчаные склоны, на которых ветер чертит свои узоры. Письма приходили редко. И тогда соседи говорили: «Послушайте, как поет Циля. Какой у нее голос! Как колокольчик!»

В первом письме из Австралии было написано: «Мне повезло. Я женился на миллионерше. Теперь я богат. Я работаю у ее отца, работаю очень много. Но я счастлив».

В письме, которое пришло через год, было написано: «Мне повезло, у меня родился сын. Мы назвали его Арье. Я богат. Я много работаю, но я счастлив».

— Он пишет слишком скупо,— сказал Танцман.

— Ну да, а что? — сказала Циля. — А ты много слышал о преступниках, которые пишут романы?

Танцман посмотрел на нее узкими щелочками. Его лицо со впалыми щеками сделалось неподвижным, а спина уже начала сгибаться в маленький бугорок.

Прошел еще год, и вновь пришло письмо:

«Мне повезло. У меня родилась дочь. Мы назвали ее Ализа. Я богат. Работаю больше, чем прежде, поскольку отец моей жены умер и я всем управляю сам. Но я счастлив».

В этот раз Танцман уже не говорил, что Уринька пишет слишком скупо. Он встал с кресла, пошел на кухню, вытащил бутыль с холодной водой из холодильника и налил себе. Пока он пил, его щеки не казались такими уж впалыми. Циля пошла вслед за ним и сказала: «Что с тобой? Выпрямись!»

Танцман закричал: «Ты вечно даешь советы!» В общем Циля получила от Уриньки три письма, хотя сама она писала в Мельбурн каждые три недели. Иногда вечером она сидела напротив Танцмана и вязала свитер для Арье или Ализы, каждый год большего размера. Ей приходила в голову смутная мысль о том, что в Мельбурне, несомненно, есть множество «бойких местечек». Но когда она подымала глаза и смотрела на Танцмана, чья спина уже согнулась в маленький бугорок, ее мысли становились мелодией какой-то песни. Тогда она бралась за балалайку и играла до тех пор, пока Танцман не закричит: «На сегодня хватит!»

Так проходили годы, и Циля, которая некогда была кругленьким шариком, теперь стала спичкой с головкой из серебра. Волосы ее все еще были длинными, вьющимися, перевитыми ленточками, но она уже больше не подравнивала их ножницами. Танцман продал свою мастерскую и перестал работать. Дома у него хранились выделанные кожи; время от времени он шил из них кошелек или сумочку; их вместе со связанным Цилей очередным свитером отправляли в Мельбурн. Иногда Танцман что-нибудь чинил. Он любил собирать и разбирать приборы и, если находил на улице испорченный радиоприемник, приносил его домой. Как-то он даже нанял носильщика, чтобы принести во двор старый холодильник.

Циля сказала:

— Это опасно. Я прочла в газете о детях, которые захлопывались в холодильниках и погибали.

На что Танцман сказал:

— В округе больше нет детей.

Когда он был занят разборкой приборов, Циля играла, но соседи уже с трудом могли ее слышать, поскольку их улица сделалась шумной: по ней ездили автобусы и грузовики. И хотя Циля уже не боялась петь во весь голос, никто не говорил ей, что она поет бесподобно.

Однажды Циля получила письмо от Ализы. Циля сразу же заметила, что это не Уринькин почерк. Еще не распечатав письма, она уже знала, кто его написал. Ализа писала ей: «Дорогая бабушка, хочу сообщить тебе, что папа исчез. Однажды он сказал, что едет по делам в Америку, и уехал. С тех пор мы ничего о нем не слышали. Это было примерно год назад. Может быть, ты случайно знаешь, где он. Я очень по нему скучаю. Если тебе что-нибудь известно, напиши мне, пожалуйста. Твоя Ализа».

Танцман сказал:

— Говорил я тебе! Я всегда был уверен, что он преступник, не человек слова.

Циля ответила сразу: «Дорогая Ализа, я ничего не знаю. Каждые две недели, вот уже столько лет подряд, я пишу вам письма, а вы на них не отвечаете. Но прошу тебя, если ты что-нибудь услышишь об Уриэле, тотчас же сообщи».

Теперь Ализа время от времени писала ей письма, где говорилось одно: «Уринька не вернулся, никто не знает, где он».

Циля стала печальной старухой, а Танцман согнулся в три погибели. Зимой они мерзли. Танцман сказал: «Мы можем позволить себе небольшую роскошь, Цецилия», — и купил электрическую простыню.

Говорят, что все произошло из-за простыни. Кто знает? Они были старые и, как все, чья совесть чиста, спали глубоким сном. Они ничего не почувствовали.

Соседи, учуяв запах дыма, вызвали пожарную команду. Но пока пожарники тушили огонь, тела Танцмана и Цили успели окончательно обуглиться. От балалайки, которую Циля сжимала обгоревшими пальцами, остались одни струны.

Соседи обратились в австралийское посольство, связались с семьей и получили ответ, что Уринька так и не появился. Чиновник сказал соседям со слов внучки, что его обнаружили в одном из поселков на западном побережье Штатов. Детектив, нанятый ее матерью, написал в отчете, что ничего нельзя сделать, так как Уринька никогда не вернется. Кроме прочего, он писал: «Я обнаружил разыскиваемого в Сан-Франциско. Он играл на перекрестке на губной гармошке и собирал милостыню. Судя по всему, он является членом какой-то секты. Но достаточных доказательств тому нет, такого рода секты закрыты для чужих и относятся к ним подозрительно».

Так осуществилась мечта Цили, но она уже не могла узнать об этом.

Соседи собрали деньги и похоронили стариков, положив в могилу и струны от балалайки. И даже поставили им памятник с надписью: «Циля (Цецилия, в девичестве Кестен), певица и музыкантша, и Арнольд (Лисенок) Танцман, специалист по выделке кож, человек слова».

Перевод ЛИОРЫ КНАСТЕР

ЭТГАР КЕРЕТ

Разбить Свина

РАССКАЗ

Папа не соглашался купить мне эту игрушку — Барта Симпсона. Мама как раз хотела, а вот папа — ни в какую. Он говорил, что я капризный. «С чего нам вдруг покупать это, — говорил он маме. — С какой стати? Стоит ему заикнуться — и ты уже бросаешься выполнять». Папа сказал, что у меня нет уважения к деньгам, и если я не приобрету его с детства, то когда же приобрету? Дети, которым, как только это взбредет им в голову, покупают Барта Симпсона, вырастают потом оболтусами и грабят киоски. Привыкают, что им все легко достается. И вот вместо Барта он купил мне уродливого фарфорового поросенка с плоской щелью в спине. Теперь-то я вырасту человеком, теперь-то уж я не стану оболтусом.

Каждое утро я должен выпивать чашку какао, пусть я его и ненавижу. За какао с пенкой — шекель, за без пенки — полшекеля. Но если после этого меня вырвет, я вообще ничего не получаю. Монетки я опускаю в Свина, в щель в спинке. Если Свина потрясти, он тихо позвякивает. Когда Свин наполнится монетами доверху и звяканье прекратится, я получу Барта на скейтборде. Так сказал папа. Так, сказал он, будет педагогично.

А Свин все же прелестный. И нос у него такой прохладный, когда трогаешь. Бросишь в Свина шекель — Свин улыбается. Полшекеля бросишь — тоже улыбается. Но самое замечательное, что он улыбается и без этого — просто так. Я и имя ему подобрал — Песахзон[1]. Так звали человека, который жил когда-то в нашем почтовом ящике, — папе ну никак не удавалось соскоблить его имя с таблички. Песахзон — он не такой, как остальные мои игрушки. Он страшно спокойный. Он без всякого электричества, без всяких там пружинок и батареек, которые вечно текут. Нужно только следить, чтоб он не спрыгнул со стола. «Песахзон, будь осторожен, ты же фарфоровый»,— говорю я ему, когда вижу его на самом краю стола,— он все поглядывает вниз. Песахзон улыбается и терпеливо ждет, чтобы я взял его в руки и поставил на пол. Я просто без ума от него, от этой его улыбки. Только ради него я каждое утро пью какао с пенкой. Чтобы засунуть шекель ему в спинку и убедиться, что его улыбка ну ни капельки не меняется. Я люблю тебя, Песахзон, говорю я ему тогда. Мой самый честный, я люблю тебя больше папы и мамы. И всегда буду любить тебя, даже

---

[1] Сын Песаха (*идиш*).

ЭТГАР КЕРЕТ (*род. в 1969 г. в Тель-Авиве*) — прозаик. С 1991 года печатается в периодике. Автор сборника рассказов «Трубопровод» (1992), мюзикла «Операция в Энтеббе», отмеченного первой премией фестиваля театра в Акко (1993).

Рассказ «Разбить Свина» взят из сборника «Тоска по Киссинджеру» (изд. «Змора Битан», 1994).

если ты вырастешь разбойником и будешь громить киоски. Но если ты у меня спрыгнешь со стола, смотри!

Вчера пришел папа, снял Песахзона со стола, перевернул его и начал ужасно трясти.

— Осторожно, папа,— сказал я,— ты делаешь больно его животику.

Но папа меня не слушал.

— Он больше не бренчит, знаешь ли ты, что это означает, Йоави? Это означает то, что завтра ты получишь Барта Симпсона на скейтборде.

— Здорово,— сказал я,— Барта Симпсона на скейтборде, здорово. Только перестань трясти Песахзона, ему же неприятно.

Папа поставил Песахзона на место и пошел за мамой. Через минуту он вернулся. Одной рукой он тащил маму, в другой держал молоток.

— Ну,— сказал он маме,— что я говорил? Ребенок учится ценить вещи. Верно, Йоави?

— Конечно, учится,— сказал я,— конечно, а зачем молоток?

— Это для тебя,— сказал папа и вложил молоток мне в руку,— но только осторожно!

— Конечно, я буду осторожен,— сказал я.

И я действительно был осторожен. Но через несколько минут папа не выдержал и сказал:

— Ну, разбей наконец эту свинью!

— Что,— спросил я,— Песахзона?

— Да-да, Песахзона,— сказал папа. — Ну давай же, разбей ее! Ты заслужил Барта Симпсона! Ты для этого сильно постарался!

Песахзон улыбался мне грустной улыбкой фарфорового Свина, понимающего, что пришел конец. Пусть лучше сдохнет этот Барт Симпсон, чем я ударю друга молотком по голове!

— Не хочу Симпсона,— и я вернул папе молоток,— мне хватит Песахзона.

— Ты не понял,— сказал папа. — Так надо, это педагогично. Дай сюда, я разобью сам.

Папа занес молоток, но тут я увидел маму с растерянными глазами и Свина с усталой улыбкой и понял, что сейчас мой ход и, если я не пойду первым, Песахзону крышка.

— Папа! — Я уцепился за его ногу.

— Что, Йоави? — сказал папа, и рука с молотком повисла в воздухе.

— Пожалуйста,— взмолился я,— дай мне еще один шекель! Дай мне бросить в него всего один шекель, после какао, завтра. И тогда разобьем. Завтра, я обещаю.

— Еще шекель? — Папа улыбнулся и положил молоток на стол. — Видишь, я добился, что ребенок стал сознательным.

— Да, сознательным,— сказал я,— завтра.

Слезы подступали к горлу, но я сдержался. И только после того как родители вышли из комнаты, я прижал к себе Свина сильно-пресильно и заплакал. Песахзон молчал и подрагивал у меня в руках.

— Не волнуйся,— прошептал я ему на ухо. — Я спасу тебя.

Я дождался, пока папа в большой комнате кончил смотреть телевизор и пошел спать. Тогда я тихо-тихо поднялся и вместе с Песахзоном прокрался через веранду. Мы шли вдвоем очень долго, в полной темноте, пока не вышли в поле, все в колючках.

— Свины умирают в полях,— сказал я Песахзону и поставил его на землю. — Вот именно в таких колючих полях. Здесь тебе будет хорошо.

Я ждал ответа, но Песахзон молчал. Я тронул его за нос, чтобы приободрить. Он пронзил меня горьким взглядом. Он понимал, что никогда больше не увидит меня.

Перевод АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВОЙ

САВЬОН ЛИБРЕХТ

Яблоки пустыни

РАССКАЗ

Всю дорогу от Шаарей-Хесед в Иерусалиме до песчаного пустыря, возле которого водитель прокричал: «Неве-Мидбар!» — и начал искать ее глазами в левом зеркальце, Виктория Абраванель, до боли сжимая кулаки, думала об одном. Достав из корзинки завернутый в салфетку хлеб и яблоко с гнилым бочком, она, согласно Галахе[1], прибавила благословение к дорожной молитве. Она не отрывала взгляда от желтевшего за окном пейзажа и думала о Ривке, своей непокорной дочери, сбежавшей полгода тому назад в нерелигиозный киббуц. А теперь — как будто этого мало — сестра Виктории, Сара, рассказала ей, что живет Ривка в одной комнате с парнем, спит с ним в одной постели и ведет себя, точно она его жена.

Всю дорогу, все восемь часов, думала Виктория о том, как ей держаться с дочерью, заговорить ли с ней как ни в чем не бывало, дать ей понять, что она, ее мать, не держит на нее зла. Или объяснить ей, что такое девичья честь и как оберегать ее от мужчин. Сказать ли ей, по-женски, о скромности. Или позволить себе выкричать боль, выплеснуть горечь от того позора, который она, ее дочь, навлекла на доселе всеми уважаемую семью. Зарыдать ли, привлекая всеобщее внимание соседей. Или попытаться хитростью заманить дочь в Иерусалим, а там тайком от всех запереть в комнате. Или попробовать запугать: рассказать о Флоре, дочери Иосифа Элалуфа, совершенно потерявшей голову и отдавшейся парню, который потом бросил ее. Рассказать, как та, обезумев от горя, бродила по улицам и дергала за уши соседских ребятишек. На Беер-Шевском шоссе Виктории вдруг пришло в голову: она набросится на парня, опозорившего ее дочь, изобьет его, выцарапает ему глаза. За подобные дела его вышвырнут из киббуца, а ее младшая отправится с ней в Иерусалим. Разве она не пообещала сестре: «За волосы притащу»?!

Сестра, раз в месяц навещавшая племянницу, сказала, что они познакомились, когда Ривке было всего шестнадцать. Его, офицера, кто-то при-

---

[1] Галаха — свод религиозно-правовых норм и предписаний.

САВЬОН ЛИБРЕХТ (*род. в 1948 г. в Германии*) — прозаик. Изучала философию и литературу в Тель-Авивском университете. Автор сборников рассказов «Лошади на шоссе» (1988), «Об историях любви и преходящем» (1995).
Рассказ «Яблоки пустыни» взят из одноименного сборника (изд. «Сифрият Поалим», 1986).

гласил прочитать в женской школе лекцию о службе девушек из религиозных семей в армии. Поднялся шум, мол, виданное ли дело — пускать в школу военных, позволяя им безнаказанно смущать девичьи сердца. Однако Ривкино сердце было уже покорено. Письма из армии, а после из киббуца он переправлял тайно, через товарища. А она, малолетняя глупышка, не отличавшаяся красотой и похожая на мальчишку, еле дотерпев до восемнадцати, бросила дом и отправилась к нему в пустыню.

Но чем дальше от Беер-Шевы, тем неувереннее чувствовала себя Виктория. Картины одна за другой проносились в ее воображении, и она тяжело вздыхала. А что, если Ривка повернется к ней спиной или попросту выставит ее вон? А если парень подымет на нее руку? Куда деться ночью, если дверь их дома захлопнется перед ней? Ведь следующий автобус пойдет только утром. А что, если Хаим-киоскер забыл передать дочери, что она, Виктория, к ней едет? Да и какая она путешественница, если не покидала дом с того самого дня, как бездетная Шифра родила в Тверии, а было это, почитай, года четыре тому назад...

Водитель снова выкрикнул: «Неве-Мидбар!», и она двинулась к выходу, волоча за собой сумку. Ноги сразу же увязли в песке, тело казалось невыносимо тяжелым от долгого сидения. Сухой ветер царапал горло. Солнце слепило глаза. Опустив сумку на землю, она вглядывалась в незнакомый, будто чужеземный, пейзаж: желтая пустыня, не охватить взглядом, низкие облака, то там, то здесь торчат одинокие чахлые деревца. Сбежать сюда от чистого иерусалимского воздуха и чудесных горных пейзажей?! Она вся вспотела, пока добралась наконец до протоптанной дорожки и спросила у проходившей женщины о своей Ривке. Вид этой женщины с голыми ногами в мужских армейских ботинках и спущенных на них армейских носках Викторию возмутил. Мимо шла стриженая девушка в брюках. «А вон и Ривка», — указала на нее женщина. Виктория хотела было сказать ей: «Нет, это не она»,— но это действительно была она, ее дочь Ривка, и Виктория громко разрыдалась. Девушка положила на землю тюк с бельем и бросилась к ней. И вот она уже прижалась к ней, а слезы не перестают течь, текут сами по себе.

— Что же это... — шмыгает Виктория носом. — Косы-то, косы твои где? А брюки... Господи, разве ж можно так одеваться?

Ривка смеется.

— Знала, что так будешь говорить. Хотела переодеться, да не успела. Думала, приедешь на четырехчасовом. Ты в шесть, что ли, выехала?

— А в пять не хочешь?

— Ну, пойдем, пойдем, будет плакать-то. А вот и наша комната. А это Дуби.

И не успела Виктория прийти в себя от вида стриженых волос дочери, заплатанных, неподшитых штанов и выпачканных птичьим пометом ботинок, как оказалась в чьих-то объятиях. Приятное лицо приблизилось к ней, мужской голос произнес:

— Здравствуйте, мама.

Куда-то исчезла сумка из ее рук, и вот она, налегке, так и не опомнившись, входит, увлекаемая дочерью, в прохладную комнату, где ее усаживают на стул. В руках у нее оказывается стакан с соком. А глаза смотрят и не видят. Потом она еще не раз вспомнит широкую двуспальную кровать с вышитым покрывалом и голос рыжеволосого великана, прогремевший над ухом: «Здравствуйте, мама». А она, вновь отчетливо услышавшая слово «мама», делает глоток, но сок попадает не в то горло, и она давится каш-

лем. Оба бросаются к ней, легонько похлопывают ее по спине, будто бы она маленький ребенок, а они — ее родители.

— Оставьте,— бормочет она, пытаясь отстранить их. А через секунду: — Дай же поглядеть на тебя. — И снова упрек: — Что за ботинки? По-твоему, это субботняя обувь?

Ривка смеется:

— На этой неделе я в курятнике. Новых кур подвезли. Вообще-то я в огороде. Вот только на этой неделе в курятнике.

Усталая с дороги, растерявшаяся от увиденного, возбужденная всем пережитым за этот день, Виктория старается унять гнев, прорывающийся против ее воли. Она говорит с Ривкой так, как никогда в жизни не говорила ни с кем из своих детей.

Она не помнит, о чем шла речь, не помнит, когда ушел парень, назвавший ее мамой, и только ее глаза знают: дочь выглядит чудесно. Никогда еще не лучилась ее дочь таким счастьем. Да и стриженые волосы, надо признаться, идут ей. Да, она стала другой и уже не похожа на ту широкоплечую, мужеподобную девушку-подростка в длинной юбке и гольфах.

— А по улице нашей не скучаешь?

— Иногда. По праздникам. Не хватает субботнего стола и шуток тети Сары. А так мне хорошо. Я люблю работать на воздухе, с животными. Только по тебе скучаю.

— А по отцу? — шепчет Виктория в сумерки, наполнившие комнату.

— Отцу ни до кого дела нет, а уж до меня и подавно. Целыми днями в магазине, за книгами да за молитвами. Как будто я и не дочь ему.

— Упаси Господи! Что ты такое говоришь? — пугается Виктория. Пугается правды...

— Хотел сосватать меня за сына Йекутиэля. Что я, вдова или кривая-косая?

— Что ты мелешь?

— Ладно прикидываться, будто ты не знала.

— Слухи все это... Насильно не сватают. А сын Йекутиэля — умница.

— Умница... Бледная немочь, словно всю жизнь просидел в подвале. К тому же я его не люблю.

— Да уж, по-твоему, любовь — это все?

— А ты-то что понимаешь в любви?

— Это что такое! — Виктория выпрямляется на стуле. — Так-то у вас с матерью принято разговаривать.

— Ты не любила отца, а отец — тебя,— продолжает Ривка и в воцарившейся тишине добавляет: — Дома мне... цена была грош.

— А здесь? — спрашивает Виктория шепотом.

— Здесь побольше.

А когда Виктория решилась спросить об этом рыжем великане Дуби, дверь вдруг распахнулась, комнату в мгновение ока залило светом, и его голос прогремел:

— Электричество экономите? Похвально! А я поесть принес. Вот тут простокваша и овощи в пластиковой тарелке. Сойдет? А потом покажи маме комнату Оснат. Она свободна. Вы, небось, устали с дороги?

В комнате, выходящей окнами на темные поля, Виктория попыталась привести свои мысли в порядок. Годы однообразия и пустоты притупили ее ум, но одно она все-таки поняла: за волосы Ривку в Иерусалим не притащишь. Все перевернулось: явилась к дочери с упреками, а теперь стоит у порога с пересохшим горлом.

— Полгода ждала, чтобы приехать! —упрекнула ее Ривка.

— Отец не хотел.

— Ты делаешь только то, что он хочет?

Явился Дуби, чтобы проводить ее до столовой, и тут уж она вымести-ла на нем злость, накопившуюся в душе. То, что он успел ей понравиться, только подливало масла в огонь.

— Что за имя такое — Дуби? — злобно процедила она.

— Дов, в честь дедушки. Его немцы убили.

— Нечего сказать, подходящее имя для ребенка — Дов, — не унима-лась она.

— Мне не мешает,— пожал он плечами и добавил с трогательной серь-езностью: — Если вам не нравится, так я завтра пойду сменю. — Она с тру-дом сдержала улыбку.

Потом оба сидели за столом и смотрели на Ривку. Та обходила столо-вую с подносом и спрашивала каждого, что принести.

— Хотите еще попить, мама? — услышала она его вопрос и ответила сердито:

— Зачем ты называешь меня мамой, какая я тебе мама?

— Мне бы очень хотелось, чтобы у меня была такая мама.

— И кто ж тебе мешает?

— Ваша дочь.

— Каким же это, интересно, образом?

— Она отказывается.

— Не хочет выходить за тебя, ты это имеешь в виду?

— Именно.

Слова, произнесенные им, эхом отдавались в ее душе, а он рассказывал о посаженных им яблонях. Семена особые. Прислал их сюда какой-то аме-риканский ученый, он занимается выращиванием яблонь в пустыне Нева-да. Они их там высаживают в жестянках с органическими удобрениями. И вырастают деревца высотой с ребенка, корешки у них маленькие, и цветут они только летом. Зато плоды сладкие, как райские яблочки.

— Яблоко прохладу любит,— объясняет он, не отрывая взгляда от Рив-ки. — Приходится по ночам снимать с них полиэтилен, а рано утром снова укрывать, чтобы сохранить ночную прохладу, чтобы их не касался раска-ленный воздух.

— Правда? — спрашивает она о том, что было сказано прежде, до яб-лок.

Если же кто-то вдруг обращается к ней со словами: «Вы Ривкина мама? У вас такая хорошая дочь»,— у нее начинает биться сердце. В памяти вста-ют воспоминания далеких дней. Было ей тогда пятнадцать. По субботам в синагоге, встречаясь взглядом с Моше Элькаямом, сыном золотых дел мас-тера, она всегда опускала глаза. А после службы проталкивалась к нему поближе — ей так хотелось увидеть его белые руки, которыми он прикасал-ся к золоту, серебру, притрагивался к драгоценным камням. Что-то возни-кло между ними в молчании. Сестра Моше тепло здоровалась с ней, встре-чая на улице. Но когда к отцу явился сват от Абраванелей, у нее не хватило духу отказать ученому жениху.

Вечером, провожая ее до дверей комнаты, Ривка спросила:

— Ты ведь приехала за мной, верно?

После недолгого молчания Виктория произнесла:

— Нечего делать глупости.

— Я знаю, чего хочу.

— Вот и тетка твоя знала, а что у нее теперь за жизнь? По домам бродит, как какая-то кошка.

— За меня не волнуйся.

Виктория осмелела:

— Верно он говорил, что ты не хочешь выходить за него?

— Это он тебе сказал?

— Верно или неверно?

— Верно.

— Почему?

— Пока не знаю.

— Где ты только научилась такому?

— У тебя.

— Как это? — удивилась Виктория.

— Не хочу жить, как вы с отцом.

— Как?

— Без любви.

— Опять эта любовь! — Виктория хлопнула себя по коленям. На лице ее было притворно-рассерженное выражение.

Подошли к двери комнаты. Виктории вспомнилась двуспальная кровать под вышитым покрывалом, и у нее невольно вырвалось:

— Молитву-то перед сном читаешь?

— Нет.

— Не молишься?

— Разве что иногда, шепотом, чтобы самой не слышать, — сказала Ривка и рассмеялась. И, расцеловав Викторию в обе щеки, добавила тоном матери, успокаивающей на ночь ребенка: — Услышишь шакалов — не пугайся. Спокойной ночи.

Вид голых песчаных дюн, округло выгнувших спины в ее окне, напоминал фотографию, вставленную в рамку. Виктория с тяжелым и одновременно легким сердцем горячо помолилась за них обеих:

— «... да не посетят меня недобрые мысли и дурные сны, да будет мое ложе угодно очам Твоим, да раскроются глаза мои...»

Ночью Виктории приснился сон. Человек подходит к белому занавесу. Она видит его со спины. Он отдергивает занавес, и ее взгляду открываются деревья райского сада: вот древо Жизни, а вот древо познания Добра и Зла, а вот, в жестянках с органическими удобрениями, растут другие чудесные деревья. Человек подходит к одному из них, кажется, что он пересчитывает плоды. Яблоко падает к его ногам и распадается на дольки. Виктория смотрит и видит, как белые пальцы перебирают золото, серебро и драгоценные камни. Внезапно человек поворачивает к ней свое лицо, и она узнает в нем сына золотых дел мастера, Моше Элькаяма, с пылающей копной рыжих волос.

Виктория возвращалась домой, в глазах ее был гнев, а на душе — полное умиротворение. Корзинку она пристроила на пустое сиденье рядом, а сумку, полную твердых, как камни, яблок, которые Дуби собрал ей в дорогу, положила себе на колени. Вспоминала, как дочь спросила ее, взяв за щеки: «Теперь ты видишь, что все в порядке?», а он добавил: « Все будет хорошо, мама».

Всю дорогу она обдумывала, что сказать мужу и сестре. А если описать все как было? Но когда автобус миновал Цомет Ахим, она засомневалась. Как рассказать сестре, старой деве, или мужу, от которого она не видела никакой ласки, про глаза этого парня и лицо ее дочери? Вдалеке показа-

лись холмы Иерусалима, и она вдруг поняла, как поступить.

С сестрой, читающей по глазам, она поступит честно. Высвободит ее ухо из-под платка и прошепчет ей, как в детстве:

— Сарике, мы с тобой всю жизнь мыкались в одиночку: ты — незамужняя, я — мужняя. Младшая дочь кое-чему меня научила. Помнишь, как боялись, что она, не приведи Господь, немного того. Помнишь, как я слезами обливалась? Ни красоты, ни ума, ни таланта, да еще и ростом с Голиафа. За Йекутиэля собирались выдать, в пояс кланялись, мол, только возьмите дочь Абраванелей. А теперь погляди только, — и она поплюет через плечо, чтоб не сглазить. — Кровь с молоком. А умница! И все-то колокольчиком заливается. Бог в помощь, мы от нее много добра увидим.

А мужу, который ее мыслей никогда читать не умел, подаст яблоки в меду, упрет руки в боки и скажет:

— Ты за Ривку не волнуйся! Ей там хорошо. Спасибо Господу. Скоро хорошие вести от нее получим. А теперь отведай и скажи, слыхивал ли ты о яблонях с малюсенькими корешками, цветущих летом, о яблонях, которые росли бы в жестянках с органическими удобрениями? Скажи, слыхал ты о таком или нет?

Перевод ЛИЗЫ ЧУДНОВСКОЙ

АВРААМ Б. ИЕХОШУА

Нескончаемое безмолвие поэта

РАССКАЗ

Вчера он снова явился страшно поздно и, зайдя в дом, не соблаговолил вести себя чуточку тише. Точно мой сон — дело пустяковое. Долго отдавалась эхом его тяжелая поступь в пустой квартире, в коридоре горели все лампы, а он все рылся и рылся в бумагах. Наконец, угомонился. Меня снова потянуло в сон. А тут еще дождь. Вот уже три недели небеса безжалостно поливают нас, потоки воды стачивают стекла.

Где он шляется по ночам? Я знаю. Однажды мне удалось выследить его. Но в эту же секунду мой старый приятель, закоренелый прозаик, появился из-за угла и схватил меня за пуговицу. Он тем временем улизнул.

Из-за дождей весь приморский берег превратился в сплошное болото, покрытое мокрым песком. Тель-Авив в сезон дождей — без водостоков, без просветов — весь в озерах. И море вдали, в тумане, грязное, бурлящее, будто и оно откатилось от гигантского города, сделалось плоским фоном.

Еще нет пяти, а окна уже сереют. Что же было? Он явился ко мне во сне, я видел его отчетливо, у самой кромки прибоя; за пазухой он прятал каких-то темных птиц, прижимал их к себе. Меня поразила его улыбка. Он стоял передо мной, глядел мне прямо в глаза, слегка улыбаясь.

Из его комнаты раздается тихое похрапывание. Я знаю, мне уже не удастся уснуть. Не сегодня завтра снова отплывает корабль, и, похоже, я наконец-то окажусь на нем. Мои муки, в конце концов, кончатся. В этом-то я уверен. Мне только нужно вести себя достойно до последней минуты, минуты прощания. Это вопрос лишь нескольких десятков часов.

Хотя я не вижу его сейчас, я знаю: он спит без задних ног, рука на сердце, глаза закрыты, рот разинут, дыхание отчетливое.

Но прежде мне следует его описать, бегло обрисовать его внешность. Я вправе сделать это, его облик, как мне кажется, успел обрести устойчивые черты, хотя ему еще не исполнилось и семнадцати. Я давно воспринимаю его как нечто неизменное, как человека, который не изменится никогда.

АВРААМ Б. ИЕХОШУА (*род. в 1936 г. в Иерусалиме*) — прозаик и драматург, профессор литературы в Хайфском университете, лауреат многих литературных премий, в том числе премии имени Бялика. Автор сборника рассказов «Смерть старика» (1962), романов «Пять времен года» (1987), «Мистер Мани» (1990), пьес «Майский вечер» (1975), «Ночные младенцы» (1992).

Рассказ «Нескончаемое безмолвие поэта» взят из сборника «Леса напротив» (изд. «ха-Киббуц ха-Меухад», 1968).

Что-то неуловимое, какая-то агрессивность натуры, способной все себе подчинить. Квадратный череп, грубые, расплывчатые черты туповатого лица. Юношеские прыщи, вызревшие на лбу и лопнувшие на щеках. Черненькое углубление ямочки на подбородке. Жирные волосы. Очки.

Мне прекрасно известно, и я заявляю об этом сразу: окружающие считают его придурком. Таково общее мнение, его разделяют и мои дочери. Я прочел много специальной литературы на эту тему, и клянусь вам: это не что иное, как несчастный случай. И вообще, он ни капельки на меня не похож, нас не связывает ничего, кроме тончайшей ниточки взаимного недоброжелательства. Мне он не внушает страха, повторяю: это — пограничное состояние. Он балансирует на грани. Доказательство — его глаза. Лишь мне и лишь иногда удается заглянуть ему прямо в глаза. И я говорю вам: иногда (правда, признаюсь, не часто) что-то вспыхивает в его глазах, некое темное и неистребимое животное начало.

И не только глаза.

И тем не менее...

Он мой поздний ребенок. Он родился незапланированно, по ошибке, это было такое чудо, будь оно проклято, ведь мы оба, я и его мать, стояли тогда уже на пороге старости.

Я отчетливо помню дни, предшествовавшие его рождению. Весна была мягкой, довольно затяжной, необыкновенно ласковой. И я, поэт, уже издавший пять сборников стихов, решил бросить писать. Это было шагом решительным, совершенно осознанным и бесповоротным, продиктованным полным отчаянием. Дело в том, что той весной я признался сам себе: мне пора замолчать.

Я не слышал мелодии.

Ближайшие друзья взялись мучить меня, доводить до отчаяния, нагонять на меня страх. Все отвергать. Стихи молодых поэтов совершенно запутали меня, я, как паук, барахтался в паутине строчек, пытался имитировать их стиль, чтобы быть ближе к современности, но из этих попыток ничего не вышло, разве что самое плохое из когда-либо написанного мной. Я твердо сказал себе: «Отныне я молчу...» Ну и что? А ничего, только что из-за этого молчания нарушился старый добрый порядок. Бывало, мы укладывались в постель рано, а иногда ночь напролет проводили в переполненных кафе за пустыми спорами, на сборищах престарелых художников, так пекущихся о славе на пороге смерти.

Та чудная весна тянулась, полная легких ароматов, утопающая в цветах. А я слонялся по городу, впадая то в панику, то в отчаяние, будто осужденный на казнь. Напрасно я старался напиться. Заявлял публично о своем молчании, отметал саму возможность существования поэзии, потешался над машинами, строчащими стихи, много хохотал, болтал, исповедовался. А по ночам писал письма в редакции газет по всяким пустым поводам (общественный транспорт и т.д.), и стиль мой мельчал, постепенно, но неуклонно. И вдруг неожиданная беременность. Этот позор. Мы обнаружили это в самом начале лета. Сперва мы подолгу гуляли, затем начали прятаться в доме, в конце концов стали извиняться: сначала перед дочерями, которые с ужасом глядели на престарелую мать, раздувающуюся у них на глазах, затем перед дальними родственниками, которые приходили поглядеть на новорожденное существо.

(Роды пришлись на середину зимы, на пасмурный, промозглый день. Газон перед нашим домом был покрыт инеем.)

Теперь мы были заточены в доме вместе с младенцем. (Дочки ради него палец о палец не ударили, они все время старались куда-нибудь убежать.) Так хотелось сказать друг другу: какое это чудо — рождение! Но

не хватало энтузиазма, решительно не хватало. Опять невыносимое ночное бдение, меж колыханием теней деревьев на стенах, меж тяжелых мокрых пеленок, развешанных на веревке, протянутой через всю квартиру. Все вызывало тоску. Мы попались, как куропатки.

Потомок подрастал. Медленно, незаметно, с трудом. Он отставал в физическом развитии, походил на дистрофика. Теперь, заглядывая в прошлое, я вижу его этаким птенцом серой птицы, потихоньку оперившимся в своей крохотной кроватке рядом с моей.

Лишь на третьем году его жизни у нас зародилось подозрение. Заподозрил не я, а дочери. Его движения были замедленными, он противно мямлил, рос увальнем, и дочери заявили: он слабоумный. Наши друзья внимательно вглядывались в его лицо, пытаясь обратить наше внимание на явные признаки того, о чем мы не осмеливались говорить вслух.

Я плохо помню этот период его жизни. Я был занят болезнями его матери. После поздних родов она быстро чахла и угасала. Нам ничего не оставалось, как наблюдать, как она отдаляется от нас, уходит все дальше в пустыню, бредет в одиночестве среди безлюдных, безжизненных холмов, исчезает в призрачном свете, уходит от нас во тьму.

Изо дня в день перемены становились все заметней.

Когда она умерла, ребенку было уже шесть лет. Увалень, не испытывающий ни к кому из нас ни малейшей привязанности, погруженный лишь в себя, при этом вовсе не из породы мечтателей, отнюдь не мечтатель. Всегда нервный, всегда беспокойный. Если я гладил его по голове, он весь дрожал.

Мне хотелось сказать с жалостью: сиротка! Но язык не поворачивался. Исчезновение матери не произвело на него никакого впечатления, хотя мы, по моему недомыслию, и потащили его на похороны. Он ни разу не спросил о ней, будто понял, что она исчезла навсегда. А через несколько месяцев после ее смерти пропали вдруг все ее фотографии, и когда мы вдруг обнаружили это, нам и в голову не пришло спросить у него. Когда мы, наконец, спросили, было уже поздно. В сумерках он повел нас к месту захоронения; в углу сада под развесистым деревом в старой яме, где гасили известь, завернутые в старую тряпку лежали обрывки фотографий.

Долго он стоял под деревом и что-то бормотал нам, сверкая своими бегающими глазками.

Несмотря на это, ничего так и не прояснилось... Но впервые у нас раскрылись глаза, и мы увидели перед собой маленькое человеческое существо.

Я не сдержался и ударил его, первый раз в жизни. Я крепко схватил его за плечо и наотмашь ударил по лицу. Потом его били дочери (зачем они били его?).

Он не понял.

И с недоуменным лицом сносил тумаки. Потом заплакал и повалился на землю. Мы подняли его и потащили в дом.

Впервые я обнаружил, что ребенок прекрасно ориентируется в доме, знает все его углы. Фотографии матери он собрал из старых альбомов, залез в пожелтевшие конверты. Даже в саду он отыскал укрытие, о котором я понятия не имел. Мы живем в этом доме уже двадцать лет, этот сад долгими бессонными ночами я обошел вдоль и поперек тысячу раз. Но никогда не видел эту старую яму для гашения извести, серую, неприметную, с объеденными известью краями.

Были ли это первые явные симптомы? И по сей день не знаю. Ни я, ни дочери не могли найти случившемуся никакого объяснения. Мы боялись лишь скандала и позора. Деть его было некуда, и мы, по крайней мере,

хотели его хоть как-то спрятать.

Поймите же, дочери были еще не замужем... В сентябре я отвел его в школу на окраине города; в первую неделю я пораньше уходил с работы, чтоб встречать его у ворот школы. Я боялся, как бы дети не стали издеваться над ним.

Он тяжело шагает рядом со мной, его ладонь в моей руке, ясное сентябрьское небо, полдень. Новый ранец плотно прилегает к спине, макушка надежно упрятана под шапочку, рот приоткрыт. Я слышу его дыхание, его глаза глядят на мир без интереса, просто так глядят, благо, что открыты.

Знакомые приподымают шляпы, подходят к нему, пожимают мне руку, треплют его по щеке, берут его маленькую ладонь, пожимают ее. Просят улыбнуться. Тяжелый взгляд, который он бросает на них, способен пригвоздить к месту. Идиот, законченный идиот.

Через неделю я предоставил ему возможность самому возвращаться домой. Мои опасения были напрасны. Не потребовалось никаких усилий, чтобы изолировать его, он был изолирован изначально.

В том же году дочери вышли замуж. Обе в один день, поспешно, будто их подгоняли, будто их выталкивали, будто они стремились побыстрее уйти из дому — они ведь были еще очень молоды.

Целый год до этого в доме была кутерьма. Недели не проходило без увеселений, больших или скромных. Дочери слезно умоляли меня спрятать его куда-нибудь, и я, по слабости своей, соглашался. Я слонялся с ним по улицам и полям, бродил по берегу моря.

Мы гуляли молча. Глядели на закат, на первые звезды; то есть я глядел, а он стоял рядом неподвижно, уставившись в землю. Но когда полили дожди и поля превратились в болота, мы вынуждены были оставаться дома. Женихи слонялись по комнатам, с ними их приятели и приятели их приятелей, — словом, дым коромыслом. Вначале мы прятали его в комнатке для прислуги, но когда у него начиналась бессонница, мы отправляли его на кухню. Он сидел там в пижаме и глядел на входящих и выходящих, затем его научили вытирать посуду. Сперва ему доверяли только чайные ложки, потом стали давать и ножи.

Потихоньку он перебрался в гостиную, в самый вертеп. Сначала в качестве разносчика тарелок со сладостями или с солеными хрустящими палочками, затем стал наливать рюмки и подавать зажженные спички курильщикам. Поначалу гостей шокировал его вид. При его появлении наступало неловкое молчание. Этакий сладостный ужас. Одного из женихов прямо сдуло с кресла, он забился в угол у темного окна, нашел там себе убежище. В тишине, повисшей в комнате, слышалось только учащенное дыхание ребенка; преисполненный серьезной торжественности, он обносил гостей сладостями. Никто не отказывался взять конфетку или соленую палочку.

Со временем к нему стали привыкать. Дочери, смягчившись, смирились с его присутствием. Его мелкие услуги стали потребностью. В поздний ночной час, когда всеми овладевает сонливость, он один был свеж, не обуреваем никакими мыслями, лицо светилось новым светом. Кто-нибудь из подвыпивших гостей вдруг проявлял к нему интерес, притягивал его к себе, обнимал и заводил с ним долгий разговор. Ребенок не шевелился в чужих объятиях, его взгляд ничего не выражал. Затем он шел и очищал пепельницы.

В конце лета того года мы остались вдвоем. Обе дочери в одночасье одним прекрасным августовским днем сыграли свадьбу. Вечером, под синим бездонным небом в нашем саду был установлен огромный свадебный

балдахин. Высохшие колючки путались, шуршали под ногами многочисленных друзей, собравшихся на торжество. Я почему-то безумно волновался. Что-то во мне надорвалось. Я со всеми лез обниматься, целоваться, непрестанно пускал слезу. Ребенка не было. Кто-то, возможно, один из женихов, позаботился о том, чтобы удалить его. Лишь поздним вечером его привезли обратно. В тот момент, когда я висел на шее последнего из уходящих моих приятелей, я вдруг заметил его. Он сидел за одним из длинных столов, выставленных в саду, одет он был буднично, только на шею ему повязали красный галстук. В руке у него — огромный кусок торта, на коленях — грязная салфетка. Он жевал с полным безразличием, глаза уставлены на желтую луну, запутавшуюся в ветвях над ним.

Я подкрался к нему и легонько погладил по макушке. Он смешался, кусок торта выпал из его руки.

«Эта луна... Что ни говори, красивая луна...», — сказал я.

Он снова уставился на луну, будто увидел ее впервые. Так началась наша совместная жизнь в опустевшем доме, по углам которого валялись флаконы от всякой косметики и рваные носовые платки. Я — умолкнувший поэт, и он — слабоумный ребенок, совершенно одинокий.

Да, из-за одиночества он и привязался ко мне. Теперь я прекрасно понимаю это. Нечего и говорить, что в школе он был одинок. В первую же неделю его посадили на последнюю парту, на галерку, именно там ему было место в полном отдалении от однокашников. Учителя сразу же сочли его неисправимым.

В его табелях было написано: оценки не ставятся. И небрежная подпись закорючка внизу листа. По сей день я не понимаю, как его переводили из класса в класс. Хотя он регулярно оставался на второй год, ему все же позволяли медленно, но верно продвигаться вперед. Боюсь, что учителя делали это из жалости ко мне. Возможно, некоторые из них любили мои старые стихи.

Я обычно избегал их.

И они старались избегать меня.

Я их не обвиняю.

На родительские собрания, на которые все-таки надо было ходить, я являлся самым последним, когда здание школы погружается во тьму и измученные, обессиленные учителя устало откидываются на спинки стульев в опустевших классах, похожих на поля давних кровавых битв, под голыми лампочками, свисающими с потолка. Тогда-то я и появлялся в дверях. Вид моей седой гривы (я так и не состриг ее) заставлял уходить последних засидевшихся родителей, молодых отцов или матерей. Учителя поднимали на меня глаза и, натянуто улыбаясь, протягивали мне вялые руки.

Я усаживался перед ними.

Что они могли сообщить мне нового?

Дошло до того, что они забывали, кто же я такой.

«Чей вы отец?» Я называл фамилию, и сердце в груди у меня сжималось. Они рылись в бумагах, извлекали его чистенький табель, подпирали головы ладонями, прищуривали глаза и строго спрашивали: «До каких пор?»

То есть до каких пор его будут держать, ведь он безнадежен.

Я молчал.

Они сердились. Возможно, темнота на улице усиливала их нетерпение. Они настоятельно требовали, чтоб я избавил их от него. Но куда я его дену? Сие им не известно. Куда-нибудь в другое место Может быть, его следует определить в специнтернат...

Но постепенно их гнев утихает. Они признают, что он безобиден. Он им вовсе не мешает. Напротив, он всегда сосредоточен, слушает внимательно. Смотрит прямо в глаза учителю. Кажется даже, что он пытается выполнять домашние задания.

Я мну шляпу, она превращается в комок в моих руках. Украдкой оглядываю классную комнату, пол которой усеян шелухой от семечек, обрывками бумаги, карандашными огрызками. На доске нарисовано что-то странное. К глазам подступают слезы. Короче, я обещаю всячески помогать сыну. Каждый вечер с ним заниматься. Говоря откровенно, он не что иное, как ребенок в пограничном состоянии.

Но дома, вечером, меня охватывает отчаяние. Я часами просиживаю с ним за раскрытой книгой и ничего не могу добиться. Он сидит рядом со мной как вкопанный, не шелохнется, мои слова расплываются, как масло по воде. Когда я, наконец, оставляю его в покое, он идет в свою комнату и с полчаса просиживает за уроками. Потом он захлопывает тетради, складывает их в портфель, а портфель запирает.

Иногда по утрам, когда он еще спит, я залезаю в его портфель и роюсь в тетрадях. Я поражаюсь ответам, которые он дает, они и отдаленно не напоминают правильные, меня охватывает ужас при виде примеров по арифметике: вместо цифр — причудливые закорючки, разбросанные по тетрадному листу, полное отсутствие здравого смысла.

Но я молчу. Я его не трогаю. С меня достаточно того, что он каждое утро встает и тихонько уходит в школу, чтобы сидеть там весь день на последней парте.

О том, как он проводит свои дни в школе, он ничего мне не рассказывал. Да я и не спрашивал. Он молча уходил и молча возвращался. Было время, кажется, на пятом или на шестом году учебы, когда соученики принялись было издеваться над ним. Его будто внезапно заметили, взяли на прицел и принялись лупить. Ребята из его класса и из соседних щипали его на переменах, словно желая удостовериться, что он действительно существует, что он из плоти и крови, что он не призрак. Несмотря на это, он регулярно ходил в школу, да и я на этом настаивал. Через несколько недель издевательства прекратились. Его снова оставили в покое.

Однажды он пришел из школы взволнованный. Пальцы были перепачканы мелом. Я решил было, что его вызвали к доске, но он ответил отрицательно. Вечером он взял и рассказал мне, что его назначили дежурным по классу.

Прошло несколько дней. Я спросил его, все ли еще он дежурный. Он ответил утвердительно. Прошло несколько недель, он продолжал дежурить. Я спросил, нравится ли ему это, не трудно ли ему. Он был вполне доволен. Его глаза засверкали. Выражение лица стало более осмысленным. Утром в его портфеле я обнаружил, кроме тетрадей с непонятными письменами, кусочки мела и две тряпки.

Мне кажется, что он оставался бессменным дежурным по классу вплоть до последнего дня своей учебы. У него установились тесные отношения с заведующим хозяйством. Они как-то подружились. Иногда тот зазывал его к себе, в свою комнату, и поил чаем. Трудно представить, о чем они говорили, получалась ли у них хоть какая-то беседа. Как бы то ни было, между ними наладилась связь.

Однажды летним вечером я случайно оказался возле школы, и что-то толкнуло меня зайти, чтобы поговорить с заведующим. Так как ворота были закрыты, я проник на территорию школы через дырку в заборе. Я слонялся по темным пустым коридорам, пока не набрел на помещение под лестницей. Спустился на две-три ступеньки ниже и увидел того, кого искал.

Он сидел на скамье, подобрав ноги, почти в полной темноте. Это был человечек низенького роста, усердно чистивший медный таз, который держал на коленях.

Сняв шляпу, я вошел в комнатушку и пробормотал имя своего ребенка. Он не сдвинулся с места. Не похоже было, что он удивлен. Он словно ожидал, что я зайду к нему как-нибудь вечером. Он обернулся ко мне и вдруг, не издав ни звука, широко заулыбался. Его лицо так и расплылось в улыбке.

Я сказал ему:

— Вы знаете моего сына? — Он утвердительно покачал головой, все еще широко улыбаясь. Руки его продолжали неустанно драить медный таз, лежавший у него на коленях.

Я спросил:

— Ну, как он? Хороший парень... — Улыбка его застыла. Руки опустились. Он что-то взволнованно просипел и приставил палец к виску.

— Несчастный парень... Псих... — Он успокоился, и его глаза стали внимательно изучать меня.

Я молча стоял перед ним. Он поразил меня в самое сердце. Никогда еще я не был так разочарован. Никогда еще я так неожиданно не расставался с надеждой. Он снова принялся драить медный таз, лежавший у него на коленях. Я ушел, не попрощавшись.

Из этого не следует, что уже в то время я неотступно думал о сыне, что между нами установились нормальные отношения. Пожалуй, наоборот. В общем, я относился к нему равнодушно, с откровенным безразличием.

Я был занят собой. Никогда еще я не был так занят собой. Во-первых, своим молчанием. Я умолк окончательно, бесповоротно. Я держал слово. И мне давалось это легко. Я не написал ни строчки. Да, иногда меня охватывала ностальгия. Пробуждалось желание писать. Я, например, шептал про себя: осень, снова осень. Но и только. Мои друзья пытались прощупать почву. Говорили: «Как же так... Наверняка ты что-то потихоньку вынашиваешь... Ты хочешь всех удивить».

А я, охваченный непонятным чувством, повторял со смехом: «Нет, решительно, нет. Я исписался».

Сперва они сомневались, наконец поверили. Мое молчание было принято молча. Лишь однажды о нем упомянули. Некто (молодой человек) опубликовал в газете критический обзор. Обо мне упомянул вскользь, пренебрежительно. Он назвал мое молчание бесплодием. Дважды в одном абзаце он назвал меня «бесплодным». Потом оставил меня в покое. Мне было все равно. Я был спокоен.

Безмолвие вокруг меня...

Высохшая пустыня...

Груды камней и мусора...

Ко мне подступала старость. Никогда не думал, что со мной будет именно так. Пока я слоняюсь по улицам — я в порядке. Но вечерами, после ужина, я погружаюсь в кресло, сжимаю в руках книгу или газету, и вот через несколько минут я становлюсь полумертвым, чем-то вроде паралитика. Я встаю, с трудом стаскиваю с себя одежду, вновь неприятно пораженный зрелищем своих дряблых ног, ложусь в постель, закутываюсь в одеяло и принимаюсь за детективы, к которым я необыкновенно пристрастился.

В доме тишина. Из радиоприемника доносится еле слышная, далекая мелодия. Я читаю, сознание медленно угасает, я превращаюсь в окаменелость, покрытую тонким налетом плесени.

В полночь радио смолкает, книга падает из моих рук на пол. Оста-

лось выключить умолкшее радио и погасить свет в комнате. Тут и наступает час моих самых ужасных мук. Я сползаю с кровати как труп; помятый, разбитый, я из последних сил нажимаю на кнопки выключателей.

Однажды, уже после полуночи, я услыхал его шаги в коридоре. Надо упомянуть, что у него беспокойный сон. Ему часто снились кошмары, он не умел их пересказать. Поэтому над его кроватью постоянно, как вечный огонь, горел ночник. В те ночи, когда он пробуждался от кошмарных видений, он шел на кухню к крану и жадно пил воду, долго, большими глотками. Это его успокаивало.

Той ночью, когда он, напившись воды, собирался снова улечься в кровать, я позвал его и велел ему потушить свет и выключить радио. До сих пор помню его силуэт в проеме двери, погруженной во тьму. Мне вдруг показалось, что он страшно раздался, разжирел. Линия, отделявшая свет от тьмы, очерчивала его чуть приоткрытый рот.

Я поблагодарил его.

На следующий день в полночь он вновь принялся слоняться по дому. Я снова позвал его, чтобы он потушил свет.

Так было каждую ночь...

Я привык к его услугам, стал зависим от них. Сперва он избавлял меня по ночам от света и звуков, затем стал заниматься другими вещами. Сколько ему было лет? Кажется, тринадцать... Да, я точно помню. Тогда ему исполнилось тринадцать лет, и я решил отпраздновать день его рождения, прежде я совершенно игнорировал это событие. Я решил отпраздновать как следует, щедро и весело, если, конечно, получится. Я сам позвонил его классной руководительнице и другим учителям. Пригласил всех. Всем его одноклассникам я послал приглашения от его имени.

По правде говоря, все одноклассники были моложе его. Им было лет по одиннадцать.

В назначенную субботу поздним утром, после долгого томительного ожидания, в наш дом ввалилась компания из десятка оболтусов, размахивающих свертками из белой бумаги. Ни один из учителей не соизволил явиться. Ни одна девочка не посмела прийти к нам.

Они по очереди пожали мне, седовласому папаше, руку (кто-то даже прошептал: «Это что, его дедушка?»). Меня они изучали с пристрастием. Но вскоре успокоились, увидев, что я веду себя как вполне нормальный человек.

Банты на свертках были развязаны.

Оказалось, все принесли один и тот же подарок — грошовый пенал. Кроме одного мальчика, с вьющимися волосами, бледноватого, с этакой поэтической внешностью, который, ничтоже сумняшеся, принес старый и ржавый перочинный нож, правда, со множеством лезвий, — и это вызвало всеобщий восторг.

Каждый подарок был снабжен открыткой с пожеланием «всяческих успехов». Юный поэт, принесший перочинный нож, снабдил свое поздравление даже несколькими корявыми рифмами. Он принимал подарки молча, был очень напряжен. Я был потрясен тем, что ни один не принес книгу. Будто они боялись, что он не сможет ее прочесть... Я потрудился на славу. Собственнолично подавал бутерброды, пирожные, сок, конфеты. Мороженое — на десерт. Они разбрелись по гостиной, расселись по диванам и креслам и молча жевали, разглядывая комнату, в их взглядах сквозило недоверие — жилье юбиляра казалось им каким-то странным; то и дело раздавались беспричинные смешки.

Мой сын сидел молча в кресле в углу комнаты, словно он не виновник торжества, а один из приглашенных. Тоже тихонько жевал, глядя в пол.

Я полагал, что мое присутствие будет детям в тягость, и поэтому поспешил ретироваться. Действительно, вскоре напряжение спало. Послышался, наконец, смех. Спустя какое-то время я снова вошел в комнату. Разувшись, мальчишки резвились на ковре, скакали по креслам. Его среди них не было. Я отправился его искать и нашел на дальнем балконе, он чистил их обувь.

Он сказал мне: «Я дежурный». Так закончилось празднество. Они обувались, потные и встрепанные, с трудом сдерживая смех. Заметив меня, они поднялись, попрощались за руку и ушли. В комнате остались девять пеналов. Что же касается перочинного ножика, то юное поэтическое дарование, принесшее его, немедленно одолжило его на недельку и, кажется, никогда не вернуло.

Я вдаюсь в эти подробности с тем, чтобы выгородить себя; дело в том, что не прошло и двух недель, как он принялся чистить мои ботинки. Как-то я выставил их на балкон и обнаружил вычищенными. Он делал это от всего сердца, без тени сомнения. Так возникла устойчивая привычка — его и моя. Вслед за ней появились и другие привычки.

Например, он приучился разувать меня. Я возвращаюсь под вечер с работы, усаживаюсь на скамеечку в коридоре, чтобы вскрыть почту. Он появляется из комнаты, склоняется к моим ногам, развязывает шнурки, снимает ботинки и обувает меня в тапочки.

Это в какой-то степени облегчает мне жизнь. Вдруг оказывается, что у него достаточно сил, тогда как мои — на исходе. Если приходится иметь дело с банками, которые я не в силах откупорить, гвоздями, которые я не в силах вытащить из стены, — я сразу же зову его на помощь. Я говорю ему так: «Ты молод и силен, а я слабею. Я скоро умру».

Но я уже заметил, что шутить с ним не следует. Он не воспринимает шуток. Он стоит пораженный, без тени улыбки на лице.

Мусор он приучился выносить еще с восьмилетнего возраста. Он бросается исполнять любое мое поручение: принести сигареты, купить газету. Времени у него предостаточно. На уроки он тратит не более получаса. Друзей у него нет. Книг он не читает. Часами просиживает в кресле и глядит в стену или на меня. Мы живем в старом, тихом пригороде. Из окна видны лишь деревья и забор. Тихая улочка. Что ему делать? Животных он не терпит. Я как-то принес ему щенка, через неделю он его потерял. Буквально. И даже не огорчился по этому поводу. Что же ему делать? Я учу его наводить порядок в доме, показываю, где место каждой вещи. Он усваивает медленно, но в конце концов приучается раскладывать вещи в шкафу, собирать газеты и книги, разбросанные по полу. Утром я оставляю свою постель неприбранной, а когда прихожу вечером домой, она застелена с невероятной тщательностью.

Иногда мне кажется, что все готово к путешествию. Что ничего не остается, как раскрыть чемодан, уложить в него странным образом сложенную одежду и отправиться в путь. Как-то мне понадобилось уехать на север страны; я сказал ему об этом, и не прошло и получаса, как у двери стоял чемодан, а в нем мои вещи, аккуратно сложенные.

Недавно я купил себе трость. Пока я не нуждаюсь в ней, но все же таскаю ее с собой повсюду. Когда я останавливаюсь с кем-нибудь побеседовать, то втыкаю трость в первую попавшуюся трещину и опираюсь на ручку всей тяжестью тела. Время от времени он затачивает острие трости, чтобы она легче втыкалась в трещины. Вот до какой утонченности доходит его заботливость.

В это же самое время он выучился и готовить. Старушка, приходившая мыть у нас полы, научила его этому. Сперва он готовил и съедал всю

свою стряпню до того, как я приходил домой с работы. Но потом он начал готовить и на мою долю. Меню не весьма разнообразное, скажем, довольно убогое, но готовилось все с удивительной тщательностью. На чердаке он отыскал фарфоровый сервиз, полученный мной в подарок на свадьбу, всякие позолоченные по краям тарелки, разрисованные цветами, ангелами и бабочками. Он пустил их в ход. Выставлял передо мной горкой по пять тарелок разных размеров, раскладывал ножи и вилки к каждой из них и прислуживал мне стоя, с невыносимой навязчивостью.

Где он всему этому выучился?

Оказалось, у них в классе читали рассказ о пире одного царя.

Я насторожился.

— Какого царя?

Имени он не помнил.

— Ну, а какие-нибудь другие герои?

— Не помню.

Я попросил, чтобы он, по крайней мере, пересказал эту историю. Он начал рассказывать, но тут же остановился. У него все перепуталось.

Его взгляд помрачнел, юношеские прыщи резче обозначились на щеках. Про себя я подумал: он страшен для постороннего взгляда, и его вид может привести в ужас.

Он помогает мне мыться перед сном. Я зову его, чтоб он потер мне спину, он заходит в ванную на цыпочках, опасливо поглядывает на мое голое тело в воде, берет губку и осторожно водит ею по моей спине.

Я пытаюсь отблагодарить его и чем-то, в свою очередь, услужить ему. Мне это не удается. Я прихожу домой и заявляю: «На сей раз, я готовлю обед!» Но обед уже готов. Я изъявляю желание помочь ему умыться. Но он уже умылся.

Поэтому я беру его вечерами в гости к моим друзьям, на встречи деятелей искусства, ведь я все еще член всех мыслимых и немыслимых союзов. Я сумел всех приучить к нему — к тому, чтобы они его не замечали, ведь я же не замечаю их тени.

Он усаживается всегда в последнем ряду, открывает дверь опоздавшим, помогает им снять пальто, вешает на вешалку. Посетители принимают его за кого-то из обслуживающего персонала. И действительно, он все время крутится около обслуги. То остановится вдруг у группы билетеров и с мрачным видом прислушивается к их беседе. То я вижу его говорящим что-то уборщице, которая стоит, опершись на швабру.

Что он говорит ей? Никогда не догадаться.

Любит ли он меня? Невозможно понять. Похоже, что-то во мне пугает его. Может, моя старость, может, мое молчание. Как бы то ни было, он настороже, точно ждет от меня оплеухи.

При этом в наших отношениях царила умиротворенность. В спокойствии текли дни, и я полагал, что так мы и будем жить с ним, душа в душу, до тех пор, пока мне не придется расстаться с ним. Частенько я подумывал, как же хорошо, что при моем молчании рядом со мной именно этот парень, чей разум слаб, на границе безумия, и это позволяет нам быть вместе и при этом далеко-далеко друг от друга.

Да, иногда меня охватывает тревога, мне хочется повиснуть на чьей-нибудь шее, и тогда я мчусь в Иерусалим, сваливаюсь как снег на голову дочерям и провожу в их обществе часок-другой. Они встречают меня радостно, обнимают меня, душат в объятиях. Мы долго обнимаемся, их мужья стоят в сторонке, их взгляды выражают легкое презрение. Потом мы сидим и болтаем, упражняем наше семейное чувство юмора, и это не по вкусу их мужьям. До серьезного разговора дело не доходит — они пре-

красно знают, на это у меня нет времени, я не могу у них задерживаться. Я появляюсь, как тайфун, и, как тайфун, исчезаю. Вот я уже и прощаюсь торопливо, сдерживая все еще бурлящие чувства. Они настаивают, чтоб я остался ночевать. Но я не соглашаюсь. Мне непременно надо вернуться к мальчику, его жизнь целиком зависит от меня. Снова объятия и поцелуи; затем мужья отвозят меня на автобусную станцию. Всю недолгую дорогу мы молчим. Им не о чем со мной разговаривать. Я для них личность сомнительная. Эта моя белая грива, свисающая с затылка, эта тросточка, которую я верчу в руках. Я для них все еще что-то вроде поэта. Мои томики стихов все еще стоят на полке в их гостиной. В такой момент я предпочитаю тупой взгляд моего сына.

Зимой я, бывает, запираюсь у себя дома в шесть вечера. В оставшееся до сна время читаю газеты, слушаю радио, листаю книги — от всего этого клонит в дрему. Время идет; со скукой я незаметно свыкся.

Летом я много гуляю вдоль моря, хожу туда-сюда или просто слоняюсь по улицам. Погруженный в собственные мысли, я могу часами простаивать у строящегося дома. Пустые мысли... Когда-то я повсюду таскал с собой блокнотики. Бродил и с наигранной лихорадочностью растравлял свой поэтический зуд: рифмовал, увлеченно играл словами. Теперь ничто меня не волнует.

Где он?

Я смотрю в окно и вижу его в саду, под серым осенним небом. Он с неимоверной жестокостью ломает деревья и кусты. Выламывает целые ветви, обрывает листья. Особенно достается старой акации и миндальному дереву, он ободрал с них почти всю кору и обломал почти все ветки. Он вскарабкивается к самой верхушке кроны и методично крушит дерево. На дерево жалко смотреть.

Мой взгляд прикован к нему, я слежу за ним часами, как загипнотизированный. Эта его серьезность, угрюмость. Свет и тени играют на его лице, лице с нелепым выражением прилежного ученика из-за очков с толстыми стеклами, которые он стал носить. У него вдруг обнаружилась близорукость.

Он ломает деревья чуть ли не под корень. Он выдирает из земли целые кусты. Но я не вмешиваюсь, я слежу из окна за его разрушительной работой. И говорю себе: что-нибудь да останется, придет весна и восполнит причиненный ущерб.

Когда это случилось впервые? Я хочу сказать, когда ему стало известно, что я поэт? Я имею в виду это безумие, охватившее нас в последний год.

В конце прошлой зимы я слег и вынужден был не отпускать его из дома, чтобы он ухаживал за мной. Несколько дней подряд мы провели вместе, он не отходил от меня. Такого прежде не случалось, ведь каждый день были прогулки, кафе и друзья.

Меня лихорадило, я лежал в полудреме, полуприкрыв глаза. Он слонялся по дому или сидел у двери моей спальни, готовый в любую секунду прийти на помощь. Я частенько просил его принести мне чаю, и он вставал, отправлялся на кухню, готовил чай и приносил мне.

Медленно светало, серое небо в окнах, закрытых ставнями. Мы отгородились от уличного света, его не переносили мои глаза, ослабевшие от болезни.

Время шло в глубоком молчании, да и разве можно беседовать с ним? Я спросил его, сделал ли он уроки.

Он кивнул.

О чем я мог с ним говорить?

Я спросил его о дежурстве. Он пробормотал что-то неопределенное и покачал головой.

Я совсем изнемог. Голова моя упала на подушку, я закрыл глаза. Тьма сгущалась. На улице начал моросить мелкий дождик. Во время болезни у меня начались видения. Видения, связанные с кроватью. Будто кровать — это маленькая страна, где постоянно происходят большие катаклизмы. Взмывают ввысь горы, несутся потоки воды, а я спокойно гуляю по этой стране.

Полное безмолвие. Жар кровати обволакивает каждую клетку моего тела.

Вдруг среди этой медленно капающей тишины я услышал его резкий голос:

— Что ты делаешь?

Я приоткрыл один глаз. Он сидел у двери, воззрившись на меня. Я приподнялся, страшно удивленный.

— В каком смысле? Что? Сейчас? А что? Дремлю...

— Нет, вообще... — И он отвернулся, словно пожалел о своем вопросе.

Вскоре я понял. Он спрашивал о моей профессии.

— Вам в школе рассказывали о профессиях?

— Не знаю...

Я принялся рассказывать ему, какова моя профессия (работаю в конторе, вырезаю там из газет разные статьи). Он понимал с трудом. Я объяснил подробней. Вдруг он понял. Никак не отреагировал. Казалось, он слегка разочарован. Трудно понять, что его так разочаровало. Ведь не могла же возникнуть в его слабом умишке мысль о том, что я летчик или моряк. Думал ли он, что я летчик или моряк? Нет. А что же думал? Ничего не думал. Снова безмолвие. Он сидит в углу комнаты мрачной и печальной тенью. Его очки сверкают в сумерках. Дождь на улице становится все сильнее, со старого дерева во дворе стекают струи, точно оно рыдает. Его грусть вдруг передалась мне и пронзила меня до боли. Меня охватила жалость. Я приподнимаюсь, усаживаюсь в кровати, открываю глаза и шепотом рассказываю ему, что на самом-то деле я занимался другим. Писал стихи. Вот, папа был поэтом. А в классе проходили поэтов. Я, охваченный лихорадкой, слезаю с кровати, босиком пересекаю темную комнату, зажигаю маленькую лампу, подхожу к книжному шкафу и одну за другой достаю свои книги.

Он молча наблюдает за мной, его очки слегка съехали на нос, руки бессильно свисают с подлокотников кресла. Я хватаю его за руку, поднимаю и ставлю перед собой. Худыми пальцами я раскрываю свои книги в твердых переплетах. Маленькие страницы, к которым никто никогда не прикасался, перелистываются с легким скрипом. Черные строки, вдавленные в эти белые страницы, мелькают перед глазами. Слова: «осень», «дождь», «циклон».

Он безразличен, стоит, не шелохнувшись, смотрит в пол. Законченный идиот.

Я выгнал его из комнаты. Сгреб свои книжки и потащил их с собой в кровать. До рассвета в моей комнате не гас свет. Всю ночь я брел вслед за сладостной болью, со всей страстью излитой в старых стихах. Слова: «хлеб», «кашель», «стыд». Наутро лихорадка поутихла, и я отправил его в школу. Свои книжки я снова засунул на полку, среди прочих книг. Я был уверен, что он ничего не понял. Но через несколько дней, когда я обнаружил, что все мои томики аккуратно расставлены по порядку, мне стало ясно, что он кое-что понял. Но это пока было малозаметно.

Он учился в выпускном классе, но на его распорядке дня это никак не

отражалось. Он посвящал школьным урокам от силы полчаса, что-то там записывал, что-то там считал, захлопывал тетради, застегивал портфель и переходил к домашним делам. В классе он, как и прежде, сидел на последней парте, в дальнем углу; стал пропускать уроки. Его все чаще звал к себе заведующий хозяйством. То затащить на чердак отопительные приборы, то чинить в подвале сломанные стулья.

Когда же ему доводилось присутствовать на уроках, он сидел как обычно: недвижимый, уставившись на учителя. Последние дни учебы, атмосфера легкомыслия... За две-три недели до окончания занятий в их классе проходили мое стихотворение. В конце учебника были собраны разные стихотворения, этакая хрестоматия для внеклассного чтения. Среди прочих там было и мое стихотворение, написанное несколько десятилетий тому назад. Я вовсе не предназначал его подросткам, но меня неправильно поняли.

Учительница прочитала стихотворение перед классом. Разъяснила непонятные слова. Потом его прочитал один из учеников, этим дело и кончилось. Возможно, мой сын и не обратил бы на все это внимание, если бы учительница не указала на него, не сказала бы:

— Это ведь его отец...

Известие не повысило акций моего сына и не сделало более значительным само стихотворение. Как бы то ни было, в школьной суете все моментально позабыли и стихотворение и, конечно, его автора.

Но, как оказалось, сын этого не забыл, его это поразило. Возможно, он одиноко слонялся по классу, собирал разбросанные бумажки, вытирал доску. Он был взволнован.

Вечером, придя с работы, я обнаружил, что в комнатах темно. Я открыл входную дверь и увидел, что он поджидает меня в темном коридоре. Он не мог справиться с волнением. Бросился мне на шею, из его груди вырвался дикий вопль, он чуть не задушил меня. Не давая мне снять пиджак и развязать галстук, он повлек меня за собой в одну из комнат, зажег свет, раскрыл учебник и начал читать хриплым голосом мое произведение. Он путал гласные, проглатывал слова, неправильно ставил ударения.

Я был ошеломлен этой бурей эмоций. Сердце мое дрогнуло. Я притянул его к себе и погладил по голове. Было совершенно очевидно, что он не понял содержание стихотворения, правда, и смысла в нем было немного.

Он с силой схватил меня за полу и спросил, когда я написал это стихотворение.

Я сказал ему.

Он попросил показать ему другие мои стихи.

Я указал на мои томики.

Он спросил, все ли это.

Я с улыбкой показал ему на ящик письменного стола, там в тесноте и духоте, в маленьких блокнотиках, которые я повсюду таскал с собой, были заточены стихи и отдельные строчки.

Он спросил, написал ли я что-нибудь новенькое сегодня.

Тут уж я расхохотался. Его туповатое лицо сияло восхищением, он не отрываясь смотрел на меня, все еще стоящего в пиджаке и при галстуке.

Я рассказал ему, что еще до его рождения прекратил писать и что давным-давно следовало бы выбросить на помойку все спрятанное в письменное столе.

Я снял пиджак, распустил галстук, уселся расшнуровывать ботинки.

Он принес мне тапочки.

Лицо его помрачнело, он сник.

Будто услышал страшную весть.

Я опять расхохотался. Потрепал его по жестким волосам. Я, брезговавший прикоснуться к нему.

Через несколько дней я обнаружил, что ящик письменного стола разворочен и пуст. В нем не осталось ни клочка бумаги. Я нашел виновника в саду, он выпалывал траву под деревом. Зачем он сделал это? Он думал, что мне это не нужно. Просто он прибирал в доме. Ведь я же сам сказал, что больше не пишу. Где все мои бумаги? Исписанные он выбросил в мусор, а маленькие блокнотики продал сборщикам утиля, слоняющимся по городским окраинам.

Второй раз в жизни я избил его, и снова в саду, под тем самым деревом. Всей силой ослабших старческих рук я лупил его по щекам, покрытым легким пушком.

Он затрясся всем телом... Его кулаки крепко сжались, он отчаянно стиснул рукоятку мотыги. Он мог дать мне сдачи. Он с легкостью мог повалить меня на землю.

Мой гнев внезапно улегся, его как рукой сняло. Все стало вдруг совершенно неважным. Обрывки старых стихов, давным-давно забытых. И из-за чего я поднял шум? Ведь мое безмолвие нерушимо.

Опять-таки я был уверен, что инцидент исчерпан. Мог ли я догадываться тогда, что это — только начало. Длинные летние дни. Бесконечная голубизна. Проскользнет по небу прозрачное облачко и исчезнет за горизонтом. Птичьи капеллы обосновались в нашем саду, из глубин густой листвы доносятся до нас их вокальные упражнения.

Темно-бордовые вечера, выматывающие душу.

Последний его день в средней школе.

Следующий день. Торжественное собрание выпускников и раздача аттестатов.

Разумеется, аттестата ему не выдали. Несмотря на это, он вместе со всеми взошел на сцену, в белой рубашке и брюках цвета хаки (ему было уже семнадцать). В ярком полуденном свете он сидел на сцене, среди своих одноклассников и со всей серьезностью выслушивал поздравления. Когда прозвучали слова благодарности в адрес заведующего хозяйством, он встрепенулся и стал смотреть по сторонам, искать своего друга среди публики.

Я спрятался в конце зала за грудой стульев. Расстелил свой плед на коленях.

После торжественных речей был короткий концерт.

Две полненькие девочки взобрались на сцену и звонкими голосами сообщили, что сейчас сыграют сонату неизвестного композитора, жившего сотни лет назад. Затем они уселись за расстроенный рояль и старательно в четыре руки стали извлекать из инструмента фальшивейшие звуки.

Бурные аплодисменты взволнованных родителей.

Маленький мальчик, бледненький, с очаровательными кудряшками, втащил на сцену гигантскую виолончель и исполнил на ней некий фрагмент из сочинения неизвестного композитора (вероятно, другого).

Я закрыл глаза. Мне нравилось быть инкогнито.

Бурные аплодисменты взволнованных родителей.

Вдруг я ощутил на себе чей-то взгляд. Я осмотрелся, и вот на расстоянии нескольких шагов от себя, рядом с окном, из которого лились потоки света, увидел заведующего хозяйством — человечка в рабочей одежде, прижавшегося к спинке стула. Он едва заметно кивнул мне.

Две девочки и два мальчика взобрались на сцену — художественное чтение: декламация какого-то отрывка из рассказа, дополненная несколькими стишками.

Когда зазвучали рифмы, мой сын вдруг привстал с места и принялся искать меня глазами. Публика не понимала, что нужно этому очкастому тупице, вытягивающему шею из глубины сцены. Его товарищи безуспешно пытались усадить его на место. Он же, не обращая на них никакого внимания, продолжал оглядывать зал. Звук рифм увлек его. Он был готов закричать. Но он не нашел меня. Я надежно укрылся за стульями.

Торжество кончилось, я ушел. Вернее сказать, сбежал. Он вернулся вечером — помогал расставлять стулья в зале.

Настало время решать, что ему делать в жизни. Я уж не раз повторял: он балансирует на краю. Он — пограничный случай. Не опоздал ли я? Имею ли я еще власть над ним? Пока он остался дома, ухаживал за мной и начал пописывать стихи. Да, он проявил склонность к стихотворчеству. Оказалось, что обрывки моих стихов, те самые блокнотики и клочки бумаги, все еще у него. Они не были проданы старьевщикам и не были выброшены в мусор. Тогда, под деревом, он солгал мне.

Я не сразу узнал об этом. Сначала он тщательно скрывал это от меня. Но я все же начал что-то подозревать. Потом появились и вещественные доказательства — мои старые бумаги, они торчали из карманов его брюк, валялись среди постельного белья. У него появилась новая привычка. Всякий раз, когда я давал ему какое-нибудь поручение, он брал клочок бумаги и записывал ручкой своим детским почерком, с орфографическими ошибками то, что я велел.

«Безмолвие меня объяло» — с этими словами он предстал передо мной однажды; это был не его язык.

Я хотел отдать в починку свою треснувшую трость. Он немедленно извлек маленький блокнотик, один из самых любимых мною старых блокнотиков, из тех, что я прятал в карманах, дабы записывать в них пришедшие в голову строчки стихов, обрывки разных идей.

У меня перехватило дыхание. Меня бросило в жар. Моя рука инстинктивно потянулась к блокнотику. Он отдал мне его тут же. Дрожащей рукой я перелистывал блокнотик. Белые странички, следы множества вырванных страниц. И вдруг одинокая строчка, написанная моим беглым почерком: «Безмолвие меня объяло». И снова пустые страницы, измятые по краям.

Я успокоился. Он хотел оставить мне блокнотик. Но я вернул ему.

Он ушел.

Я отправился в его комнату, порылся в ящиках письменного стола, но ничего не нашел. Потом бросил эту затею. Но вечером передо мной была положена пожелтевшая бумажка, на ней моим неразборчивым почерком было начертано: «Равновелика человеку сия голубизна». Слово «голубизна» было перечеркнуто тонкой чертой.

Я бросился в его комнату: он сидит съежившись в углу и, очевидно, ждет меня. Я складываю бумажку, бросаю ему под ноги и выхожу из комнаты. Назавтра под вечер, после ужина, я снова обнаруживаю на своем столе две свои позабытые строчки:

«Вновь тщетно стою пред тобою
Этой долгой зимой».

Этот листок я изорвал в клочья.

И назавтра — косая строчка, написанная неряшливым почерком: «Безумье мое в моем семени бледном». И следы многих, многих зачеркиваний вокруг этих слов. Рядом со страничкой маленькая вазочка, в ней красная гвоздика, сорванная с клумбы в саду. Ну вот, теперь мне еще придется и о цветах думать.

Дом стал наполняться цветами. Старые, забытые вазы были извлече-

ны из шкафов, вытащены из кладовки и заполнены цветами. Он рвал ромашки, выпалывал маки, росшие между домов. Он забирался на клумбы в парках и таскал оттуда гвоздики, воровал розы из чужих садов. Дом дышал тяжелым, страстным воздухом цветения. Желтой пыльцой были усеяны столы, усыпаны ковры.

На моем столе теперь постоянно лежали листы бумаги и отточенные карандаши. Так, со всем упорством своего слабого ума он пытался возвратить меня к писанию стихов.

Поначалу меня это страшно развлекало. Старые бумаги я прочитывал и рвал. Цветы нюхал. Отточенными карандашами я наносил на листы множество прямых линий и тысячекратно расписывался на страничках маленьких блокнотиков.

Вскоре везде царило его безумие.

Вырванные странички преследовали меня теперь повсюду. Мне и в голову не приходило, что когда-то я намеревался написать столько стихов. Он закладывал это, словно динамит, подо все и во все: между страниц читаемых мною книг, в мою папку, под настольные лампы, рядом с утренней газетой, между чашкой кофе и блюдцем, рядом с тюбиком зубной пасты. Я достаю из кармана бумажник, и между банкнотами белеет листочек. Я читаю и рву. Выбрасываю в помойку. Я все еще терплю и не высказываю никаких претензий, я все еще владею собой. Мне все еще любопытно узнать, что творилось в моем воспаленном мозгу в те далекие годы. Должен же быть конец этим листочкам. В этом я уверен. Ведь я-то знаю: был им конец.

Поздней ночью (я уже давно в постели) слышно шлепанье его босых ног по полу. Он бродит и раскидывает листочки, исписанные беглым, неразборчивым почерком. Буквы налезают одна на другую, разбросанные в беспорядке слова подчеркнуты жирными линиями. Мы молчим, как заведено у нас. Он ежедневно выгребает листочки из пепельниц и из корзины для бумаг.

Но вот листочков становится все меньше и меньше. Однажды утром я обнаружил на своем столе лист бумаги с одной-единственной строкой, он явно пытался подделать мой почерк. На следующий день — новая подделка, более аккуратная, и тоже на отдельном листе:

«А цветы заполняют все комнаты...

А небеса начинают хмуриться...»

Мое терпение лопнуло. Я взбунтовался. Я ворвался в его комнату. Он сидел и старательно переписывал одну и ту же строчку. Я собрал все маленькие блокнотики и изорвал их у него на глазах. Я вытащил цветы из всех ваз, свалил их в кучу на коврике перед входной дверью и велел ему убрать все это.

Я сказал ему: «Эти игры кончились».

Он забрал цветы, чтоб схоронить их на соседнем поле. Он ушел и не вернулся. Исчез на три дня. На второй день я начал негласные розыски по всему городу. (В доме за это время все успело покрыться пылью. Грязной посудой была завалена вся раковина.)

Через три дня под вечер он явился, загорелый, его одежда пахла полем. Я не выказал гнева. Усадил его перед собой. Где он был? Что делал? Почему сбежал? Ночевал в поле, неподалеку от дома. Когда я уходил, он пробирался в дом и прятался в своей комнате. Однажды я чуть было не застукал его. Почему он сбежал? Он не мог объяснить. Ему казалось, будто я хотел, чтобы он исчез. Что я хочу писать стихи в одиночестве. Ведь так рассказывали в школе о поэтах, об их одиночестве...

Проклятые учителишки.

А не новая ли это хитрость?

Мне надо решать его судьбу. Ведь он балансирует на краю.

Я терпеливо и долго беседовал с ним. Сказал ему: чего ты добиваешься? Да, я бросил писать. Да, хватит с меня сочинительства. Чего ты добиваешься?

Он закрыл глаза ладонями. Что-то пробормотал. Трудно было следить за его речью. Но, сведя воедино бессвязные отрывки, я понял, о чем это все. Он считал меня несчастным.

Видели бы вы его.

Этого парня, слабоумного, в пограничном состоянии, с очками, съехавшими на нос. Здоровый битюг. Ему почти восемнадцать.

Под вечер осеннее солнце блуждает по комнатам. Из соседнего дома доносится мелодия. Кто-то разучивает гаммы на скрипке. Одно и то же упражнение, одни и те же ошибки. В какое-то мгновение фальшивые звуки сходятся вместе и рождают дикую какофонию.

Вдруг я сознаю, что непременно умру. Теперь я могу понять, как трава будет продолжать спокойно расти в моем саду. Я посмотрел на него и увидел его таким, как он есть. Незавершенная статуя.

Я с ухмылкой прошептал ему:

— Видишь ли, я устал. Попробуй теперь ты писать вместо меня.

Он был потрясен. Он снял очки, вытер их о рубашку и снова водрузил на нос.

— Я не могу, — прошептал он в ответ.

Экая безнадежность. Разумеется, он не может. Надо отключаться. Рвать все связи. Долгие годы дискомфорта. Хоть плачь. Меня бросили и оставили с ним наедине. И снова эта фальшивая мелодия.

— Ты мне поможешь, — продолжает шептать он, словно мы друзья-приятели.

— Я не буду помогать тебе.

Я ощутил страшную пустоту. Встал, надел шляпу и вышел на улицу. Дважды обошел вокруг дома, где фальшиво играли гаммы, и отправился в город.

Вернувшись вечером, я не нашел его. Снова мне пришлось готовить самому ужин. Когда я резал хлеб, нож соскользнул, и я порезал палец. Давно я не проливал столько крови.

Я думал, что он опять сбежал из дому. Он объявился поздней ночью, когда в моей комнате уже было темно. Он принялся слоняться по комнатам, мерить их шагами, точно как я прежде, в те дни, когда слова начинали бурлить во мне. Я уснул под звук его шагов.

На следующее утро его комната была пуста. Все учебники, все подаренные ему когда-то энциклопедии — все исчезло. Листы бумаги и отточенные карандаши он перенес на свой стол.

С наступлением осени небо потускнело. Временами мне приходили в голову мысли о расставании. Романтические бредни заполонили душу. Бросить работу, продать дом, собрать деньги и бежать куда подальше. Осесть в забытом, вонючем порту. Или где-то в мансарде в большом городе. Короче — планы, безумства. Я отправился по туристическим агентствам, там меня нагрузили цветными рекламными проспектами.

Над воротами дома я повесил табличку «Продается».

Моросил мелкий дождик.

Как-то я поехал в Иерусалим, чтобы провести с дочерями Субботу.

Меня встретили почтительно. Даже свечи зажгли в мою честь. Украсили комнаты цветами. Внуки играли моей тростью. Да, верно, я их совсем забросил. За ужином меня усадили во главе стола.

Весь вечер я как одержимый говорил только о нем. Я упорно не менял тему, не отклонялся от нее. Я желал подыскать ему что-нибудь, найти ему какое-то дело. Я сообщил о своих планах уехать, поскитаться по свету. Кто-то должен присмотреть за ним. Ведь может же он приносить пользу. Он может обслуживать кого-нибудь. Главное, чтобы его у меня забрали. Мне необходимо от него освободиться. Он скоро станет взрослым.

О поэзии я даже не заикнулся.

Впервые мои зятья слушали меня с серьезным видом. Дочери были в растерянности. Что с вами обоими происходит? Мы встали из-за стола и пересели в кресла пить кофе. В ночных пижамах явились внуки, чтобы попрощаться со мной. Размахивая ручонками, они прочли наизусть два четверостишия одной недавно умершей поэтессы. Потом прильнули губами к моему лицу, обслюнявили меня и отправились спать. Я продолжал говорить о нем. Меня невозможно было переключить ни на что другое. Все уже порядком устали. Меня слушали, клюя носами. Иногда переглядывались: ну да, мол, он сам стал слабоумным.

Потом вдруг оставили меня. Ничего не пообещали, спровадили вежливо спать, поцеловали на сон грядущий и ушли.

Тут только я заметил — на улице разгулялась гроза. Молодое ветвистое дерево билось в окно. Его ветви шуршали по стеклу, царапали оконную раму. Всю ночь оно пыталось ворваться ко мне, забраться в мою кровать. Наутро, когда я проснулся, кругом стояла абсолютная тишина. Сквозь тучи пробивалось солнце. Молодое дерево стояло неподвижное. Оно все так и устремилось к солнцу. И только на подоконнике лежали зеленые листья, сорванные ветром с веток.

На следующий день, под вечер, я возвращался домой. Зятья пообещали подыскать ему какую-нибудь работу. Дочери говорили о заведениях полузакрытого типа.

Из глубин земли поднялась зима. Между тротуарами и дорогами заблестели лужи. Мое отражение в них покрывалось рябью и разбивалось на тысячи кусочков.

Дома его не было. Его комната заперта. Я обошел двор. В распахнутое настежь окно было видно, что она аккуратно прибрана. На столе белели листы бумаги. Несомненно, на них было что-то написано. Я вернулся в дом, попытался взломать дверь в его комнату, но у меня ничего не получилось. Я опять вышел во двор, подкатил камень к окну, попытался взобраться на него, но не смог. Ноги у меня задрожали. Ведь я уже немолод. Вдруг я подумал: а что мне до него? Я сменил галстук и отправился на поиски приятелей в кафе.

Суббота кончается. На улицах столпотворение. В углу кафе теснимся мы, престарелые, удрученные литераторы — потухшие вулканы, укутанные в пальто. Покашливая, курим и перетираем иссохшими пальцами мир, подросший на целую неделю. Пары восходят от земли и туманят витрину кафе. Я расслабленно сижу на стуле, посасываю окурок. Моя трость, зажатая между ног, пляшет по плиткам пола. Я знаю: этот город стоит на песке. Немой и безысходный. Под тонюсенькой корочкой домов и тротуаров — непроницаемая песчаная пустыня.

Вот продефилировала группка молодых литераторов, длинноволосых, с бородками. Банда идиотов. Мы хмуримся, косимся на них. И я вижу — мой сын тащится за этой бандой, в нескольких шагах от них, с просветленным лицом.

Они садятся, развалясь, на стулья в соседнем кафе. Большинство пьяны. Мой сын съеживается на стуле в уголке. У них там какой-то спор. Я не могу оторвать от него взгляда. Кто-то из компании встает, вынима-

ет из кармана клочок бумаги и начинает читать стихи. Никто, кроме моего сына, его не слушает. Чтец оглядывает присутствующих, его глаза останавливаются на буйной головушке моего сына. Кто-то смеется. Кто-то склоняется к парню, гладит его по щекам...

Уверен: никто из них не знает ни имени парня, ни имени его отца.

Через несколько минут я встаю, беру свою трость и отправляюсь к морю глядеть на темные волны. Оттуда домой. Растягиваюсь на диване, беру газету за пятницу, проглядываю литературное приложение. Прочитываю одну-другую стихотворную строчку, абзац какого-то рассказа. Все, хватит! Литература нагоняет на меня чудовищную скуку. Я засыпаю прямо так, в одежде. Мне снится, что меня везут на операцию. Дают наркоз и режут, совершенно безболезненно. Будят, снова дают наркоз, снова режут мою безмолвную плоть. Наконец, я понимаю — это резкий свет бьет мне в лицо.

Я встаю, дрожа от холода, одежда моя измята. На улице капает дождик. Я иду на кухню, ставлю чайник на огонь, жду, пока закипит вода. Вокруг меня — груды немытой посуды.

Огромный старинный легковой автомобиль с погасшими фарами удивительно медленно ползет по нашей узкой улочке. Тащится по ней, как поливальная машина. Наконец тормозит со скрипом возле нашего дома, под фонарем. Раздаются вопли, визг. Долгая возня. Дверца отворяется, и кто-то вываливается из машины, бледный, растерянный. Это мой сын. Вслед за ним еще кто-то в стельку пьяный, пошатывается, еле передвигает ноги. Подходит к нему, хватает его за руку и трясет ее в приливе дружеских чувств. Затем втискивается обратно в машину.

Опять визг, вопли. И долгая пауза. Наконец, старая развалина, похожая на черную черепаху, с тяжким вздохом трогается с места и все так же медленно, с потушенными фарами ползет назад, покидает нашу улицу в том же направлении, откуда и приехала.

Мой сын стоит под фонарем. Там, где его высадили. Долго он стоит так, не шевелясь, слегка наклонившись вперед. Вдруг он склоняется низко к земле: его рвет, выворачивает наизнанку. Он вытирает рот ладонью и направляется к дому. Проходит мимо кухни, не замечая меня. Заходит в свою комнату и запирается изнутри. Алкогольные пары витают в коридоре.

Зима. Эта низменность, как только ее коснутся дожди, сразу же превращается в болото.

Старикашка-поэт, подслеповатый, беспрестанно публикующий свои беспомощные, наивные вирши, заискивающий перед молодыми поэтами, встречает меня на улице, хватает под руку, прохаживается со мной взад-вперед под серыми небесами, по мокрым улицам. Наконец, с таинственным видом сообщает: встретил моего сына в компании молодых литераторов. «Превосходный юноша. Он тоже пишет?»

Слухи доходят до меня отовсюду. Кто-то говорит, что над ним издеваются. Кто-то утверждает, что эти недоделанные создания находят в нем душевное успокоение. Еще бы, такого косноязычного тупицу не часто встретишь. Пока что он стал телохранителем одного молодого поэта и мальчиком на побегушках у редактора какого-то журнала.

Я обрушиваю на него гневные филиппики, но он не обращает на них ни малейшего внимания. Он погружен в себя, взор его блуждает по миру, задернутому тучами, он попросту не замечает меня. В последние недели его лицо слегка побледнело. Он больше не выглядит дубоватым, напротив, налет некой духовности лежит на его лице. Я знаю: одно мое неосторожное слово, и он убежит, будет слоняться по улицам и проклинать меня.

Дом он совершенно запустил. Питается где-то на стороне. В саду сорняки безжалостно душат кусты. А я-то думал, что в нем все-таки живет любовь к растениям.

Когда он дома, он запирается в своей комнате и предается сочинительству. Пока не удалось увидеть ни одного его стихотворения. Но я точно знаю: он пишет.

Я сталкиваюсь с ним в коридоре, хватаю его за полу и с издевкой спрашиваю: «Сударь изволит сочинять?»

Он извивается, пытаясь вырваться. Он поражен этим обращением в третьем лице, оно не понятно ему. Глядит на меня с ужасом, как на обреченного.

Он часами просиживает за столом в своей комнате, предельно сосредоточенный. Лишь изредка выходит в гостиную, чтобы достать с книжной полки томик стихов или какую-нибудь книгу, и подолгу стоит, вчитываясь. На какой странице откроет, там и читает. Затем ставит книгу на место и уходит. В последнее время он все чаще роется в толковом словаре, который, наоборот, листает с бешеной скоростью, глаза его при этом неподвижны, как у слепца. Вряд ли он умеет пользоваться словарем. Наконец, я подхожу к нему и спрашиваю, что он ищет. Оказывается, он хотел узнать, как пишется слово «небеса».

— Небеса???

— Слово «небеса»...

— То есть, в каком смысле «как»? Так, как слышится...

Ему это не очень помогает. Он стоит передо мной, страшно серьезный.

— Буква «и» после «б», или нет... — шепчет он.

— «И» после «б»? — Я поражен. — С чего вдруг?

Он кусает губы.

— «И» после «б»?! — повторяю я возмущенно. — И вообще, зачем тебе «небеса»?

На это он не отвечает. Словарь захлопывается у него в руках. Он уходит в свою комнату. Вскоре снова прокрадывается к книжному шкафу, берет словарь и роется в нем. Я вскакиваю с места.

— Что еще?

— «Вволю»... — бормочет он.

— «Вволю?» — в каком смысле?

— «В» перед «в», раздельно или нет...

Снова меня охватывает непонятное раздражение. Тем более, что я вдруг сам ловлю себя на том, что забыл, как пишется «вволю». Я вырываю из его рук словарь и лихорадочно роюсь в нем...

Тем временем начинает осуществляться план моего бегства. Время от времени кто-нибудь является посмотреть дом, предназначенный к продаже. Я вожу «клиентов» из комнаты в комнату, показываю каждый угол, спускаюсь с ними в подвал, обхожу двор, демонстрирую сад и заканчиваю экскурсию на балконе. Тихим голосом я перечисляю достоинства дома, в котором прожил три десятка лет. Наконец, хладнокровно называю цену. Когда мы расстаемся, я записываю их координаты и диктую по буквам свою фамилию. Они с полным безразличием ее записывают. Даже легкой тени воспоминания не пробегает по их лицам. Они что же, никогда не читали стихов?

Стало быть, предстоит покинуть эти края в полной безвестности.

Наихудшее впечатление на «клиентов» производит сад, заросший сорняками, весь в лужах. Сад первобытных времен, когда земля была безвидна и пуста. Мой сын не притрагивается к граблям. Так что мне приходится самому ежедневно выпалывать вконец обнаглевшие сорняки и за-

сыпать маленькие лужицы.

В моей конторе скромное торжество в мою честь — проводы на пенсию. Все служащие собрались за час до конца работы. Разобрали пирожные и чокнулись стаканчиками с вином. Долго произносили хвалебные речи в мой адрес. Были даже и прослезившиеся. Никто не упоминал о моих стихах, словно не желая причинять мне боль. Под конец вручили подарок — картину, написанную маслом, изображающую бурное море.

Я начинаю паковать чемоданы. Самые тяжелые раздумья охватывают меня возле книжного шкафа. Что взять с собой, а что оставить? Я бомбардирую зятьев отчаянными письмами с вопросом о судьбе моего сына. Звоню им по телефону, подгоняю, призываю сделать что-нибудь. Наконец они назначают мне встречу в центре города, в маленьком кафе. Они кладут на столик передо мной свой план. Они долго наводили справки и, в результате, отыскали старика — владельца переплетной мастерской на окраине Иерусалима; он и его жена согласились взять паренька подмастерьем. Его обеспечат пищей и ночлегом. У них самих был такой ребенок, он умер. Одно обязательное условие: если паренек заболеет, его надо будет непременно от них забрать. Всякие там припадки... Они решительно заявили: с больным они возиться не будут.

Поэтому зятья провели дополнительные поиски и нашли одинокую старушку, живущую неподалеку от переплетчика, готовую взять парня в случае болезни, за определенную плату, разумеется... Вот и все. Я должен подписаться под обоими договорами.

И они извлекают бумаги.

Я немедленно подписываю. Но червь сомнения гложет меня: «Что касается припадков и болезней, хлопоты были излишние. Ведь он не из таких... Он — пограничный случай... Я ведь говорил это уже тысячи тысяч раз... Но вы не хотите понять... Ладно, оставим это...»

Зятья оставляют мне один экземпляр, остальные забирают себе. Допивают кофе и мило улыбаются: «Ну вот, а ты думал, что мы о тебе не заботимся...»

Назавтра я снова подписываю бумаги, на сей раз акт передачи дома покупателю, который, наконец-то, отыскался. В общем, я получил вполне приличную сумму, и это только за землю — сам дом пойдет на слом.

Мебель была продана сразу целиком. Под вечер, в сумерках, явились три грузчика и принялись освобождать дом от вещей. Они вывезли все, кроме двух матрацев. Даже письменный стол вытащили у него из-под носа, в самый разгар творческого процесса. Он взбесился. Он сгреб в охапку все свои бумаги и носился по дому с этой кипой в руках. Один лист вылетел у него из рук, грузчик начал преспокойно оборачивать им полку; он вдруг заметил это и навалился на грузчика всею тяжестью своего тела. Хотел выбить ему зубы.

Я уже обратил внимание, что вечером, в сумерки, он подвержен буйным приступам.

Банкнотами полон мой ящик. Я продал все за бесценок, вернее, за четверть цены, но все же денег у меня теперь целая куча. Я стараюсь продать все; то, что продать не удается, раздариваю. Я заставил своих друзей унести все книги. Будь мой сын чуть менее занят творчеством, он бы продал своим старьевщикам все, что я выбрасываю на помойку.

На днях мы даже забрались в подвал и извлекли из его недр старое тряпье, метлы, груды книг, мои и чужые рукописи — никому не нужный хлам, призраки вещей, обломки, намеки. В течение трех дней над входом в подвал клубилось тяжелое облако пыли.

Я сказал приятелям в кафе: «Вот так освобождается человек».

Я регулярно посещаю маленький порт нашего огромного города, поддерживаю в себе тягу к дальним странствиям. Закутавшись в мешковатое пальто, с зонтиком в руках брожу меж портальных кранов, вдыхаю запах соли и ржавчины, пытаюсь завязать беседу с матросами. Я так и не решил, куда поеду. Сперва думал — в Западную Европу, потом стал размышлять об островах в Эгейском море. Я уже вступил в переговоры с турецким капитаном на предмет проливов Мраморного моря, но затем, неожиданно, приобрел по дешевке билет на корабль, отплывающий на Кипр. Я поднялся на палубу корабля и постучал тростью в дверь отведенной мне каюты.

Это плавание будет чем-то вроде пролога. Потом отправимся дальше, в более далекие странствия.

Все это время сын продолжает писать, стоя в позе молящегося. Бумаги разбросаны по подоконнику, заменяющему ему письменный стол. Здесь же лежит и маленький словарик, спасенный им от исчезновения в мусорной куче. Глядя на его силуэт, я думаю: а ведь вот так, таков, каков он есть, он вполне может совокупиться с женщиной. И кто знает? Может быть, он уже совокуплялся.

Пока он не осознал мое бегство, наше с ним скорое расставание. Он занят своим делом. Все же в один прекрасный день мне удалось оторвать его от подоконника — пора было ехать в Иерусалим, познакомить его со стариком переплетчиком.

Это был спокойный зимний день, облачный, временами накрапывал дождь. На автобусной станции в Иерусалиме нас поджидал старик переплетчик на старом раздрызганном автомобиле-развалине; его маленький кузов был заполнен грудой непереплетенных книг. Он привез нас за черту города, к самому краю оврага, поросшего деревьями. Молча ввел нас в дом, так же молча встретила нас его жена. Они тотчас усадили нас за стол, подали чай с пирожными.

Они мне очень понравились.

Они внимательно изучали моего сына. Нельзя сказать, что он особенно пришелся им по душе, но они явно обрадовались, ведь они ожидали увидеть что-то пострашнее. Слово за слово, и между нами наладилась беседа. Я с удивлением узнал, что переплетчику знакомо мое имя, и он даже уверен, что читал что-то из моих творений (он почему-то полагал, что я был прозаиком). Но это было так давно, почти двадцать лет назад.

Должен признаться, мне было приятно.

За окном свистел ветер. На столе посвистывал чайник (какие-то архаические мелодии). Во дворе у переплетчика тоже росло большое дерево, пожалуй, постарше нашего, с корявым, кряжистым стволом. Сгущались зимние сумерки. Густо замешивалась серость, предшествующая темноте. Пограничное состояние. Он сидел, как замороженный, рядом со мной, здоровенный недоросль; перед ним — нетронутый стакан чаю, нетронутое пирожное. Он сидел ссутулившись, глядел в темнеющее окно. Он не обращал никакого внимания на наши разговоры. Вдруг он вынул из кармана большой лист бумаги, развернул его. Он был испещрен черными строчками; он присмотрелся к ним и неторопливо написал одно слово. Затем снова сложил лист.

Наш разговор прервался. Переплетчик и его жена глядели на него с удивлением.

Пытаясь улыбнуться, я выдавил из себя:

— Он пишет...

Они не поняли.

— Он поэт.

— Поэт... — прошептали они.

В ту самую минуту прекратился дождь, закат опалил комнату. Он сидел рядом с окном, пламя заката охватило его волосы.

Они глядели на него со все возрастающим удивлением. А он, держа ручку, пребывал в глубокой задумчивости.

Я сказал переплетчику:

— Он издаст книгу стихов. А вы ее переплетете.

Переплетчик онемел от удивления. Не издеваюсь ли я над ним? Но потом он сообразил что к чему, заулыбался.

— Ну, конечно. Издаст книгу. И мы вместе переплетем ее.

— Даром? — продолжил я игру.

— Даром.

Я встал со стула.

— Ладно, мы обо всем договорились, слышишь?

Но сын ничего не слышал.

(Когда мы выходили на улицу, переплетчик с женой затащили меня в угол коридора и шепотом напомнили о договоренности по поводу болезней или припадков... Повторили, что не отвечают за это. Я их успокоил.)

Мы вышли на улицу. Переплетчик не мог отвезти нас обратно на автостанцию, так как у его старого драндулета не горели фары. Мы расстались с ним и его женой и пустились вдоль по дороге под молчаливым плачущим небом. Он был в состоянии полного оцепенения, почти бесчувственным. Еле шаркал ногами по асфальту. Мы добрались до остановки автобуса, встали между железными стойками, поддерживавшими железный навес. Вокруг строящиеся здания, голые скалы, красноватая земля. Гибрид города и пустыни. Иерусалим во всей своей печали, навеки разрушенный. Сколько бы в нем ни строили, в нем всегда будет жить память о Разрушении.

Я обратился к нему, чеканя четко и ясно слова:

— Переплетчик и его жена прекрасные люди. Но тебе придется быть человеком.

Он молчал. Кто-то проехал мимо нас на велосипеде, взглянул в лицо сына и тотчас отвернулся.

Совсем стемнело. В новостройках зажигали свет. В полном одиночестве мы вдвоем стояли под навесом. Вдруг я сказал ему:

— Я заглянул в твою бумагу и увидел — это уже стихи. Ты способен писать самостоятельно. Я тебе не понадоблюсь.

Он поднял на меня взгляд и промолчал. Я придвинулся к нему вплотную.

— Покажи мне стихи.

— Нет.

— Почему?

— Ты порвешь...

— Нет, что ты! Не порву...

И я протянул руку, чтоб взять лист. Но он не дал. Я хотел выхватить силой, но он поднял руки, встал в оборону. Он мог бы избить меня.

Снова перед нами проехал велосипед. Послышался грохот приближающегося автобуса.

Эти стихи были его лебединой песней.

Я не знал.

Это было три дня назад...

Сколь страшно это время года. То изморозь, то иней покрывают стекла. Такой тяжелой зимы я не припомню. День и ночь непрестанно клубит-

ся свинцовая серость, даже рассвет не способен разогнать ее. Кто это в зеркале? Все еще я. Камень, испещренный трещинами. Лишь глаза видны, сверкают с поразительной живостью.

Я собираюсь в дорогу. Один корабль уплыл, теперь меня ждет следующий. Осталось лишь запихнуть в чемодан остатки барахла, сложить полотенца, сложить деньги в пачку, и все. Последние две недели мы живем тут на матрацах; новый хозяин дома ежедневно навещает нас. Терпение его уже истощилось. Он с отчаянным видом околачивается подле меня, ждет, когда же я, наконец, уберусь. Вчера он пригрозил судом. Он купил дом на последние гроши. У него свои мечты и расчеты.

Действительно, нечего тянуть. Пора отправить сына в Иерусалим к переплетчику, на самый край оврага, у черты города. Оттягивать больше нельзя. Между тем он шляется по ночам. Бросил писать стихи. Вчера я прождал его до полуночи, он так и не явился. Вернулся лишь под утро. Его топот разбудил меня.

Балконная дверь скрипит у меня под рукой. Мокрые плиты усеяны листьями и обломанными ветками после вчерашней бури. Безнадежно холодное небо. Тихо накрапывающий дождь и первые проблески рассвета. Огромная, столь знакомая вселенная, молча роняет слезы передо мной. Дерево наклонилось ко мне.

Разве я не хотел писать? Разве меня не тянуло писать? Но о чем еще можно писать? Можно ли еще что-то сказать? Я говорю вам: все обман. Ведь даже наше ветвистое дерево разваливается. Его дуплистый ствол пошел трещинами. Сад поблек, из-под камней пробивается мох.

Пуститься неторопливой стрелой к небесам. Распластаться на облаках спиной к земле, лицом к неизменной голубизне. Поэт в отставке, вот именно...

Дождь усиливается. На меня падают капли. Я изгнан самим собой и убираюсь восвояси. В доме серая тишь, в ней звучит легкое похрапывание. Я направляюсь к нему. За мной тянется моя пижама. Моя темная тень распластана по стене.

Он тоже спит на матраце. Настольная лампа стоит на полу у него в головах. Он все еще не может уснуть без вечного огня. В просветах жалюзи лучи предутреннего света.

Я молча гляжу на спящего, распластавшегося у моих ног. Собираюсь уже уйти, как вдруг обращаю внимание на несколько газетных полос рядом с матрацем. Меня охватывает ужас. Нагибаюсь и подбираю их. Полосы еще влажные, свежая типографская краска липнет к пальцам, я подхожу к окну, к слабо пробивающемуся свету.

Приложение к легковесной, бойкой газетенке. Число — этот, нынешний день, врывающийся во вселенную. Похолодевшими пальцами я перелистываю страницы. И натыкаюсь на стихи в углу на одной из полос: безумные, без размера, путаные строки разбиты без всякой нужды, бесконечные повторы, неправильная пунктуация.

Вдруг тишина становится осязаемой. Дыхание затихает. Он открывает глаза, красные, заспанные. Его рука шарит в поисках очков, лежащих подле матраца. Он надевает их и видит меня у окна, с газетой в руках. Легкая, затаенная и какая-то печальная улыбка освещает его лицо.

Лишь теперь я заметил. Под стихами стоит мое имя. Буквы расплываются у меня перед глазами.

Перевод АЛЕКСА ЛЕВИНЗОНА

АНАТ ФАЙНБЕРГ

МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Взгляд на современную ивритскую литературу

История современной ивритоязычной литературы тесно связана с ренессансом языка иврит. Возрождение языка и его развитие было краеугольным камнем в движении Хаскала (Просвещение). Оно возникло в Европе в середине XVIII века и сохранило свою значимость для сионистского движения, которое сформировалось в конце XIX века и боролось за построение еврейского национального дома в Эрец-Исраэль[1]. До нашего времени иврит был священным языком, на котором молились, а также языком поэзии и богослужения, но не средством повседневного общения. Еврейская литература — литература древняя, ее история не прерывается со времен Библии и до наших дней. Творчество на иврите продолжалось в течение двух тысячелетий жизни еврейского народа в изгнании, достигая иногда расцвета, например в Испании в Средние века и после в Италии. В конце XVIII века начинается новая эпоха в ивритской литературе. С тех пор она находится под влиянием европейских литератур и становится составной частью западной литературы в целом. Процесс развития новой ивритоязычной литературы определяется общественными, культурными и политическими потрясениями, которые пережил еврейский народ в течение последних двухсот лет, а также сильным воздействием западной литературы и культуры.

Вначале это литература «без прописки», находящая пристанище, в основном, в городах Восточной Европы — например в таких центрах еврейской жизни, как Одесса и Варшава; на заре нынешнего века она перекочевывает в Эрец-Исраэль. Еврейская литература и язык иврит становятся важным фактором израильского этоса в новой древней Стране, и, проследив вкратце ход развития новой литературы на языке иврит, можно увидеть, какую роль она сыграла в формировании национального «я».

В первые десятилетия нашего века в Эрец-Исраэль было совсем немного писателей, и, несмотря на это, местная литература достигла значительных успехов сначала в прозе, а затем и в поэзии. Выдающейся фигурой был Йосеф Хаим Бреннер, основатель писательского центра в Стране. После первой мировой войны в Эрец-Исраэль постепенно переселяется ряд писателей из Европы. Среди них Хаим-Нахман Бялик, стихами которого открывается новая эра поэзии на иврите,— он еще в молодости был назван еврейским национальным поэтом — и Шмуэль Иосеф Агнон, крупнейший прозаик, который позже, в 1966 году, удостоился Нобелевской премии. Эти писатели прибывают в ишув (еврейскую общину в Палестине до образования Государства) после долгих лет жизни в диаспоре. Однако с двадцатых годов здесь возникает поколение писателей и поэтов, все или почти все творчество которых протекает на этой земле. Центр литературы на иврите перемещается из диаспоры в Израиль, хотя еврейская литература продолжает существовать в Европе и в Америке и даже выдвигает значительные таланты — такие, например, как поэт и прозаик Давид Фогель, автор романа «Супружеская жизнь» (1929 год) и многих известных лирических стихотворений. 20—30-е годы — это годы значительной алии (репатриации евреев в

[1] Эрец-Исраэль — на иврите — «Земля Израиля»; название Палестины в границах, освященных библейским преданием. (*Здесь и далее — прим. ред.*)

АНАТ ФАЙНБЕРГ (*род. в 1951 г. в Тель-Авиве*) — прозаик, критик. Изучала философию и литературу в Тель-Авивском университете, получила степень доктора в Лондонском университете. В настоящее время живет в Германии. Автор романов «Тень на каждом доме» (1973), «Фиктивные лица» (1995).
Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Эрец-Исраэль) и одновременно — период возрождения ивритской поэзии. После первой мировой войны, большевистской революции в России, гражданской войны и еврейских погромов в Восточной Европе в Страну приезжает немало талантливой еврейской молодежи, и стихи новых поэтов несут отпечаток влияния модернистских течений европейской поэзии — немецкого экспрессионизма, русского символизма и футуризма.

Самыми значительными фигурами этой волны можно считать Авраама Шленского, Ури Цви Гринберга, Натана Альтермана, Лею Гольдберг, Йонатана Ратоша. Эти поэты окажут влияние не только на развитие новой израильской поэзии и формирование таких мастеров, как Хаим Гури, Аба Гилель и Натан Йонатан (в меньшей степени — Амир Гильбоа и Тедди Карми), но и на прозу уроженцев страны, первого поколения писателей-сабр[1]. Самах Изхар — сын «халуцим», пионеров освоения Израиля, которые приехали из России в начале века; с него начинается поколение, которое было позднее названо «поколением Пальмах» (Отрядов самообороны) — по одной из основных примет того времени.

Изхар (опубликовал свою первую книгу в 1938 году) сегодня считается выдающимся израильским писателем. После нескольких лет молчания он вернулся в литературу и издал два романа — «Вступление» (1992) и «Блестки» (1993), где дан портрет израильского мальчика на фоне общества, в котором тот родился и рос. Очень интересна также лирическая проза Изхара, близкая к потоку сознания. Большинство писателей этого поколения относятся к школе реализма, им свойствен пафос коллективной жизни, связанной с заселением земли Израиля и борьбой за политическую независимость. Духовные отцы предыдущего поколения, Шленский и Альтерман, оказали влияние и на творчество молодых. Шленский помогал им пробиться на литературную сцену, публикуя в издательствах, которые возглавлял, или рекомендуя другим издателям.

Поэзия Альтермана, мир его образов и ритмов с его обращением к нерелигиозным, земным элементам национальной жизни, близостью к родине и общечеловеческим ценностям, были примером для молодых писателей. Образы юноши и девушки, которые жертвуют собой ради родины, в жестокой борьбе возродившейся из небытия, из стихотворения Альтермана «Серебряный поднос» (1947), стали символом поколения и частью национального мифа.

Писатели, начинавшие в 40-х годах, — Моше Шамир, Игаль Мосинзон, Ахарон Мегед, Натан Шахам, Ханох Бартов и старший из них, Изхар, создавали в своей прозе образ «нового еврея», сильного и грубоватого, расставшегося с наследством диаспоры и вписавшегося в ближневосточный пейзаж. Этот герой должен был знаменовать нормальную жизнь свободного народа на своей земле — врастание в новую почву, любовь к этой земле и готовность идти ради нее на жертвы. Уверенностью в себе и своем пути, гордостью и мужеством этот герой противопоставлялся литературным образам евреев диаспоры —«оторванным листьям», запечатленным еврейскими писателями начала века — Бреннером, Гнесиным, Берковичем и другими.

«Алик родился от моря»,— так начинает Моше Шамир роман «Своими руками» (1951), где он пытается нарисовать эдакого мифологического сабру — нового героя, появившегося, будто из волн морских, на просторах Эрец-Исраэль. Книги «поколения Пальмах» или «поколения Войны за независимость» (1948—1951 гг. — следующая легендарная веха истории Государства Израиль) были приняты с энтузиазмом. Роман Шамира «Он шел по полям» (1947) стал бестселлером; по нему был поставлен спектакль и снят фильм. А многоплановый роман Изхара «Дни Циклимана», вышедший в 1958 году и знаменовавший собой поворот в литературном стиле поколения, многими считался самым значительным произведением израильской прозы.

Отношение к художественному произведению зависит от читательских ожиданий. Критик Гершон Шакед полагает, что израильский читатель сам начал создавать, разумеется всего лишь в воображении, образ нового героя, столь отличного от еврея диаспоры, и

[1] Сабра — от «цабар» (*ивр.* «кактус») — уроженец Израиля.

этим помог рождению соответствующего литературного персонажа. Так что, отвечающий ожиданиям публики, этот герой был обречен на популярность. Тем не менее нашлись критики и нового героя, и всего этого литературного направления. Критик Барух Курцвайль, человек религиозный, считал, что новую еврейскую литературу 40—50-х годов отличают пустота, вырождение и левантизм[1]. По его мнению, узость культурных горизонтов, слабое знакомство с европейской литературой и особенно оторванность от духовных ценностей иудаизма приведут ивритскую литературу к снижению художественного уровня и примитивности.

Но мрачные пророчества Курцвайля не сбылись. С середины 50-х годов все сильнее чувствуются новые тенденции, как в языке и стиле, так и в содержании, отражавшем новые проблемы общества, достигшего главной цели — построения Государства.

Литературная революция началась в поэзии. Новаторы группировались вокруг журнала «Навстречу», наиболее известными из них были Натан Зах, Йегуда Амихай, Моше Дор и Арье Сиван. К ним присоединились молодые поэты, появившиеся на литературном горизонте в 50-е, — Давид Авидан, Далия Равикович, Дан Пагис. Они критиковали позицию Шленского — Альтермана и хотели освободить литературу от идеологических оков и коллективного «мы». В фокусе их поэзии не национальные ценности, а личные переживания и коренные вопросы бытия индивидуума. Чувствуется влияние философии французского экзистенциализма и англосаксонской поэзии. В области формы и стиля они тоже выступают реформаторами. Натан Зах, теоретик нового направления, влияние которого на израильскую поэзию ощутимо и сегодня, писал стихи, лишенные патетики, высокопарности и иносказаний, стремясь выразить «прозаическую» жизнь человека XX века. Йегуда Амихай, сегодня более известный, предлагал читателю нонконформистские и антивоенные стихи, в которых наряду с лирическими интонациями звучали отголоски еврейской традиции. В это же время публиковался и «анфан террибль» израильской поэзии Давид Авидан, стихи которого с точки зрения тематики и формы нельзя назвать иначе как провокативными.

Поворот в прозе был более медленным и проявился только в 60-е годы, когда стало ясно, что литературная сцена захвачена новым поколением писателей, «поколением Государства», или «новой волной». Ивритская литература, созданная этими авторами, богата и сложна и по своим достижениям не уступает литературам западного мира. Новая проза, так же как и опередившая ее поэзия, ставит в центр внимания человеческую личность, индивидуальность. Однако они не чуждаются и общественных проблем, предпочитая жанр сатиры при обращении к темам общественно-политической жизни Израиля в эпоху заката сионистско-социалистических идеалов эпохи ишува. Этот же переход от коллективистского этоса к образу индивидуального человека наметился и у писателей старшего поколения, таких, как Биньямин Таммуз, Давид Шахар и Пинхас Саде, которые по своему возрасту не принадлежали к «поколению Государства». Таммуз, например, опубликовал в 1950 году сборник рассказов «Золотой песок», необычный для своего времени по заряду индивидуализма, как в стиле сборника, так и в его содержании. Шахар в гротескном романе «Месяц медовый и золотой» (1959) обращается к критике отрицательных сторон израильского общества, а Пинхас Саде опубликовал в 1958 году свою духовную автобиографию «Жизнь как притча», роман о жизни одиночки в коллективистском обществе, вкрапливая в повествование многочисленные мотивы и идеи — от библейских до тем Ницше, Кьеркегора и еврейской мистики.

В шестидесятые появляются первые заметные книги новых прозаиков: А.Б. Иехошуа, Амоса Оза, Аарона Аппельфельда, Амалии Кахана-Кармон, Йорама Канюка, Иехошуа Кеназа, Изхака Орпаза, а также тех, чей талант расцвел полностью в последующие годы: Шуламит Харзвен, Рут Альмог, Ицхака Бен-Нера, Ишиягу Корена, Шуламит

[1] Левантизм — термин, образованный от слова Левант (*ит.* Levante — Восток), обозначавшего до начала XX в. страны восточного побережья Средиземного моря, Ближнего Востока.

Лапид и Дана Цалка. Этот период характеризуется творческим освоением таких явлений иностранной литературы, как Кафка, экзистенциализм (прежде всего Камю), французский «новый роман» и, конечно, Пруст, Джойс и Фолкнер. Кроме того, чувствуется влияние Агнона, а также Бердичевского и Бреннера.

В 60-х годах реалистическая манера в ивритской литературе словно бы уходит на второй план, хотя в 70-е она вновь переживает период расцвета в рассказах и новеллах Изхара Бен-Нера и Ишиягу Корена, а позднее в романах Иехошуа Кеназа «Крадущиеся в одиночку» (1986) и «По пути к кошкам» (1991), усложненной прозе в реалистически-символистском ключе, а также в романах о жизни восточных евреев в Израиле и странах исхода Сами Михаэля («Виктория», 1993).

Писатели, которые не намерены воссоздавать широкую панораму общественной жизни, требующую точного реалистического письма, предпочитают сюрреалистическую или фантастическую манеру для того, чтобы выразить критическое, ироничное отношение к обществу и политической реальности. Первые рассказы Иехошуа «Смерть старика» (1962) и «Напротив леса» (1968) и такие вещи Орпаза, как «По́рты» (1968), изобилуют символами, несущими психологическую и общественно-политическую нагрузку. В первых рассказах А.Оза («Другое место», 1966, и «Михаэль», 1968), притом что тематика их актуальна и место действия узнаваемо, чувствуется, что автор строит повествование по законам мифа и говорит о человеке вообще, вне связи с историческим контекстом. Импрессионист в прозе, Амалия Кахана-Кармон уже начиная с первого рассказа «В одной корзине» (1966) сосредоточивается на внутреннем мире своих героев, чувствительных и ранимых людей, жаждущих контакта с окружающими и в столкновении с ними осознающих свою самобытность.

Аппельфельд в рассказах 60-х, а также в романах «Время чудес» (1978) и «Баденхайм» (1975) и Канюк («Адам — сын собаки», 1968, и «Последний еврей», 1982) обращаются к еврейскому миру и его уцелевшему в холокосте диаспорному герою, используя лирико-импрессионистскую (Аппельфельд) или фантастико-экспрессионистскую технику (Канюк). У драматургов 60—70-х годов — Нисима Алони, Ханоха Левина, Иосефа Бар-Йосефа — мы обнаруживаем гротескное изображение реальности и сюрреалистические фантазии.

Трудно охватить в короткой статье все многообразие израильской литературы последнего тридцатилетия, поэтому попытаемся остановиться на некоторых аспектах, особенно характерных для нее в отличие от литературы предыдущего поколения. Изменился образ героя, он стал больше похож на «потерянного героя» ивритской литературы начала века. Образу героического сабры, уверенного в себе и своем месте в мире, противостоит антигерой, вечно сомневающийся, мечущийся в поисках своего истинного «я». Эти поиски приводят к осознанию обрубленных было корней своего еврейского прошлого, от которого сабра так хотел избавиться.

Волны массовой алии 50-х и последующих годов показали сабре все типовое многообразие еврейства. Израильтянин, для которого еврейский холокост был душевным балластом, снова оказался перед необходимостью определить свое отношение к этим евреям, которые «шли, как скот на бойню». Тема диаспорного прошлого и холокоста — не только достояние переживших его писателей (Аппельфельд, К. Цетник, Ури Орлев, Шамай Голан), но и тех, кто прибыл сюда перед войной, уроженцев Израиля и детей «второго поколения холокоста», родившихся здесь.

В семидесятых писатели меньше обращаются к теме холокоста, кроме тех , в творчестве которых эта тема — ведущая: Рут Альмог («В обреченной стране», 1971), Амос Оз («Коснись воды, коснись ветра», 1973) и Давид Шиц («Трава и песок», 1978); в 80—90-х можно насчитать десятки писателей, и среди них молодых, пишущих о холокосте.

В литературе место уроженца страны занял не только образ еврея из Европы, приехавшего в страну, чтоб обосноваться в ней или даже не обязательно с этой целью (например, в романе Йосла Бирштейна «Лицом к облакам», 1991), но также еврея — выходца из стран Востока. Этот образ существовал в литературе и прежде, но как эпизодический, побочный. С ним мы встречаемся только

у писателей восточного происхождения (Ицхак Шамай, Йегуда Бурла, Мордехай Табиб) и у писателя-ашкеназа Хаима Хазаза. С 60-х и, в основном, с 70-х годов перед израильским читателем открывается широкое окно в мир восточного еврейства, и он знакомится с переживаниями и внутренним миром выходцев из арабских стран. Это происходит благодаря выдающимся писателям и поэтам, таким, как Шимон Балас, Сами Михаэль, Амнон Шамуш, Эли Амир, Ахарон Альмог, Эрез Битон и Дан Бания-Сари.

Образ врага-араба присутствует в израильской литературе с самого ее начала. Война за независимость разделила евреев и арабов, воздвигла между ними границы. У некоторых писателей чувствуется разочарование от того, что сионизм не добился мирного сосуществования между евреями и арабами. Араб представляется одновременно как безответная жертва, изгоняемая со своей земли, и как потенциальный источник угрозы. Такой трактовкой образа араба некоторые писатели пытаются ответить на вопросы, касающиеся возвращения еврейского народа на родину, справедливости его исторического пути и его отношений с арабским населением.

Арабо-израильский конфликт — одна из важных литературных тем, и многочисленные войны и их последствия, несомненно, оказывают на нее и прямое, и косвенное влияние. После Войны Судного дня[1] литература изображает израильтянина, уставшего от войн, закат и разложение социалистическо-пионерского общества, гедонизм и декаданс, распространяющиеся в элитарных слоях.

Подобные мотивы появляются у таких опытных авторов, как Таммуз, Мегед, Оз и Иехошуа, а также у более молодых, у Ицхака Бен-Нера в сборнике рассказов «Деревенский закат» (1976) и Яакова Шабтая в большом романе «Протокол воспоминания» (1977). Этот роман стал, без сомнения, наиболее выдающимся произведением 70-х годов, и его тематическое и стилистическое влияние чувствуется в прозе 80-х и 90-х годов.

С середины 80-х в израильской литературе намечается новый переворот. Надо отметить, что сдвиги и изменения в основном касаются прозы. Положение поэзии в этот период более трудное — сокращается количество читателей, а на поэтическом горизонте не появляется новых звезд. Израильская поэзия перестала выполнять традиционно принадлежащую ей роль авангарда культурной жизни. Это случилось уже после появления группы значительных поэтов — Меира Визельтира, Ионы Волах и Яира Гурвица. Правда, отличные поэты Мордехай Гольдман, Майя Бежерано, Рони Сомек, Ицхак Лаор, Леа Илон и Хези Лескли продолжают продуктивно работать и позже.

Израильская проза 80-х характеризуется многообразием — в ней работают по крайней мере три поколения писателей. «Поколение борьбы за независимость» — Изхар, Шамир, Шахам, Мегед, Бартов, Иехудит Гендель — продолжают выпускать масштабные романы и сборники рассказов, используя современные сложные стилистические приемы. Писатели «поколения Государства» — Иехошуа, Оз, Кахана-Кармон, Аппельфельд, Канюк, Хараван, Шахар и другие — еще занимают центр сцены и достигают творческой зрелости. Рядом с ними заметна новая проза, обещающая поворот и даже переворот в израильской литературе. Эта проза, с ее склонностью к фантазии и постмодернизму, создается очень молодыми авторами и людьми постарше, но поздно вступившими в литературу; женщин среди них почти столько же, сколько и мужчин. (Для сравнения, в начале века в ивритской прозе работала только одна заметная писательница — Дебора Бартон). Вот эти новые имена: Давид Гроссман, Итамар Леви, Йоэль Хофман, Меир Шалев, Орли Кастель-Блюм, Хана Бат-Шахар, Леа Илон, Дан Бания-Сари, Иехудит Кацир, Гади Тауб, Габриэла Авигур-Ротем, Леа Айни, Юваль Шимони, Нурит Зархи, Ицхак Лаор, Этгар Керет, Лили Пери и многие другие. Эти авторы, по крайней мере большинство из них, избегают «масштабных тем», волнующих народ и государство, и предпочитают нетрадиционные и фантастические описания

[1] Война Судного дня — четвертая арабо-израильская война (6—24 октября 1973 года); началась внезапным нападением Египта и Сирии в Йоле-Кипур — Судный день.

еврейской истории и актуальных событий. Так поступают Гроссман в «Смотри: любовь» (1986), Итамар Леви в «Зелик Минц и его тяга к смерти» (1985), Меир Шалев в «Русском романе» (1988), Габриэла Авигур-Ротем в «Моцарт не был евреем» (1992).

Перед ними предстает действительность — хаотическая и бессмысленная,— и они не пытаются найти в ней логику. Эта позиция объясняет, по-видимому, сюрреалистический антураж и немотивированное насилие в романе Орли Кастель-Блюм «Долли Сити» (1992) и в рассказах Этгара Керета, равно как фрагментарность и бессвязность, характерные для Йоэля Хофмана. Постмодернизм заявляет себя у новых писателей в формальном и графическом новаторстве, несущем следы массовой культуры (поп, кино, видеоклипы), а также в интересе к сексуальным отклонениям, в отказе от психологической обрисовки персонажей, обедненном, функциональном языке. Такие изменения в ивритской литературе, несомненно, выражают диалектику развития общественной и культурной жизни в Израиле. Рассмотрение художественных и общественных течений и их проявлений у разных поколений писателей помогает как-то ориентироваться, но вместе с тем такого рода описание динамики художественного творчества не может быть вполне адекватным. Современная ивритская литература так же многообразна и многолика, как и ее читатель. Популярные книги достигают тиражей в 50—70 тысяч экземпляров; наряду с серьезной литературой в Израиле процветает и «легкая», например детективная: ее выпускается все больше и уровень ее растет.

Итак, современная израильская литература находится в непрерывном развитии. Постмодернистский эксперимент, поиск новых выразительных средств, сложность человеческого бытия в мире, а значит и в Израиле, на исходе XX века — все это накладывает на нее свой отпечаток. Ивритская литература — это свидетельство культуры нации, которая, формируясь, осмысливая свою духовную и социальную историю, не забывает при этом и об общечеловеческих ценностях.

Перевод ФЕДОРА МАКАРОВА

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

1958

ХАЙЯ КАДМОН. Кровь на границе (Стихотворение), № 4.

1975

ЙОСЭФ АЛЬГАЗИ (ГАЛИЛИ) Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера? (Фрагменты из книги), № 8.

ФЕЛИЦИЯ ЛАНГЕР. Своими глазами (Фрагменты из книги), № 8.

1990

ИОСЕФ ШМУЭЛЬ АГНОН. В сердцевине морей (Роман), № 11.

ИЦХАК БЕН-НЕР. Кино (Рассказ), № 2.

БАРБАРА ГУР. Подсмотреть (Рассказ), № 2.

БИНЬЯМИН ТАММУЗ. Зумейра (Рассказ), № 2.

1991

ДАВИД АВИДАН. Стихи, № 3.

1994

ГОЛДА МЕИР. Моя жизнь (Главы из книги), № 2.

МОРДЕХАЙ ЦАНИН. Рассказы, № 7.

1995

ЭФРАИМ КИШОН. Рассказы, № 5.

ГЕРШОН ШОФМАН. Рассказы, № 11.

АМОС ОЗ

МИР, КОМПРОМИСС, ЛЮБОВЬ

Речь на церемонии вручения Премии мира,
присуждаемой Объединением немецких издателей и книготорговцев
Франкфурт, 4.10.1992

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю... ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью... И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть будут плоды их... Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому... они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (*Исайя, 65, 17—25*).

Таков мир небесный. Нам нельзя оставлять надежду на его пришествие, но и нельзя ждать его прихода, бездействуя[1].

Помимо небесного мира, в Библии говорится также и о земном, прозаическом мире. Авраам говорит Лоту, сыну своего брата: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою: отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Бытие, 13, 8—9).

Это, по-моему, пример прагматического подхода в далекой от совершенства реальности: именно чтобы продолжать оставаться «родственниками», стоит иногда четко определить каждому границу его притязаний. Мы не должны отказываться от надежды на слияние через любовь; но мы, тем не менее, обязаны уважать границы личности своего ближнего — ведь мы человеческие существа.

Сто сорок четыре года тому назад в этой церкви собралось около пятисот человек, чтобы создать демократическую Германию. Если бы им это удалось, то не только судьба Германии и Европы была бы иной — но и судьба еврейского народа, и судьба моей семьи могла бы быть иной.

В начале 30-х годов моя семья покинула Восточную Европу и прибыла в Иерусалим. Они привезли с собой свою неутихающую боль: они считали себя европейцами, а Европа увидела в них лишь сомнительных космополитов. Они привыкли говорить между собой по-русски и по-польски. Из любви к европейской культуре читали книги по-немецки и по-английски. Мечтали, скорей всего, на идише. Но меня учили ивриту, и только ивриту. Быть может, они боялись, что, если я буду учить европейские языки, я поддамся «убийственным чарам Европы», отвергшей моих родителей, вытолкнувшей их грубым пинком антисемитизма. И вместе с тем на протяжении всего моего детства родители говорили мне, и в их голосе звучала боль и ностальгия, что придет день и Иерусалим станет «настоящим городом». Настоящим в их представлении был город, в центре которого вздымается огромный кафедральный собор; город огибает река, густые леса обнимают его со всех сторон. Их душа принадлежала Европе, которую они при этом смертельно боя-

[1] Здесь писатель обыгрывает известную фразу еврейского средневекового философа Рамбама (Маймонида): «Мы ожидаем прихода Мессии несмотря на то, что он медлит». (*Прим.перев.*)

© Amos Os 1992, Acceptance Speech, International Peace Prize of the German Publishers Association Frankfurt, October 1992

АМОЗ ОЗ (*род. в 1939 г. в Иерусалиме*) — прозаик, критик. С пятнадцати лет жил в киббуце. Получил образование в Еврейском университете Иерусалима, был аспирантом Оксфордского университета, писателем-стипендиатом при Еврейском университете в колледже штата Колорадо. Автор романов «Мой Михаэль» (1968), «Познать женщину» (1989) и др., а также сборника «Молчание небес. Литературная критика» (1993). Произведения А.Оза переведены на многие языки. Награжден французской премией «Фемина» и Премией мира 1992 года.

лись. В детстве я не понимал, а теперь знаю, что подобные смешанные чувства называются обманутой любовью. В 20-е и 30-е годы, пока мои родители еще считали себя европейцами, почти никто, кроме них, таковым не был: в Европе каждый считал себя либо германофилом, либо славянофилом, либо болгарским патриотом. В те дни европейцами в Европе были, пожалуй, лишь евреи, подобные моим родственникам.

Среди факторов, повлиявших на создание государства Израиль, можно указать и на такое вот печальное открытие, которое сделали многие евреи, в том числе члены моей семьи: несмотря на то, что во многих случаях отношения между хозяевами и гостями были творческими и продуктивными, настало время гостям возвратиться в свой дом, отстроив его заново. Главная надежда была на то, чтобы построить этот дом на основах справедливости и мира. Уничтожение европейского еврейства, кровавая борьба с арабами и трагическая конфронтация с палестинцами серьезно нарушили идеалистические планы основателей Государства Израиль. Достижение всеобъемлющего и достойного мира дает возможность открыть новую страницу.

Почему я сегодня призвал сюда тени прошлого? Потому что моя писательская работа и моя деятельность во имя мира вдохновляются этим прошлым. При всем том я верю, что прошлое не должно доминировать. Я отвергаю все формы тирании прошлого.

Я также хочу выразить чувство глубокой двойственности, которое я здесь испытываю: еврей в церкви, израильтянин в Германии, миротворец, который дважды был на поле битвы в силу своего убеждения, что наибольшее зло — это не сама по себе война, а агрессия.

Евреи и немцы — о чем они могут беседовать? *Обязаны* ли мы что-либо обсуждать вместе? Первый предмет обсуждения — это наши родители и родители наших родителей. Второй предмет — это будущее. Европейская цивилизация и еврейская культура были «повенчаны» в течение долгого времени. Этот брак был расторгнут преднамеренным злодеянием. И все же от этой связи существует «потомство». Есть европейские гены в нашей культуре, и есть еврейские гены в культуре Европы. Эти гены отнюдь не призрачны; в них — потенциальная возможность для творческого сотрудничества в будущем.

Я не буду использовать термин «нормализация». Я лишь надеюсь на то, что станет более интенсивным диалог — включая диалог о боли, о жестокости и обманутой любви. Я считаю, что единственная возможность избавиться от «токсикоза истории», от опасности поглощения историей — это отношение к истории не как к нагромождению фактов или удручающих воспоминаний, но как к полю, богатому знаниями, уроками и толкованиями. Только так прошлое послужит нам для построения будущего.

Я наблюдаю выпады против беженцев и иммигрантов в Германии наших дней. Мне известно, что сегодня Германия приняла гораздо больше беженцев, чем какая-либо другая западноевропейская страна. Конечно же, расисты и фанатики есть везде. Вопрос, однако, вот в чем: как же быть с народными массами, которые должны были выйти на улицы и защитить Германию от нее самой.

Вечный огонь в память о погибших евреях, зажженный в Заксенхаузене, должен был бы сжечь чудовищное прошлое Германии. Но в пламени Заксенхаузена горело не прошлое. Прошлое — ваше прошлое и наше прошлое — сжечь невозможно. Нет, пожар может охватить настоящее и будущее Германии.

Вопрос не только в том, что Германия призвана опекать иммигрантов и сохранять памятники еврейства. Прежде всего, немцам брошен вызов, который они должны принять: им следует защитить себя от расизма и равнодушия.

Чем прошлое может помочь нам? Чем Освенцим может помочь живым? Что он может нам дать, кроме страха, печали и молчания? Вероятно, он может, среди прочего, пробудить в нас отчетливое осознание того, что зло действительно существует. Зло существует не только как результат несчастных случаев; и не просто как безликое и безличное социальное или бюрократическое явление. Зло — не чучело динозавра в музее. Зло присутствует как открытая и постоянная возможность — вокруг и внутри нас. Страх перед предрассудками и жестокостью — это не просто следствие из-

вечного противостояния простодушного человека с улицы и гигантской политической машины. Простодушный человек с улицы зачастую совсем не прост, порой он бывает и бездушен.

В данном случае речь идет о противостоянии разных обществ: сравнительно достойных и запятнанных кровью; точнее, нас беспокоит часто проявляющееся малодушие этих «достойных» обществ (и индивидов) — в тех случаях, когда им необходимо противостоять жестокости и насилию.

Говоря коротко: зло не всегда обитает «где-то там». Оно гнездится внутри и порой хитро маскируется, выдавая себя за идеализм или самоотверженность.

Итак, можно ли, будучи человеком, что предполагает склонность к сомнениям и нравственным колебаниям, в то же время бороться со злом? Может ли человек бороться с крайностями и сам при этом не впасть в крайность? Можно ли воевать за высокую цель и не стать воинственным? Как может человек противостоять жестокости и не стать жестоким? Как может человек, изучая уроки истории, не пасть жертвой ее уроков? Несколько лет назад в Вене я видел уличную демонстрацию в защиту окружающей среды, где люди вышли протестовать против опытов над морскими свинками. Они несли плакаты с изображениями Иисуса, окруженного замученными морскими свинками. На плакате было написано: «И их Он тоже любил!»

Может быть, Он и любил их. Но некоторые из демонстрантов выглядели так, словно были готовы расстрелять заложников, узнай они, что это может положить конец мучениям морских свинок. Подобные проявления «пламенного идеализма» или антифанатического фанатизма должны внушать беспокойство порядочным людям во всем мире. Как человек, обладающий неким политическим чутьем, я часто напоминаю себе, что определить разницу между добром и злом довольно просто; гораздо трудней, с нравственной точки зрения, найти различия между оттенками серости, определить степень зла и выявить его, провести различие между худшим и еще более худшим.

Многие годы я отдал израильскому движению мира, еще до появления партии «Мир — сейчас» в 1977 году. Израильское мирное движение не является пацифистским. Оно не порождено американо-европейской чувствительностью 60-х годов. Западный Берег и Газа — не Вьетнам и не Афганистан. Израиль — не Южная Африка. Арабо-израильский конфликт не имеет ничего общего с историей империалистической колонизации. По моему мнению, израильское движение за мир выражает гуманистическую сторону сионизма и универсальные принципы иудаизма.

Дважды в жизни, в 1967 и в 1973 годах, я был на поле битвы и видел чудовищное лицо войны. До сих пор я придерживаюсь того мнения, что опасность агрессии не может быть устранена при помощи уступок и что только две вещи оправдывают применение силы — жизнь и свобода. Я буду воевать, если кто-нибудь попытается убить меня и моих близких. Буду воевать, если попытаются превратить нас в рабов. Но никоим образом я не буду воевать, защищая «завоевания отцов», или бороться за присоединение территорий, или за захват ресурсов, или за общее понятие «национальных интересов».

Израильско-палестинская война — это трагическое противоречие между правдой и правдой, между двумя весьма убедительными позициями. Эта трагедия может завершиться либо полным уничтожением одной из сторон (или обеих), либо болезненным компромиссом, прискорбным и непоследовательным, при котором каждая из сторон получит лишь часть желаемого. И пусть никто не будет петь от полноты счастья, но зато все мы прекратим умирать и начнем жить. У палестинцев будет самоуправление и безопасность в одной части территории. Израиль будет жить в мире и безопасности в другой части. Постепенно наступит примирение, прекратится гонка вооружений, появится общий рынок, а раны прошлого зарубцуются.

Наше движение за мир не является пропалестинским. Есть насущная необходимость заключить мир между Израилем, палестинцами и другими арабскими странами — не из-за ощущения вины и не ради «искупления грехов», а ради самой жизни. Израильтяне живут в этой стране с намерением остаться здесь навсегда. Палестинцы находятся в Палес-

тине и не покинут ее. Мы должны стать, по крайней мере, добрыми соседями друг для друга. И все же, когда я настаиваю на разделении одной маленькой страны между двумя народами, я придерживаюсь того мнения, что это решение — вынужденное. Я убежден в том, что образование национальных государств является плохой и не оправдавшей себя практикой. На этой пораженной бедностью и перенаселенностью, разрушающейся планете необходимо сосуществование сотен разных цивилизаций, тысяч различных традиций, миллионов местных и региональных общин — но не национальных государств. В особенности сейчас, когда национальное самоопределение начинает порождать в разных частях мира кровавые конфликты, угрожая превратить каждого человека в изолированный остров, следует приступить к переоценке ценностей. Нужно искать пути реализации обоснованных устремлений к самоидентификации и самоопределению в рамках человеческого общества. Вместо хаотического мира эгоистических и разделенных между собой национальных государств мы должны построить полифонический мир. Положение человека, его одиночество на небезопасной земле, присутствие тишины ледяного космоса, неизбежная жестокость жизни и безжалостное присутствие смерти — все это в конце концов должно пробудить в нас чувство солидарности со всем человечеством, которое поднимется над всяческими спорами и дрязгами. Освобожденному от знамен патриотизму следует стать патриотизмом человеческого рода, патриотизмом земли и лесов, воздуха, воды и света, связующим звеном с самим сотворением мира.

Но что может сделать для этого писатель, кроме как остаться писателем? Есть ли надежда у писателя повлиять на душу человека? У меня нет определенного ответа на эти вопросы. Возьмем пример Толстого. Не подлежит сомнению, что его непосредственное воздействие на современников было значительней влияния любого другого автора на протяжении всей истории человечества. Миллионы людей читали его книги, сотни тысяч видели в нем пророка. И несмотря на это, не прошло и семи лет со дня его смерти, смерти «библейской», как Россией завладели вовсе не его последователи, а персонажи романа Достоевского «Бесы». Очень быстро ставрогины уничтожили толстовцев, истребили героев Тургенева, предали литературной смерти самого Достоевского. Менее чем через десять лет после смерти Толстого его учение было объявлено в стране Советов несущим подрывные идеи. Здесь мы видим, каково влияние литературы на политику и историю. Можно было бы с той же легкостью, с какой я взял примеры из русской литературы, взять их и из немецкой.

Теперь, когда я сказал, что история совершенно не зависит от литературных прозрений, мне не остается ничего лучшего, как, набрав в легкие побольше воздуха, сразу же начать противоречить самому себе: ведь семьдесят лет спустя после ленинского переворота Россия возвращается если не к Толстому, то, по иронии судьбы, к некоему чеховскому состоянию меланхолии и паралича.

Человек, который, подобно мне, родился и вырос в Иерусалиме, несомненно, должен видеть исполнение библейского пророчества не только в возникновении Государства Израиль, но и во многих печальных событиях наших дней. Иногда мне кажется, что все, что есть в Израиле, возникло и произошло из книг. «Государство евреев» — так назывался роман, напечатанный пятьдесят лет тому назад, еще до того, как оно стало реальностью, живой и задиристой (хотя порой и чересчур). «Тель-Авив» — сборник научной фантастики с таким названием был выпущен за десять лет до того, как в этом городе был выстроен первый дом. Даже киббуц является плодом довольно странного брака между еврейской традицией и дореволюционными социалистическими.

Что я имел в виду, говоря, что литература не влияет на действительность, но в то же время влияет? Это значит, что я верю в то, что порой литература может изменить жизнь многих людей — однако часто не в том направлении, в каком это стремится сделать писатель. И даже это не всегда происходит сразу, а порой лишь через многие годы, причем идеи писателя подвергаются за это время грубым искажениям и упрощениям. Часто мы обнаруживаем, что злобная, исполненная ненависти литература воздействует сильнее, чем насто-

ящая, глубокая и тонкая.

Кто-то полагает, что и сегодня в Стране Пророков еще жива традиция, согласно которой на писателя возложена миссия пророка. В некоторых культурах Запада к литературе относятся как к развлечению, изысканному, но не более того. В еврейской же, лучше даже сказать в еврейско-славянской, традиции считается, что писатели должны замещать пророков. Время от времени некоторые писатели поддаются такому соблазну. Но следует вспомнить, что даже пророкам, в их эпоху, не так часто удавалось влиять на решения правителей и завоевывать сердца людей. Только неисправимый романтик может сегодня ожидать от писателей и поэтов, что их влияние окажется ощутимее влияния пророков древности.

Однако оставим пророчества. Есть ли вообще такая область, какая бы то ни было, в которой писатели окажутся умнее таксистов, программистов или даже политиков? Что стоит за распространенным требованием, предъявляемым писателю, — быть учителем жизни и совестью нации?

Есть нечто общее между писателем и тайным агентом: автор романа примеряет на себя чужую одежду и, более того, влезает в чужую шкуру: если бы я был им, если бы я был ею? В литературном тексте может быть представлено сразу несколько противоречивых позиций и точек зрения, в равной степени удостаиваемых писательской симпатии, понимания и порой сострадания. Это должно пробуждать в вас интеллектуальную и эмоциональную способность оценить и понять взаимоисключающие, на первый взгляд, мнения об одном и том же предмете.

Еще одна специфическая характеристика писателя — отношения с языком. Человек, проводящий полжизни в выборе между прилагательными и наречиями, постоянно изучающий глаголы и существительные, испытывающий муки при расстановке знаков препинания, должен обладать тонким чутьем, позволяющим ему прежде других уловить симптомы порчи языка. Нечего и говорить о том, что порча языка может быть предвестником страшных событий. Там, где человека называют, например, «паразитом», «отщепенцем» или «инородцем», к нему рано или поздно станут относиться как к недочеловеку.

Таким образом, писатель обладает особым нюхом, который помогает ему учуять, откуда тянет паленым, или даже погасить пожар. Он первый ощущает дегуманизацию языка, — и его моральный долг воскликнуть «Пожар!» при первом запахе дыма. (Обратит ли кто-нибудь внимание на этот крик — другой вопрос: вспомним рассказ Кьеркегора об актере, который закричал: «Пожар!», а публика стала аплодировать и кричать в ответ: «Браво!»).

Эпические ли они повествователи или утонченные стилисты, писатели прежде всего специалисты по выбору слов, они — те, кто располагает слова в определенном порядке. Я считаю, что подбор слов и их расположение — это в какой-то степени проблема морального выбора. Ставя в текст тот или иной глагол, подбирая идиомы и клише или, напротив, избегая либо трансформируя их, вы принимаете решения, которые могут иметь пусть даже микроскопические этические последствия. Мы хорошо знаем, что словом можно убить. Но словом можно иногда и лечить.

Передо мной стоит дилемма: как быть человеку из мира слов, если ему приходится жить в тесном соседстве с несправедливостью, предрассудками и насилием? Что делать, если у него нет ничего, кроме его собственного голоса, пера и, порой, более или менее чуткой аудитории? Как ему поступить, когда обыкновенная порядочность требует от него встать на борьбу с политическим злом, а не просто вглядываться в него, изучать и описывать? Как он поведет себя в состоянии трудного и почти невозможного выбора между гражданской порядочностью и совестью художника?

Какого из писателей почитать безнравственным — того, кто использует свое перо в качестве политического оружия, или того, кто избегает политики и отказывается превращать перо в политический меч?

У меня нет исчерпывающего ответа на эти вопросы. Могу только поведать о собственном непоследовательном компромиссе. Я занимался политикой, но не отдавался безоглядно сочинению воззваний, плоских назиданий и упрощенных политических аллегорий.

Всякий раз, когда мне кажется, что я согласен с самим собой на сто процен-

тов, я пишу не рассказ, а гневную статью, в которой говорю правительству, что делать. Иногда говорю ему, куда идти. Другое дело, прислушивается оно ко мне или нет. Но только тогда, когда я слышу не один, а несколько аргументов, не один, а много голосов — иногда различные голоса по ходу дела становятся образами, — только тогда и возникает ткань рассказа. Я пишу рассказ только тогда, когда ощущаю внутри себя несколько противоречивых позиций, несколько противопоставленных друг другу аргументов, несколько конфликтующих эмоциональных состояний. Старая хасидская сказка повествует об одном рабби, который постановил, что коза, являющаяся предметом спора, принадлежит обеим сторонам и обе эти стороны правы в своих притязаниях. Когда рабби вернулся домой, то жена его отругала, сказав, что его решение не имеет смысла: как могут быть одинаково правы две стороны, претендующие на одну козу? Рабби призадумался, после чего ответил: «Знаешь, дорогая жена, и ты права».

Иногда таким рабби бываю я.

Израильский читатель не всегда отличает рассказ от комментария. Иногда он отыскивает плоские политические лозунги в сложном полифоническом произведении. Читающая публика за пределами Израиля тоже склонна толковать нашу литературу как политическую аллегорию, — однако зачастую судьба литературных произведений в районах политических катаклизмов именно такова. Ты полагаешь, что написал камерную музыку, рассказ о семье, а потом приходят читатели и критики с открытием: мать олицетворяет традиционные ценности, отец — это правительство, а дочка уж точно символ пошатнувшейся экономики.

В конце дня — то есть буквально в конце каждого дня, полного шума и ярости, наступает пора для тихого, спокойного голоса. В этот час я размышляю не о том или ином уместном политическом доводе и не о точном обороте, который был бы кстати в трудном предложении в рассказе, а, например, об известной фразе Иисуса из Назарета: «Да простится им, ибо они не ведают, что творят». Кстати, я думаю, что в этом он был неправ: не в том, что надо простить, а в том, что люди не ведают. Мы очень хорошо ведаем, что творим. По крайней мере, мы знаем это сердцем. Мы все отведали плодов с того дерева, имя которому «Древо познания добра и зла». Я убежден в том, что все знают, что такое боль, — каждый когда-либо испытывал боль; и, следовательно, всякий раз, когда человек причиняет боль своему ближнему, он ведает, что творит.

Таково мое простое кредо. А если мы ведаем, что творим, когда причиняем другому боль, мы должны быть за это в ответе. Мы можем прощать или не прощать,— но опираясь вовсе *не* на детскую наивность или моральный инфантилизм.

Однако зачем же я приехал сюда — из далекого Иерусалима во Франкфурт — неужели чтобы спорить об Иисусе в церкви Святого Павла? Да, нам, евреям, никогда не удавалось улаживать разногласия в своем кругу.

Иногда в конце дня я размышляю о высказывании Иммануила Канта: «Кривой чурбан, имя которому человек, кривой чурбан, из которого не вырезать ничего прямого». Снова и снова я удивляюсь, почему на протяжении тысячелетий столько идеологов и реформаторов не прекращают свои попытки резать и пилить этот человеческий чурбан, пытаясь придать неподатливому дереву некий правильный геометрический облик. Ведь вместо того, чтобы понапрасну причинять друг другу зло, нам лучше почаще напоминать себе и своим ближним: не следует причинять никому никаких страданий — хватит тех, что отпущены нам жизнью и смертью; где-то там, в глубине души, у нас одни и те же секреты; никто из нас не является островом, но каждый из нас — часть суши (Джон Донн); и у смерти не будет господства (Дилан Томас).

Наконец, когда ветер с востока начинает дуть на затемненные холмы пустыни, ты берешь ручку и снова пишешь. Ты работаешь, как часовщик из прошлого, в одном твоем глазу увеличительное стекло, в пальцах — щипцы, ты рассматриваешь на свету изуродованное прилагательное, скрепляешь шаткий глагол, оттачиваешь выражение, которое затупилось от частого употребления. В этот час ты охвачен чувством, крайне далеким от политического энтузиазма. Это скорее странная смесь гне-

ва и милосердия; интимной близости с образами и, одновременно, полного от них отстранения. Огонь и лед. И ты пишешь. Пишешь не как человек, который борется за мир, а как творец, создающий мир и желающий поделиться своим созданием с читателем, пишешь, руководствуясь простыми этическими императивами: все старайся понять, что-то прощай, ничего не забывай.

О чем писать?

Поэт Натан Зах четко сформулировал то, о чем пишу и я:

«Эта песня — песня о людях:

о том, что они думают, и о том, чего они хотят,

и о том, что они думают, что они этого хотят.

Кроме этого, нет больше вещей в мире, достойных интереса...»

Итак, я пишу о людях, о том, чего они хотят и что они думают, и о том, что они думают, что они этого хотят. Что еще, кроме этого? Первобытный набор: смерть и страсть, одиночество и безумие, суета, пустота, отчаяние и мечты. Есть бурные реки и горная тишина, есть пустыни и океаны. И есть, естественно, сам язык — опаснейший из всех музыкальных инструментов. В конце концов, есть все те же древние сиамские близнецы — Добро и Зло; они кочуют из жизни в книги и обратно, никогда не разлучаясь и не соединяясь, всегда указывая на тебя своими костлявыми перстами и заставляя сожалеть о том, что ты родился писателем, а не музыкантом. Но нет! Ты приговорен к словам, и именно поэтому ты ответствен за их осквернение, по крайней мере в пределах твоего языка.

Защита языка — это мой единственный способ поддержания мира: борьба против порчи слов, против распространения стереотипов, против расизма, нетерпимости и прославления насилия. Сколько раз меня пугали эпитеты, используемые для рекламы моих собственных романов даже в цивилизованных странах: потрясающе, сокрушительно или просто бомба.

Я не верю в возможность абсолютного мира — не будем забывать о «кривом чурбане, имя которому человек...». Я скорее стремлюсь к трезвым и разумным — пусть и несовершенным — компромиссам между людьми и между различными сообществами, которые обречены оставаться разными и разделенными между собой, но которые, тем не менее, должны выработать принципы — пусть и несовершенного — сосуществования. Псалмопевец сказал: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Псалом 84-11). Однако Талмуд свидетельствует о принципиальных противоречиях между правдой и миром и предлагает более трезвую формулировку: «Там, где есть правда, нет мира, а там, где есть мир, нет правды; но где же та правда, в которой мир? Они действительно разделены» (Санхедрион 6).

Рабби Нахман из Бреслава (1772 — 1810), один из выдающихся лидеров хасидского движения, сказал: «Основа мира в объединении двух противоположностей. Не бойся... если видишь две части, абсолютно противоположные друг другу... Напротив, суть полноты мира — в попытке примирить две противоположности» («Уроки рабби Нахмана», ч. 1).

К этому остается добавить лишь одно — осознание того, что только смерть совершенна. Мир, как и сама жизнь, не триумф любви и не мистическое чудо братания врагов; он — результат разумного и достойного компромисса между противоположностями.

Я хочу поблагодарить Объединение немецких издателей и книготорговцев за столь почетную награду, считая ее также актом признания миролюбивого духа Израиля и одобрения моральных и политических установок ивритской литературы в целом. Я хочу поблагодарить моего дорогого друга и любимого писателя Зигфрида Ленца за то, что он с такой теплотой представил меня сегодня и что он так достойно представляет Германию в своих романах и эссе.

Я благодарен моим друзьям, которые пришли сюда сегодня, моей жене и моим детям, которые дали мне любовь и мир.

Мир всем вам!

Перевод ДМИТРИЯ ГОЛОВАНОВА и ЛИОРЫ КНАСТЕР

К нашим иллюстрациям

ЭНЕРГИЯ ВОПРОШАНИЯ

Этот номер иллюстрируется произведениями современных художников Израиля. И хотя публикуемые здесь работы сами по себе «говорят» внятным универсальным языком современного искусства, тем не менее исторический, духовный, культурный, наконец, даже психологический фон, на котором они выступают, достаточно уникален, специфичен и заслуживает внимательного взгляда. Степень проникновения в это искусство связана с попытками ответить на неизбежно возникающие многочисленные вопросы, которые при этом могут оставаться в пространстве вопрошания и не иметь окончательного решения. Важно, однако, чтобы они прозвучали.

Когда мы говорим об Израиле, то имеем в виду молодое государство, которому нет еще и пятидесяти лет. Следовательно, его искусство может насчитывать столько же? Или мы должны также учитывать историю страны (главный город которой — Иерусалим — в 1996 году отмечает свое 3000-летие) и существовавшие здесь духовные и культурные традиции?

Когда мы говорим об израильских художниках, имеем ли мы в виду лишь тех, кто родился в этой стране или проживает в ней сейчас? Исключаем ли мы недавно переселившихся сюда или работающих за границей? Каковы в таком случае те традиции, которые они наследуют и развивают? История еврейского народа в значительной своей части — это история национальной жизни в условиях диаспоры, рассеяния по миру: среди других народов, иных культур, языков. В течение двух тысячелетий в разных странах еврейской диаспоры не только сложились особые типы собственно еврейской культуры (сефардский, ашкеназийский), но и формировались их отношения с окружающими культурами — то на основе диалога, то на основе конфликта и противостояния; эти отношения продолжаются и по сей день — уже внутри самого Израиля. Ведь населяющие сейчас эту страну люди, даже если они сами родились в ней, как Мотти Мизрахи (1946) или Арнон Бен-Давид (1950), чаще всего являются израильтянами в первом поколении, и в их биографии и культурную память так или иначе вписаны страны их исхода. В еще большей степень это относится к «олим» — «восшедшим» в разное время в эту страну и привнесшим такое многообразие и пестроту традиций, что культура Израиля обрела ярко выраженный полифонический, не сводимый к гармоническому знаменателю характер. Среди них и московский шестидесятник Михаил Гробман (1939), художник и поэт, ярчайшая фигура местного авангардного движения, в самом начале 70-х годов уехавший в Израиль и основавший известную группу «Левиафан», и Исраэль Хершберг (1948), родившийся в Австрии, учившийся в Нью-Йорке, а ныне живущий в Израиле. Можно ли предполагать, что привносимое репатриантами богатство и разнообразие традиций не отражается на облике создаваемого здесь искусства?

Следует ли, исходя из того, что большинство населения Израиля составляют евреи, отождествлять израильское и еврейское искусство? Существует ли связь между ними? Можно ли определить еврейское искусство как искусство, создаваемое евреями (М.Шагал, И.Левитан, И.Бродский, Н.Альтман, Л.Бакст, Эль Лисицкий)? Попытки прояснить этот вопрос периодически предпринимаются и бывают весьма любопытны (самый недавний пример — проходившая на рубеже 1995—1996 годов в Еврейском музее Нью-Йорка большая и представительная выставка «Русские еврейские художники в столетие перемен: 1890—1990»), хотя их результаты далеко не бесспорны. Впрочем, может быть, такая постановка вопроса, порождающая в свою очередь очередные вопросы и сомнения, — уже хороший результат?

Воспитанный на европейской культурной традиции зритель, знакомясь с

феноменом израильского искусства, сталкивается с непривычными для него проблемами. Нельзя сказать, что этих проблем не существует и для самих представителей этого искусства, исполненного внутреннего драматизма и противоречивости, однако «проблематичность» присуща им изначально и является неизбежностью их творческой судьбы. Если считать, что сложное возможно сформулировать кратко, то основными проблемами израильского искусства представятся две: 1) народ Израиля — это «народ Книги», а отнюдь не пластического образа; 2) создавать такой образ абсолютно запрещалось уже во второй библейской заповеди («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» — Исход, 20, 4).

Непреодолимая сила этого запрета, смысл которого — в противостоянии языческому идолопоклонству, препятствовала возникновению у евреев изобразительных форм искусства вплоть до нового времени. Еврейская традиция не знает и таких форм религиозного искусства, развитие которых поддерживалось христианской церковью (иконы, скульптуры, настенная роспись и др.). Если Господь был первым ваятелем, создав человека по образу и подобию своему, то есть сотворив «изображение», то всякая имитирующая этот акт деятельность предосудительна — и как претензия на уподобление Всевышнему (который — един), и как изготовление «изображения изображения», то есть идола.

Сохранилось множество свидетельств глубоко серьезного отношения евреев к этому запрету в древности. Об их готовности отдать жизнь за то, чтобы он не был нарушен, пишет Иосиф Флавий, когда, например, в «Иудейских древностях» повествует о беззакониях Ирода. Прежде всего среди этих беззаконий упоминается воздвигнутый царем жертвенник в форме золотого орла — несмотря на то, что «закон возбраняет своим последователям постановку статуй и вообще изображений живых существ» (XVII, 6, §2). Выступавшие в защиту закона были сожжены заживо. Другой эпизод связан с претором Иудеи Пилатом, решившим «для надругания над иудейскими обычаями внести в город изображения императора на древках знамен», хотя — повторяет Флавий — «закон наш возбраняет нам всякие изображения». Пилат был изумлен стойкостью иудеев (они «бросились на землю, обнажили свои шеи и сказали, что они предпочитают умереть, чем допускать такое наглое нарушение мудрого закона») и приказал убрать из Иерусалима императорские изображения (XVIII, 3, §1).

Закон, однако, запрещал не искусство вообще — разрешены были его прикладные, связанные с богослужением виды и архитектура. Первым еврейским художником, которого сам Господь, исполнив его «Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исход, 31, 2—11), назначил для изготовления скинии, ковчега Завета, храмовой утвари и одежд, стал мастер Бецалель, чье имя (буквально означающее «под сенью Господа») носит сейчас основанная в 1906 г. в Иерусалиме Борисом Шацем Академия художеств и прикладного искусства.

В свете сказанного явным нарушителем древнего запрета оказывается выходец из восточной диаспоры Мотти Мизрахи («мизрах» на иврите и озна-

Амулет. Палестина XVIII—XIX вв.

чает «восток»), ироничный мистик. Его сдвоенный «Гонщик мира» (1987), совмещающий несовместимое — ангельское начало, человеческий образ и продукт цивилизации, — допускающий их нераздельное бытие или плавное превращение механизма в организм и в нематериальную сущность, выражает ощущение абсурда, идею противостояния горнего и дольнего, неразрешимости противоречия между динамикой и статикой, потенцией полета и прикованностью к земле.

Конечно, по мере того как с наступлением нового времени библейский страх перед идолопоклонством несколько ослабел, а древнее благочестие пошатнулось, словосочетание «еврейский скульптор» перестало казаться лишенным смысла. При этом проблемы, которые ставит в своем искусстве Мотти Мизрахи, побуждают, по мнению израильского искусствоведа Дорит Ле Витте-Хартен, подходить к нему отнюдь не как к «еврейскому художнику», но как к самобытной индивидуальности.

Если для Мотти Мизрахи, как для светского человека, запрет на изображение не имеет законодательной силы, то этого нельзя сказать об Исраэле Хершберге, которого некоторые считают реалистом в живописи. Воспроизведенная в этом номере репродукция его работы «Внутри и снаружи» (1990), казалось бы, находится в противоречии с религиозной традицией, к которой причастен этот художник. Вглядываясь в эту работу, внимательный зритель прочтет (именно это слово предоставляется здесь подходящим) в ней нечто вроде философского трактата, построенного в форме вопросов с неоднозначными ответами. Вот некоторые из них: где находится человек, каково его место в этом мире (ведь каждая картина — это и особый мир, и картина мира)? Находимся ли мы снаружи или внутри? Что видит наш глаз — правду или иллюзию, зеркально преломленную; всю или лишь какой-то фрагмент? Где источник света?.. Вопросы можно множить, и все они, помимо своего буквального смысла, имеют и более глубокие уровни — метафорические, аллегорические, символические, — как всякий традиционный еврейский комментарий. В этом смысле Исраэль Хершберг — очень «еврейский» художник, несмотря на то что изображает живое существо.

Если вообще можно говорить о какой-то преимущественной ориентации разных национальных культур, то допустимо различать среди них тяготеющие в большей степени либо к слову, либо к пластическому образу. В этом смысле «народ Книги» безусловно является создателем культуры по преимуществу вербальной. Приоритет слова над изобразительным, пластическим образом, очевидно, тесно связан с иудаистическими представлениями о сакральности письменной и устной Торы (текста, лежащего у основ самого акта создания мира) с многовековой практикой толкования, комментирования и интерпретации каждого слова Писания, с мистическим толкованием значений букв и их комбинаций. Этот приоритет не только препятствовал в течение многих столетий развитию целого ряда известных мировому искусству изобразительных жанров, но и обусловил возникновение специфических художественных форм, где слово играет главенствующую роль, является средоточием смысла произведения.

Это особенно хорошо видно на примере традиционного палестинского амулета XVIII—XIX веков, выполненного в графической технике на пергаменте. Объектом и элементами изображения здесь становятся непосредственно буквы (в центре помещена пятая буква еврейского алфавита — хэй, служащая для обозначения одного из имен Бога), составляющие рисунок и орнамент слова, имена Бога и ангелов, анаграммы молитв и тексты заклинаний, призванные защитить обладателя амулета от дурного глаза и порочного воздействия демонической Лилит, первой (до Евы) жены Адама, покинувшей его, соблазняющей мужчин и крадущей новорожденных. Примечательно, что расположенный вверху знак — символ небес — не изображает, но обозначает глаз: подчеркивается не его физическое подобие, а духовный смысл, носителем которого являются вписанные сюда имена Бога.

Современное развитие древней традиции изображения текста можно видеть в «Утренней молитве» (1975) Михаила Гробмана, выполненной в техни-

ке шелкографии. Текстовые и изобразительные элементы совмещены здесь в пределах одного произведения, хотя и находятся в напряженном динамическом взаимодействии и как бы принадлежат разным пространствам. Текст, написанный по-русски от руки, белым по черному, представляет собой рукопись стихов самого автора и служит контрастным фоном для колористически сгущенного изображения сказочно-мифической птицы и райского дерева. Другой текст, написанный черным по белому, является молитвой «Благословение души» («Бог мой! Душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, Ты сформировал ее. Ты вдохнул ее в меня, и Ты сохраняешь ее во мне, и Ты в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в мире грядущем...») и помещен на переднем плане, контрастируя с двумя другими планами в цветовом отношении (с текстом стихов он соотносится по принципу позитива — негатива), но вместе с тем как бы скрепляя их воедино в качестве смыслового и конструктивного элемента. Художник не снимает здесь драматического напряжения между словом и образом, а, напротив, подчеркивает его и выявляет, вводя еще одну тему — противостояния времени (мимолетного настоящего, воплощенного в текстах и датировках стихов) и вечности, знаком которой здесь выступает текст молитвы, что придает произведению дополнительную энергию.

Преобладание вербального кода над визуальным ощутимо в творчестве Маллы Карл, чья графическая работа «Огонь и вода» (1990) помещена на заставке «Литературного гида». Строительными элементами изобразительного ряда служат буквы, составляющие слова «вода» и «огонь». Жест художницы — воспроизведение средствами символического искусства акта творения Господом мира из стихий огня и воды. Струйка дыма на рисунке, поднимающаяся от огня, состоит из слов, обращенных вверх: «Мы были в огне и в воде, но Ты спас нас оттуда».

Безусловно, в подобной художественной практике предельного совмещения изобразительного и словесного рядов, исследования их взаимодействия и границ, игры с различными кодами, мерцания одного сквозь другое можно обнаружить близость к новейшим тенденциям современного искусства. О причастности современных израильских художников к универсальной проблематике и языку искусства наших дней свидетельствует их участие в многочисленных международных выставках, в частности, в последней венецианской биеннале 1995 г. Интересно, однако, что и Иехошуа Нойштайн, и Ури Цайг, и Давид Гроссман, представлявшие здесь Израиль, использовали в своих инсталляциях тему слова, книги, текста, что позволило куратору израильской экспозиции искусствоведу Гидеону Офрату констатировать: «Книга — великая тень, которая нависла над израильским искусством», хотя вместе с тем она — самое значительное, что евреи смогли предложить в культурном отношении.

Израильское искусство еще очень молодо. Оно само задает себе сейчас бесчисленные вопросы, как это и бывает в молодости. Но Израиль и очень древняя страна, и ее мудрецы знали, что не бывает окончательных или однозначных, одинаково удовлетворяющих всех ответов, что существуют вопросы, которые следует продолжать задавать, что главное — сохранить энергию вопрошания...

ВИКТОРИЯ МОЧАЛОВА

К нашим иллюстрациям

Конец века, конец тысячелетия

Д.ЗАТОНСКИЙ

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. ПАДШИЕ АНГЕЛЫ И ВОРОТИВШИЙСЯ ПТОЛОМЕЙ

В согласии с гипотезой естествоиспытателя Отто Мунка, 5 июня 8498 г. до Р.Х. некое небесное тело врезалось в землю вблизи Карибских островов. Тогда и погибла Атлантида.

Философ Дитмар Кампер, автор книги «Иероглифы времени. Тексты об отчуждении мира» (1988), полагает, что эта лежащая у начал человеческой цивилизации катастрофа столь ужасна, что просто не могла не оказаться вытесненной в коллективное подсознание, где и преобразилась в библейский миф о низвержении Люцифера.

Ныне настал час расплаты за этот некогда совершённый самообман. «Связь между Просвещением и Люциферовой программой мести за давнее страдание просматривается более чем явственно, — пишет Кампер. — Гигантизм научно-технических проектов не случайно выглядит апокалипсическим. Сопутствующие видения конца света не могут скрыть, что являются лишь повторениями. Позади всего этого проглядывает падение ангелов, космическая катастрофа»[1]. И Кампер вопрошает: неужели мы, дескать, возжелали ныне того, даже мысли о чем прежде не могли вынести, — истребления рода человеческого?

Такова одна из попыток понять, что же приключилось с сегодняшним миром, хоть как-то истолковать тупики, в которые мир этот заходит, и поражения, которые он терпит. Попытка, по-моему, довольно наивная, но в то же время весьма характерная. Что Кампер констатирует? Во-первых, *глобальный* характер кризиса, во-вторых, его обусловленность *историческим прошлым* — пусть даже это прошлое нашего коллективного подсознания. А что Кампер оставляет непроясненным? *Связь событий*, *причину*, по которой «Люциферова месть» настигла нас лишь сейчас, через добрый десяток тысяч лет, и именно под конец XX века.

Идея другого современного культуролога, Петера Слотердийка, на камперовскую вовсе не похожа, а ахиллесова пята у нее та же. Начну с идеи. Книга Слотердийка именуется «Коперникианская мобилизация и птоломеевское разоружение» (1987), и в ней не случайно нарушена хронология: слотердийковский Птоломей и правда появляется *после* Коперника.

Гелиоцентрическая теория последнего вызвала шок, результаты которого якобы особенно ощутимы сегодня. «Я полагаю, — пишет Слотердийк, — что новейшие споры вокруг Просвещения и Постпросвещения, модернизма и постмодернизма свидетельствуют о том, что мы начинаем наконец всерьез платить по Коперниковым счетам»[1]. Дескать, каждый по-прежнему видит, как восходит и заходит солнце, но наука требует, чтобы мы своим глазам не верили. Некогда цельное представление раскалывается на ложную «видимость» и неочевидную «сущность». Причем последняя (именно в силу своей неочевидности) может быть внедрена не иначе как ценой насилия. «Модернизм, — утверждает Слотердийк, — навязывал себя за счет пафоса, порождавшегося доселе лишь религиозными войнами»[2].

И понятие «модернизм» он толкует весьма широко: на его взгляд, к явлению этому были причастны и Мессмер, и Фрейд, и Кант, и, разумеется, Коперник. Все они — открыватели неочевидных истин, ниспровергатели «птоломеевских мифов»...

Но «коперникианская революция, — продолжает Слотердийк, — это мобилизация мира и мировых образов вплоть до точки, в которой возможным становится все. Иначе чем точкой тотального головокружения ее не назовешь... И когда коперникианство достигло этой точки, его истина стала более ложной, чем птоломеевская иллюзия»[3]. Тутто и начался сознательный откат, который Слотердийк назвал «птоломеевским разоружением». Это и есть постмодернизм. «Постмодернизм — это посткоперникианство»[4],

---

[1] *Dietmar Kamper*. Hieroglyphen der Zeit. Texte vom Fremdwerden der Welt. Mьnchen—Wien, 1988, S.39.

[1] *Peter Sloterdijk*. Kopernikianische Mobilmachung und Ptolemдische Abrьstung. Frankfurt a.M., 1987, S.56.

[2] *Ibidem*, S.30.

[3] *Ibidem*, S.66.

[4] *Ibidem*, S.58.

— так сам он формулирует свою мысль.

Как и Кампер, он отодвигает причину в прошлое, хоть и не столь глубокое. И Коперник для него — не более чем символ воинствующего рационализма, неудержимо соскальзывающего к собственной противоположности. А раздражают его, разумеется, не реалии космогонии; ему претит некая фанатичная «бестелесность» модернизма. И, надо сознаться, что-то в этом есть.

Нельзя не признать и того, что птоломеевский геоцентризм в качестве чисто «образного» воплощения постмодернизма выбран довольно удачно: обращение к прошлому, примирение с традицией, склонность к повторению и самоповторению, отказ от неуемного теоретизирования — все эти сугубо земные постмодернистские признаки как бы созвучны античной ментальности. Что же до постмодернистской иронии, многоступенчатой игры в действительность, то они остаются за сценой: Птоломей ведь представлен у Слотердийка созерцателем обстоятельно-серьезным, лишенным фантазии и юмора, простоватым и скучноватым.

Впрочем, главный просчет слотердийковской версии опять-таки в том, что и она не берется объяснить нам, отчего «птоломеевское разоружение» наступило именно теперь, а не сотней-другой лет раньше или позже. Подобно Камперу, Слотердийк лишь походя указал на Просвещение как на ведущего «иллюзиониста», а тем самым и на прямого виновника того краха, из которого (он хочет надеяться!) постмодернистское мировосприятие нас, может быть, как-нибудь выведет.

И все-таки в этом упрямом стремлении углубиться в прошлое, максимально (у Кампера до времен чуть ли не допотопных) отодвинуть причины наших сегодняшних злоключений есть, как ни странно, своя правда. Хотя ни Слотердийк, ни Кампер не сформулировали ее так ясно, как итальянский ученый и беллетрист Умберто Эко, сказавший, что «постмодернизм не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние» и «что у любой эпохи есть собственный постмодернизм»[1], однако нечто в этом роде оба они так или иначе подразумевали.

Человеческий дух то рвется в утопические выси (как упомянутое и Кампером, и Слотердийком Просвещение), то, захлебнувшись в крови революций и войн, начинает предпочитать неуемным коперникам сговорчивых птоломеев. Человеческая история, если освободить ее от прикрас, окажется чередой идеологических опьянений и деидеологизированных похмелий. Первые можно бы наречь состояниями «модернистскими», вторые, соответственно, «постмодернистскими».

Однако новейшее «похмелье» по размаху и глубине оставило все предшествующие далеко позади...

2. POSTHISTOIRE

Многие примечают, что жизнь наша подошла к некоему рубежу, стоит на каком-то раздорожье. Не случайно же новейшая социальная мысль на Западе не знает, кажется, темы более модной, чем «конец истории».

Вообще-то она стара как мир: ведь с нею связаны все утопии, футурологические или даже обращенные в прошлое, ибо и там и здесь пропагандируется идеальное состояние общества, на котором следует (или следовало бы!) остановиться. Так что и ветхозаветный эдем, и платоновское «Государство», и «Утопия» Томаса Мора, и легенды о «золотом веке» — все это видения «конца истории». Таким же видением (лишь с обратным знаком) является и Страшный суд. Ибо лишь то существенно, что история *останавливается*, а *как* — это уже проблемы идеологии и методологии.

Критик Тереза де Лаурентис, по-своему пересказывая происшествие с райским яблоком, отметила, что Бог своим запретом внес противоречие в семантическую вселенную Адама и Евы: яблоко красиво, а есть его нельзя. Так что не имеет значения, вручила ли Ева это яблоко Адаму и съел ли он его, — все равно обоим пришлось покинуть рай в момент, когда Бог «внес противоречие в естественный порядок вещей... В этот момент и началась человеческая история»[1]. Ибо существование наше, как известно, движимо противоречиями. Так или иначе их устранив, мы сделаем жизнь неподвижной, то есть *внеисторической*.

Подобным же образом мыслил и О.Мандельштам, когда писал в 1914 г.: «Есть великая славянская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев. Это — мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое миром»[2]. У этой славянской мечты, несомненно, есть нечто общее с «птоломеевским

---

[1] *Умберто Эко*. Заметки на полях «Имени розы». «ИЛ», 1988, № 10, с.101.

[1] *Teresa de Laurentis*. «Der Name der Rose» als postmoderner Roman. In: Postmodern. Zeichen eines kulturellen Wandels. Hamburg, 1986, S.252.

[2] *Осип Мандельштам*. Сочинения. М., 1990. Т.2, с.154—155.

разоружением» по Слотердийку. И не только в названии: по-своему Слотердийка тоже влечет к мифам.

Было бы, однако, заблуждением полагать, будто существование вне истории идеально лишь в глазах мифотворцев. Гегелевская «феноменология духа» — сочинение бесспорно научное, однако и там мировая история находит свое идеальное воплощение в прусской государственности. Впрочем, у Гегеля бывали на этот счет и некоторые колебания: однажды ему показалось, что таким воплощением мог бы стать император Наполеон Бонапарт, который, «сидя верхом, охватывает мир и им повелевает»[1]. Это гегелевское грехопадение, сам того не желая, свел к некоему фарсу Александр Кожеве (француз русского происхождения, чья настоящая фамилия Кожевников). Он не только согласился с Гегелем касательно Наполеона, но и вскорости заменил того... Сталиным. А в 50-е гг. вернулся к кандидатуре императора французов.

Здесь проглядывает не столько конъюнктура (Кожеве, не говоря уже о Гегеле, был мыслителем достаточно независимым), сколько неизбежность мифотворчества, когда речь заходит о попытках найти для истории позитивное завершение, то есть о строительстве некоего земного рая. Марксисты третировали Гегеля за то, что он идеализировал то королевство Пруссию, то Французскую империю, сами же проявляли ничуть не больше здравого смысла, когда ставили в «конец истории» воздушный замок бесклассового, бесконфликтного, процветающего коммунизма. Правда, Маркс нарек его «истинной историей», а все предшествующее человеческое бытие — «предысторией». Но это не более чем терминологическая уловка.

В 1989 г. немало шуму наделала статья американца японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы под названием «Конец истории?». Оно и понятно: ведь то была чуть ли не первая после многозначительной паузы немарксистская работа, углубившаяся в позитивную эсхатологию. Фукуяма не случайно решил опереться непосредственно на Гегеля, минуя все, что накопилось с тех пор. Однако и гегелевского авторитета, пожалуй, не хватило бы, если бы время не подоспело: социалистический лагерь начал распадаться, зашатались основы советской империи и удивительно быстро (по наблюдению Фукуямы) возобладало «постисторическое сознание»[2].

В том году еще казалось, будто из изнурительного соревнования Запад вышел несомненным победителем. И чтобы впечатление такое усилить, потребовалось напрочь оторвать Гегеля от его продолжателя Маркса. Что сделать было вовсе не легко. Тем не менее Фукуяма спешит за то похвалить Гегеля, что он, в отличие от Маркса, — идеалист. Но имеет ли в данном случае такое уж большое значение, что дало вселенной первотолчок — дух или материя? Ведь далее она существует уже по законам, от первотолчка независимым... Во всяком случае, и идеалист Гегель, и материалист Маркс в принципе не различались по своему ви́дению «конца истории».

Согласно Фукуяме, он есть «завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления»[1]. Что ж, люди и в самом деле, по-видимому, не придумали ничего лучшего, чем рыночные отношения. Однако считать их верхом совершенства было бы смешным: ведь порождаемая ими система — лишь наименьшее зло.

Но тогда и речи быть не может о «завершении идеологической эволюции», потому что закрепиться на чем-то межеумочном немыслимо. Значит, нет тут никакого конца. И водораздел следует проводить не столько между идеалистами и материалистами, сколько между уповающими на достижение райской жизни и в нее не верящими. Тогда Гегель с Марксом окажутся в одной компании. А с ними и Фукуяма.

Впрочем, под конец статьи с ним происходит нечто странное: все расставленные было по местам фигуры он как бы усталой рукой смахивает с шахматной доски. Разрекламировав свой «фаланстер», Фукуяма заводит речь о художественном, культурном, духовном застое, который там непременно воцарится. После чего высказывает предположение, прежние позитивные выкладки и вовсе перечеркивающее: «Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?»[2]

3. «НАША ЭПОХА ПОСТАПОКАЛИПСИЧНА...»

Трудно, пожалуй, указать на пример, убедительнее, чем статья Фукуямы, иллюстрирующий нынешнюю духовную смятенность. Благой эсхатологии издавна противостояла катастрофическая, апокалипсическая. Мы

---

[1] *G.W.F.Hegel.* Weltgeist zwischen Jena und Berlin, Briefe hg. v. Hartmut Zinser. Frankfurt-Berlin-Wien, 1982, S.58.

[2] *Фрэнсис Фукуяма.* Конец истории? «Вопросы философии», 1990, № 3, с.147.

[1] *Фрэнсис Фукуяма.* Конец истории? «Вопросы философии», 1990, № 3, с.134—135.

[2] *Там же*, с.148.

привыкли к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся: ведь чуть ли не каждая утопия обретала свое антагонистическое отражение. И еще недавно сочинения Т.Мора, Т.Кампанеллы, К.А.Сен-Симона, Ш.Фурье и «Мы» Е.Замятина, «О дивный новый мир» О.Хаксли, «1984» Дж.Оруэлла твердо стояли по разные стороны оси мировоззренческих координат. А ныне все они в некотором смысле уже «одна сторона»; «другую» же заполонило нечто новое, выделяющееся не столько идеологией, сколько ее отсутствием: наиболее распространенное представление о постисторическом существовании — это уже «не конец света, а конец его смысла»[1].

Замятин или Оруэлл, вступавшиеся за попранный смысл, тем самым оказываются рядом с Сен-Симоном и Фурье — среди поборников Просвещения, так сказать «модернистов». Что же до постмодернистов, то в их глазах всякий смысл безвозвратно утерян. «В эссе «2000 год не наступит», — пишет только что процитированный немецкий философ Люц Нитхаммер, — ...Бодрийар прогнозирует не близкий физический конец света, а социальное испарение истории... И это не гибель — лишь безразличие. И «нет оснований отчаиваться», ибо отчаяние предполагало бы некую историческую последовательность, некую неосуществленную цель»[2].

История растворяется в «безразличии» и по мнению Арнольда Гелена: он замечает, что тут имеешь дело с «подвижностью на стационарном базисе»[3], и тем самым солидаризуется с еще одним постмодернистским мыслителем, Рольфом Швендтером, который толкует ожидающее нас «будущее как пролонгированное на бесконечность прошлое»[4].

Прежде социальная и философская мысль нечто либо принимала, либо отвергала. Чего в ней (за весьма редкими исключениями) по-настоящему никогда не было, так это «*безразличия*». Откуда же оно взялось? Думается, что отчасти из ощущения, будто все у нас уже позади, причем не только самое великое, но даже и самое ужасное. «Истинное термоядерное событие не произойдет, — сказал Жан Бодрийар, — потому что оно уже произошло»[5].

Это звучит как пустой парадокс, но, в сущности, таковым не является. Вот что пишет немецкий философ Михаэль Ветцель, толкуя, правда, не Бодрийара, а вполне с ним здесь солидарного Жака Деррида: «Наша эпоха *постапокалипсична*, поскольку атомный Апокалипсис уже состоялся: на страницах книг, в средствах массовой информации, в центрах моделирования и т.д., переполненных его чувственным присутствием. В качестве реального термоядерный взрыв не произойдет, ибо не будет сцены и не останется публики, на которой и для которой все это могло бы быть разыграно»[1].

А теперь предоставлю слово самому Деррида, поясняющему, отчего, на его взгляд, наша эпоха беспрецедентна: «Это абсолютная эпоха; это не абсолютное знание или конец истории, это эпоха абсолютного знания» и одновременно «...абсолютного саморазрушения без Апокалипсиса, без откровения, без абсолютного знания...»[2]

Тут требуется кое-какой комментарий. Дело в том, что, помимо понимания Апокалипсиса как вселенской катастрофы, Деррида обращается и к исходному древнееврейскому значению: «откровение», «снятие покровов». И он как бы сплавляет друг с другом оба значения, создает из них нерасторжимое рационально-иррациональное целое. Возникает некий мыслительный «монстр»: «абсолютное саморазрушение», но без физической катастрофы; «абсолютное знание», но без «абсолютного знания».

В этих провоцирующих метафорах, однако, прячется истина. Они, во всяком случае, ближе к истине, чем падшие ангелы Кампера или даже «птоломеевское разоружение» Слотердийка: ведь «постмодернистские времена» и в самом деле наступили *после* того, как термоядерный Апокалипсис не состоялся. Мы заглянули в бездну и остались жить. Правда, заплатив за это Верой, Надеждой, Любовью... «Именно в нашу эпоху, — полагает итальянский философ Джанни Ваттимо, — начинается постижение мира, в котором все ценности, все абсолюты превращаются в мифические существа»[3]. И еще: «История некоторым образом лишена смысла, во всяком случае того, какой можно было бы постичь»[4]. Так что «постмодерному мироощущению... более приличествует обращенность в прошлое, чем в будущее...»[5]

---

[1] *Lutz Niethammer*. Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? Hamburg, 1989, S.9.
[2] *Ibidem*, S.38.
[3] *Arnold Gehlen*. Ende der Geschichte? In: Einblicke. Frankfurt a.M., 1975, S.122.
[4] *Rolf Schwendter*. Zur Geschichte der Zukunft. Bd.2, Frankfurt a.M., 1984, S.320.
[5] *Jean Baudrillard*. In: Tod der Moderne. Tübingen, 1983, S.104.

[1] *Michael Wetzel*. Nachwort des Übersetzers. In: Jacques Derrida. Die Apokalypse. Wien-Graz, 1985, S.138.
[2] *Ibidem*, S.118.
[3] *Gianni Vattimo*. Jenseits vom Subjekt. Wien-Graz, 1986, S.20.
[4] *Ibidem*, S.32.
[5] *Ibidem*, S.19.

4. ЯСОН ПРИПЛЫВАЕТ НА ПУШЕЧНОМ ФРЕГАТЕ

Множество постмодернистских романов произрастает на исторической ниве. И в то же время они не историчны: античные города, монастыри и замки — лишь декорации этих выпавших из времени спектаклей. Могут возразить, что такое бывало и прежде: «Мартовские иды» Торнтона Уайлдера, «Дела господина Юлия Цезаря» Бертольта Брехта, «Лже-Нерон» Лиона Фейхтвангера — разве все это не актуальнейшая современность, ряженная в тоги? Да, но «Имя розы» Умберто Эко (1980), или «Райские псы» аргентинца Абеля Поссе (1983), или «Последний мир» австрийца Кристофа Рансмайра (1988) — это нечто совсем иное: не переодетая ради осмеяния окружающая действительность и не возрожденная романтическим умилением старина. Собственно, это даже не «пролонгированное на бесконечность прошлое» — просто вечно равный самому себе, лишенный поступательного движения мир.

Таким он и предстает со страниц «Последнего мира» Рансмайра — в том смысле «последнего», что он уже никогда не изменится, поскольку пребывает (и всегда пребывал) сразу во *всех* временных измерениях. Правда, к некоей эпохе он вроде бы привязан. Но Рим, из которого император Октавиан Август изгнал поэта Публия Овидия Назона, и черноморский городок Томы, где след поэта затерялся, — даже не условные кулисы, а вопиющая чужая сущность, подлежащая разрушению.

И лишь с этой целью приметы античности перемешиваются с приметами новейшей цивилизации: мраморные статуи и двери с фотоэлементами, смоляные факелы и мощные прожекторы, ягуары в зверинцах и снайперы в засаде. А Ясон приплывает в Томы на списанном военном фрегате «Арго», оборудованном бронированным фальшбортом и пушечными портами...

Впрочем, это уже из иной оперы: не смешение варварства и цивилизации, а смешение времен. Древнегреческий математик и мистик Пифагор состоит при Овидии в слугах; современник Овидия Котта обучался в Дантовой Академии; в языческих Томах чтят еще не родившегося Христа...

Но, пожалуй, наиболее в этом смысле примечательна история немца Дита, участника и дезертира грохотавшей здесь второй мировой войны. Следует, вероятно, сказать: *некогда* грохотавшей. Поскольку для живущего в Томах Дита она была в прошлом: «он сбежал из армейской колонны», и его, умирающего, подобрала, выходила и взяла в женихи Прозерпина (так что он «по совместительству» еще и некто вроде бога подземного царства).

Некогда Марсель Пруст или Томас Манн силились понять природу времени, изучить его, а может быть, и приручить. Рансмайр как бы убежден, что время никаким законам не подвластно, и, играя с ним, преследует единственную цель — разоблачить «модернистскую» иллюзию. В его цивилизованно-архаическом, неподвижном в своих коловращениях мире если что-то и смещается, то не за счет развития, а только за счет неожиданных, непредсказуемых, лишенных логики *метаморфоз*: Ликаон превратился в волка; эпилептик Батт, вечно торчавший у фильмоскопа, — в камень; Прокна и ее сестра Филомела, спасаясь от Терея, обернулись птицами... Потому и не удивительно, что центральный герой рансмайрского романа — это так ни разу и не появившийся на сцене Овидий, автор знаменитых «Метаморфоз».

Их естественная жестокость, присущая всякому архаичному мифу, определяет общую тональность книги. Но ее «античная» простота подтачивается внутренней иронией: «Потребовалось пятеро мужчин, привычных к тяжелой работе, вроде мясника, чтобы переправить окаменелого Батта из задней комнаты в лавку... Все попытки вернуть эпилептику упругость и жизнь остались безуспешными... Батт — камень среди множества камней здешнего побережья — в конце концов занял место в лавке между бочками кислой капусты, косовищами и банками с карамелью»[1].

Постмодернизм просто не может оставаться серьезным, ибо это значило бы, будто он поверил в ад, а следовательно, перестал быть постмодернизмом...

И все-таки первейшая его головная боль — это не до конца истребленная вера в рай. За ее истребление и взялся аргентинец Абель Поссе, сочинитель романа «Райские псы». В центре повествования стоят Христофор Колумб и, разумеется, непременная королевская чета — Фердинанд и Изабелла, — по-прежнему популярная благодаря адмиралу. Но у Поссе владыки Испании заняты сексом и взаимным соперничеством, а цель адмирала — совсем не золото Индии: он ищет земной рай, расположенный, как ему достоверно известно, на новом континенте. При этом его — фанатика, подражающего библейским пророкам, — пугает лишь одно: как бы ненароком не отыскать на том вожделенном материке эту самую Индию с ее проклятым

---

[1] *Кристоф Рансмайр*. Последний мир. Роман с Овидиевым репертуаром. М.,1993, с.134.

золотом. А королеву Изабеллу и князей церкви страшит, как бы Колумб ненароком не отыскал рая... Колумб и правда его отыскал: это — затерянный в островных джунглях первозданный эдем, где разгуливают нагие и невинные дикари.

Писатель иного, чем Поссе, склада (даже будь он по-прежнему приверженцем латиноамериканского «магического реализма») либо вообще не находил бы рая, либо, обнаружив его, предпочел бы показать, как этот рай растоптали, растлили, заплевали конкистадоры. А у Поссе адмирал и его люди скинули одежды и вообще стряхнули с себя прах исторического существования, воротились, так сказать, к бытию Адама и Евы. Но... «по прошествии двух недель они стали ощущать, что без Зла многое теряет смысл. Мир вдруг лишился красок, полинял, время утекало в пустоту. И хваленый Рай на деле оказался идиотским миром наоборот — слишком голым, слишком дневным (потому что ночь уже не была ночью). Ходить нагими в мире, не знающем Греха, все равно что явиться во фраке на уже закончившийся бал»[1].

Собственно, в таком взгляде на бытие нет ничего нового: еще гетевский Мефистофель только то и делал, что внушал Фаусту подобные мысли. Но постмодернисты и не стремятся к новизне; их интерес лишь в том, чтобы не оставить лазеек для Надежды и Веры. Впрочем, от Мефистофеля их все же кое-что отличает: ведь учат они не злу, а «безразличию»...

Перспектива постисторической «скуки» удручает автора «Райских псов» не меньше, чем Фукуяму. С одной стороны, Поссе сочинил типичный латиноамериканский роман — фантастичный, барочный, сюрреалистичный, а с другой стороны, по собственным его словам, — «поведал об истории так, как о ней до сих пор не рассказывали в Латинской Америке»[2]. То есть сделал это в общем и целом так же, как и Рансмайр в «Последнем мире». Только куда раскованнее, с большей иронией, озорством, даже веселостью. Это своего рода компенсация: некий даже *максимализм* в поругании постисторической «скуки» уравновешивается раблезианским осмеянием мировой истории. У Поссе она еще круче замешена на вопиющих анахронизмах: например, колумбовы корабли встречаются в океане не только со знаменитым «Мейфлауэром», но и с новейшими океанскими лайнерами.

В красках и вовсе фарсовых представлены доколумбовы отношения между Старым и Новым Светом. Тогдашние Европа и Америка — это цивилизации равновеликие и между собою соперничающие. Индейцы даже открыли Европу на 200 лет раньше, чем Колумб Америку. Однако открытием своим они не воспользовались, ибо социалисты-инки и капиталисты-ацтеки никак не могли договориться о том, стоит ли вообще завоевывать этот новый для них мир. Когда же Старый и Новый Свет все-таки соприкоснулись, это породило одни заблуждения: индейцы поверили, будто к ним явились боги, а пришельцы — будто обрели рай...

5. ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И АТМОСФЕРА «СДЕЛКИ»

Заблуждение на заблуждении. Комедии ошибок. Заколдованные круги человеческой слепоты, строящей все новые и новые муравейники, каждый раз сметаемые ветром, смываемые дождем, сжигаемые огнем. Тем не менее желание строить не иссякало. Чуть притихнет под грузом разочарований и вновь нами овладевает...

Так вроде бы было всегда. Но внезапно быть перестало — пришло тяжелое похмелье. Могло ли оно вообще не наступить? Ведь мы как Бурбоны — ничего не забыли и ничему не научились... И если вселенское похмелье все-таки наступило, то отчего именно сейчас? Ответы, которые мы слышали от Кампера и Слотердийка или даже от Бодрийара и Деррида, отчасти недостаточно точны, а отчасти недостаточно определенны. Так что поиск стоит продолжить.

После Октябрьской революции 1917 года все умопомрачительное многообразие земных противоречий начало постепенно стягиваться к двум полюсам альтернативных идеологий. В конце концов установилось некое Великое Противостояние предельно враждебных друг другу социальных систем, внутри каждой из которых, будто проглатываемые «черной дырой», исчезали мировоззренческие оттенки. И тот или иной полюс начинал казаться его приверженцам олицетворением Добра, Ангелом Светлым, а противникам — олицетворением Зла, Ангелом Темным: одну из систем одаривали «плюсом», а другую уязвляли «минусом». Эта-то *разность знаков* главенствовала абсолютно надо всем, даже над содержанием.

До конца второй мировой войны «схема» противостояния еще не обрела окончательной четкости: сохранялась некая *свобода маневра*. И силы распределялись примерно так: на флангах режимы тоталитарные —

---

[1] *Абель Поссе*. Райские псы."ИЛ", 1992,№ 8-9, с.111.
[2] *Там же*, с.5.

красные и коричневые, а в центре — лагерь либеральных западных демократий. К тому же все по давней традиции дополнительно враждовали между собой, даже либеральные демократии, не говоря уже о флангах, в равной мере ненавидевших как центр, так и друг друга. Что, впрочем, не мешало возникновению неких временных химерных союзов, а скорее тому способствовало.

Итак, Великое Противостояние вполне оформилось лишь к середине 40-х гг. И тогда все очень и очень настаивали, что речь идет прежде всего о вражде идеологической, то есть в конечном счете о классовой борьбе. И никто тогда не мог подумать, что эта повсеместно правившая бал идеология внутренне утратит значение именно в момент своего наивысшего триумфа. Но случилось именно так: то, что можно было назвать (на уэллсовский манер) «борьбой миров», начавшись как гигантский «конфессиональный» раскол, довольно скоро — пусть и неприметно для глаза — обернулось чисто экзистенциальной проблемой.

Раскол одним своим концом опирался на «волю» к термоядерному Апокалипсису («para bellum» — вот лозунг эпохи), а другим — на ту его «неосуществимость», о которой твердят Бодрийар и Деррида. Но поскольку речь идет о неосуществимости лишь философски-спекулятивной (реальная бомба вполне могла взорваться!), панического страха это не исключает. А панический страх чаще всего чреват «сделкой».

Враждующие лагеря чем-то напоминали миссисипских бродяг, некогда изображенных Марком Твеном, — они громко друг другу угрожают, друг друга клянут, но держатся один от другого на безопасном расстоянии: в сущности, они как бы постоянно ощущают себя на подмостках и оттого стараются ни на миг не выйти из роли. Когда в 1968 г. Брежнев надумал оккупировать Чехословакию, он проконсультировался с американцами и, надо полагать, в той или иной форме заручился их согласием. Как ни крути, а это было своего рода «партнерством», некоей извращенной, от самих себя скрываемой формой «сотрудничества».

Из освященного вековой традицией «raison d'Etat»[1] или даже просто маргинального стечения обстоятельств, каким оно могло показаться, скажем, в 50-е гг., «сотрудничество» это постепенно переросло в некое *правило*: западные президенты и премьеры наперегонки дарили нашему генсеку автомашины, немецкие социал-демократы заводили шашни с гэдээровскими функционерами, даже громогласнейший антикоммунист Франц Йозеф Штраус шушукался с полковником «штази» Шальк-Голодковским...

[1] Государственные интересы (*франц.*).

6. «ПОКА ЖИВУ НА ЗАПАДЕ...»

Впрочем, политика всегда считалась «грязным делом». Поэтому, может быть, еще показательнее, что «сделка» по-своему проникла и в сферу духа, тем самым подтвердив, что мы имеем здесь дело с чем-то вроде «объективного закона».

Герой пьесы Макса Фриша «Биография» (1967) профессор Кюрман говорит своему ректору: «Пока живу на Западе, останусь членом коммунистической партии»[1]. В свое время советская критика толковала эту фразу как свидетельство перехода Фриша в ее лагерь. И критику эту не смущали ни общий скепсис писателя касательно нашего общественного строя, ни даже поставленное героем пьесы условие: «*пока* живу на Западе»...

Между тем такую же оговорку делал в свое время и Роберт Джордан, герой романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940): он согласен «подчиняться коммунистической дисциплине» лишь до тех пор, пока в Испании идет гражданская война. Это было давно: Советский Союз еще внушал левым западным интеллектуалам надежды, и в Испании они сражались на одной с ним стороне.

Иное дело Жан-Поль Сартр 60-х годов. Великое Противостояние уже в разгаре, а он солидарен с коммунистами в отрицании капитализма, хотя и допускает, что, живя в СССР, с властями сразу бы и поссорился. Тут уйма оттенков: и рудименты «модернистской» веры в земной рай, и субъективные комплексы, и неистребимая наивность. Думается, однако, что сартровский выбор не в последнюю очередь вытекал из самой природы искусства. Равно как и выбор Хемингуэя или Фриша.

Нас долго и настойчиво убеждали в том, что истинные цель и смысл художественного творчества состоят в воспевании прогрессивного общественного строя и осуждении строя реакционного. На самом деле искусство предназначено лишь *изображать* и *толковать* жизнь — всегда многоликую, всегда противоречивую и всегда несовершенную. В «Смерти Вергилия» Германа Броха римский поэт лишь в самом конце пути осознаёт главное свое заблуждение: «Прославлял, а не изображал — вот в чем состояла ошибка»[2] — и потому решает

[1] *Max Frisch.* Biografie. Ein Spiel. Frankfurt a.M., 1967, S.72.

[2] *Hermann Broch.* Der Tod des Vergil. München, 1968, S.20.

предать незавершенную «Энеиду» огню. В этот момент придворный поэт Октавиана Августа осознал себя аутсайдером...

Истинный художник вообще не может не быть аутсайдером. Но в фатально расколотом мире, каким он стал после Октябрьской революции и тем более после второй мировой войны, художнику, как правило, уже не удавалось устоять на пятачке последовательной неангажированности (разве что имя его — Франц Кафка). И он принимался искать для себя хоть какую-то точку опоры. Ею нередко оказывалось — и это по-своему логично — нечто радикально *иное* относительно той действительности, внутри которой художник пытался определиться. И если его действительность, к примеру, буржуазна, то почему бы ему не опереться на большевизм? Как раз потому, что он — чужой!

Не всегда легко вычислить (особенно в каждом конкретном случае), что было курицей, а что — яйцом. Иными словами, всему ли причиной нереализуемость чистого аутсайдерства или здесь играла свою роль и внутренняя тяга к «партнерству»? А может быть, к этому все-таки примешивалась и личная политическая ангажированность? Ясно, однако, что к такой ангажированности побуждали не только сложившиеся обстоятельства, но и сама природа вещей.

На протяжении большей части XX века все мы — и, надо признать, почти независимо от конкретных убеждений — рисовали себе историю нашей культуры в крича-ще идеологизированных красках. Даже те, кто молился на творчество эзотерическое, даже они — причем в степени едва ли меньшей, чем зазывалы соцреализма или нацистской «железной романтики», — фетишизировали идеологию. Пусть не в положительном, так в отрицательном смысле! Брехт или Бенн, Элюар или Селин, Амаду или Борхес, Маяковский или Булгаков, Тычина или Винниченко оценивались по преимуществу как враги или друзья, как подручные Сатаны или слуги Господни. И очень редко в качестве художников, изображающих мир так, а не иначе. То, что была тут и доля их собственной трагической вины (и устоять не могли на пятачке аутсайдерства, и сами себя видели лишь в черно-белом изображении), ничего по сути почти не меняет.

Между тем если *историю* искусств складывали по большей части из политической борьбы, то сами *искусства* — это то, что борьбу пережило, что осталось после вычитания ее из жизни. Так что «сотрудничество» (по крайней мере на ниве культуры) не стоит автоматически приравнивать к коллаборационизму... А может быть, и не только на этой ниве?

Генрик де Ман, философ, историк, экономист, происходивший из голландской купеческой семьи, родившийся в 1885-м и умерший в 1953 г., прожил жизнь, полную метаморфоз. Начинал как анархист и левый марксист, затем примкнул к социал-демократам, был министром бельгийского короля, а в войну активно сотрудничал с немецкими оккупантами. Вкусив чуть ли не ото всех политических верований эпохи, де Ман избрал высокогорное швейцарское отшельничество и настолько углубился в историю, что нередко датировал письма сороковыми годами XV, а не XX столетия.

Аналогичен и жизненный путь барона Бертрана де Жувенеля. В молодости коммунист, потом французский левый фашист, пожелавший, однако, защищать родину от немцев. Вскоре, впрочем, он стал видной фигурой коллаборационистской прессы в Париже. И снова крутой поворот, даже скачок эквилибриста: Жувенель связан с Сопротивлением, на него охотится гестапо. А после войны он превращается в теоретика консервативного неолиберализма и так называемой «чистой политики».

Эти примеры судорожных метаний можно было бы легко продолжить за счет биографий уже известного нам Александра Кожеве, или Петера Брюкнера, или Ханса Фрайера, или Эрнста Юнгера, да и многих других незаурядных мыслителей середины века. Но есть ли в том нужда? Ведь, казалось бы, и так все ясно: то была эпоха фанатизма, эпоха крайностей...

Но чем объяснить бросания Кожеве или Фрайера из огня да в полымя? Откуда такая изменчивость? Может быть, они просто подобны шекспировскому Полонию: куда, дескать, ветер дует, туда и клонятся? Но не получается: де Ман добровольно удалился в почетное изгнание, Жувенель как-то не вовремя подался в маки... И если взглянуть на ту эпоху из нашей, то не окажется ли, что они, перепробовав все наличные способы построения рая, их один за другим отбросили, то есть путем проб и ошибок пришли к тому, к чему сегодня всех нас разом властно подвела постмодернистская эпоха? А отсюда разве не следует, что для «сотрудничества», для «сделки» почва даже тогда была уже как-то подготовлена?

7. FINITA LA IDEOLOGIA

Но многое ли могут совершить художники и мыслители, пусть их и называют «властителями дум»? Посеянные ими зерна не дадут всходов, если почва не была подготовлена. В нашем случае ее взрыхлило само

Великое Противостояние.

Трагедия нереализованного Апокалипсиса столь непростительно затянулась, что обрела все шансы обратиться в фарс и успешно их реализовала. Ведь и непримиримейшая ненависть, если ее, не давая ей выхода, десятилетиями холить и нежить; в конце концов обернется рутинной игрой. А участники игры просто-напросто обречены друг другу *подыгрывать*. И складывается «ансамбль».

Так и случилось: западные социологи и политологи примерно с конца 50-х гг. наблюдают за тем, как это происходило. «Можно даже сказать, — писала Трауготт Кёниг, — что с определенной точки зрения Соединенные Штаты уже достигли конечной стадии марксистского «коммунизма» и (...) что американцы лишь постольку выглядят разбогатевшими русскими или китайцами, поскольку русские или китайцы все еще остаются бедными американцами»[1]. Еще определеннее эту мысль сформулировал Генрик де Ман: «Даже антитеза капитализм — социализм (...) утратила в нашем сознании свой фундаментальный смысл»[2].

Но это не «конвергенция», в которой А.Д. Сахаров видел некогда способ разрешения мировых противоречий, устранения враждующих политических лагерей. Ведь не случайно Эдвард П.Томпсон обратил внимание на негативный процесс окаменения рассматриваемого новообразования. «Холодная война, — отметил он, — давно уже превратилась в условие экстерминизма, при котором исходные движущие силы, реакции и намерения пусть и наличествуют, но лишь в состоянии инертной устойчивости»[3].

И Л. Нитхаммер подводит всему этому некий нелицеприятный итог: «Союз массы и власти, опираясь на исторически достигнутое господство над природой, превратился в саморегулируемую систему, которая, сохранив политические различия лишь в оттенках, объяла весь мир. Эта «иная система» не нуждается в новых мыслях и их не терпит, она отчуждает себя от природы, от познаваемой действительности, от времени»[4].

Эта «иная система» (а я бы назвал ее Суперсистемой) в глазах Кёниг, де Мана или Томпсона — не что иное, как завершение исторического пути человечества: сколько-нибудь измениться, а тем более рухнуть она не может. И все-таки она рухнула. Это как минимум должно означать, что «конец истории» не состоялся. Однако, по Фукуяме, он наступил именно *после* крушения: западная идея победила, социалистическая — провалилась, дальше двигаться было некуда...

Если предпосылки диаметрально противоположны, а результат один и тот же, то, надо думать, следует усомниться в противоположности предпосылок. И спросить себя, не являются ли как Суперсистема, так и ее распад лишь этапами единого процесса?

Суперсистема — по крайней мере в финальной своей стадии — это запредельный апофеоз стабильности, стагнации, пассивности, так что с «концом истории» ее связывают не случайно. Взять хотя бы Советский Союз: восемнадцатилетнее брежневское правление справедливо именуют «застойным». И прежде всего потому, что власть стала куда более либеральной. Но почему? Одни говорят — по причине ее одряхления, другие — из-за личности властителя. В какой-то мере и те и другие правы. Но ведь «холодная война» продолжалась, Великое Противостояние ничуть не ослабело, число и мощь нацеленных друг на друга ракет возрастали, да еще Афганистан прибавился... Какое уж там одряхление! И суть, очевидно, в том, что, ни с чьими волями не считаясь, наступил «конец идеологий». Может быть, впервые они по-настоящему стали не меняться, а как бы сокращаться, усыхать, выпариваться: ведь бесконечное, бесперспективное, бездеятельное противостояние лишало надежды и веры, а сопутствовавшая ему атмосфера «сделки» окрашивала все вокруг в тона меланхоличного или даже циничного фарса.

И если на поверхности все еще накапливался заряд взаимной непримиримости, то нутром все более завладевала пустота «безразличия». Такая разнонаправленность энергии была чревата разломом Суперсистемы. И он, естественно, поразил прежде всего самое слабое звено — коммунистический колосс на глиняных ногах.

Страны, принадлежавшие к соцлагерю, охватил жесточайший кризис — экономический, политический, даже духовный, хотя если где и наметилось освобождение, то лишь в сфере духа. Могут спросить: а какое отношение все это имеет к Западу? Ведь Запад лишь выиграл от смерти коммунистического Дракона; вот и Фукуяма утверждает... Слов нет, *все* выиграли от того, что советский Дра-Дра издох (если, конечно, он уже совсем издох...). Но вот ведь и Запад

---

[1] *Traugott König*. Die Abenteuer der Dialektik in Frankreich. In: Fugen.Dt. — frz.Jb.f. Text-Analytik. Olten/Freiburg, 1980, S. 288.

[2] *H.de Man*. Vermassungen u. Kulturverfall. München, 1951, S. 124.

[3] *Edward P.Thompson*. Exterminismus als letztes Stadium der Zivilisation. In: «Befreiung», Nr. 19/20, 1981, S. 43.

[4] *Lutz Niethammer*. Posthistoire, S. 162—163.

тотального кризиса не избежал — пусть протекает он в формах существенно облегченных.

Запад — может быть, в большей степени, чем мы, — был травмирован *фарсовым финалом* Великого Противостояния, явственно обозначившим даже не тщету затраченных усилий, а их как бы изначальную ненужность. Ведь «империю зла» и побеждать-то не пришлось: пытаясь хоть что-нибудь в устройстве своем исправить, она сама себя уничтожила, пав жертвой не столько реформаторского пыла, сколько врожденной, изначальной нежизнеспособности. А усилия сторонних могильщиков остались невостребованными и, более того, выставили их в смешном виде: комедия вражды переросла в комедию сотрудничества и завершилась комедией победы. А в целом это была грандиозная *Идеологическая комедия*, испепелившая все убеждения, все надежды, все утопии мироустройства.

И еще. Суперсистема сообщала миру некую призрачную устойчивость. Ныне утрачена и она. Немецкий генерал Х.Хансен сказал в интервью для журнала «Фокус»: «Холодную войну отличала рациональность. Новейшие этнические, религиозные, социальные конфликты в основе своей иррациональны»[1]. Совершенно иррациональной была уже «холодная война», так что сегодняшние региональные конфликты выделяет лишь их неистребимая множественность: кривое зеркало Великого Противостояния разбилось, и это — его осколки...

Все сместилось, все искривилось. Даже межконтинентальные ракеты — эти кони Апокалипсиса и одновременно стражи порядка — вроде бы уже ни на кого персонально не нацелены. Тем самым утрачена идея Заклятого врага, что-то худо-бедно цементировавшая. Ибо с исчезновением Люцифера Бог осиротел: воплощению Добра нечего делать в отсутствие воплощенного Зла. Они нерасторжимы: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; я, Господь, делаю все это»[2], — так говорит Бог в книге пророка Исаии, представляя себя чем-то вроде Суперсистемы. Но ее уже нет. И неудивительно, что образовавшийся вакуум ассоциируется с пустыми небесами. Испытываешь искушение провозгласить вслед за Ницше: «Бог умер!»

8. ЭПИЛОГ

Хотя о постмодернизме широко заговорили еще в 70-е гг., но по сей день никому почему-то не пришло в голову связать его с феноменом, который я определил как Суперсистему. Может быть, потому, что одно с другим как-то не вяжется хронологически? Ведь к 70-м гг. духовное крушение мира уже состоялось, а Суперсистема была *еще* жива. Так что поищите, дескать, иные причины, порождавшие постмодернистские настроения...

Но без Суперсистемы не было бы и духовного крушения (я, собственно, об этом уже говорил): идеологический распад был ею не только заложен, он шел в ее недрах полным ходом. Для невооруженного глаза он был, наверное, менее приметным, но легко улавливался чуткими сейсмографами искусства. Ощутив это, Кампер и Слотердийк до причин, однако, не докопались, вот и объявили виновниками кто астероид, а кто Коперника. Вообще, если крушение Суперсистемы что-то изменило, то не суть, а лишь форму: безверие, безразличие, бесцельность всего вершащегося проступили очевиднее, откровеннее, гротескнее. Но это было не новым состоянием мира, а просто следующим этапом состояния уже наличествовавшего. Те же слагаемые расположились в несколько ином порядке: прежде казалось, будто все *в равной мере* верят в совсем разные вещи, а теперь стало видно, что все *в равной мере* ни во что не верят.

Во дни Суперсистемы у нас считалось, что постмодернизм — явление сугубо западное, к нам никакого отношения не имеющее. Причем думали так не только мы сами, декаданса, как известно, на дух не переносившие, но и исследователи западные: они даже иронизировали, что, дескать, весь мир себя наново переосмысливает, а эти, точно мороженые судаки, застыли в своем казенном оптимизме...

Однако вскоре выяснилось, что постмодернизм и в Советском Союзе существовал. И довольно долго. Разумеется, в качестве литературы подпольной, отчего и получил впоследствии (когда об этом уже можно было открыто писать) наименование «андерграунд». Естественно, широкого распространения он тогда не имел. Но в данном случае существенна не столько распространенность явления, сколько его безусловная органичность. И с этим все в порядке: за самыми незначительными, может быть, исключениями, советский «андерграунд» был постмодернизмом никак не импортным, а напротив, даже излишне доморощенным, ибо по причине существования «желез-

[1] «Focus», Nr. 5, 30.Januar 1995, S. 40.
[2] Ветхий Завет. Книга Пророка Исаии, 45, 7.

ного занавеса» вынужден был сам изобретать свои велосипеды. И это не только подтверждает его самобытность, но и обильно льет воду на мельницу моей гипотезы.

В те же примерно годы, когда в моду стали входить Умберто Эко, Абель Поссе или Кристоф Рансмайр, в дворницких и котельных Москвы, Ленинграда, Свердловска молодые интеллектуалы, напрочь наплевав на советские карьеры, по ночам сочиняли рассказы и повести, реже романы. То не была литература протеста, тем более гражданского неповиновения. Она как бы вообще не брала в расчет господствующий режим. Если этих писателей в режиме что-нибудь еще интересовало, так только отраженный свет, то есть растление душ, им вызванное. Но никак не реалии. Тут превалирует сплошное сомнение, издевательская самоирония и поразительная стилистическая всеядность. Лишь форм жизнеподобных творчество это никак не приемлет, ибо, светясь отраженным светом, являет собой даже не эксперимент, а вылепленную из книжной эрудиции многоэтажную метафору.

Но, может быть, еще убедительнее советская «постмодерность» проглядывала сквозь стиль *жизни*. Самые не-советские из прежних наших писателей все равно боролись за свою легализацию. И Мандельштам, и Булгаков, и Пастернак, и Платонов стремились публиковаться, даже получить признание, потому что понимали: сталинская империя — это надолго, наверное, на всю их творческую и физическую жизнь. А Венедикт Ерофеев сразу же повел себя так, будто большевистской власти практически уже не существует: с ней не боролся, не ждал, когда она сгинет, — попросту ее игнорировал. Знать он, разумеется, ничего не знал, но какое-то шестое чувство ему подсказывало, что конец близок.

Известно, что природа время от времени создает нежизнеспособных уродов, доверху напичканных стронцием. Создает как бы на всякий случай, ибо термоядерный Апокалипсис смогли бы пережить лишь они. В постмодернистских клоунадах тоже есть нечто упреждающее: столпы Суперсистемы в противостоянии своем еще как-то подпирали друг друга, а пыль вселенского катаклизма взмывала ввысь, будто все уже рухнуло. Постмодернизм сеет не страх, не гнев, даже не действенное отчаяние, а то ощущение жизни, которое точнее всего выражается французским словом «резиньяция».

Несколько тысячелетий тому назад такое ощущение жизни выразил Екклесиаст: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!»[1] Екклесиаст — как бы праотец постмодерного мировосприятия. А более позднее «Откровение Святаго Иоанна Богослова», иначе называемое «Апокалипсисом», — нечто вроде канона мировосприятия модернистского, ибо пронизано активной верой в благотворность возмездия и кары. Однако и Екклесиасту, пожалуй, не хватает той самоиронии, что присуща новейшей постмодернистской смятенности.

Она и правда не что иное, как «томление духа», спровоцированное кризисом беспримерным, никаким апокалипсическим пророкам не снившимся. Марксизм обожал революции, но не любил кризисы, хотя революции по большей части проливали напрасную кровь, а кризисы порой несли очищение. А нам на чью сторону стать?

Деидеологизация в чем-то плодотворна, а безверие — пагубно. Но вот еще в чем вопрос: способна ли отравленная фанатизмом эпоха очиститься от идеологической скверны, не претерпев искус безверием? Так что я не стал бы ни предавать постмодернизм анафеме, ни возводить его на пьедестал. Он есть то, чем только и мог быть: а именно — симптомом крушения современного мира и одновременно — низшей точкой идеологического штиля после девятого вала. Впрочем, скорее между двумя валами — минувшим и грядущим. Ибо «конец истории» исключен (по крайней мере пока человечество существует), а «конец идеологий» весьма проблематичен (во всяком случае, в глазах того, кто в земной рай не верит)...

---

[1] Ветхий Завет. Книга Екклесиаста или Проповедника, 2, 11.

■

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ

МАРИО ДЕЛЬГАДО АПАРАИН

Баллада о Джонни Сосе

Mario Delgado Aparain. La balada de Johnny Sosa. «Ediciones B.»

После публикации небольшого романа «Баллада о Джонни Сосе» сорокашестилетний Марио Дельгадо Апараин получил лестное звание восходящей звезды современной уругвайской литературы. Как и многие другие его соотечественники, он не мог свободно работать и публиковаться в условиях военно-диктаторского режима.

Действие в романе разворачивается в мрачный период уругвайской истории, когда страной управляли военные. Их присутствие незримо ощущается всюду, даже в крошечном городке с забавным названием Москитос (комары), что расположен недалеко от границы с Бразилией. Задавленные военными репрессиями, жители городка являют собой серые тени, которые постоянно боятся оказаться подозреваемыми или виновными. Их внешне размеренная и даже упорядоченная жизнь пропитана удушающим страхом и напряжением.

Но в Москитос находится свой герой — популярный в народе темнокожий исполнитель блюзовых и роковых баллад Джонни Соса. Политики в погонах хотели приручить его, сломить, сделать послушным инструментом для своей пропаганды, но скромный простой полуграмотный певец спокойно, без показного выражения чувств отвечает отказом на предложение сотрудничать с властями. Одного сильного человека оказалось достаточно, чтобы вернуть городку достоинство.

Марио Дельгадо Апараин избегает патетики; в романе есть сарказм, юмор, скрытая теплота. По мнению критиков, книга отвечает высоким требованиям латиноамериканской прозы, а автор продолжает традиции таких мастеров литературы Уругвая, как Хуан Карлос Онетти и Марио Бенедетти.

БЕРНАРДО АТКСАГА

Два брата

Bernardo Atxaga. Dos hermanos. «Ollero & Ramos»

Крупнейший современный баскский писатель Бернардо Аткcага стал известен в Испании и за ее пределами, получив Национальную премию за книгу «Обабакоак» (1989) о вымышленной стране Обаба. Сорокачетырехлетний поэт, прозаик, автор песен и детских сказок все свои произведения пишет на родном, баскском языке, а затем сам перелагает текст на испанский. Не стал исключением и роман «Два брата», жесткое и поэтичное повествование.

...Жил-был старик, и было у него два сына, Даниэль и Пауло. Природа обделила Даниэля умом, и рассудок у бедняги так и остался как у новорожденного. И тогда отец решил связать их судьбы — либо оба пропадут, либо оба выживут. Так молчаливый Пауло взял брата на попечение и разделил его участь. На жизненном пути братьям пришлось всякое повидать и испытать: сторожка, где они работают, тюрьма, странные люди и каждодневная жизнь, точно зыбкий песок под ногами.

Свидетелями и судьями этой невеселой, но мудрой деревенской полусказки-полупритчи являются различные животные, играющие важную роль в баскской мифологии: птицы, белки, змеи, гуси. Они ведут рассказ о судьбе Пауло и Даниэля, одновременно выступая в качестве символов. Так, жизнеспособность символизируют гуси — умные птицы с острым зрением, одинаково приспособленные к земле, воде и воздуху.

СТЕФАНО БЕННИ

Последняя слеза

Stefano Benni. L'ultima lacrima. «Feltrinelli»

Популярный современный итальянский писатель Стефано Бенни в своей новой книге обращается к злободневной проблеме — роли телевидения в жизни итальянцев. «Последняя слеза» представляет собой сборник из двадцати семи новелл, в которых автор остроумно и едко, на грани гротеска и абсурда высмеивает отупляющее воздействие телевидения на своих сограждан. Впрочем, критику в свой адрес они восприняли хорошо, ибо эта книга С.Бенни, как и предыдущие, стала бестселлером.

«Праздник печали», «Эпопея Дома скорби», «Сага плача» — такие определения получает итальянское телевидение, которое нещадно эксплуатирует чувство сострадания ко всевозможным жертвам и забалтывает само это сострадание. Экран заполнен безработными, неудачниками, обиженными и ущемленными, и все они жалуются на жизнь, а зрителю предлагается наслаждаться этой траурной смесью

страданий, лицемерия, цинизма и уныния. Не забыт и принцип «демократичности»: прямая трансляция пышно обставленной казни безработного воришки на электрическом стуле дает возможность телезрителям на равных присутствовать при этом (рассказ «Последняя слеза»).

Уничтожающей сатире подвергает Стефано Бенни и систему образования, превратившуюся в «школу телевизионной культуры». На уроках учеников спрашивают о телесериалах, на переменах им демонстрируют рекламу видеоигр и предвыборные выступления политиков, а единственного мальчика, который целую неделю не смотрел теленовостей и вместо этого позволил себе читать книгу о животных, строго наказывают.

ДЖОН БЭНВИЛЛ

Афина

John Banville. Athena. «Alfred Knopf»

Роман «Афина» завершает трилогию о живописи, убийстве и сексе, начатую «Уликами» (1989) (перевод опубликован в «ИЛ», 1995, № 2) и продолженную «Духами» (1993) (см. о нем «ИЛ», 1994, № 1). Главный герой — Фредди Монтгомери из первой части и безымянный рассказчик из второй — в третьем томе выступает под именем мистера Морроу, «эксперта-искусствоведа». Он получает задание представить описание и определить подлинность полотен, украденных из того самого дома, где Фредди убил служанку, помешавшую ему похитить старинный портрет.

Мысль о том, что прошлое остается с человеком до конца его дней и не раз еще заявит о себе, в символической форме воплощена в полотнах, экспертизу которых проводит мистер Морроу. «Похищение Прозерпины» , «Преследование Дафны», «Месть Дианы» — эти картины фламандских мастеров сюжетно перекликаются с преступлением, которое совершил главный герой. С появлением в его судьбе таинственной, одетой в черное дамы по имени А. его жизнь превращается в причудливый танец желания и обмана.

РАССЕЛЛ БЭНКС

Кость и его правило

Russell Banks. Rule of the Bone. «Harper Collins»

Бестселлером стала в США двенадцатая книга популярного американского писателя Расселла Бэнкса. Его новый роман — это современный вариант «Гекльберри Финна». Главный герой, 14-летний Чаппи, живет в захолустном городке в штате Нью-Йорк, гоняет на мотоцикле и покуривает «травку». На нее нужны деньги, и Чаппи пытается стянуть что-нибудь из дома; вор из него никудышный, и мать с отчимом выгоняют его.

Так Чаппи оказывается на улице; ни школе, ни семье, ни полиции до него нет дела. Отныне он живет по новому правилу: держись подальше от родителей и полиции. Он присоединяется к банде рокеров и вместе с ними колесит по штату, приторговывает «травкой», ворует в магазинах, хулиганит и даже помогает угнать грузовик. Для большей «крутизны» Чаппи делает себе татуировку в виде перекрещенных костей и берет кличку «Кость».

Однажды в разбитом автобусе, облюбованном бродягами, новый Гек Финн встречает нового Джима — это беглый батрак с Ямайки по кличке «Сам». Подружившись, Кость и Сам устраивают себе жилище в автобусе; подросток живо воспринимает философию, образ жизни и привычки своего темнокожего компаньона. Сам тоскует по родине, и друзья отправляются на Ямайку, где их ждут наркотики, секс и насилие.

ЛУИС АНТОНИО ДЕ ВИЛЬЕНА

Бордель лорда Байрона

Luis Antonio de Villena. El burdel de lord Byron. «Planeta»

Испанской литературной премии «Асорин» за 1995 год удостоен роман Луиса Антонио де Вильены «Бордель лорда Байрона». Писатель из Испании не случайно избрал главным героем английского поэта-романтика: лорд Байрон был и остается классическим примером свободолюбивого авантюриста и бунтаря, отвергавшего устои и правила современного ему общества. Странствования, защита вечных идеалов свободы, зрелость ума как средство понять мир, размытость границы между реальностью и искусством — таковы важнейшие штрихи в портрете этой неординарной личности.

Жизненный путь поэта рассказан от лица уже состарившейся проститутки из лондонского публичного дома, куда в молодости частенько хаживал Байрон. Она стала его другом и наперсницей, и от нее читатель узнает о перипетиях бурной жизни главного героя. Такой прием позволяет автору сопровождать изложение событий субъективным комментарием, что в свою очередь выгодно отличает этот «лирический роман» от обыкновенной литературной биографии.

Книга сосредоточена на личности Байрона, и многочисленные второстепенные персонажи служат лишь фоном для более полного раскрытия характера поэта. Байрон — легенда, герой почти мифологический, и Луис Антонио де Вильена, отражая основные черты противоречивой и необузданной натуры поэта, творчески перерабатывает исторические факты.

ТОМ ГАНН

Срок хранения

Thom Gunn. Shelf Life. «Faber»

В 1993 году вышел в свет и был удостоен премий поэтический сборник «Человек, потеющий по ночам», первая за одиннадцать лет книга Тома Ганна (перевод подборки его стихов см. «ИЛ», 1988, № 11). Два года спустя этот крупный американский поэт британского происхождения, уже почти сорок лет проживающий в США, опубликовал прозаический сборник «Срок хранения», состоящий из нескольких литературоведческих очерков, воспоминаний и текста интервью.

В буквальном переводе название сборника означает «жизнь на полке» — речь идет, разумеется, о книжной полке. Книги, литература (прежде всего поэзия) — именно это Том Ганн любит, ценит, понимает, об этом пишет со знанием дела. Вошедшие в сборник очерки — не первый его литературоведческий опыт, но здесь он расширил круг анализируемых авторов: Уолт Уитмен, Хильда Дулитл, Марианна Мур, Майна Лой, Роберт Крили, Аллен Гинзберг... Сразу два очерка посвящены Роберту Дункану, поэту, для которого случай являлся центром всего, что ярко отразилось в его творчестве.

В интервью Том Ганн раскрыл простой принцип зарождения своей поэзии: она основана на личном опыте, который включает в себя каждодневную жизнь, но в первую очередь чтение. Отсюда возникают любопытные параллели: написанные четыреста лет назад и лишь не так давно опубликованные элегии сэра Томаса Уайатта, посвященные казненным друзьям, перекликаются с элегиями Тома Ганна на смерть друзей от СПИДа. И это еще раз подтверждает правоту критиков, называющих Тома Ганна «поэтом XVI века, живущим в XX столетии».

ЖЮЛЬЕН ГРИН

Южные штаты

Julien Green. Dixie. «Fayard»

Старейший французский писатель Жюльен Грин (родился в 1900 году) — обладатель всех мыслимых регалий: с 1971 года он член Французской академии, а в 1972 году его произведения вышли в самой престижной серии «Плеяда». Преклонный возраст не мешает ему успешно работать, и новый роман — тому подтверждение. Ж.Грин — американец по происхождению, много жил в США и часто пишет об этой стране.

«Южные штаты» — это заключительная часть трилогии об истории США. Действие этой саги происходит в 1862 году; в стране полыхает пожар войны между Севером и Югом. В одном из южных штатов живет главная героиня, Элизабет. Сирота, она остается с двумя детьми на руках, и хотя ей нет еще и тридцати, уже дважды овдовела. Общественная мораль предписывает ей коротать век вдовой, навсегда погрузиться в мрачную тоску и одиночество, а двойной стандарт запрещает женщине иметь желания, дозволенные мужчине.

Но Элизабет молода и красива, у нее сильный, независимый характер, и она вступает в борьбу с условностями, отстаивая свою свободу и право любить. Тема личной свободы становится главной в романе. Параллельно с ней звучит тема осуждения несущей смерть войны. Ее абсурдность показана через непосредственное восприятие ребенка, чье сознание не замутнено ура-патриотической риторикой, — Неда, маленького сына Элизабет, основой же для создания его образа послужили воспоминания автора о собственном детстве.

РОМЕШ ГУНЕСЕКЕРА

Риф

Romesh Gunesekera. Reef. «New Press»

Уроженец Шри Ланки, молодой писатель Ромеш Гунесекера входит в число выходцев из бывших британских колоний, составляющих мощное течение в современной англоязычной литературе. Его первый (после сборников рассказов) роман показывает Шри Ланку глазами местного подростка, обыденно воспринимающего все то, что западному человеку традиционно кажется загадочным и сюрреалистичным.

Простой, наивный деревенский мальчик по имени Тритон попадает в столицу, в дом мистера Салгадо — тихого, мечтательного биолога-любителя, исследователя моря. Тритон так мало видел и так мало знает о мире, что хозяин кажется ему чуть ли не богом, великим и всеведущим. Жизнь юного слуги ограничена домом и хозяйством, что позволяет автору погрузить читателя в атмосферу тропического имения с его благоухающими цветами, южными пряностями, древними суевериями и своеобразными обычаями.

В главной сцене романа Тритон готовит для иностранных гостей хозяина рождественскую индейку, и во время званого ужина гости рассуждают об экономических и политических перспективах Шри Ланки. Райский остров еще не раздирают кровавые конфликты — действие происходит в 1960-е годы, — но во всем есть предчувствие хаоса и упадка (даже коралловый риф, защиту острова от океана, хотят использовать в коммерческих целях), и мистер Салгадо переезжает в Лондон. Так уже подросший Тритон оказывается на берегах холодного серого моря, в непонятной пугающей Англии — экзотической для него стране.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ (ALLEN GINSBERG; род. в 1926 г.) — американский поэт, лауреат нескольких литературных премий. Автор книг стихов «Вой» («Howl», 1956), «Каддиш» («Kaddish», 1961), «Сгустки реальности» («Reality Sandwiches», 1963), «Планета новостей» («Planet News», 1968), «Самолетные фантазии» («Airplane Dreams», 1969), «Падение Америки» («The Fall of America», 1973), «Дыхание души» («Mind Breaths», 1978), «Плутониева ода» («Plutonian Ode», 1982) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги Аллена Гинзберга «Призывы гражданина мира», вышедшей в США в 1994 году («Cosmopolitan Greetings: Poems 1986 — 1992». New York, Harper Collins Publishers).

ТОМ СТОППАРД (TOM STOPPARD; род. в 1937 г.) — английский драматург. Автор пьес «Настоящий инспектор Хаунд» («The Real Inspector Hound», 1968), «После Магритта» («After Magritte», 1971), «Прыгуны» («Jumpers», 1972), «Пародии» («Travesties», 1975), «Хороший парень стоит доброго отношения» («Every Good Boy Deserves Favour», 1978), «Ночь и день» («Night and Day», 1978), «Закодированный Гамлет и Макбет» («Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth», 1980), «Хэпгуд» («Hapgood», 1988), ряда телесценариев и радиопьес.
В «ИЛ» опубликована пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в переводе И.Бродского (1990, № 4). Пьеса «Аркадия» издана в Англии в 1993 году («Arcadia». London, Faber and Faber).

ЭНН БАРТОН (ANNE BARTON) — профессор Кембриджского университета, автор недавно вышедших книг «Эссе» («Essays»), «На шекспировские темы» («Mainly Shakespearean») и «Байрон: «Дон Жуан» («Byron. «Don Juan»).
Рецензия «На прогулку еще раз» («Twice Around the Grounds») была опубликована в еженедельнике «New York Review of Books» (Vol. XLII, N 10, 1995).

ГУСТАВ ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ (GUSTAW HERLING-GRUDZINSKI, род. в 1919 г.) — польский писатель, автор сборников рассказов, новелл, эссе, в том числе изданных в Польше «Башня» и другие рассказы» («Wieża i inne opowiadania», 1988), сборника эссе «Час тени» («Godzina cieni», 1991), «Дневник, написанный ночью» («Dziennik pisanego noca», 1989—1992) и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Избранные рассказы» («Opowiadania zebrane». Poznań, «W drodze», 1991).

АЛЬДОНА ГУСТАС (ALDONA GUSTAS; род. в 1932 г. в Литве) — немецкая поэтесса и художник. С 1945 г. живет в Западном Берлине. Печатается с 1962 г. Автор более десяти поэтических сборников, в том числе «Обители мгновений» («Sekundenresidenzen», 1989), «Образы тел» («Körpernaturen», 1992) и др., иллюстрации к которым выполнены самой А.Густас. Ее стихи напечатаны в ряде поэтических антологий, а работы художницы экспонировались на художественных выставках. Стихи переведены на литовский, польский и итальянский языки.
В публикуемую подборку вошли стихи из сборников: «Волна, раковина и богиня Венера лично» («Eine Welle, eine Muschel oder Venus persönlich». Düsseldorf, 1979), «Мы поделим даже небо» («Sogar den Himmel teilten wir». Düsseldorf, 1981), «Кукольный покой» («Puppenruhe». Düsseldorf, Verlag Eremiten-Presse, 1989).

ГАБРИЕЛЕ РОМАНЬОЛИ (GABRIELE ROMAGNOLI; род. в 1960 г.) — итальянский писатель, автор сборника рассказов «Корабли в бутылке» («Navi in bottiglia»; премия «Кампьелло»), романа «Успеть на небо» («In tempo per il cielo», 1995).
Публикуемые рассказы взяты из книги «Корабли в бутылке», изданной в Италии в 1993 г. (Roma, Arnoldo Mondadori Editore).

МОЧАЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА — кандидат филологических наук, директор Московского Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер».

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.) — критик и литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Украины, член Международной ассоциации литературных критиков. Автор книг «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «Европейские реалисты XIX века. Линии и лики» (1984), «Австрийская литература в XX столетии» (1985), «Художественные ориенти-

ры XX века» (1988) и многих статей в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

■Переводчики:

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р.Фроста, Т.С.Элиота, Э.А.Робинсона. Переводил классику: Э.Спенсера, Дж.Донна, У.Вордсворта, У.Уитмена и др.
В «ИЛ» в его переводе печатались стихи К.Сэндберга (1978, № 2), Р.Лоуэлла (1980, № 2), А.Гинзберга (1986, № 10; 1994, № 3), Р.Грейвза (1995, № 6), роман Айи Квеи Армы «Целители» (1982, № 1—3), «Интерпретаторы» В.Шойинки (1970, № 10), пьеса Дерека Уолкотта «День поминовения» (1993, № 3) и др.

ВАРШАВЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского. Переводила рассказы Б.Маламуда, У.Сарояна, К.Маккалерс, Т. О'Брайена, романы Ш.Джексон «Мы живем в замке» и Б.Плейн «Бессмертник», пьесу А.Мердок «Слуги и снег». В «ИЛ» в ее переводе напечатана документальная повесть Гая Гульотты и Джеффа Лина «Кокаиновые короли» (1991, № 3), рассказы Энн Бридж «Бьюик» и отрывки из книги Эрики Джонг «Ведьмы» (1992, № 3).

МАКАРЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1946 г.) — переводчик со славянских языков. Автор книг «Азбука домашнего мастера», «Письма архитектора», ряда публикаций в реферативном журнале ИНИОНа и др. В его переводе издан роман польского писателя Витольда Гомбровича «Порнография» (М., «Радуга» 1994).

КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1951 г.) — поэт и переводчик с немецкого. Печатается с 1980 г. Переводит в основном поэзию. В его переводе изданы романы М.Шпербера «Слеза в океане» (М., 1991), «Письма в Древний Китай» Герберта Розендорфера («ИЛ», 1993, № 1).

"МИР ЗНАНИЙ" - ГОРОДУ И МИРУ

WHAT A WONDERFUL WORLD!

АОЗТ "МИР ЗНАНИЙ" ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

"Энциклопедия изобразительных искусств" - "The Encyclopedia of Visual Art" - 2 239 иллюстраций этой 10-томной энциклопедии отражают историю искусств с момента зарождения цивилизации до наших дней. Издательство **"Encyclopaedia Britannica"** (США).

Легендарные коллекции Лувра, Эрмитажа, галерей Уффици и Питти, музея Орсэ - на страницах восхитительных альбомов серии **"Лучшие музеи мира"**. В каждом томе примерно 700 страниц и около 800 иллюстраций. Издательство **"Magnus"** (Италия).

"Летопись искусств Франко Мария Риччи" - "Art FMR. Les Annales de l'art de Franco Maria Ricci" (15 томов). Самое роскошное издание по искусству, которое когда-либо выходило в мире. Шедевры из лучших музеев и частных коллекций мира. 3 000 иллюстраций, запечатлевших знаменитые картины, скульптуры, церкви, дворцы, сопровождают эссе Умберто Эко, Итало Кальвино, Хорхе Луиса Борхеса. Черный шелковый переплет с золотым тиснением. Издательство **"Franco Maria Ricci"** (Италия).

Коллекционные альбомы серий **"Избранные"** и **"Частная коллекция"** приглашают в частные собрания и музейные запасники. Многие альбомы посвящены весьма необычным темам - "Айседора Дункан и скульптура арт-деко", "Образ Марии Магдалины в изобразительном искусстве", "Девочки Льюиса Кэрролла". На страницах серии **"Великолепие, покой и наслаждение..."** - работы знаменитых кутюрье Валентино, Армани, Версаче и др. Переплет из черного шелка с золотым тиснением, элегантный футляр. Тираж лимитирован. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер. Издательство **"Franco Maria Ricci"** (Италия).

В 1994 г. завершилась грандиозная работа по реставрации **Сикстинской капеллы** в Ватикане. Впервые за пятьсот лет Микеланджело предстал в подлинном блеске ярких и сочных красок. Насладиться ими помогут крупноформатные номерные альбомы с фотографиями, сделанными Такаши Окамурой. Уникальное качество печати, переплет ручной работы из кожи или бархата. Тираж лимитирован - 500 экземпляров для англоязычной версии. Первыми эти альбомы приобрели Умберто Эко, Ганс-Дитрих Геншер, Отто фон Габсбург. Издательство **"Faksimile Verlag"** (Швейцария).

Мир Знаний

Тел.: (095) 962 0402, 962 0735, 161 4049; факс: (095) 161 0675 - в Москве;
Тел./факс: (812) 352 3016 - в Санкт-Петербурге;
Почтовый адрес : Россия, 107392, Москва, а/я 14 E-mail: mir@znanija.msk.su